



МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

экономические и социальные перемены

№ 1 (167)

январь — февраль 2022

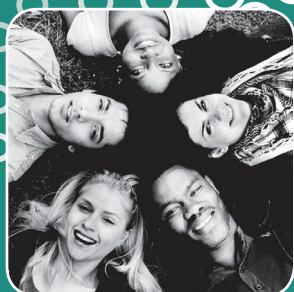
СОЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА



ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО



МЕТОДЫ
И МЕТОДОЛОГИЯ



СОЦИОЛОГИЯ
МОЛОДЕЖИ

18+

ISSN 2219-5467



9 772219 546006 >

Главный редактор журнала:

Федоров Валерий Валерьевич —
кандидат политических наук, генеральный директор ВЦИОМ,
профессор НИУ ВШЭ

Заместители главного редактора:

Седова Наталья Николаевна —
помощник гендиректора по науке ВЦИОМ

Подвойский Денис Глебович —
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН, доцент РУДН

Ответственный редактор:

Кулешова Анна Викторовна —
кандидат социологических наук, член российской
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) (Россия)

M77 Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — М.: АО «ВЦИОМ», 2022. — № 1 (167). — 404 с.

ISSN 2219-5467

Объективная, точная, регулярная и свежая информация «Мониторинга» полезна всем, кто принимает управленческие решения, занимается прогнозированием и анализом развития общества. Наш журнал пригодится сотрудникам научных и аналитических центров, работникам органов управления, ученым, преподавателям, молодым исследователям, студентам и аспирантам, журналистам.

Тематика материалов охватывает широкий круг социальных, экономических, политических вопросов, основные рубрики посвящены теории, методам и методологии социологических исследований, вопросам взаимодействия государства и общества, социальной диагностике. Каждый номер журнала содержит двухмесячный дайджест основных результатов еженедельных общероссийских опросов ВЦИОМ.

Мы публикуем статьи специалистов, представляющих ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также ВУЗы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность выступить на его страницах представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные.

Журнал издается с 1992 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТЕСТ

О. Г. Подлипская

Длительность интереса жителей США к террористическим актам:
зависит ли она от политических взглядов? 5

D. K. Stukal, I. B. Philippov

Promoting a Leader or a Cause? An Agent-Based Model of Social Media Bots 22

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

С. В. Мареева, Е. Д. Слободенюк, В. А. Аникин

Толерантность к социальным неравенствам в эпоху неопределенности
в России: важна ли субъективная мобильность? 39

И. А. Дорханов, Б. О. Соколов

Конфессия, религиозность и антииммигрантские настроения в Европе:
анализ данных Европейского социального исследования 61

В. И. Чумаков, Е. В. Шишкина, Ю. М. Токарева, В. Н. Хавронина

Динамика социально-экономического положения населения Волгограда
и Волгоградской области в период второй волны пандемии коронавируса 83

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

Мониторинг мнений: январь — февраль 2022 102

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

К. А. Адамович

Образовательные траектории российских учащихся после 9-го класса
в 2000—2017 гг.: типы региональных ситуаций и предикторы различий 116

К. А. Любичкая, С. В. Янкевич, Н. В. Княгинина, Е. В. Петякина

Семейное образование в России: барьеры и механизмы их преодоления 143

К. В. Харченко

Удовлетворенность старшеклассников школой:
слагаемые, факторы, следствия 158

С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова

Высшее образование в режимах государств всеобщего благосостояния:
обзор исследований 176

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ

А. Е. Кузнецов, О. А. Сычев, Н. Л. Зелянская, К. И. Белоусов
Русскоязычная версия шкалы региональной идентичности..... 204

И. Ю. Кисленко
Южная теория: существует ли социология
за пределами западного канона? 226

Л. В. Шантырева, К. С. Тюленева
Факторы восприятия селебрити в коммуникации
по вопросам здоровья о ВИЧ..... 245

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ

Е. Ю. Ганьшина
Какие методы работы с организационными изменениями поколение Z
считает наиболее эффективными: взгляд на перспективу 263

Н. А. Хоркина, В. М. Гритчина, Э. А. Садыкова, М. В. Лопатина
Способствует ли физическая активность молодежи
отказу от вредных привычек? 282

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Я. М. Рощина, Е. Д. Куфлина
Типы социального капитала россиян и их детерминанты..... 307

Л. Р. Низамова
Многоязычие и «третьи» языки в массовом сознании жителей
Республики Татарстан 328

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. В. Кобыща, М. В. Новокрещенов, К. Ю. Шепетина
Жилищные траектории. Обзор зарубежных и российских исследований 348

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

А. Л. Андреев, Е. Г. Гешева

Социолог и общество.

Рец. на кн.: Братерский А. В., Кулешова А. В. «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной России».

М.: ВЦИОМ, 2021. Т. 2. 462 с. 384

С. А. Ромашко

Глядя в зеркало заднего вида: опыт авторецензии.

Рец. на кн.: Лок Э., Стронг Т. Как устроена матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика / пер. с англ. Д. В. Онегов, А. В. Зиндер, К. М. Зиндер, А. Мирзоянц; ред. перевода С. А. Ромашко. М.:

ВЦИОМ, 2021 395

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТЕСТ

Приглашенные редакторы рубрики —
Андрей Ахременко и Елена Бродовская.

Продолжение спецвыпуска
«Трансформация гражданского активизма под влиянием
новых информационно-коммуникационных технологий» (№ 6, 2021).



POLITICAL AND CIVIL PROTEST

This section was composed by guest editors —
Andrei Akhremenko and Elena Brodovskaya.

Continuation of the special issue
‘Transformation of civic activism under new information
and communication technologies’ (No. 6, 2021)

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.2019](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2019)



О. Г. Подлипская

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСА ЖИТЕЛЕЙ США К ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ: ЗАВИСИТ ЛИ ОНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ?

Правильная ссылка на статью:

Подлипская О. Г. Длительность интереса жителей США к террористическим актам: зависит ли она от политических взглядов? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 5—21. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2019>.

For citation:

Podlipskaia O. G. (2022) Duration of the Public Attention to Terrorist Attacks in the United States: Does It Depend on Political Opinion? *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 5–21. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2019>. (In Russ.)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСА ЖИТЕЛЕЙ США К ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ: ЗАВИСИТ ЛИ ОНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ?

*ПОДЛИПСКАЯ Ольга Геннадьевна — кандидат физико-математических наук, исполнитель проекта №20-11-20059, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия
E-MAIL: podlipskaya.og@phystech.edu
<https://orcid.org/0000-0002-0029-2475>*

Аннотация. В работе исследуется динамика общественного внимания к террористическим актам, произошедшим в США в 2012—2020 гг., в зависимости от политических предпочтений населения штата. Из 7 включенных в рассмотрение террористических атак 5 были совершены радикальными исламистами, одна — правым экстремистом, одна не имела политической направленности. В качестве независимой переменной используется процент голосов, полученный республиканским кандидатом в данном штате на выборах, ближайших к дате события (рассматриваются выборы 2020, 2016 и 2012 гг.). Изучается динамика количества онлайн-запросов, сделанных на тему конкретного теракта пользователями из данного штата в поисковой системе Google. Данные получены с помощью сервиса Google Trends. В качестве меры спада интереса к событию используется отношение числа запросов в первые два дня после события, к числу запросов в четвертый и пятый дни. Исходная гипотеза исследования состоит в том, что теракт, совершенный правым экстремистом, будет дольше удерживать общественное внимание в демократических штатах, а теракт радикальных исламистов — в республи-

DURATION OF THE PUBLIC ATTENTION TO TERRORIST ATTACKS IN THE UNITED STATES: DOES IT DEPEND ON POLITICAL OPINION?

Olga G. PODLIPSKAIA¹ — Cand. Sc. (Ph.-M.), Researcher in the Project No. 20-11-20059

*E-MAIL: podlipskaya.og@phystech.edu
<https://orcid.org/0000-0002-0029-2475>*

¹ Keldysh Institute for Applied Mathematics
(Russian Academy of Science), Moscow, Russia

Abstract. The paper examines the dynamics of public attention to the terrorist acts that took place in the United States in 2012–2020, depending on the political preferences of the population of the state. Of the 7 terrorist attacks included in the review, 5 were committed by radical Islamists, one by a right-wing extremist, and one had no political orientation. The independent variable is the percentage of votes received by a Republican candidate in a given state in the elections closest to the date of the event (2020, 2016, and 2012 elections are considered). The author studies the dynamics of the number of online requests made on the topic of a particular terrorist attack by users from a given state in the Google search engine. The data was collected using the Google Trends service. The ratio of the number of requests on the first two days after the event to the number of requests on the fourth and fifth days is used as a measure of the decline in interest in the event. The initial hypothesis of the study is that a terrorist attack by a right-wing extremist will hold public attention longer in Democratic states, and a terrorist attack by radical Islamists in Republican states. The results confirmed the first part of the hypothesis, but were ambiguous with respect to the

канских. Результаты подтвердили первую часть гипотезы, однако оказались неоднозначными в отношении второй части. Внимание к исламистским терактам удерживалось дольше в демократических штатах (в меньшей мере, чем для теракта правого экстремиста), однако для четырех из рассмотренных в работе терактов корреляция внимание с политической позицией штата оказалась статистически незначимой. Теракт, не имеющий политической направленности, значимо дольше удерживал общественное внимание в республиканских штатах. Таким образом, по спаду общественного внимания теракты дифференцируются в первую очередь не по линии «исламистские — расистские», а по линии «политически мотивированные — не политически мотивированные». Возможное объяснение полученных результатов состоит в том, что демократы более склонны к обсуждению политических вопросов в целом.

Ключевые слова: разовое событие, спад интереса, терроризм, штаты США, поисковые запросы, корреляция

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-11-20059 «Математические модели, теория игр и эмпирический анализ в исследовании информационных противоборств в социуме») в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

Введение

В современном мире ежедневно формируются масштабные потоки различной информации: каждый день происходит множество событий, формирующих новостные поводы. В новостях обычно освещаются самые знаковые сюжеты — катастрофы (как техногенные, такие как крушения самолетов, так и природные,

second part. Attention to Islamist attacks lingered longer in democratic states (to a lesser extent than for a terrorist attack by a right-wing extremist), but for four of the terrorist attacks considered in the work, the correlation of attention with the political position of the state turned out to be statistically insignificant. The attack, which had no political orientation, held public attention in the Republican states much longer. Thus, according to the decline in public attention, terrorist attacks are differentiated primarily not along the line «Islamist — racist», but along the line «politically motivated — not politically motivated». A possible explanation is that Democrats are generally more inclined to discuss political issues.

Keywords: interest in a one-time event, declining interest, states of the USA, search requests, correlation

Acknowledgments. This research is supported by the Russian Science Foundation under grant No. 20-11-20059 carried out at the Keldysh Institute for Applied Mathematics of RAS.

такие как извержения вулканов), различные политические события (выборы, перевороты) и т. д. В контексте исследований интереса населения к прошедшим событиям возникает вопрос: как долго держится общественное внимание к различным новостным поводам? Возможно, его динамика зависит от личных предпочтений индивидов, их социального статуса, положения в обществе, политических взглядов, предыдущего жизненного опыта? Ответы на эти вопросы могут лечь в основу подходов к формированию информационной повестки телевизионных каналов и других масс-медиа, ориентированных на конкретные группы людей. То, как быстро угасает интерес к какому-то событию, позволит решить, стоит ли тратить ресурсы на его дополнительное освещение.

В данной работе в качестве исследуемых новостных поводов выбраны террористические акты, совершенные в США в 2013—2020 гг. Автор рассматривает интерес жителей различных штатов США к этим событиям в зависимости от того, насколько республиканской или демократической является территория. Исходная гипотеза работы состоит в том, что теракт, совершенный правым экстремистом, дольше удерживает общественное внимание в демократических штатах, а теракты радикальных исламистов — в республиканских. Логика данного предположения заключается в том, что присутствие в информационной повестке террористической атаки, совершенной правым экстремистом, является благоприятным для демократов.

Статья имеет следующую структуру. В первом разделе приведен обзор литературы по исследуемой теме, затем — описание авторского методологического подхода и основных результатов работы. Последние разделы посвящены выводам исследования и их обсуждению.

Обзор литературы

Актуальность изучения информационных процессов, теории повестки, динамики интереса населения к различным событиям подтверждается большим числом опубликованных по этой теме научных работ.

Одна из общих проблем, возникающих при изучении пропаганды и информационных войн — это вопрос о том, какова будет реакция общественного мнения на ту или иную информацию. Это относится не только к оценке информационного факта аудиторией, но и к динамике его присутствия в общественной дискуссии. Соответственно, возникает ряд прикладных вопросов, требующих проведения эмпирических исследований, в том числе с использованием методов математического моделирования. К ним относятся, в частности, изучение методов распространения информации в онлайн-пространстве [Petrov, Lebedev, 2018] и влияние этих процессов на протестную активность [Akhremenko, Petrov, 2020]. В работе [Petrov, Lebedev, 2018] рассматривается флешмоб «632305222316434» и дается объяснение, почему кривая зависимости числа постов в твиттере от времени несимметрична: до пика она возрастает круче, чем убывает после него; это связано с откладыванием написания поста пользователями. В работе [Akhremenko, Petrov, 2020] исследуется связь протестной активности и репрессий, которые она провоцирует. Авторы показывают, что ужесточение репрессивных мер приводит к более выраженному разделению между успешным и неудавшимся протестом. Также

подчеркивает важность интенсивности репрессивной реакции правительства на протесты: чем более непропорциональна эта реакция, тем менее стабильной становится ситуация. Последнее означает, что протест будет либо подавлен, либо станет чрезвычайно массовым, но вряд ли останется умеренным. Общий вывод работы состоит в следующем: подавление протеста снижает предсказуемость его дальнейшего развития.

Роли информации в современном мире, и, как следствие, роли медиасреды в глобализации посвящены статьи [Pronchev, Proncheva, Goncharova, 2019; Vasenina, Lipatova, Pronchev, 2019]. В работе [Pronchev, Proncheva, Goncharova, 2019] говорится о том, что в настоящее время важнейшим драйвером управления медиасредой являются процессы глобализации, а в качестве ключевой меры противодействия информационным угрозам авторы предлагают повышение уровня образования пользователей как в естественнонаучной, так и в гуманитарной сферах. В работе [Vasenina, Lipatova, Pronchev, 2019] анализируются особенности общественно-политической активности российской молодежи. Развитие интернет-технологий способствует появлению новых социальных виртуальных сред, влияющих на общественно-политическую активность представителей молодых поколений. В качестве эмпирической основы исследования в этой работе использован авторский социологический опрос. По результатам исследования констатируется в целом положительное отношение к социально-политическому сегменту российского общества. Мотивация молодых людей к участию в общественной жизни формируется на основе интереса к политике и их уверенности в возможности влиять на политические события. При оценке активности молодежи можно отметить ярко выраженную пассивную позицию, связанную с общим недоверием к политическому процессу.

Теория повестки была впервые предложена в работах [McCombs, Shaw, 1972; McCombs, Stroud, 2014]. Позже она получила развитие и была в том числе приложена к вопросам влияния повестки на исход информационного противоборства в случае, когда СМИ могли воздействовать на мнение индивидов, изменяя долю каждого из актуальных вопросов в структуре своих информационных потоков [Proncheva, 2020; Petrov, Proncheva, 2020b]. В связи с этим исследование структуры повестки становится важным с прикладной точки зрения и рассматривается в ряде статей (например, [Petrov, Proncheva, 2020a; Neuman et al., 2014]). В некоторых работах (например, [Henry, Gordon, 2001]) проводится оценка влияния повестки на интерес населения к рассматриваемым вопросам.

Другое направление академической работы — это анализ общественного внимания к событиям конкретных и специфических типов. Например, достаточно популярной темой для исследований (с разных точек зрения) является терроризм и преступность в США. Так, книга [King, Jacobson, 2017] посвящена анализу характера убийств в зависимости от того, какой группы населения оно коснулось: дети, женщины, пожилые и т. д. В частности, показано, что убийства детей вызывают больший ажиотаж в обществе.

Терроризм нередко исследуется с точки зрения его освещения в СМИ. Например, в работе [Pelled et al., 2021] проводится сравнительный анализ внимания новостных агентств к различным террористическим актам (различающимся по характе-

ристикам жертв, террористов и контекста). Авторы показывают, что освещение в новостях оказывается тем масштабнее, чем больше нечернокожих жертв (это подтверждается также, например, работами [Neely, 2015; Gruenewald, Pizarro, Chermak, 2009]), при этом смерть детей активнее освещается в умеренных СМИ, а в консервативных СМИ не делается акцент на наличие права на оружие в США. В работе [Kearns, Betus, Lemieux, 2019] ставится вопрос, почему «мусульманский терроризм» получает большее освещение в СМИ. Утверждается, что религия преступника является самым важным фактором, предсказывающим содержание новостной повестки, в то время как тип цели преступника, его арест и смертность во время инцидента также влияют на освещение. Авторы изучают освещение новостей LexisNexis Academic и CNN.com обо всех террористических актах в США в период с 2006 по 2015 гг. и показывают, что атаки мусульманских преступников с учетом типа цели, смертельных исходов и ареста получали в среднем на 357 % больше масштабное освещение, чем другие нападения. Различия в освещении событий в разрезе религии преступника может объяснить, почему представители общественности склонны бояться «мусульманского террориста», игнорируя при этом другие угрозы; более репрезентативное освещение могло бы помочь привнести общественное восприятие в соответствие с реальностью.

Проблеме исламского терроризма посвящена также работа [Powell, 2011]. В ней обсуждается, что террористы-мусульмане представлены в повестке иначе, чем все прочие, что усиливает страх населения перед «другими» с каждым террористическим актом. В работе [Parham-Payne, 2014] говорится о том, что террористические акты с участием этнических и расовых меньшинств зачастую преподносятся в СМИ сквозь призму недостатков, присущих определенной расе.

Наконец, в литературе можно найти работы, посвященные общественному вниманию к этой проблеме. Например, в статье [McClure, 2014] показано, что люди склонны проявлять больше интереса к протестам, в которых были человеческие жертвы. В качестве эмпирических данных были взяты данные из Google Trends¹, как и в настоящем исследовании. В то же время динамика общественного внимания к прошедшему событию и, в частности, характер его спада по мере удаления от новостного повода в академических работах до настоящего момента практически не исследовались.

Описание методологического подхода

В работе [Mikhailov et al., 2018] была построена модель, позволяющая делать сравнительный анализ реакции населения на прошедшее разовое политическое событие. Однако ее авторы сделали предположение о характере спада интереса, которое применимо не во всех ситуациях. В настоящей работе в качестве меры сравнения реакции общества на некоторое событие берется отношение числа запросов, сделанное в поисковой системе Google в первые два дня после события и в 4—5 дни после события. Данные собирались с помощью библиотеки `pytrends` Python², которая позволяет автоматически извлекать данные из сервиса Google

¹ Сервис Google Trends. URL: <https://trends.google.ru/trends/?geo=RU> (дата обращения: 25.07.2021).

² Библиотека Python Pytrends. URL: <https://github.com/GeneralMills/pytrends> (дата обращения: 25.07.2021).

Trends. Полученные временные ряды были без каких-либо модификаций использованы для дальнейшего анализа.

Автор рассматривает крупнейшие теракты, совершенные в США после 2011 г., в соответствии со списком, представленным на странице в Википедии³. Из этого перечня были исключены атаки в виде рассылки писем со спорами сибирской язвы и с рицином, поскольку указанные события не являются разовыми, а также стрельба в синагоге Питтсбурга, не вызвавшая общественного внимания, достаточного (в терминах количества запросов) для исследования. В итоге рассматривались следующие теракты, произошедшие в США с 2013 по 2020 гг.:

1) взрыв на Бостонском марафоне (15 апреля 2013 г.) (далее обозначается как Boston);

2) массовое убийство в городе Эль-Пасо (3 августа 2019 года) (далее — El Paso);

3) массовое убийство в Орландо (12 июня 2016 г.) (далее — Orlando);

4) массовое убийство в Сан-Бернардино (2 декабря 2015 г.) (далее — San Bernardino)

5) теракт в Нью-Йорке (31 октября 2013 г.) (далее — New York)

6) стрельба в Чарлстоне (17 июня 2015 г.) (далее — Charleston)

7) террористический акт в Нэшвилле (25 октября 2020 г.) (далее — Nashville).

Эти теракты классифицируются по своему характеру следующим образом:

— исламистские теракты: Boston, Orlando, San Bernardino, New York, Charleston;

— теракт, совершенный на расовой почве: El Paso;

— теракт, совершенный не на политической почве: Nashville.

Последний акт был совершен душевнобольным человеком, по сообщениям СМИ⁴, проводившим время, «охотясь за инопланетными формами жизни в близлежащем государственном парке», и выражавшим веру в ряд антинаучных теорий, таких как теория заговора рептилий [Radford, 2021].

В отношении каждого из терактов рассматривалась зависимость отношения числа запросов, сделанных в поисковой системе Google в первые два дня после события и в четвертый-пятый дни после события, к доле избирателей, голосовавших за республиканцев на ближайших к нему выборах. Данные о числе запросов собирались с помощью сервиса Google Trends, который предоставляет не абсолютные, а нормированные данные: значение 100 присваивается дню, в который было совершено наибольшее число запросов, значение 50 — дню, в который было совершено в два раза меньше запросов, чем в тот день, и т. д. Данные о выборах были взяты с официальных сайтов американских новостных агентств⁵. При дальнейшем исследовании числа запросов в каждом штате учитывался процент республиканцев в нем.

³ Список терактов в США. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Террористические_акты,_совершённые_в_США (дата обращения: 25.07.2021).

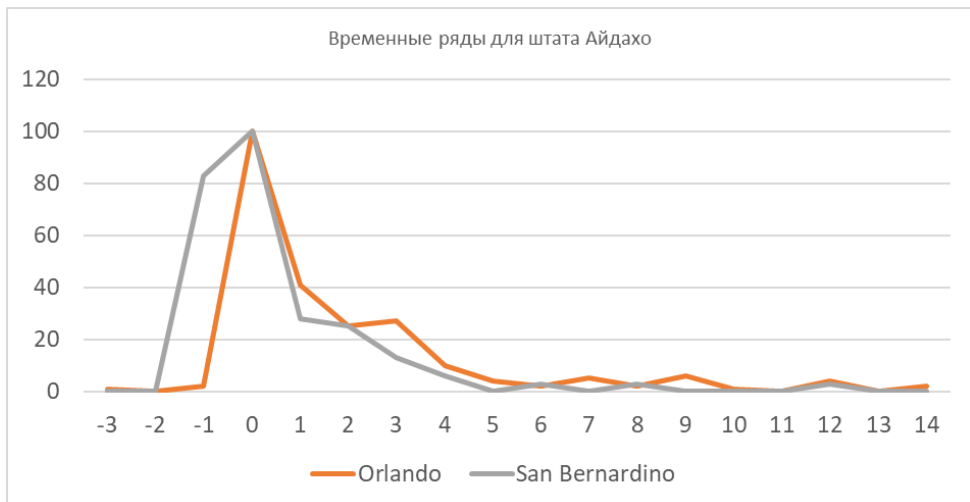
⁴ Deliso M., Katersky A., Margolin J., Date J. (2020). Nashville Latest: FBI Investigating Man's Properties, Remains Tied to Explosion. ABC News. December 26, 2020. URL: <https://abcnews.go.com/US/nashville-latest-authorities-investigating-500-tips-rv-explosion/story?id=74916083> (дата обращения: 25.07.2021).

⁵ Presidential Results//CNN Politics. 2020. URL: <https://edition.cnn.com/election/2020/results/president#mapmode=lead> (дата обращения: 25.07.2021); 2016 Presidential Elections Results//New York Times. 2016. URL: <https://www.nytimes.com/elections/2016/results/president> (дата обращения: 25.07.2021); 2012 Unites States Presidential Election//Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2012_United_States_presidential_election (дата обращения: 25.07.2021).

Полученные данные представляют собой временные ряды, в котором каждым суткам соответствует значение показателя, пропорциональное количеству запросов и нормированное на 100 (значение показателя, равное 100, соответствует дню с максимальным количеством запросов из данного штата за данный день; сутки считаются от 0 до 24 часов по местному времени). Для получения этих данных в случае каждого теракта с помощью библиотеки `pytrends` подсчитывалось число запросов по штату в период, начинающийся за три дня до совершения теракта и заканчивающийся через два недели после события. Для исследования реакции на взрыв на Бостонском марафоне исследовалось ключевое слово «Boston», с массовым убийством в Эль-Пасо ассоциируется ключевое слово «El Paso», с массовым убийством в Орландо — «Orlando», с массовым убийством в Сан-Бернардино — «San Bernardino», с терактом в Нью-Йорке — «New York», со стрельбой в Чарльстоне — «Charleston», с террористическим актом в Нэшвилле — «Nashville». Таким образом, в качестве ключевого слова всегда использовалось название того места, где произошло событие. Подсчет запросов по каждому событию начинается за три дня до самого события для демонстрации относительно низкой распространенности запросов по каждому ключевому слову; это позволяет убедиться в том, что фоновым шумом можно пренебречь⁶.

Ниже на рисунке 1 приведены примеры описанных временных рядов для штата Айдахо (для иллюстрации были выбраны данные по массовым убийствам в Орландо и Сан-Бернардино). Дальнейший анализ временных рядов происходил в той же программе.

Рис. 1. График зависимости нормированного числа запросов, касающихся терактов в Орландо и Сан-Бернардино, сделанных жителями штата Айдахо



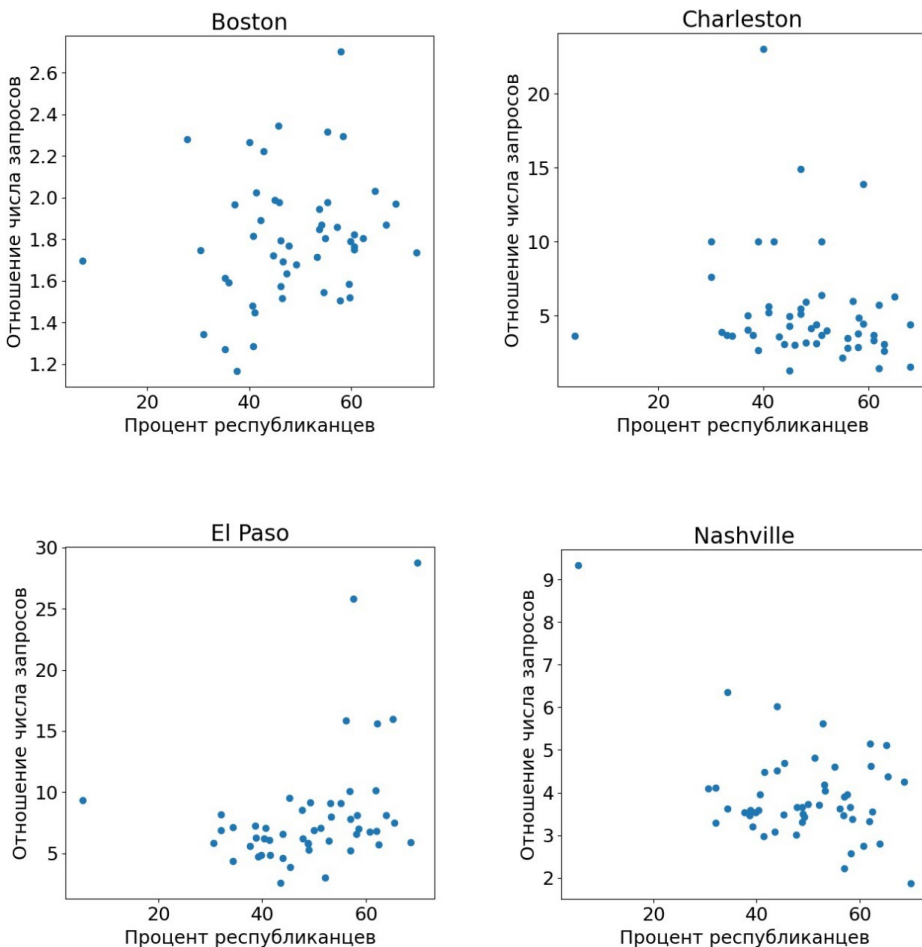
⁶ Код, использованный для извлечения данных и построения временных рядов, доступен [по ссылке](#).

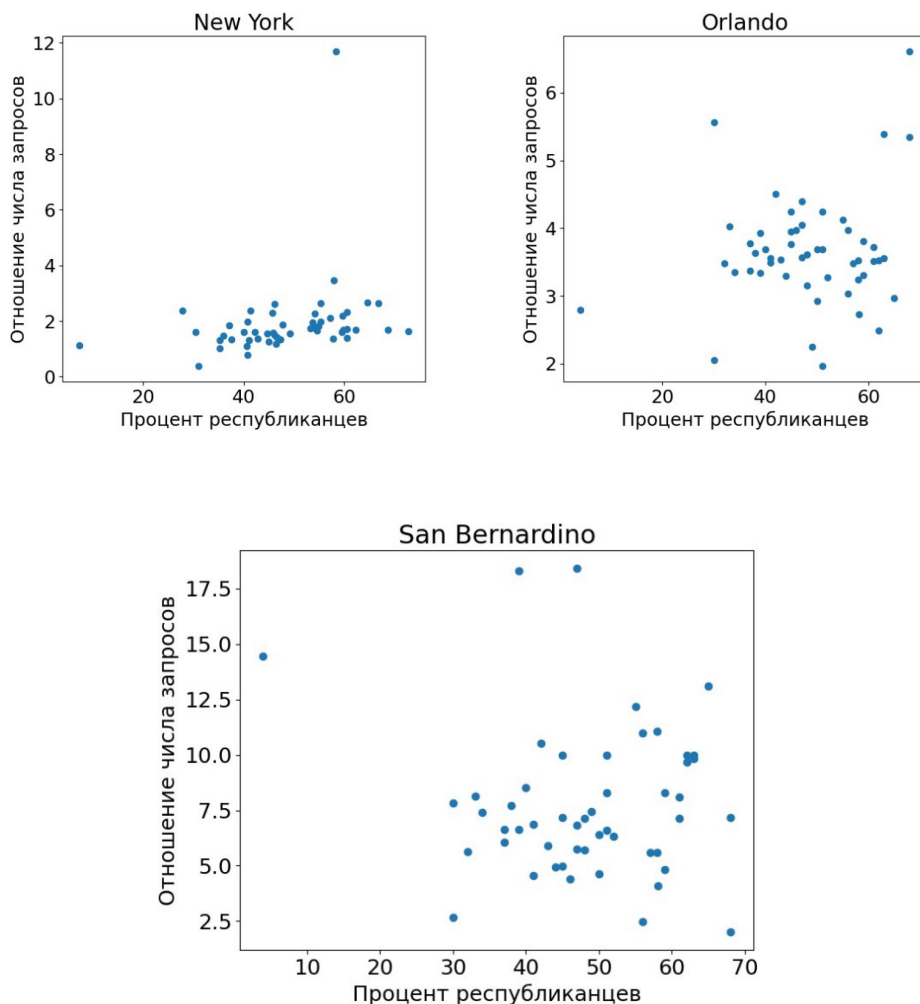
Результаты и выводы работы

В Приложении 1 представлены проценты республиканцев на выборах 2020, 2016 и 2012 гг. по каждому из штатов США, а в Приложении 2 — отношения числа запросов в первые два дня к числу запросов в 4—5 дни после событий.

На рис. 2 ниже представлены графики, где по оси абсцисс отмечен процент голосов, поданных за республиканского кандидата в конкретном штате на выборах, ближайших к дате события, а по оси ординат — отношение числа запросов за первые два после теракта к числу запросов за 4—5 дни.

Рис. 2. График зависимости скорости спада интереса к каждому из рассмотренных терактов от процента республиканцев в конкретном штате





В табл. 3 представлены коэффициенты корреляции Пирсона между скоростью сокращения интереса к выбранным событиям и поддержкой республиканских кандидатов в штатах США. Коэффициент корреляции Пирсона показывает величину линейной корреляции между двумя рядами. Этот коэффициент принимает значения от -1 до 1 , и коэффициент 1 соответствует полной положительной линейной связи, а коэффициент -1 — полной отрицательной. В качестве входных данных были взяты скорости спада интереса к прошедшему теракту (описание методики расчета скорости см. выше) в каждом штате и процент республиканцев в этом же штате; корреляция считалась по данным, приведенным в Приложениях 1 и 2 к статье.

Таблица 1. Характеристики линейной корреляции скорости сокращения интереса к терактам и поддержки республиканских кандидатов в штатах США

Событие	Характер теракта	Коэффициент корреляции	p-value
El Paso	Расизм	0,3644	0,008
Boston	Исламизм	0,199	0,162
New York	Исламизм	0,259	0,067
Orlando	Исламизм	0,185	0,193
San Bernardino	Исламизм	-0,0883	0,537
Charleston	Исламизм	-0,1613	0,258
Nashville	Прочее	-0,4258	0,0018

Из табл. 1 видно, что для четырех терактов (Boston, Orlando, San Bernardino, Charleston) не наблюдается статистически значимой связи между скоростью сокращения интереса пользователей поисковой системы Google к произошедшим событиям с тем, насколько республиканским является каждый штат (см. значения p-value в табл. 1). Для трех терактов (El Paso, New York и Nashville) эта связь является статистической значимой, при этом для двух терактов (El Paso, New York) коэффициент связи положительный, а для одного (Nashville) — отрицательный.

Таким образом, статистически значимая зависимость спада интереса социума к прошедшему теракту и политических предпочтений жителей штатов США наблюдается лишь для трех из семи рассмотренных событий. При этом жители республиканских штатов быстрее теряют интерес к политизированным терактам, а жители демократических штатов — к терактам, не имеющим политического окраса.

Список литературы (References)

Akhremenko A., Petrov A. (2020) Modeling the Protest-Repression Nexus. Proceedings of the Conference on Modeling and Analysis of Complex Systems and Processes 2020, October 22—24 (MACSPro 2020). P. 79—86. URL: <http://ceur-ws.org/Vol-2795/paper1.pdf>.

Gruenewald J., Pizarro J., Chermak S. M. (2009) Race, Gender, and the Newsworthiness of Homicide Incidents. *Journal of Criminal Justice*. Vol. 37. No. 3. P. 262—272.

Henry G. T., Gordon C. S. (2001) Tracking Issue Attention: Specifying the Dynamics of the Public Agenda. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 65. No. 2. P. 157—177. <https://www.doi.org/10.1086/322198>.

Kearns E. M., Betus A. E., Lemieux A. F. (2019) Why Do Some Terrorist Attacks Receive More Media Attention Than Others? *Justice Quarterly*. Vol. 36. No. 6. P. 985—1022. <https://www.doi.org/10.1080/07418825.2018.1524507>.

King D. M., Jacobson S. H. (2017) Random Acts of Violence? Examining Probabilistic Independence of the Temporal Distribution of Mass Killing Events in the United States.

Violence and Victims. Vol. 32. No. 6. <https://www.doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-16-00039>.

McClure K.N. (2014) When Do People Pay Attention? Violence and Non-violence in Political Movements and the Differential Media Attention Provided. *Critical Studies on Terrorism*. Vol. 7. No. 3. P. 394—410. <https://www.doi.org/10.1080/17539153.2014.954821>.

McCombs M., Stroud N. J. (2014) Psychology of Agenda-Setting Effects: Mapping the Paths of Information Processing. *Review of Communication Research*. Vol. 2. No. 1. P. 68—93.

McCombs M.E., Shaw D. L. (1972) The agenda-setting function of mass media. *Public opinion quarterly*. Vol. 36. No 2. P. 176—187.

Mikhailov A. P., Petrov A. P., Pronchev G. B., Proncheva O. G. (2018) Modeling a Decrease in Public Attention to a Past One-Time Political Event. *Doklady Mathematics*. Vol. 97. No. 3. P. 247—249.

Neely C. L. (2015) You're Dead — So What?: Media, Police, and the Invisibility of Black Women as Victims of Homicide. East Lansing, MI: Michigan State University Press. <https://doi.org/10.1177%2F0094306116671949kk>.

Neuman W. R., Guggenheim L., Jang S. M., Bae S. Y. (2014) The Dynamics of Public Attention: Agenda-Setting Theory Meets Big Data. *Journal of Communication*. Vol. 64. P. 193—214.

Parham-Payne W. (2014) The Role of the Media in the Disparate Response to Gun Violence in America. *Journal of Black Studies*. Vol. 45. No. 8. P. 752—768.

Pelled A., Lukito J., Foley J., Zhang Y., Sun Z., Pevehouse J., Shah D. (2021) Death Across the News Spectrum: A Time Series Analysis of Partisan Coverage Following Mass Shootings in the United States Between 2012 and 2014. *International Journal of Communication*. Vol. 15.

Petrov A. P., Lebedev S. A. (2019) Online Political Flashmob: the Case of 632305222 316434. *Computational Mathematics and Information Technologies*. No. 1. P. 17—28. <https://www.doi.org/10.23947/2587-8999-2019-1-1-17-28>.

Petrov A., Proncheva O. (2020a) Identifying the Topics of Russian Political Talk Shows. *CEUR Workshop Proceedings*. Vol. 2795. P. 79—86.

Petrov A. P., Proncheva O. G. (2020b) Modeling Position Selection by Individuals during Informational Warfare with a Two-Component Agenda. *Mathematical Models and Computer Simulations*. Vol. 12. No. 2. P. 154—163.

Powell K. A. (2011) Fm 9/11. *Communication Studies*. Vol. 62. No. 1. P. 90—112. <https://www.doi.org/10.1080/10510974.2011.533599>.

Pronchev G. B., Proncheva N. G., Goncharova I. V. (2019) Modern Management of Media Environment: Negative Effects for the Society of Today. *Journal of Environmental Treatment Techniques*. Vol. 7. No. 4. P. 836—840.

Proncheva O. (2020) A Model of Propaganda Battle with Individuals' Opinions on Topics Saliency. Proceedings of 2020 13th International Conference Management of Large-Scale System Development, MLSD 2020.

Radford B. (2021). Nashville Christmas Bomber: An Alien and Lizard-People Conspiracy Theorist. *Skeptical Inquirer*. Vol. 45. No. 2. P. 5—6.

Vasenina I. V., Lipatova M. E., Pronchev G. B. (2019) Particularities of Social and Political Activity of Russian Young People in Virtual Social Environments. *Espacios*. Vol. 40. No. 35. P. 1—16.

Приложение 1

Поддержка республиканцев в соответствии с результатами президентских выборов в США в 2020, 2016 и 2012 гг., %

Штат	Республиканцы (выборы 2020 г.)	Республиканцы (выборы 2016 г.)	Республиканцы (выборы 2012 г.)
ID	64	59	65
IA	53	51	46
AL	62	62	61
AK	53	51	55
AZ	49	48	54
AR	62	61	61
WY	70	68	69
WA	39	37	41
DC	5	4	7
VT	31	30	31
VA	44	44	47
WI	49	47	46
HI	34	30	28
DE	40	42	40
GA	49	50	53
WV	69	68	62
IL	41	38	41
IN	57	57	54
CA	34	32	37
KS	56	56	60
KY	62	63	60
CO	42	43	46
CT	39	41	41
LA	59	58,1	58
MA	32	33	38
MN	45	45	45
MS	58	58	55
MO	57	58	54
MI	48	47	45
MT	57	56	55
ME	44	45	41

Штат	Республиканцы (выборы 2020 г.)	Республиканцы (выборы 2016 г.)	Республиканцы (выборы 2012 г.)
MD	32	34	36
NE	58	59	60
NV	48	46	46
NH	45	47	46
NJ	41	41	41
NY	38	37	35
NM	44	40	43
OH	53	51	48
OK	65	65	67
OR	40	39	42
PA	49	48	47
RI	39	39	35
ND	65	63	58
NC	50	50	30
TN	61	61	59
TX	52	52	57
FL	51	49	49
SD	62	62	58
SC	55	55	55
UT	58	45	73

Приложение 2

Отношение числа запросов в первые два дня к числу запросов в 4—5 дни

Штат	El Paso	Boston	New York	Orlando	San Bernardino	Charleston	Nashville
ID	8,1	2,0	2,7	3,8	4,8	13,9	2,8
IA	9,1	1,6	2,6	4,3	8,3	6,4	4,2
AL	6,8	1,8	1,4	2,5	9,7	5,7	5,2
AK	6,0	1,8	1,8	2,0	10,0	10,0	5,6
AZ	5,3	1,9	1,9	3,2	5,7	5,9	3,5
AR	5,7	1,8	2,3	3,7	7,1	3,3	3,6
WY	28,8	2,0	1,7	6,6	7,2	4,4	1,9
WA	6,3	2,0	2,4	3,8	6,6	5,0	3,6
DC	9,3	1,7	1,1	2,8	14,5	3,7	9,3
VT	5,8	1,4	0,4	2,1	2,7	10,0	4,1
VA	6,6	1,6	1,3	3,3	4,9	3,1	4,5
WI	5,8	2,0	1,6	3,6	5,7	5,1	3,3
HI	4,3	2,3	2,4	5,6	7,8	7,6	6,4
DE	4,9	2,3	1,6	4,5	10,5	10,0	3,5
GA	9,1	1,7	1,7	2,9	6,4	4,4	3,4
WV	5,9	1,8	1,7	5,3	2,0	1,5	4,2
IL	7,1	1,8	2,0	3,6	7,7	3,7	4,0
IN	7,8	1,9	2,3	3,5	5,6	6,0	3,9
CA	7,1	2,0	1,9	3,5	5,6	3,9	3,6
KS	15,9	1,5	2,2	3,0	11,0	3,5	3,6
KY	15,6	1,8	1,7	3,6	9,8	2,6	4,6
CO	4,9	1,8	1,5	3,5	5,9	3,6	4,5
CT	4,7	1,3	0,8	3,6	4,6	5,6	3,2
LA	7,0	1,5	1,4	2,7	4,1	4,9	3,4
MA	8,2	1,2	1,3	4,0	8,1	3,7	4,1
MN	9,5	2,0	1,3	4,0	5,0	4,3	3,5
MS	25,8	2,0	2,6	3,2	11,1	3,8	4,0
MO	10,1	2,0	1,8	3,5	5,6	2,9	3,5
MI	6,2	1,7	1,6	4,1	6,9	5,5	3,7
MT	5,2	2,3	2,0	4,0	2,5	2,8	2,2
ME	4,6	1,4	1,3	3,8	10,0	1,3	6,0
MD	6,9	1,6	1,5	3,4	7,4	3,6	3,3

Штат	El Paso	Boston	New York	Orlando	San Bernardino	Charleston	Nashville
NE	8,1	1,8	1,7	3,3	8,3	4,4	2,6
NV	8,5	2,4	2,3	4,0	4,4	3,0	3,0
NH	3,9	1,5	1,2	4,4	18,4	14,9	4,7
NJ	6,1	1,5	1,1	3,5	6,9	5,2	3,0
NY	5,6	1,6	1,0	3,4	6,1	4,1	3,5
NM	2,6	2,2	1,4	3,7	8,5	23,0	3,1
OH	8,0	1,8	1,9	3,7	6,6	3,7	4,0
OK	7,5	1,9	2,6	3,0	13,1	6,3	4,4
OR	6,2	1,9	1,6	3,9	6,6	2,6	3,6
PA	5,8	1,7	1,4	3,6	7,1	3,2	3,7
RI	7,2	1,3	1,3	3,3	18,3	10,0	3,5
ND	16,0	2,3	11,7	5,4	10,0	3,1	5,1
NC	6,9	1,7	1,6	3,7	4,6	3,1	3,7
TN	6,7	1,6	1,6	3,5	8,1	3,7	2,7
TX	3,0	1,9	2,1	3,3	6,4	4,0	3,7
FL	7,1	1,7	1,5	2,3	7,5	4,1	4,8
SD	10,1	2,7	3,5	3,5	10,0	1,4	3,3
SC	9,1	1,5	1,7	4,1	12,2	2,2	4,6
UT	6,6	1,7	1,6	4,3	7,2	4,9	3,7

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.2022](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2022)



D. K. Stukal, I. B. Philippov

PROMOTING A LEADER OR A CAUSE? AN AGENT-BASED MODEL OF SOCIAL MEDIA BOTS

For citation:

Stukal D. K., Philippov I. B. (2022) Promoting a Leader or a Cause? An Agent-Based Model of Social Media Bots. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 22–38. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2022>.

Правильная ссылка на статью:

Стукал Д. К., Филиппов И. Б. Продвижение лидера или популяризация повестки? Агентно-ориентированная модель применения ботов в социальных сетях // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 22—38. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2022>. (In Eng.)

PROMOTING A LEADER OR A CAUSE? AN AGENT-BASED MODEL OF SOCIAL MEDIA BOTS

*Denis K. STUKAL¹ — Cand. Sci. (Polit.),
Leading Research Fellow, Laboratory
for Political Studies, Institute for Applied
Political Studies*

E-MAIL: dstukal@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6240-5714>

Ilya B. PHILIPPOV¹ — PhD Candidate

E-MAIL: ibfilippov@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1464-2923>

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. Automated social media accounts, a.k.a. social media bots, have been gaining increasing interest among scholars studying human online behavior in recent years. Despite the abundant literature on bots, their substantive effects remain understudied. This paper bridges the existing gap by developing a realistic computational model of human interactions on Twitter, a popular social media platform, that includes leaders, ordinary users, and bots attached to leaders. First, we employ this model to study the effects of bots with different functions on promoting their leader by gaining them extra followers or retweets. Second, we explore the effects of bots on promoting their leader's cause through increasing the volume of tweets with the leader's ideology. We show that bots can be detrimental to the leaders' personal popularity, whereas the effect on cause promotion depends on the distribution of

ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИДЕРА ИЛИ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПОВЕСТКИ? АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ БОТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СТУКАЛ Денис Константинович — кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник научно-учебной лаборатории политических исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: dstukal@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6240-5714>

ФИЛИППОВ Илья Борисович — аспирант, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: ibfilippov@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1464-2923>

Аннотация. В исследованиях политической активности в социальных сетях в последнее время все большее внимание уделяется автоматизированным аккаунтам, более известным как боты. Несмотря на обилие работ, посвященных этому явлению, воздействие ботов на социальную сеть и ее пользователей остается недостаточно исследованным. Данная статья направлена на заполнение этой лакуны и предлагает реалистичную вычислительную модель взаимодействий обычных пользователей, политических лидеров и их ботов в популярной социальной сети Twitter. В первую очередь мы используем модель для изучения последствий применения ботов для популяризации лидерского аккаунта с помощью приобретения новых подписчиков и ретвитов. Далее мы исследуем возможности ботов по продвижению лидерской политической позиции

bots among leaders. These results can be used for developing suitable research designs for further empirical estimation of the effects of bots.

благодаря увеличению общего объема публикаций, распространяющих идеологию лидера. Мы показываем, что применение ботов может вредить личной популярности лидеров, в то время как успехи в продвижении идеологической позиции зависят от распределения ботов между лидерами. В дальнейшем данные результаты могут быть использованы для разработки дизайна эмпирической проверки результатов применения ботов.

Keywords: social media, bot, agent-based model, political communication, activism

Ключевые слова: социальные медиа, агентно-ориентированная модель, политическая коммуникация, активизм, боты

Acknowledgments. The research was supported by RSF (project No. 20-18-00274), HSE University.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00274), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Introduction

The effects of social media platforms that were initially and optimistically dubbed as a liberation technology [Diamond, 2010] proved much more nuanced and complex, as these platforms have paved the way not only for new forms of pseudo-activism including slacktivism¹ [Christensen, 2011], but also for novel ways of manipulating public opinion and suppressing civil and political participation through the spread of misinformation, armies of paid trolls, and networks of automated accounts known as bots [Gunitsky, 2015; Tucker et al., 2017; Feldstein, 2019]. The latter technology has spawned a particularly large and diverse body of academic research developing new methods for bot detection [Chavoshi, Hamooni, Mueen, 2016; Davis et al., 2016; Sayyadiharikandeh, 2020], identifying strategies behind the use of bots in diverse contexts [Shao et al., 2018; Uyheng, Carley, 2019]. However, the importance of bots for human online behavior remains understudied. Can bots affect what human users consume on social media platforms? Are bots an effective tool for boosting their creators' ability to reach out to larger online audiences?

Answering causal questions about the effects of bots empirically would require complex experimental designs that may be unfeasible or unethical. This paper takes a different approach by developing a computational agent-based model of human

¹ Morozov E. (2009) The Brave New World of Slacktivism. *Foreign Policy*. May 19. URL: <https://foreignpolicy.com/2009/05/19/the-brave-new-world-of-slacktivism/> (accessed: 13.02.2022).

interactions on a social media platform like Twitter. The proposed model does not only allow us to capture important aspects of human online interactions on a popular social media platform or algorithm-induced patterns of human behavior but also to introduce different types of bots in the human network in a controlled way that enables us to measure the effects of bots under different scenarios.

We consider two main scenarios. First, bots are created and stay attached to a leader on only one side of the one-dimensional ideological space. Second, two leaders on different sides of the spectrum are equipped with bots. Both scenarios allow bots to operate under different regimes that involve doing nothing, posting tweets, following other users, or both. We exogenously vary the share of bots in the network and measure distinct metrics that gauge the ability of bots to gain new human followers or retweets to the leader on the one hand, or to contribute to the leader's cause by promoting tweets with her ideology through the network on the other.

We show that the presence of bots on only one side of the ideological spectrum generates qualitatively different results than the availability of bots to both leaders. In particular, we find that sophisticated bots equipped with multiple functions can damage the leader's ability to get human retweets, while assisting the leader in spreading the word through the network. The positive effect however goes away when bots are attached to both leaders, whereas the retweet-suppressing effect remains unchanged.

We make a two-fold contribution to the growing literature on the effects of bots on human behavior in social media environments. First, we develop a realistic and flexible model of human and non-human activity on a social media platform, thereby bridging the gap between empirical and theoretical research on online mobilization. Second, we use computational experiments to reveal and explore a previously understudied trade-off that social media users may face when choosing to launch a network of bots for promotion purposes. We show that different types of bots can be beneficial for the promotion of a cause, but detrimental to the promotion of a leader herself, thereby contributing to the growing body of literature on social media bots and online mobilization alike.

The paper proceeds as follows. Section two discusses the main lines of bot-related academic research and identifies some of the major gaps in the existing literature. Section three describes our computational model. Section four presents our findings. Section five concludes.

Literature review

The study of social media bots started with research on bot detection in the field of computer and data science. To date, scholars have proposed a variety of methods and tools for the automated detection of bots including diverse supervised [Davis et al., 2016; Varol et al., 2017; Stukal et al., 2017; Orabi et al., 2020] and unsupervised [Chavoshi et al., 2016; Wu et al., 2018; Khalil, Khan, Ali, 2020] machine learning techniques. Despite the voluminous literature on this topic, academics have expressed growing concerns about our technological capacity of identifying sophisticated inauthentic accounts that exhibit both automated and human behavior [Cresci et al., 2017; Grimme, 2017; Luceri et al., 2019].

The complexity of the bot-detection task is particularly worrisome, given a plethora of evidence that bots can be employed online for nefarious purposes, including ma-

nipulating public opinion about important political campaigns [Bastos, Mercea, 2019; Uyheng, Carley, 2019], spreading misinformation and propaganda [Shao et al., 2018], or threatening social and political activists [Treré, 2016]. On the other hand, previous research has also identified some cases of more positive use of bots for coordinating volunteer activities [Savage, Monroy-Hernandez, Höllerer, 2016] or assisting social media users in staying informed about recent news [Diakopoulos, 2019].

The case studies of bot deployment for the public good or public bad have been augmented with research on the activity strategies employed by bots. Empirical experimental research has shown that bots with higher levels of online activity and more developed algorithms for post generation tend to be more successful in gaining and retaining human followers [Freitas et al., 2015; Savvopoulos, Vikatos, Benevenuto, 2018]. It has also been shown that bots may infiltrate the network of social media users by randomly following, mentioning, or replying to other users [Shao et al., 2018]. This type of bot strategy was also highlighted in an agent-based computational model of the spread of information in a network of social media users² that revealed the potential superiority of the random targeting strategy over focusing on information hubs. This computational model is one of the few attempts to evaluate the effectiveness of bots in terms of bots' audience or the magnitude of the produced distortions in the network of users or posts. Systematic empirical research on this topic is hindered by both the lack of experimental data and ethical concerns on the one hand, and the complex mix of diverse algorithms that may control the behavior of bots on the other. As was previously claimed, bots would not necessarily be doing something they were told directly. Instead, they may be governed by abstract rules [Hegelich, Janetzko, 2016].

Given these complexities in solving the puzzle about the effects of bots empirically, a new line of theoretical research has emerged that has addressed the conundrum computationally through experiments with agent-based models. Bots have been studied in the spiral of silence context with the somewhat counter-intuitive finding that even small proportions of bots around 5 to 10 percent are able to change the opinion climate in the network [Ross et al., 2019; Cheng, Luo, Yu, 2020]. Alternatively, the activity of bots was also modeled in the context of disinformation spread where some more modest estimates of bot effects have been reported³ [Beskow, Carley, 2019].

We continue this line of research by developing a realistic agent-based model that captures major aspects of user interactions on Twitter. We then introduce bots into the network and monitor the outcomes of their activity under different settings.

Computational Model

Broadly speaking, our model builds on the idea that a good model of social media communication requires taking into account the indirect nature of communication in social media environments. Indeed, a Twitter user cannot interact with others directly. Instead, all online encounters are mediated by the platform interface that involves multiple screens with diverse content and a limited set of available actions regarding this content. Some of the screens may be personalized for a particular individual,

² Lou X., Flammini A., Menczer F. (2020) Manipulating the Online Marketplace of Ideas. URL: <https://arxiv.org/pdf/1907.06130v1.pdf> (accessed: 13.02.2022).

³ Ibidem.

whereas others can be identical across users. In the case of Twitter, an example of a personalized screen is the Twitter feed that shows a user the most relevant tweets that have been posted on the platform since the user's most recent login. The relevance of a tweet is measured by the platform's internal algorithms and depends on the user's previous online activity and her position in the network graph (i. e., who follows her and whom she follows). Put it differently, the feed content is unique for every user at all times. On the contrary, other screens, including a user's home page showing her original tweets and retweets, might look (almost) the same for everyone on Twitter.

From this screen-oriented perspective, any public communication in which platform users engage can change the screen content for everyone, because tweeting, retweeting, or commenting modify the user's home page and other users' feeds. In addition, retweeting and liking can also affect internal platform algorithms, thereby making changes in the personalized screens of other users.

Another aspect of mediated communication on Twitter is the central role of a tweet. Indeed, in many cases, Twitter users interact with each other through interacting with a tweet (the only exception being following or unfollowing other users). This mediation is a result of the platform architecture, design, and algorithms.

We build our model around these two aspects of mediated communication. The model does not seek to reproduce all the details of the platform functioning on Twitter but instead captures its fundamental characteristics. In particular, we model human interactions with the screens that are governed by internal algorithms that are in turn affected by users' activity. The key screen in our model is the feed. Users can interact with the tweets they can see in their feeds by retweeting (or not retweeting) those tweets and following or unfollowing their authors. All these actions make changes in the screens available to other users by changing the inputs for the algorithms that control individual feeds. In addition, users' feeds can get affected by bots, i. e., pseudo-users whose activity is controlled by algorithms. As the goals of bot creation and the strategies behind their deployment can be diverse, our model allows for bots with different types of functionalities.

Overall, the model includes three types of actors that are qualitatively and quantitatively different. First, we introduce ordinary users. Every time they are active (not necessarily at every iteration of the model), they can read their feed, look through and decide whether to follow back new followers, make a retweet or post an original tweet, follow, or unfollow another user based on her post.

Second, our model features leaders. These actors stand out among ordinary users due to their numeric characteristics. In particular, they get activated more often and can read or post larger volumes of tweets. Although our model allows for any number of leaders, we focus on the case of two leaders here for ease of presentation.

Finally, we introduce bots into the network. These actors can only get created by a leader, whom these bots follow. Besides, all bots of the same leader follow each other. Bots have the same activity characteristics as their leader, but the specific types of actions available to bots may be different and are controlled by a model hyperparameter that was introduced into the model in order to better understand the effects of bots. The available action types include tweeting or retweeting on the one hand, and random following of other users in order to get a reciprocal follow request

on the other. We implement this idea of random mutual followings within a probabilistic framework by introducing the 0.1 probability of a follow back. Hence, there are in total four combinations of bot functions ranging from no activity whatsoever to both functions activated. Interestingly, the no-activity bots can also play a role in the network, as they increase the number of followers their leader has, thereby potentially affecting the visibility of the leader.

A model run starts with a selection of a set of exogenous hyperparameters (shown in table 1). We then generate the network of users as a Barabasi-Albert random graph [Albert, Barabási, 2002] so that the nodes could be divided into a few elite nodes with a large number of followers and a large number of ordinary nodes (users). The resulting graph is only a starting point for our model, as the graph does not include bots at this stage. Besides, all ordinary users are very similar at initialization and have no features but the number and list of followers. However, this initial stage of network generation allows the model to identify leaders as top-2 users in terms of the numbers of followers. Once the two leaders are identified, they are also assigned ideological positions that are controlled with the model hyperparameter *leader_positions*. Then, once ideology was assigned to leaders, it also gets assigned to ordinary users. Every user gets a position between -1 and 1 . The assignment process is sequential and makes sure that the users who follow those with negative positions would not receive high positive values. Put it differently, the assignment mechanism reproduces user homophily.

Table 1. **Model hyperparameters**

Hyperparameter	Description
m	Number of outgoing edges network nodes have at initialization
numleaders	Number of leaders
totalP	Total number of users in the network
P	Number of non-bots in the network
b	Share of bots
leader_positions	Leaders' ideological positions
botshare_first	The share of bots attached to the first leader among all bots
alpha	Parameter controlling the distribution of activity levels over users
alpha2	Processing capacity parameter that controls the size of the processed feed
max_passiveness	Parameter that controls the minimum activity level
lifespan	Tweet lifespan
action_probability	Probability of tweeting; probability of following the author of the retweeted post; twice the probability of unfollowing a user
leader_boost	Leader's extra bonus to the probability of tweeting
tolerance	Maximum tolerated difference in ideological positions
steps	Number of iterations during a model run

Besides ideology, every user is characterized by the maximum time of inactivity and the processing capacity, i. e., the number of tweets they can read in one login session. These values are sampled from a power distribution so that only a few users receive high values of both features. In order to let the leaders stand out among ordinary users, they get particularly high values of two features through a special leaders' bonus value.

A user's activity status at any model iteration is probabilistic and depends on the number of the previous iterations when the user was not active (tracked with the clock parameter — see below) and the passiveness hyperparameter. For a leader, this probability gets a bonus boost. Overall, the probability of user activity is computed as follows:

$$P(\text{activity}) = \begin{cases} \frac{1}{(\text{passiveness} - \text{clock} + 1)} & | \text{leader} = 0 \\ \frac{1}{(\text{passiveness} - \text{clock} + 1)} + \text{leader_boost} & | \text{leader} = 1 \end{cases}$$

where the clock parameter is set to zero if the user is active at the current model iteration, otherwise it increases by one.

Network initialization concludes with the inclusion of bots that follow one or both leaders and have the same ideology, activity, and processing capacity. The proportion of bots that are assigned to each leader is controlled with a model hyperparameter.

Once bots are added, the model is ready for computational experiments. Each model iteration involves the following steps (except steps 6 and 8 that can be skipped depending on the regime in which bots operate in):

- (1) All previous unseen tweets are removed from user feeds.
- (2) A user undergoes an activity check. If it does not pass the check, the following steps are not made for this node.
- (3) A new user-specific feed is formed out of the set of all tweets available to the user. The user will read the content of the feed up to the user's processing capacity.
- (4) If the user is not a leader or a bot, she can follow a new follower back with a given probability (0.1 in this paper).
- (5) The user reads the feed up to her processing capacity, can follow or unfollow the authors of the read tweets, and can choose a tweet for retweeting.
- (6) If the user is a bot that has not selected any tweet for retweeting, it randomly selects an old tweet of this leader for retweeting.
- (7) The user posts an original tweet with a given probability fixed at 0.5 here.
- (8) If the user is a bot, it can randomly follow a new user.

The sorting of the posted tweets in a feed depends on two different values. First, each tweet receives a value that reflects its objective characteristics (e. g., the popularity of the tweet and its author's metadata). This value — referred to as score — is particularly important when the number of tweets that are eligible into a feed exceed the user's processing capacity. In this case, tweets are sorted in the descending order based on this value, which thereby helps identify the tweets a user will actually read. The score is measured as follows:

$$\text{score} = n \left(\frac{\text{indegree}}{\max_indegree + 1} + \frac{\text{retweets}}{\max_retweets + 1} + \frac{\text{subscribed_followings}}{\max_subscribed_followings + 1} \right),$$

where n is the number of times the tweet could have entered into the feed through different channels; *indegree* is the number of followers the author of the tweet has; *retweets* is the number of times this tweet has been seen by other users; *subscribed_followings* is the number of nodes that are followed by the user and follow the author of the tweet; prefix *max_* refers to the maximum values of the respective parameters in the whole feed.

The other value is more subjective and reflects a user's perception of a tweet. At step five of a model iteration, a user selected tweets for retweeting based on a value defined as follows:

$$\text{value} = \left(1 - \sqrt{(\text{position}_{\text{reader}} - \text{position}_{\text{tweet}})^2} \right) \times (\ln(\text{indegree} + 1) + 1).$$

We refer to this value as utility. Importantly, in addition to scoring each tweet based on its utility, the user also checks if the absolute difference between *position_{reader}* and *position_{tweet}* falls below a threshold that is set as a hyperparameter. If it exceeds the threshold, the user unfollows the author of the tweet or the retweet maker with probability 0.25. Finally, with probability 0.5 the tweet with the largest utility gets retweeted and with the same probability the user starts following its author.

We implement this computational model in Python 3 and use it to perform a set of computational experiments in order to better understand the potential mechanisms behind the effects of bots on online political mobilization.

Model results

This section presents the results of a series of computational experiments performed using our model. In all the experiments, the first leader was assigned the ideological position of -0.5 , whereas the other leader is ideologically located at 0.5 .

While the leaders' ideological positions remain fixed throughout our experiments, we vary the share of bots in the network starting with the no-bots situation (share = 0) and up to the case where bots make up half the platform population (share = 0.5). This wide range of values considered for the share of bots is motivated by previous empirical research on the proportion of automated accounts on Twitter showing that the proportion of bots may vary dramatically depending on the national context and the segment of Twitter under study. In particular, existing empirical estimates range between under 10 percent and up to 50 percent [Chu et al., 2012; Subrahmanian et al., 2016; Stukal et al., 2017].

In addition to varying the share of bots across computational experiments, we also consider different action types available to bots. There are four main regimes of bot operation: bots posting original tweets or retweeting their leader, bots randomly following other users, bots doing all these things together, or not doing anything at all.

Model experiments with a given set of hyperparameters (including a preset share of bots and a bot regime) are referred to as model runs and are repeated 26 times with different starting values of the pseudo-random number generator (random seeds). Each model run includes 500 model iterations.

In order to evaluate the effects of bots under different regimes, we measure multiple performance metrics that represent distinct goals that could potentially be achieved with the use of bots. First, we measure the ability of bots to reach out to humans by measuring the number of people subscribed to bots. Although this metric is bot-centered and might not seem substantively interesting, we report it as it is often the focus in experimental research on bots [Freitas et al., 2015; Savvopoulos et al., 2018].

Second, we measure the ability of bots to promote the leader's ideology. For this purpose, we measure the distance between the leader's ideology and the average ideological position of the tweets that human users read at the last 100 iterations of each model run.

Finally, we measure the number of human followers the first leader has, and the number of times human users retweeted this leader. These two metrics aim to measure the effectiveness of bots in boosting the leader's personal popularity and providing her with extra resources for reaching out and mobilizing her audiences.

Below, we report these performance metrics averaged across random seeds and account for the random variance of these metrics via 95 percent Gaussian confidence intervals. Figure 1 reports the results for the four main bot regimes. The top left panel of Figure 1 shows the bot-centered performance metrics and reveals that pure random following is the best bot strategy for achieving and retaining followers. Interestingly, this bot regime outperforms the regime of the full-fledged bot activity that allows bots to use all their functions. The rationale behind this finding is as follows. Human users make probabilistic decisions to unfollow someone if that user's post (either an original tweet or retweet) is too dissimilar from their own ideological positions. However, if bots cannot tweet or retweet and can only randomly follow other users in order to get follow back requests, human users in our model will not have a chance to notice any ideological dissimilarities between themselves and the bots. Thereby, the share of human users who follow bots attains the maximum if bots can only send follow requests and there are enough bots in the network. At the same time, when all functions are available to bots, users are actually able to observe bots' ideological positions through tweets and retweets; hence, the metric can hardly exceed 50 percent of human users who are located on the left-hand side of the ideological spectrum close to the first leader. Nevertheless, the performance metric for the full-fledged regime is statistically better than tweeting/retweeting. As one can see from this result, random following can get extra followers to bots.

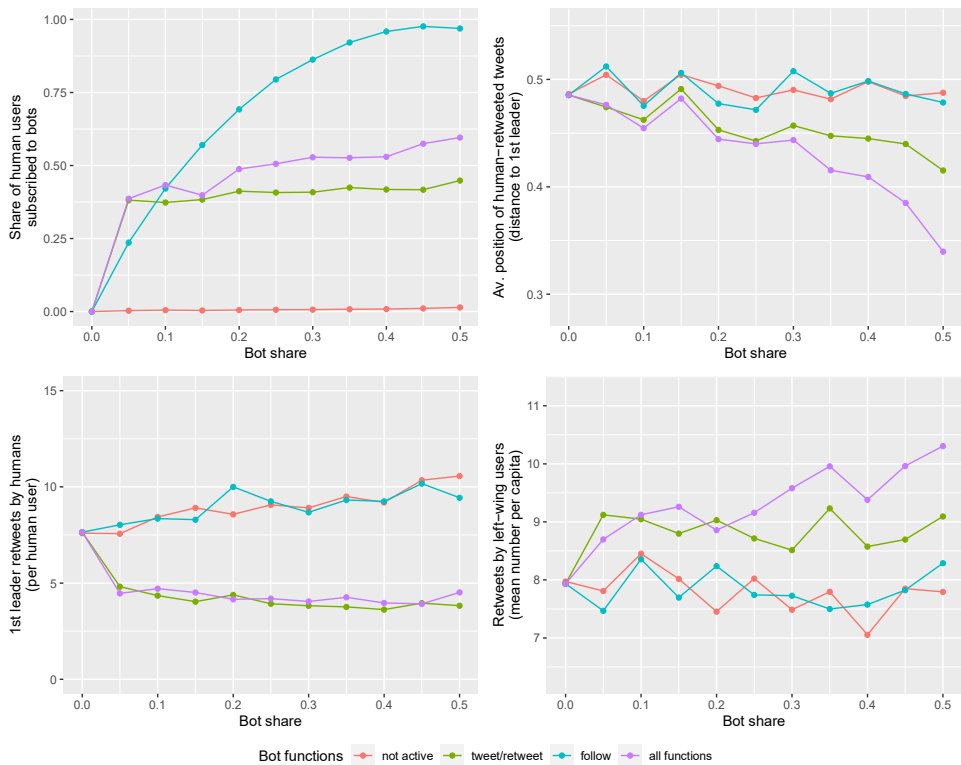
The right panels of Figure 1, both the top and bottom ones, present two different metrics related to the ability of bots to promote the leader's ideology. Unless bots can tweet or employ the full functionality, the average ideological position of the tweets retweeted by human users is located around zero, which is the center of the ideological spectrum (thus, the 0.5 distance from leader 1). However, if bots can tweet, they are able to amplify the leader's ideology. The more bots the network has, the smaller the distance between the average human-retweeted tweet and the first leader's position. The effect of the share of bots is particularly strong in the case of the full-fledged bot activity.

A substantively similar result can be inferred from the bottom right panel that shows the average number of retweets per capita that are posted by the users located on the left-hand side of the ideological spectrum, i. e., closer to leader 1. Here again, one can see that the number of tweets increases in the share of bots if these latter use the full functionality.

Importantly, these findings are substantially different from what one could infer from the top left panel. If the latter signals that silent bots are the best option for maximizing the network exposure to bots, the former goes beyond pure bot exposure and reveals other types of bots may be superior for the purposes of promoting a cause online.

The bottom left panel of figure 1 takes yet another perspective and looks at what bots can give the leader herself in terms of the number of retweets. This panel reveals a negative effect of the share of bots on the number of retweets that leader 1 gets in the case of tweeting bots; this negative effect persists regardless of whether bots can only tweet or combine this ability with other functionalities. This negative effect is driven by the fact that tweeting bots introduce extra tweets into the feeds of human users thereby distracting them and decreasing their ability to retweet the leader. From this perspective, even though having more tweeting bots does not damage the size of the leader's audience, it may have a negative impact on the leader's capability of getting her online audiences engaged.

Fig. 1. The effects of bots with different functionality (single-leader bots)

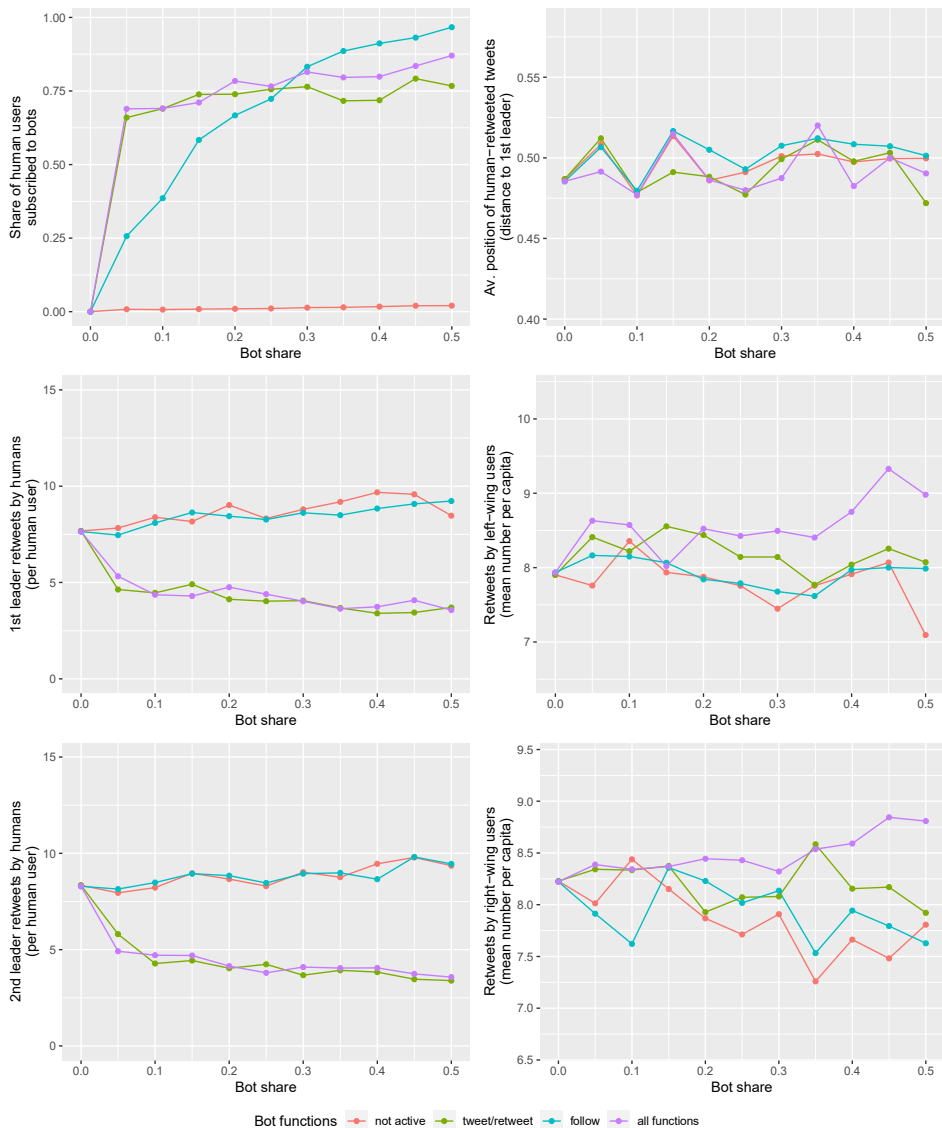


Summarizing the findings from figure 1, one can infer that bot deployment creates a trade-off for a leader. The most sophisticated bots can produce a strong boost to the leader's cause by exposing larger audiences to the cause-related message. However,

the same types of bots can substantially undermine the leader’s ability to spread her voice through human retweets.

One significant limitation of these findings is due to the presence of bots on only one side of the ideological spectrum. In many situations, including the Russian political context [Stukal et al., 2019], bots are deployed on both sides of the spectrum. We now turn to this more realistic scenario and consider the case of bots attached to one of the two leaders. The results for this case are presented in figure 2.

Fig. 2. The effects of bots with different functionality (bots attached to both leaders)



The top left-hand side panel corroborates our discussion of the results of the previous figure. As it was also the case before, the pure random following makes it possible for bots to achieve the maximum possible audience when enough bots are present. Tweeting bots and bots with the full-fledged activity, however, demonstrate even more impressive results than bots with the random following functionality. Indeed, all these bots could hardly exceed 50 percent on the left-hand side of figure 1, but they achieve almost complete coverage of platform users when bots are located at both sides of the spectrum. As it was also the case before, inactive bots remain unfollowed by human users.

The ability of bots to promote the first leader's cause (shown on the right-hand side of the top two rows in figure 2) gets trumped by the activity of the other leader's bots. In fact, the distance between the average ideological position of the tweets consumed by human users and the position of the first leader remains basically stable no matter what the share of bots is. The situation is identical also for the second leader (see the bottom right panel in figure 2).

The personal boosts that either leader can get from deploying bots (shown on the middle and bottom left panels in figure 2) reveal a very similar pattern to what was inferred from figure 1. In particular, one can see a detrimental effect of tweeting bots and the full-fledged bot activity on either leader.

Thus, this more realistic case reveals that even though the deployment of bots is not necessarily useful for promoting the leader herself, this might work as a defense strategy against the cause-promotion bot effects described in figure 1. Overall, the benefits of having bots depend on what the goal of bot deployment is. Bots can indeed help increase the number of followers (although only to a very limited extent) but may be unhelpful or even harmful for boosting leaders' retweets.

Conclusion

Social media bots have become a common element of the social media environment. Previous studies have shown that bots can exhibit large variation in their sophistication, activity levels, or types of produced content. Large bodies of literature exist on the technologies of bot detection; a plethora of studies have documented cases of the use of bots for commercial and political purposes in a number of countries. What remains however unclear is whether bots actually matter. Although the empirical puzzle is yet to be solved, this paper makes a two-fold contribution to the studies of the effects of bots on human behavior in social media environments.

First, we develop a realistic and flexible computational agent-based model of politically relevant interactions on Twitter. We consider three types of users, including leaders, ordinary users, and bots. All the users are assigned ideological positions and some tolerance towards ideological dissimilarity. Users can tweet, retweet, follow or unfollow other users based on their ideological positions. Bots are introduced in this network as attachments to leaders with different types of functionalities. We then vary the share of bots in the network and types of actions available to bots to see how the presence of different types of bots can change the metrics that may be relevant to the leaders.

Second, we use computational experiments to reveal and explore a previously understudied trade-off that social media users may face when choosing to launch

a network of bots for promotion purposes. In particular, we focus on two cases. In the first case, we consider the bots attached to one leader only. After running a series of computational experiments, we show that highly sophisticated bots and bots that are able to tweet or retweet can contribute to the leader's cause by making it more visible to the network audiences. However, the same types of bots can harm the leader's ability to engage with the audience, as the number of retweets the leader gets decreases in the share of bots. Hence, the deployment of bots creates a trade-off for a leader who would need to choose whether to promote the cause or herself.

In the second case, we consider a polarized situation with two leaders both having bots attached. In this case, the ability of bots to promote the leader's cause disappears. However, the same types of bots are still able to make it harder for a leader to get retweets. What is common for both cases is the small positive effect of bots on the leaders' ability to get extra followers, but the size of the effect is close to trivial.

Our results highlight some of the fundamental challenges for empirical research focused on measuring the effects of bots. One of these challenges is the dependence of the effects of bots on the network ecosystem. Introducing bots on the other side of the ideological spectrum resulted in important changes in our results. As the potential real-life cases of bot deployment are much more diverse than the ones we have considered in this paper, the empirical findings can be hard to generalize beyond the sample under study.

Another challenge is due to the variety of bots. Although this paper considered ideal-type situations with all bots having a predefined set of functions on, real-life situations would typically witness bots with diverse levels of sophistication and less clear patterns.

Further research is required to develop convincing empirical designs that would allow researchers to tease out the effects of the distinct types of bots on diverse groups of audiences and provide empirical measures of the effectiveness of bots as an amplification technology.

References

- Albert R., Barabási A. (2002) Statistical Mechanics of Complex Networks. *Reviews of Modern Physics*. Vol. 74. No. 1. P. 47—97. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.47>.
- Bastos M. T., Mercea D. (2019) The Brexit Botnet and User-Generated Hyperpartisan News. *Social Science Computer Review*. Vol. 37. No. 1. P. 38—54. <https://doi.org/10.1177/0894439317734157>.
- Beskow D. M., Carley K. M. (2019) Agent Based Simulation of Bot Disinformation Maneuvers in Twitter. In: *2019 Winter Simulation Conference (WSC)*. National Harbor, MD: IEEE. P. 750—761. <https://doi.org/10.1109/WSC40007.2019.9004942>.
- Chavoshi N., Hamooni H., Mueen A. (2016) DeBot: Twitter Bot Detection via Warped Correlation. In: *2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining (ICDM)*. Barcelona: IEEE. P. 817—822. <https://doi.org/10.1109/ICDM.2016.0096>.

Cheng C., Luo Y., Yu C. (2020) Dynamic Mechanism of Social Bots Interfering with Public Opinion in Network. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*. Vol. 551. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124163>.

Christensen H. S. (2011) Political Activities on the Internet: Slacktivism or Political Participation by Other Means? *First Monday*. Vol. 16. No. 2. <https://doi.org/10.5210/fm.v16i2.3336>.

Chu Z., Gianvecchio S., Wang H., Jajodia S. (2012) Detecting Automation of Twitter Accounts: Are You a Human, Bot, or Cyborg? *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*. Vol. 9. No. 6. P. 811—824. <https://doi.org/10.1109/TDSC.2012.75>.

Cresci S., Di Pietro R., Petrocchi M., Spognardi A., Tesconi M. (2017) The Paradigm-Shift of Social Spambots: Evidence, Theories, and Tools for the Arms Race. In: *WWW'17 Companion: Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion*. Geneva: International World Wide Web Conference Steering Committee. P. 963—972. <https://doi.org/10.1145/3041021.3055135>.

Davis C. A., Varol O., Ferrara E., Flammini A., Menczer F. (2016) BotOrNot: A System to Evaluate Social Bots. In: *WWW'16 Companion: Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web*. Geneva: International World Wide Web Conference Steering Committee. P. 273—274. <https://doi.org/10.1145/2872518.2889302>.

Diakopoulos N. (2019) *Automating the News: How Algorithms Are Rewriting the Media*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Diamond L. (2010) Liberation Technology. *Journal of Democracy*. Vol. 21. No. 3. P. 69—83.

Feldstein S. (2019) The Road to Digital Unfreedom: How Artificial Intelligence Is Reshaping Repression. *Journal of Democracy*. Vol. 30. No. 1. P. 40—52.

Freitas C., Benevenuto F., Ghosh S., Veloso A. (2015) Reverse Engineering Socialbot Infiltration Strategies in Twitter. In: *ASONAM'15: Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining 2015*. New York, NY: Association for Computing Machinery. P. 25—32. <https://doi.org/10.1145/2808797.2809292>.

Grimme C., Preuss M., Adam L., Trautmann H. (2017) Social Bots: Human-Like by Means of Human Control? *Big Data*. Vol. 5. No. 4. P. 279—293. <https://doi.org/10.1089/big.2017.0044>.

Gunitsky S. (2015) Corrupting the Cyber-Commons: Social Media as a Tool of Autocratic Stability. *Perspectives on Politics*. Vol. 13. No. 1. P. 42—54. <https://doi.org/10.1017/S1537592714003120>.

Hegelich S., Janetzko D. (2016) Are Social Bots on Twitter Political Actors? Empirical Evidence from a Ukrainian Social Botnet. In: *Proceedings of the Tenth International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*. Palo Alto, CA: AAAI Press. P. 579—582.

Khalil H., Khan M. U., Ali M. (2020) Feature Selection for Unsupervised Bot Detection. In: *2020 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET)*. Piscataway, NJ: IEEE. P. 1—7. <https://doi.org/10.1109/iCoMET48670.2020.9074131>.

Luceri L., Deb A., Giordano S., Ferrara E. (2019) Evolution of Bot and Human Behavior During Elections. *First Monday*. Vol. 24. No. 9. <https://doi.org/10.5210/fm.v24i9.10213>.

Orabi M., Mouheb D., Al Aghbari Z., Kamel I. (2020) Detection of Bots in Social Media: A Systematic Review. *Information Processing & Management*. Vol. 57. No. 4. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102250>.

Ross B., Pilz L., Cabrera B., Brachten F., Neubaum G., Stieglitz S. (2019) Are Social Bots a Real Threat? An Agent-Based Model of the Spiral of Silence to Analyse the Impact of Manipulative Actors in Social Networks. *European Journal of Information Systems*. Vol. 28. No. 4. P. 394—412. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2018.1560920>.

Savage S., Monroy-Hernandez A., Höllerer T. (2016) Botivist: Calling Volunteers to Action Using Online Bots. In: *CSCW'16: Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing*. New York, NY: Association for Computing Machinery. P. 813—822. <https://doi.org/10.1145/2818048.2819985>.

Savvopoulos A., Vikatos P., Benevenuto F. (2018) Socialbots' First Words: Can Automatic Chatting Improve Influence in Twitter? In: *2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)*. Piscataway, NJ: IEEE. P. 190—193. <https://doi.org/10.1109/ASONAM.2018.8508786>.

Sayyadiharikandeh M., Varol O., Yang K.-C., Flammini A., Menczer F. (2020) Detection of Novel Social Bots by Ensembles of Specialized Classifiers. In: *CIKM'20: Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management*. New York, NY: Association for Computing Machinery. P. 2725—2732. <https://doi.org/10.1145/3340531.3412698>.

Shao C., Ciampaglia G. L., Varol O., Yang K.-C., Flammini A., Menczer F. (2018) The Spread of Low-Credibility Content by Social Bots. *Nature Communications*. Vol. 9. P. 1—9. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06930-7>.

Stukal D., Sanovich S., Bonneau R., Tucker J. A. (2017) Detecting Bots on Russian Political Twitter. *Big Data*. Vol. 5. No. 4. P. 310—324. <https://doi.org/10.1089/big.2017.0038>.

Stukal D., Sanovich S., Tucker J. A., Bonneau R. (2019) For Whom the Bot Tolls: A Neural Networks Approach to Measuring Political Orientation of Twitter Bots in Russia. *Sage Open*. Vol. 9. No. 2. P. 1—16. <https://doi.org/10.1177/2158244019827715>.

Subrahmanian V. S., Azaria A., Durst S., Kagan V., Galstyan A., Lerman K., Zhu L., Ferrara E., Flamini A., Menczer F. (2016) The DARPA Twitter Bot Challenge. *Computer*. Vol. 49. No. 6. P. 38—46. <https://doi.org/10.1109/MC.2016.183>.

Treré E. (2016) The Dark Side of Digital Politics: Understanding the Algorithmic Manufacturing of Consent and the Hindering of Online Dissidence. *IDS Bulletin*. Vol. 47. No. 1. P. 127—138. <https://doi.org/10.19088/1968-2016.111>.

Tucker J. A., Theocharis Y., Roberts M. E., Barberá P. (2017) From Liberation to Turmoil: Social Media and Democracy. *Journal of Democracy*. Vol. 28. No. 4. P. 46—59.

Uyheng J., Carley K. M. (2019) Characterizing Bot Networks on Twitter: An Empirical Analysis of Contentious Issues in the Asia-Pacific. In: Thomson R., Bisgin H., Dancy C., Hyder A. (eds.) *Social, Cultural, and Behavioral Modeling*. Cham: Springer. P. 153—162. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21741-9_16.

Varol O., Ferrara E., Davis C. A., Menczer F., Flammini A. (2017) Online Human-Bot Interactions: Detection, Estimation, and Characterization. In: *Proceedings of the Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2017)*. Vol. 11. No. 1. P. 280—289. URL: <https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/14871> (accessed: 13.02.2022).

Wu W., Alvarez J., Liu C., Sun H. M. (2018) Bot Detection Using Unsupervised Machine Learning. *Microsystem Technologies*. Vol. 24. P. 209—217. <https://doi.org/10.1007/s00542-016-3237-0>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1982](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1982)



С. В. Мареева, Е. Д. Слободенюк, В. А. Аникин

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СОЦИАЛЬНЫМ НЕРАВЕНСТВАМ В ЭПОХУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РОССИИ: ВАЖНА ЛИ СУБЪЕКТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ?

Правильная ссылка на статью:

Мареева С. В., Слободенюк Е. Д., Аникин В. А. Толерантность к социальным неравенствам в эпоху неопределенности в России: важна ли субъективная мобильность? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 39—60. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1982>.

For citation:

Mareeva S. V., Slobodenyuk E. D., Anikin V. A. (2022) Public Tolerance for Social Inequalities in Turbulent Russia: Reassessing the Role of Subjective Mobility. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 39–60. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1982>. (In Russ.)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СОЦИАЛЬНЫМ НЕРАВЕНСТВАМ В ЭПОХУ НЕОПРЕ- ДЕЛЕННОСТИ В РОССИИ: ВАЖНА ЛИ СУБЪЕКТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ?

МАРЕЕВА Светлана Владимировна — кандидат социологических наук, заведующий Центром стратификационных исследований Института социальной политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: s.mareeva@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2057-8518>

СЛОБОДЕНЮК Екатерина Дмитриевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: eslobodenyuk@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4255-5050>

АНИКИН Василий Александрович — кандидат экономических наук, PhD, старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: vanikin@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2316-4628>

Аннотация. В статье на данных общероссийских репрезентативных исследований, проведенных в рамках международной программы ISSP в 1992—2019 гг., а также исследования ФНИСЦ РАН 2020 г. рассматривается восприятие социального неравенства населением, его динамика и роль

PUBLIC TOLERANCE FOR SOCIAL INE- QUALITIES IN TURBULENT RUSSIA: RE- ASSESSING THE ROLE OF SUBJECTIVE MOBILITY

*Svetlana V. MAREEVA*¹ — *Cand. Sci. (Soc.), Director of the Centre for Stratification Studies, Institute for Social Policy*
E-MAIL: s.mareeva@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2057-8518>

*Ekaterina D. SLOBODENYUK*¹ — *Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher at the Centre for Stratification Studies, Institute for Social Policy*
E-MAIL: eslobodenyuk@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4255-5050>

*Vasily A. ANIKIN*¹ — *Cand. Sci. (Econ.), PhD, Senior Researcher at the Centre for Stratification Studies, Institute for Social Policy*
E-MAIL: vanikin@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2316-4628>

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. Based on the data of all-Russian representative studies conducted within the framework of the international ISSP program in 1992–2019, as well as the 2020 study of the Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, the article examines the perception of social inequality by the

социальной мобильности как фактора его дифференциации. Показано, что по восприятию доходного неравенства ситуация остается схожей с картиной, характерной еще для 1990-х годов — совсем другого этапа развития страны. Подавляющее большинство россиян и сегодня считают неравенство доходов излишне высоким и несправедливым. Такие представления и связанный с ними высокий запрос на перераспределение не различаются в разных социально-демографических и социально-экономических группах. Опыт социальной мобильности также не приводит к значимой дифференциации в этом отношении; слабым влиянием характеризуется и ожидаемая мобильность в среднесрочной перспективе. Относительно заметно «работают» в этом отношении только краткосрочные ожидания: если они позитивны, то снижают негативное восприятие доходного неравенства и запрос на перераспределение. Что касается восприятия немонетарных неравенств, то нормативные представления о том, минимизация каких из них необходима для достижения социальной справедливости, оказываются схожими в группах с разным направлением ожидаемой или уже совершенной мобильности. Это позволяет сделать вывод о том, что восприятие и монетарного, и немонетарных неравенств, как и запросы на их сокращение, формируются в большей степени исходя из нормативных представлений о «должном» устройстве общества и оценки его соответствия наблюдаемой реальности, чем из особенностей индивидуальной ситуации, в том числе и ожидаемой или фактической мобильности.

population, its dynamics, and the role of social mobility as a factor in its differentiation. The authors show that, in terms of the perception of income inequality by the population, the situation resembles the one seen in the 1990s, during a completely different stage of the country's development. The overwhelming majority of Russians today consider income inequality to be unnecessarily high and unfair. Such perceptions and the associated high demand for redistribution do not differ across socio-demographic and socio-economic groups. The experience of social mobility also does not lead to significant differentiation in this respect, and the expected mobility in the medium term is characterized by a weak influence. Only short-term expectations work relatively noticeably in this regard: if they are positive, they reduce the negative perception of income inequality and the demand for redistribution. As for the perception of non-monetary inequalities, normative ideas about their minimization aimed at achieving social justice turn out to be similar in groups with different directions of expected or already completed mobility. Thereby, the perception of both monetary and non-monetary inequalities, as well as requests for their reduction, are formed to a greater extent on the basis of normative ideas about the “proper” structure of society and an assessment of its compliance with the observed reality than on the characteristics of an individual situation, including expected or actual mobility.

Ключевые слова: неравенство доходов, немонетарные неравенства, субъективное восприятие неравенства, социальная мобильность, уровень жизни

Keywords: income inequality, non-monetary inequality, perception of inequality, social mobility, living standards

Благодарность. Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2020-928).

Acknowledgments. The study was carried out within a grant provided by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Grant Agreement No.: 075-15-2020-928).

Введение

В данной статье мы анализируем восприятие неравенства в современном российском обществе и его дифференциацию в группах с разными траекториями социальной мобильности. Неравенство остается ключевым вызовом социально-экономического развития для мира в целом и для отдельных стран, в том числе и для России. Основное внимание в последние годы уделяется его монетарному измерению, однако все чаще отмечается, что неравенство не может быть сведено к различиям в доходах — со временем большее значение приобретают немонетарные измерения, а также субъективное восприятие неравенства населением.

Рассмотрение социальной мобильности обогащает анализ проблемы неравенства, так как перемещение людей между позициями способно не только сгладить или усугубить сами неравенства, но и повлиять на их восприятие [Shorrocks, 1978]¹. Гипотезы о зависимости между социальной мобильностью, с одной стороны, и толерантностью общества к неравенствам и запросу на перераспределение — с другой, выдвинутые в научной литературе, предполагают, что наблюдаемая социальная мобильность в обществе и ожидания относительно будущей восходящей мобильности для себя или своих детей повышают толерантность к неравенствам. Эти гипотезы неоднократно тестировались в литературе; проводилась их проверка и для России в 1990-х годах [Ravallion, Lokshin, 2000], однако с тех пор социально-экономические реалии в стране качественно трансформировались, и вопрос о взаимосвязи социальной мобильности и восприятия неравенства вновь открыт.

В данной работе мы обращаемся к вопросу о том, *влияет ли и сегодня социальная мобильность (как испытанная, так и ожидаемая) на восприятие неравенства в России*. Для ответа на этот вопрос мы рассматриваем общий контекст и анализируем восприятие монетарного неравенства населением и его динамику (с точки зрения его масштаба, степени справедливости и запроса на перераспределение), показываем сравнительное положение страны в этом отношении на мировом фоне, а также оцениваем степень дифференциации восприятия монетарного неравенства населением в разных социальных группах, в том числе различаю-

¹ См. также: OECD (2018) A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. <https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264301085-en> (дата обращения 18.05.2021).

щихся своим опытом мобильности и ожиданиями будущих изменений. Затем мы расширяем поле нашего анализа за счет включения в рассмотрение немонетарных неравенств и анализа социальной мобильности как фактора, дифференцирующего отношение к ним (с точки зрения их фактической болезненности для россиян, а также восприятия необходимости их сокращения в рамках нормативной модели желаемого общественного устройства). Это позволяет нам получить более полную и многомерную картину сложного явления субъективно воспринимаемого неравенства.

Эмпирической базой нашего исследования выступают данные четырех волн российского массива исследования ISSP²: 1992 г. (1944 респондентов), 1999 г. (1705 респондентов), 2009 г. (1603 респондентов) и 2019 г. (1626 респондентов). Именно в эти годы проводились тематические волны, посвященные проблематике восприятия неравенства. Для анализа отражения немонетарных неравенств в общественном сознании мы обращаемся к данным общероссийского репрезентативного обследования ФНИСЦ РАН, проведенного в 2020 г. (2000 респондентов)³.

Восприятие неравенства и социальная мобильность: опыт предыдущих исследований

Исследования, посвященные субъективному восприятию неравенства, сходятся в том, что население обычно неверно оценивает и уровень неравенства в стране, и свое положение в доходной иерархии (подробный обзор и оценку смещений для России см. у [Гимпельсон, Чернина, 2020]). Однако запрос на сокращение неравенства оказывается связан в первую очередь именно с субъективной оценкой неравенства, а не его фактической глубиной [Gimpelson, Treisman, 2018]. Очевидно также, что существуют и другие факторы, влияющие на восприятие неравенства и запрос на перераспределение, в число которых входит социальная мобильность.

Одна из ключевых гипотез о влиянии социальной мобильности на отношение к неравенству была выдвинута А. Хиршманом. Он предположил, что толерантность к неравенствам будет выше, если население наблюдает социальную мобильность в обществе, даже если она пока не затрагивает их лично [Hirschman, Rothschild, 1973]⁴. Вторая известная гипотеза, связанная с мобильностью, которая также проверялась и была частично подтверждена путем экономического моделирования [Venabou, Ok, 2001], предполагает более низкий запрос на перераспределение среди тех, кто ожидает, что их дети (или они сами, как было показано в более поздних работах) в будущем будут иметь доходы выше средних.

² ISSP — Международная Программа Социальных Исследований (International Social Survey Programme) — международное ежегодное мониторинговое исследование по важным для социальных наук вопросам. URL: <http://issp.org>.

³ Общероссийское репрезентативное обследование было проведено осенью 2020 г. Модель выборки предполагала квоты по типам поселений, полу, возрасту и социально-профессиональной принадлежности рамках каждого территориально-экономического района. Авторы выражают благодарность руководству ФНИСЦ РАН за возможность использовать данные исследования.

⁴ Говоря о толерантности к неравенствам в быстро развивающихся странах, Хиршман проводил аналогию с машинами, застрявшими в транспортной пробке в туннеле. Если вторая полоса начинает движение, то те, кто стоит в первой полосе, воспринимают это как обнадеживающий сигнал о том, что и им вскоре предстоит сдвинуться с места. Если же этого не происходит, то движение соседней полосы начинает восприниматься как следствие нарушения правил и нечестной игры и приводит к недовольству. Эта гипотеза получила название «туннельного эффекта».

Эмпирические работы, проверяющие наличие взаимосвязи между отношением к неравенствам и социальной мобильностью, тестируют ее различные типы: меж- и внутригенерационную, фактическую и ожидаемую, общие представления населения о мобильности в обществе — ее масштабах, специфике и факторах. Варьируются и замеры отношения к неравенствам. Могут использоваться оценки их глубины, их приемлемость, интенсивность запроса на перераспределение — от прямой оценки необходимости перераспределения до голосования за те или иные партии — и другие индикаторы [Graham, Pettinato, 1999; Tóth, 2008; Gimpelson, Monusova, 2014; Larsen, 2016]. Исследования подтвердили, что анализ искомой связи обогащается использованием субъективных показателей как в отношении мобильности, так и в отношении неравенства [Kuhn, 2011; Gimpelson, Treisman, 2018]. Однако и при объективных, и при субъективных оценках речь чаще всего идет именно о доходном неравенстве, в то время как немонетарные неравенства остаются за рамками рассмотрения, хотя в работах зарубежных и российских специалистов все чаще подчеркивается, что для интегрального положения индивида в общем социальном пространстве они играют не меньшее, а возможно и большее значение, определяя качество жизни, доступные возможности и характеризующие его жизненную ситуацию риски [Grusky, 2011; Овчарова и др., 2014; Anikin et al., 2017].

Взаимосвязь запроса на перераспределение и ожидаемой мобильности проверялась и для России [Ravallion, Lokshin, 2000]. На данных 1996 г. Равальон и Локшин показали, что на тот момент неблагополучное население было гомогенно в своем высоком запросе, но среди благополучного населения ситуация была неоднородной и зависела от ожиданий будущей динамики собственного положения, демонстрируя наличие «туннельного эффекта».

Однако с тех пор социально-экономическая ситуация в российском обществе заметно изменилась. Рост доходов и уровня жизни, расширение среднего класса и сокращение бедности повлияли на социально-экономический ландшафт страны. Что же при этом произошло с восприятием неравенства и сохранилась ли его взаимосвязь с социальной мобильностью? Ответу на эти вопросы посвящен наш дальнейший эмпирический анализ. Сначала мы обратимся к проблематике доходного неравенства, которое традиционно находится в фокусе внимания подобных исследований, а затем расширим предметное поле исследования, включив в него социальное пространство немонетарных неравенств, важность которых все в большей степени возрастает в современном мире [Sen, 1980].

Объективное доходное неравенство и его восприятие населением

Прежде чем перейти к вопросу субъективного восприятия доходного неравенства населением, кратко охарактеризуем его объективное состояние. Согласно данным официальной статистики, индекс Джини достигал в 2020 г. 40,6, а доли дохода, приходящихся на нижний и верхний доходные квинтили составляли 5,5% и 46,4% соответственно⁵. Эти показатели заметно выше, чем в странах западной Европы, однако ниже, чем в других странах БРИКС или Латинской Америки.

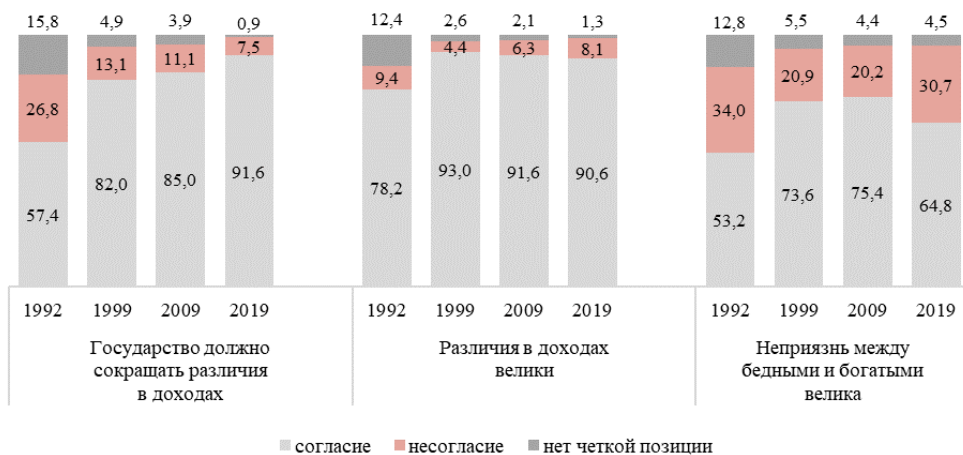
⁵ ФСГС РФ (2021). Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения. <https://rosstat.gov.ru/folder/13723> (дата обращения: 05.03.2022).

Сравнительно высокое неравенство массовых слоев населения характеризует российское общество весь пореформенный период развития. Это видно из динамики индекса Джини, который все это время составляет около 40, не демонстрируя значимых изменений (наибольшее снижение произошло в 2019—2020 г., с 41,2 до 40,6)⁶.

Если же оценивать неравенство через показатели концентрации доходов и, еще в большей степени, богатства, то Россия оказывается среди мировых лидеров. 1% наиболее обеспеченных граждан держат в своих руках, согласно различным оценкам, 20—22% доходов и 43—56% богатства [Novokmet, Piketty, Zucman, 2018]⁷. Динамика концентрации не демонстрирует улучшений в этом отношении — наоборот, разрыв «верхушки» и массового населения только нарастает.

Как в этих условиях сегодня выглядит восприятие доходного неравенства населением? Данные показывают, что восприятие неравенства и интенсивность запроса на перераспределение в России остаются схожими с ситуацией двадцатилетней давности. В 1900-е годы проблема доходных неравенств достаточно заметно актуализировалась в общественном сознании, но дальнейшие изменения социально-экономического контекста уже не приводили к каким-либо масштабным смещениям в этом отношении (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика восприятия доходного неравенства в общественном сознании россиян, ISSP, 1992—2019 гг., %



Подавляющее большинство респондентов (более 90%) считают существующие неравенства в доходах слишком большими; схожая доля опрошенных предъявляет запрос на их сокращение государству. При этом важно, что существующее неравенство воспринимается в общественном сознании не только как излишне

⁶ ФСГС РФ (2021). Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения. <https://rosstat.gov.ru/folder/13723> (дата обращения: 05.03.2022).

⁷ См. также: Credit Suisse (2019) Global Wealth Report. Credit Suisse Group AG. Switzerland.

высокое, но и как несправедливое — более 90% россиян характеризовало его в 2019 г. именно так.

Отметим, что по мере пореформенного развития России убеждения россиян в отношении доходного неравенства укрепляются. Численность россиян, не имеющих четкой позиции в отношении оценки степени неравенства в обществе, остроты конфликта бедных и богатых, а также роли государства в решении этих проблем, заметно снизилась в 1990-е годы. В новых турбулентных условиях начала 1990-х годов население еще не могло окончательно определиться с «правилами игры» в отношении неравенств и их оценки. Однако по мере стабилизации новых институциональных условий сформировалось и более четкое понимание неравенства в общественном сознании, отразившееся в большей поляризации мнений за счет снижения количества не ответивших.

Некоторые изменения произошли и в оценке конфликта между бедными и богатыми. По сравнению с 1990-ми годами острота его восприятия населением несколько снизилась. Однако этот конфликт все еще остается актуальным — две трети россиян отмечают существующую в обществе неприязнь между полярными группами — и опережает по своей значимости даже традиционные классовые конфликты между работниками и работодателями или рабочим и средним классом.

Данные последней волны ISSP⁸ показывают, что такое восприятие доходного неравенства помещает Россию в число мировых лидеров в этом отношении. По общей доле тех, кто считает доходное неравенство в своей стране высоким, то есть абсолютно и скорее согласных с таким утверждением, Россия разделяет 4—5 позиции с Германией, пропуская вперед Италию, Таиланд и Хорватию из 15 стран выборки. Если же выделить только тех, кто твердо в этом убежден, то разрыв между Россией и другими странами становится значительно более выраженным — так, 73,2% россиян абсолютно согласны с тем, что различия в доходах в их стране слишком велики, тогда как среди немцев доля дающих этот ответ составляет только 50,5%. Таким образом, россияне демонстрируют наибольшую степень критичности в восприятии проблемы неравенства даже с учетом того, что сейчас этот вопрос чрезвычайно актуализирован в общественном сознании населения всех стран мира (в том числе потому, что соответствующая тематика очень активно обсуждается в последние годы и прочно входит в глобальную и национальные повестки).

Россия также является одним из лидеров по запросам на перераспределение, адресованным государству. В доступной на момент написания статьи выборке ISSP наша страна занимала лидирующую позицию по доле согласных (в том числе абсолютно) с тем, что разрывы в доходах должны быть сокращены усилиями государства. Это еще в большей степени отличает Россию от других стран. При этом по уровню недовольства тем, как справляется сегодня государство с этим вызовом, страна также оказывается наверху общего списка (см. рис. 2).

Важно, что такие представления о доходном неравенстве в российском обществе оказываются универсальными для всего населения и практически не дифференцируются в зависимости от уровня доходов россиян или их человеческого

⁸ К сожалению, на момент подготовки статьи данные волны ISSP за 2019 г. были доступны только по пятнадцати странам — к ним мы и обращаемся в своем анализе.

капитала (см. табл. 1). Даже наиболее благополучные — высокообразованные и высокодоходные россияне — в подавляющем большинстве воспринимают доходные неравенства как излишне высокие и несправедливые, а конфликт между бедными и богатыми как наиболее острый. Они, как и менее благополучные жители страны, считают, что эту проблему должно решать государство, которое сегодня с этим не справляется. Отметим, что более высокий уровень образования связан даже с более острым восприятием конфликта богатых и бедных, что подчеркивает проблему легитимности доходных неравенств в общественном сознании.

Рис. 2. Восприятие доходных неравенств и роли государства в их сокращении в разных странах, ISSP, 2019 г., %

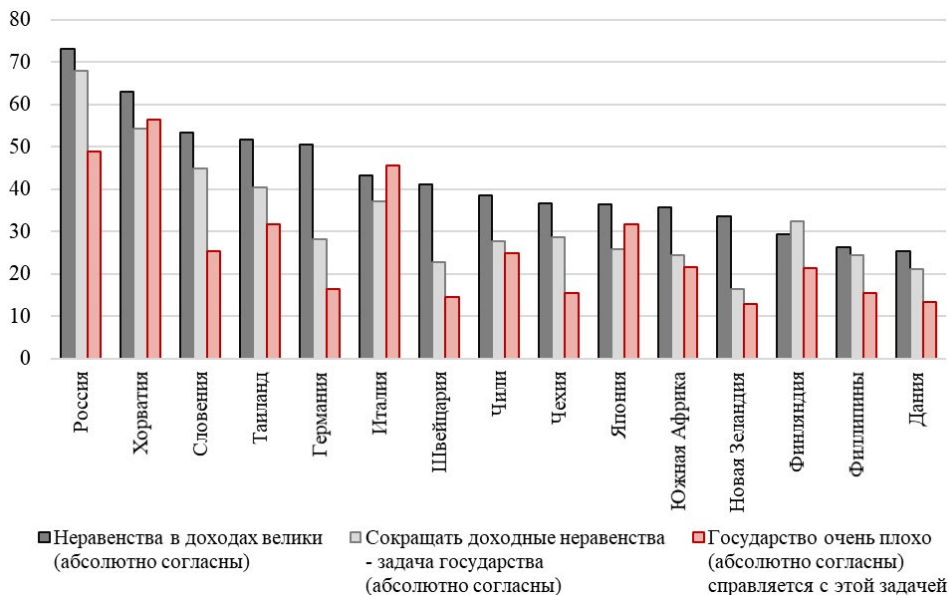


Таблица 1. Восприятие неравенства в группах с различным уровнем человеческого капитала и доходов, ISSP, 2019 г., %⁹

Доля согласных с утверждениями	Уровень образования			
	Обще среднее или ниже	Среднее специальное, незаконченное высшее	Высшее	Второе высшее, научная степень и пр.
Различия в доходах в России сейчас слишком велики	90,1	91,1	94,9	91,3
Существующее распределение доходов в России несправедливо	93,0	95,2	94,6	91,3
Неприязнь между бедными и богатыми велика	62,0	68,3	72,3	73,8

⁹ В таблице не представлены те, кто не дал ответа. Доля неответивших не превышает 5,7% по подгруппам.

Доля согласных с утверждениями	Уровень образования			
	Общее среднее или ниже	Среднее специальное, незаконченное высшее	Высшее	Второе высшее, научная степень и пр.
Государство должно уменьшать различия в доходах между теми, у кого низкие и у кого высокие доходы	93,8	91,7	92,8	91,1
Государство не проявляет успеха в сокращении различий в доходах	80,6	82,7	82,7	76,6
	Доходная группа ¹⁰			
	< 0,75 Ме	0,75—1,25 Ме	1,25—2,00 Ме	>2,00 Ме
Различия в доходах в России сейчас слишком велики	88,6	94,4	94,0	88,8
Существующее распределение доходов в России несправедливо	95,2	95,3	94,3	91,4
Неприязнь между бедными и богатыми велика	62,8	69,6	71,7	69,9
Государство должно уменьшать различия в доходах между теми, у кого низкие и у кого высокие доходы	92,4	95,0	93,0	86,0
Государство не проявляет успеха в сокращении различий в доходах	80,6	84,2	83,3	79,2

Социальная мобильность как фактор дифференциации отношения к доходному неравенству

Работает ли в качестве дифференцирующего фактора восприятия доходного неравенства опыт или ожидания социальной мобильности? Опираясь на опыт предшествующих исследований, продемонстрировавших значимость субъективных показателей, мы обращаемся к субъективным индикаторам мобильности. Для оценки мобильности мы опираемся на вопрос о самооценке положения респондентов на социальной лестнице на момент опроса и 5 лет назад, а также на оценку ожидаемого положения через 10 лет. Мы используем укрупненные интервалы десятибалльной шкалы (с 1 по 3 позицию — «низкое положение», с 4 по 6 позицию — «срединное положение», с 7 по 10 позицию — «высокое положение»). Такое обобщение самооценок соответствует современным практикам, принятым в зарубежной литературе [Lei, Tam, 2012]. Под мобильностью мы понимаем переход из одного положения в другое (под восходящей мобильностью подразумевается переход из низкого положения в среднее / высокое или же из среднего — в высокое; под нисходящей — переход из высокого положения в среднее / низкое или из среднего в низкое).

Мы также используем прокси для краткосрочной ожидаемой мобильности, опираясь на вопрос о том, какое материальное положение ожидается в ближайшие 12 месяцев, повторяя подход Равальона и Локшина. Направления различных типов мобильности в их субъективном измерении представлены в таблице 2.

¹⁰ Доходные группы выделены на основании соотношения ежемесячного подушевого дохода в домохозяйстве с медианным значением (Ме) для данного типа поселения (крупные города / мелкие города / села).

Таблица 2. Распространенность различных направлений мобильности в России, ISSP, 2019 г., %

Типы мобильности	Направления мобильности			
	Нисходящая мобильность	Иммобильность	Восходящая мобильность	
Межгенерационная в 2019 (vs 2009) ¹¹	24,8 (vs 25,0)	64,6 (vs 62,2)	10,0 (vs 12,3)	
Фактическая за последние 5 лет	21,8	69,6	7,9	
Ожидаемая в следующие 12 месяцев (краткосрочная)	51,6	36,1	7,7	
Ожидаемая в следующие 10 лет (долгосрочная)	9,9	64,3	23,0	
Справочно: самооценка положения в обществе (размеры кластеров)				
	Положение родительской семьи индивида	Пять лет назад (2014 г., до начала кризиса)	На момент опроса (2019 г.)	Через 10 лет (2029 г.)
Высокое (7—10 позиции)	18,1	15,8	8,5	24,5
Серединное (4—6 позиции)	59,0	61,4	60,0	43,1
Низкое (1—3 позиции)	22,9	22,8	31,5	32,4

Видно, что и в межгенерационном, и во внутригенерационном разрезах доминирует иммобильность. Около двух третей россиян не видят качественных изменений своего положения ни по отношению к родительской семье, ни по сравнению со своим собственным положением пятилетней давности. При этом среди мобильного населения нисходящая мобильность доминирует над восходящей, и ее масштабы достаточно велики — около четверти населения отмечают ухудшение своего положения по сравнению с родительской семьей и каждый пятый — по сравнению со своим собственным положением пять лет назад. Поэтому, оценивая мобильность, россияне могут наблюдать преобладание нисходящих жизненных траекторий вокруг них по сравнению с восходящими. Важно также отметить, что масштабы межгенерационной мобильности не изменились по сравнению с 2009 г. — россияне не отмечают расширения возможностей для качественного изменения своего положения по сравнению с предыдущим поколением.

В отношении ожидаемой мобильности ситуация, на первый взгляд, выглядит парадоксально. С одной стороны, преобладают ожидания ухудшения собственного материального положения в следующие 12 месяцев (так считает половина россиян)¹². С другой стороны, ожидания изменений в среднесрочной перспективе

¹¹ таблице представлены оценки межгенерационной мобильности, однако далее мы сознательно обращаемся только к внутригенерационной мобильности для сравнения эффектов ее различных типов.

¹² азные исследовательские центры дают несколько различающиеся оценки краткосрочных ожиданий россиян, но группа «пессимистов» всегда остается достаточно значительной по численности. Так, по данным ФНИСЦ РАН 2020 г., к которым мы обращаемся ниже, ухудшения своего материального положения в ближайший год ожидала треть населения (32,8%). В целом, негативные ожидания населения еще в 2019 г. были вполне объяснимы с учетом затяжного падения реальных доходов населения в 2014—2017 и их стагнации в 2018 г.

достаточно позитивны. Практически две трети россиян считают, что через 10 лет будут жить не хуже, чем сегодня, а каждый четвертый считает, что его положение в обществе даже повысится.

Таким образом, *несмотря на прошлый опыт и пессимистическую оценку ближайших перспектив, россияне склонны верить в лучшее, но только в отдаленном будущем*. Мы расцениваем оценку ближайшей перспективы как более реалистичную, так как данные свидетельствуют, что большинство россиян не планирует свою жизнь даже в среднесрочной перспективе. Судя по данным ISSP, лишь 5 % населения имеет хоть какие-то планы на 5—10 лет, не говоря уже о более длительных сроках. Половина же населения считает, что планировать свою жизнь даже на 1—2 года вперед в принципе невозможно. Поэтому такие оценки перспектив мобильности можно считать скорее проявлением общего оптимизма и «верой в светлое будущее», нежели реалистичными оценками своих будущих траекторий.

Обратимся к данным о том, как дифференцируется восприятие доходного неравенства и запрос на перераспределение в зависимости от фактической и ожидаемой социальной мобильности (см. табл. 3). Данные свидетельствуют, что заметное влияние в этом отношении имеют только краткосрочные ожидания относительно изменения своего положения в ближайший год. Среди россиян, ожидающих позитивных изменений, ниже доли оценивающих неравенство доходов как излишне высокое и несправедливое (хотя даже среди них поддержка этих позиций не опускается ниже 80 %), а также воспринимающих конфликт бедных и богатых как острый и предъявляющих запрос государству на сокращение неравенства. Несколько ниже среди них и уровень недовольства в отношении того, как государство отвечает на вызов доходного неравенства. Отметим, однако, что даже эти, наиболее заметные различия между группами с разными направлениями мобильности, не означают формирования среди ожидающих для себя краткосрочных улучшений качественно иной модели восприятия доходного неравенства по сравнению с остальным населением: подавляющее большинство представителей этой группы считает неравенство доходов высоким и несправедливым и предъявляет выраженный запрос на его сокращение. Ожидаемая мобильность в среднесрочной перспективе, как показывают приведенные в таблице 3 данные, дифференцирует мнения в отношении доходного неравенства слабее, а различия в разрезе фактической мобильности оказываются минимальными.

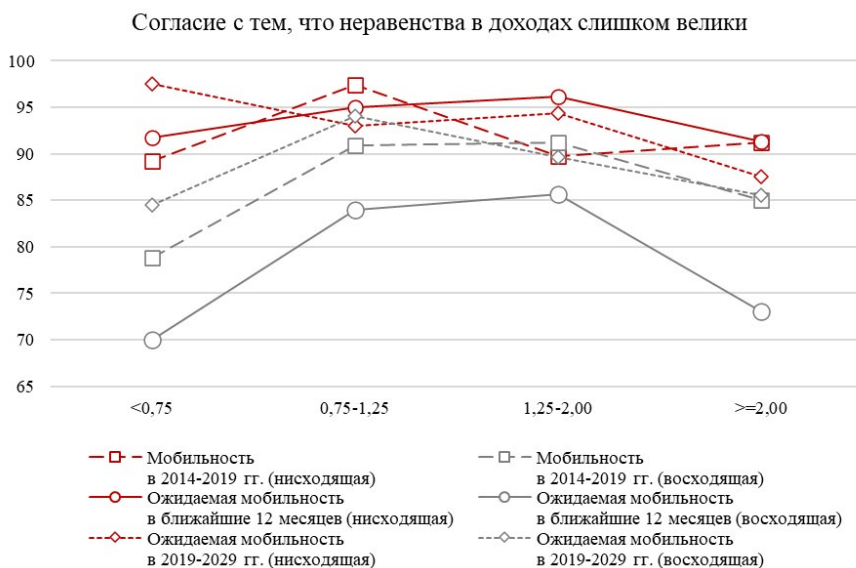
Полученный вывод о том, что краткосрочные ожидания дифференцируют восприятие неравенства и запрос на его сокращение сильнее, подтверждается и анализом меры связанности. Ожидания «на будущее» демонстрируют значимую, но при этом очень слабую связь с восприятием доходного неравенства, в то время как фактическая мобильность вообще не связана с ним.

Для оценки эффектов мобильности имеет смысл также рассмотреть их отдельно в разных доходных группах. Так, в работе И. Тота (Tóth, 2008) на венгерских данных было показано, что в разных доходных группах уровень запроса на перераспределение ожидаемо отличался (более высокий уровень дохода снижал его интенсивность), однако в рамках одних и тех же доходных групп его чаще предъявляли те, кто испытал нисходящую мобильность, а также те, кто не ожидал улучшений в будущем. Проверим, повторяется ли такая картина и для России (см. рис. 3).

**Таблица 3. Доля россиян, согласных с суждениями относительно доходных неравенств и роли государства в их сокращении, ISSP, 2019 г., %
(фоном выделены статистически значимые связи на основе критерия χ^2)**

	Фактическая мобильность 2014—2019		Ожидаемая мобильность в следующем году		Ожидаемая мобильность в следующие 10 лет	
	Нисходящая	Восходящая	Нисходящая	Восходящая	Нисходящая	Восходящая
Различия в доходах слишком велики	92,7	89,5	94,2	79,2	95,0	89,0
Распределение доходов несправедливо	93,7	89,4	98,3	80,7	96,9	92,1
Острый конфликт между бедными и богатыми	72,3	68,9	72,5	58,3	77,6	64,9
Государство должно сокращать разрыв между бедными и богатыми	94,0	92,9	96,4	80,6	95,6	88,9
Государство не справляется с сокращением неравенства	82,8	75,2	86,6	71,0	83,0	75,0

Рис. 3. Отношение к неравенству в различных доходных группах в зависимости от опыта и ожиданий мобильности, ISSP, 2019 г., %



Видно, что выраженные различия в восприятии глубины неравенства доходов в рамках отдельных доходных групп с учетом мобильности в современной России также отсутствуют — ни в одной доходной группе при любой динамике фактической и ожидаемой мобильности доля считающих неравенства доходов излишне высокими не опускается ниже 70%. Наибольший эффект в дифференциации этого отношения в рамках отдельных доходных групп также имеет ожидаемая краткосрочная мобильность: позитивные ожидания связаны с более низкой распространённостью оценок доходного неравенства как излишне высокого. Эффекты фактической мобильности и ожидаемой мобильности в более длительной перспективе выражены во всех доходных группах заметно слабее, а в некоторых их эффект вообще отсутствует.

Выше, говоря об отношении к доходному неравенству и его сокращению, мы рассматривали тех россиян, кто разделяет соответствующие позиции независимо от степени уверенности в них (то есть объединяя тех, кто абсолютно согласен с теми или иными утверждениями, и тех, кто скорее согласен с ними). Иными словами, мы рассматривали дифференцирующую роль разных типов мобильности в отношении формирования качественно отличных между собой моделей представлений о доходном неравенстве и выявили ключевое значение краткосрочных ожиданий, очень слабое влияние среднесрочных ожиданий мобильности и отсутствие влияния фактически совершенных перемещений.

Однако необходимо отметить, что разные направления ожидаемой мобильности (причем как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе) и даже фактической мобильности влияют на степень убежденности в своей позиции по тем или иным аспектам доходного неравенства. Каждый из трех типов нисходящей мобильности повышает абсолютную уверенность в излишней глубине и несправедливости неравенств (при более низкой доле тех, кто с этим согласен, но не занимает крайних позиций) по сравнению с восходящей мобильностью. Такие же особенности можно увидеть и в отношении представлений населения о роли государства: нисходящая мобильность повышает долю абсолютно убежденных в ответственности, лежащей на государстве в отношении сокращения разрыва в доходах, и при этом полностью уверенных в безуспешности его действий в этом отношении. Восходящая мобильность несколько сглаживает эти представления за счет перераспределения мнений от крайних к умеренным, то есть от абсолютного согласия просто к согласию. Такой механизм *снижения «накала»* можно наблюдать для всех трех типов рассматриваемой нами мобильности. Как и в случае с восприятием доходного неравенства в целом, наиболее заметно проявляет себя ожидаемая мобильность в ближайшее время, эффект ожидаемой долгосрочной мобильности оказывается ниже, и в наименьшей степени наблюдается влияние фактической мобильности, хотя и она все же определяет большую или меньшую «полярность» выражаемых мнений.

Таким образом, *опыт прошлой мобильности не оказывает влияния на общие представления населения о доходных неравенствах. Влияние будущей долгосрочной мобильности слабое, и только краткосрочные ожидания демонстрируют дифференцирующую роль в этом отношении, хотя даже они не приводят к формированию иных моделей восприятия доходного неравенства — население солидарно*

в своих оценках глубины и несправедливости доходных неравенств и необходимости их сокращения государством, с чем оно, согласно общественным представлениям, сегодня не справляется. При этом все виды мобильности влияют на степень выраженности соответствующего мнения — нисходящая мобильность повышает убежденность и категоричность выражаемых позиций, в то время как восходящая, наоборот, сглаживает их. Здесь наибольшую роль также играют краткосрочные ожидания.

Восприятие немонетарных неравенств и социальная мобильность

Проблема неравенства не ограничивается различиями в уровне доходов, и рассмотрение только монетарного аспекта не дает понимания общей, гораздо более сложной картины. В данном разделе мы предпримем первые шаги в анализе восприятия системы немонетарных неравенств населением и факторов этого восприятия, в том числе и социальной мобильности.

Данные проведенного в 2020 г. общероссийского обследования ФНИСЦ РАН подтверждают, что острое восприятие социального неравенства россиянами не ограничивается проблемой неравенства доходов, хотя оно и актуализировано в наибольшей степени — о том, что оно является наиболее болезненным лично для них, сообщили две трети опрошенных (67,2%). Далее следовало важное в условиях пандемии неравенство в доступе к медицинской помощи, негативные последствия которого, по самооценкам, испытывали 46,2% населения. На третьем месте — неравенство на рынке труда, от которого страдали, по их заверениям, более трети респондентов (35,6%). Остальные типы неденежных неравенств набрали менее трети голосов, но и они проявляли себя достаточно остро: так, чуть менее трети населения отметили как наиболее болезненное для себя неравенство жилищных условий, около четверти — неравенство жизненных шансов для детей из разных слоев общества, каждый пятый опрошенный — неравенство в обладании собственностью и неравенство в доступе к образованию, а также неравенство в возможностях отдыха и проведения досуга. Таким образом, проблема неравенства не может быть сведена к различиям в уровне доходов.

Инструментарий используемого исследования позволил операционализировать краткосрочную ожидаемую мобильность через ожидания в изменении своего материального положения в ближайшие 12 месяцев¹³. В качестве прокси для фактической краткосрочной мобильности мы использовали самооценку того, удалось ли респондентам за последние три года повысить уровень своего материального положения¹⁴.

¹³ Полученные в этом отношении данные, как уже отмечалось выше, несколько отличались от данных ISSP. Так, ухудшения своего материального положения ожидала треть населения (32,8%), улучшения — 24,4%, а отсутствия изменений — 42,8% (то есть оценки оказались более оптимистичными, однако изменение численности групп не влияет на ход анализа оценки мобильности как фактора восприятия неравенства). Отметим также высокую долю затруднившихся с ответом: почти каждый пятый после первой волны коронакризиса не смог дать ответ относительно своих ожиданий даже на ближайший год, что свидетельствует об очень высокой степени неопределенности в обществе.

¹⁴ Таковых в 2020 г., согласно данным обследования, оказалось 16,8%. Отметим, что одно из ограничений нашего анализа состоит в том, что в данном случае показатели мобильности смещены в сторону материального положения, а не интегральной позиции в обществе.

Из табл. 4 видно, что *ожидаемая мобильность связана с оценкой того, насколько болезненны те или иные немонетарные неравенства для респондента*. Те, кто ожидают ухудшения своего положения в ближайший год, чаще остальных отмечают, что страдают от неравенства в доступе к медицине и рынку труда, неравенства жилищных условий и неравенства возможностей в межпоколенной перспективе. В то же время те, кто ожидают улучшения своего положения в следующем году, значительно реже отмечают все эти неравенства как влияющие на их личную жизненную ситуацию. В целом, лишь 3,0% респондентов из группы с ожидаемой нисходящей мобильностью в краткосрочной перспективе говорят о том, что не страдают ни от каких неравенств, в то время как в группе с ожидаемой восходящей мобильностью таковых в пять раз больше.

Таблица 4. *Доля лично страдающих от разных типов неравенств, ФНИСЦ РАН, 2020 г., %¹⁵ (фоном выделены статистически значимые связи на основе критерия Х²)*

Типы неравенства	Ожидаемая мобильность		Фактическая восходящая мобильность	Справочно: все население
	Нисходящая	Восходящая		
Неравенство доходов	78,6	53,3	59,2	67,2
Неравенство в доступе к медицинской помощи	57,6	32,8	42,6	46,2
Неравенство в доступе к хорошим рабочим местам	44,3	29,2	33,1	38,1
Неравенство жилищных условий	40,0	26,3	32,4	32,3
Неравенство в возможностях для детей из разных слоев общества	30,4	22,2	26,5	25,9
Нет болезненных для них неравенств	3,0	15,9	16,4	9,6

Что касается фактической восходящей мобильности за последние три года, то ее влияние заметно только в отношении неравенства доходов — те, кому удалось улучшить свое материальное положение, реже отмечают его как болезненное для себя (и эта взаимосвязь статистически значима). Однако испытанное улучшение своего материального положения не снижает негативных последствий от ключевых неденежных неравенств, характеризующих повседневную жизнь. Это лишний раз подтверждает, что ответы на вызов неравенства лежат не только в плоскости доходов и требуют комплексного подхода.

Подчеркнем, однако, что описанные выше результаты относятся не к нормативному восприятию неравенств, а к оценке собственного положения в многомерном социальном пространстве. Взаимосвязь ожидаемой мобильности и оценки болезненности немонетарных неравенств «для себя» (а не для общества в целом) объ-

¹⁵ В таблице представлены ответы по пяти наиболее острым, по оценкам населения, неравенствам. Оценка неравенства в доступе к рабочим местам представлена только для работающих.

ясняется тем, что позитивные ожидания относительно динамики своего положения в большей степени характерны для тех, кто изначально находится в объективно более привилегированных позициях в общей системе неравенств. Отметим, кстати, что в этих условиях возможность планировать и контролировать свою жизнь и добиваться качественных улучшений в ней сама по себе становится новым измерением немонетарного неравенства, требующим внимательного изучения.

Однако ключевой фокус нашей статьи — это восприятие неравенств в обществе в целом. В связи с этим для нас очень важны нормативные представления россиян о принципах справедливого общества, связанных с теми или иными неравенствами. Как видно из табл. 5, в представлениях населения наиболее важным критерием справедливости (в силу высокой актуализированности этой проблемы, особенно в условиях, сложившихся под влиянием пандемии) выступает отсутствие неравенства в доступе к медицинскому обслуживанию — об этом говорят 62,5% населения. На втором месте находится равенство всех перед законом: этот принцип как ключевой для справедливого общества отмечает половина респондентов. Близко к этому показателю находится и принцип, связанный с отсутствием неравенства на рынке труда — равный доступ для всех к хорошим рабочим местам (его выбирают 48,1% россиян). Достаточно важны для справедливого общества, в представлениях россиян, и такие принципы, как равный доступ для всех к образованию (41,2%), возможности решения жилищного вопроса (36,5%).

Важно, что менее трети россиян считает обязательным элементом справедливого общества небольшие различия в доходах, что говорит о *достаточно высокой толерантности россиян к доходным неравенствам как таковым, если они возникают в условиях равных возможностей* — равного доступа к медицине, рынку труда и образованию. Об этом же говорит и отсутствие на верхних позициях рейтинга принципов справедливости прогрессивной шкалы налогообложения как механизма перераспределения — ее отмечает только четверть респондентов. Наконец, лишь каждый десятый говорит о том, что справедливое общество — это общество, в котором мало богатых.

Таким образом, речь для населения идет не об отсутствии в справедливом обществе доходной дифференциации, а о минимизации в нем неравенства возможностей. Важно подчеркнуть, что *ключевыми для справедливого общества в представлениях населения оказываются принципы, связанные с немонетарными, а не денежными аспектами неравенства*.

В совокупности с теми особенностями восприятия доходного неравенства, о которых мы говорили выше, это свидетельствует о том, что сложившаяся в российском обществе ситуация не отвечает нормативным принципам справедливости в представлениях населения и не обеспечивает требуемое равенство возможностей, что, в свою очередь, актуализирует проблему доходного неравенства и его легитимности.

Работает ли социальная мобильность как фактор дифференциации нормативных представлений населения о немонетарных неравенствах? Данные показывают, что и в этом отношении ее роль оказывается достаточно ограничена (табл. 5). Рейтинг принципов справедливого общества оказывается схож для ожидающих для себя как нисходящую, так и восходящую мобильность (можно обнаружить

лишь некоторые перестановки), и возглавляет его необходимость минимизации немонетарных неравенств, связанных с медициной и законом.

Таблица 5. Принципы справедливого общества в представлениях населения, ФНИСЦ РАН, 2020 г., % (упорядочено по населению в целом; жирным шрифтом выделены принципы, связанные с доходным неравенством; фоном выделены статистически значимые связи на основе критерия χ^2)

Принципы	Ожидаемая мобильность		Фактическая восходящая мобильность	Справочно: все население
	Нисходящая	Восходящая		
Все имеют равный доступ к медицинскому обслуживанию	61,4	61,4	61,0	62,5
Равенство всех перед законом	49,3	52,8	52,4	50,8
Все имеют равный доступ к хорошим рабочим местам	45,4	44,7	50,6	48,1
Все имеют равные возможности получить желаемое образование	36,6	48,0	44,3	41,2
В обществе мало бедных	34,1	40,9	32,7	39,2
Все имеют реальную возможность решить жилищный вопрос	34,9	32,6	42,9	36,5
Различия в доходах между людьми невелики	40,2	32,3	28,9	32,6
Различия в уровне жизни между людьми невелики	30,4	30,3	25,9	28,3
Богатые выплачивают в виде налога большую долю своего дохода, чем бедные	31,3	22,0	25,6	25,4
Равная оплата за равную квалификацию и образование	26,1	19,9	22,3	23,6
Различия между жизнью в городе и селе невелики	19,3	21,0	16,4	20,3
В обществе мало богатых	11,3	12,1	11,0	10,4

Можно отметить определенные различия между этими группами, хотя они носят количественный, а не качественный характер. Так, для ожидающих нисходящую мобильность в краткосрочной перспективе в большей степени актуализированы вопросы доходного неравенства (что неудивительно с учетом результатов, представленных выше) — причем в разных его аспектах. Говоря о справедливом обществе, они значимо чаще упоминают невысокий уровень доходного неравенства, а также перераспределение от богатых к бедным с использованием инструментов налоговой политики как справедливый способ его сокращения.

Среди тех, кто декларирует ожидания восходящей мобильности, значимо выше доля уделяющих внимание равенству в доступе к образованию как социальному лифту, обеспечивающему равенство возможностей. Интересно, что низкий уро-

вень бедности также чаще называют в качестве элемента справедливого общества именно они. Это еще раз подчеркивает, что, говоря о неравенствах в обществе в целом, россияне исходят не только и не столько из специфики своей личной ситуации, сколько из нормативных представлений о справедливом общественном устройстве и его соответствия наблюдаемым реалиям.

Влияние фактической мобильности оказалось неоднозначным. Те, кто испытал улучшение своего положения за последние три года, в ряде случаев оказываются даже более требовательны к сокращению немонетарных неравенств (например, в доступе к образованию, занятости, жилью), но менее требовательны к его монетарным аспектам. Однако эти различия недостаточно велики (и в большинстве своем статистически незначимы), чтобы говорить о другой нормативной модели этой группы в отношении системы неравенств — по общему рейтингу необходимости отсутствия тех или иных неравенств для достижения социальной справедливости в обществе они практически не отличаются от населения в целом.

Обсуждение результатов

Качественные социально-экономические изменения в России в последние десятилетия не сократили масштабы неравенства доходов, измеренного коэффициентом Джини, но характер доходного неравенства все же трансформировался. Изменились масштабы бедности и размер среднего класса, уровень и качество жизни населения, причем прошло несколько волн таких изменений. Однако субъективное восприятие доходного неравенства остается почти таким же, как в 1990-х годах — ситуации, отражающей совсем другой этап развития страны. Большинство россиян и сегодня продолжают считать неравенства доходов излишне высокими и несправедливыми, а противоречия между богатыми и бедными воспринимают как наиболее острые. Запрос на перераспределение также предъявляется большинством представителей всех социальных групп. Этот запрос адресован государству, которое сегодня, по оценкам россиян, не справляется с вызовом неравенства.

На фоне других стран Россия занимает лидирующие позиции в оценке доходного неравенства в стране как высокого, и особенно — по степени убежденности в этом населения. В отношении запроса к государству на сокращение доходного неравенства и уверенности в его неэффективности в этом отношении лидирующие позиции нашей страны просматриваются даже еще ярче.

Такие представления о неравенстве доходов и запрос на перераспределение оказываются универсальными для всего населения. Эффект мобильности проявляется достаточно ограниченно — единственное зафиксированное различие между группами состоит в том, что ожидающие улучшения своего материального положения в ближайшее время респонденты чуть менее остро воспринимают доходное неравенство и менее категорично артикулируют запрос на перераспределение. Ни опыт прошлой мобильности, ни ожидания изменений в среднесрочном периоде не оказывают сопоставимого дифференцирующего влияния на восприятие доходного неравенства.

При этом все виды восходящей мобильности сглаживают крайность позиции в отношении оценки неравенств как высоких, несправедливых, требующих сокра-

щения со стороны государства, а все виды нисходящей мобильности — повышают абсолютную уверенность в этом; наибольший эффект и в этом отношении имеет краткосрочная ожидаемая мобильность. Однако эти изменения в соотношении долей крайних и умеренных сторонников тех или иных позиций не влияют на общий консенсус населения.

Ожидаемая краткосрочная мобильность коррелирует с оценкой болезненности восприятия немонетарных неравенств для самих респондентов. Это объясняется тем, что положительная социальная динамика свойственна россиянам, которые уже занимают более благополучное положение в социальном пространстве. Однако нормативные представления о том, минимизация каких немонетарных неравенств необходима для достижения социальной справедливости, оказываются не сильно дифференцированы в группах с разным направлением ожидаемой или уже совершенной краткосрочной мобильности. Это позволяет сделать вывод о том, что восприятие немонетарных неравенств, как и доходного неравенства, формируется прежде всего исходя из нормативных представлений о «должном» устройстве общества и его соответствии/несоответствии наблюдаемым реалиям, а не индивидуальной ситуации, в том числе и ожидаемой мобильности. Сохраняющийся отрыв наиболее обеспеченных групп от остального населения, отсутствие зоны стабильного и устойчивого благополучия и сокращение возможностей роста в разных сферах приводят к тому, что даже опыт или ожидания мобильности не меняют общих представлений о неприемлемости подобной ситуации, поскольку изменение собственного положения или положения окружающих не меняет общую конфигурацию сложившейся системы монетарного и немонетарных неравенств. К сожалению, это еще в большей степени усложняет задачу ответа на вызов неравенства для государства, поскольку он не только требует обязательного учета немонетарных аспектов, но и не может быть решен повышением уровня доходов тех или иных групп.

Список литературы (References)

Гимпельсон В. Е., Монусова Г. А. Восприятие неравенства и социальная мобильность // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 2. С. 216—248.

Gimpelson V., Monusova G. (2014) Perception of Inequality and Social Mobility. *HSE Economic Journal*. Vol. 18. No. 2. P. 216—248. (In Russ.)

Гимпельсон В. Е., Чернина Е. М. Положение на шкале доходов и его субъективное восприятие // Журнал Новой экономической ассоциации. 2020. Т. 46. № 2. С. 30—56. <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2020-46-2-2>.

Gimpelson V., Chernina E. (2020) How We Perceive Our Place in Income Distribution and How the Perceptions Deviate from Reality. *Journal of the New Economic Association*. Vol. 46. No. 2. P. 30—56. <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2020-46-2-2>. (In Russ.)

Овчарова Л. Н., Бурдяк А. Я., Пишняк А. И., Попова Д. О., Попова Р. И., Рудберг А. М. Динамика монетарных и немонетарных характеристик уровня жизни российских

домохозяйств за годы постсоветского развития: аналитический доклад / под рук. Л. Н. Овчаровой. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2014.

Ovcharova L. N., Burdyak A. Ya., Pishnyak A. I., Popova D. O., Popova R. I., Rudberg A. M. (2014) Dynamics of Monetary and Non-monetary Characteristics of the Standard of Living of Russian Households over the Years of Post-soviet Development: Analytical Report. Moscow: «Liberal Mission» Foundation. (In Russ.)

Anikin V., Lezhnina Y., Mareeva S., Tikhonova N. (2017) Social Stratification by Life Chances: Evidence from Russia. Basic Research Program. Working Papers. Series: Sociology. National Research University Higher School of Economics. WP BRP 80/SOC/2017. URL: <https://wp.hse.ru/data/2017/12/25/1159823949/80SOC2017.pdf> (дата обращения: 18.05.2021).

Benabou R., Ok E. (2001) Social Mobility and the Demand for Redistribution: The POUM Hypothesis. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 116. No. 2. P. 447—487.

Gimpelson V., Treisman D. (2018) Misperceiving Inequality. *Economics & Politics*. Vol. 30. No. 1. P. 27—54. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12103>.

Graham C., Pettinato S. (1999) Assessing Hardship and Happiness: Trends in Mobility and Expectations in the New Market Economies. Working Paper No. 7. Center on Social and Economic Dynamics. URL: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/happiness.pdf> (дата обращения: 18.05.2021).

Grusky D. (2011) The Stories About Inequality That We Love to Tell. In: Grusky D. B., Szelenyi S. (eds.) *The Inequality Reader. Contemporary and Foundational Readings in Race, Class, and Gender*. Boulder, CO: Westview Press. P. 1—13. <https://doi.org/10.4324/9780429494468>.

Hirschman A., Rothschild M. (1973) The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 87. No. 4. P. 544—566.

Kuhn A. (2011) In the Eye of the Beholder: Subjective Inequality Measures and Individuals' Assessment of Market Justice. *European Journal of Political Economy*. Vol. 27. No. 4. P. 625—641.

Larsen C. (2016) How Three Narratives of Modernity Justify Economic Inequality. *Acta Sociologica*. Vol. 59. No. 2. P. 93—111. <https://doi.org/10.1177%2F0001699315622801>.

Lei J., Tam T. (2012) Subjective Social Status, Perceived Social Mobility and Health in China. URL: <https://paa2012.princeton.edu/papers/122792> (дата обращения: 18.05.2021).

Novokmet F., Piketty T., Zucman G. (2018) From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 1905—2016. *The Journal of Economic Inequality*. No. 16. P. 189—223. <https://doi.org/10.1007/s10888-018-9383-0>.

Ravallion M., Lokshin M. (2000) Who Wants to Redistribute? The Tunnel Effect in 1990s Russia. *Journal of Public Economics*. Vol. 76. No. 1. P. 87—104.

Sen A. (1980) *Equality of What? The Tanner Lecture on Human Values*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Shorrocks A. (1978) Income Inequality and Income Mobility. *Journal of Economic Theory*. Vol. 19. No. 2. P. 376—393.

Tóth I. (2008) The Demand for Redistribution: A Test on Hungarian Data. *Sociologický časopis / Czech Sociological Review*. Vol. 44. No. 6. P. 1063—1087.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1861](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1861)



И. А. Дорханов, Б. О. Соколов

КОНФЕССИЯ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ И АНТИИММИГРАНТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ЕВРОПЕ: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Правильная ссылка на статью:

Дорханов И. А., Соколов Б. О. Конфессия, религиозность и антииммигрантские настроения в Европе: анализ данных Европейского социального исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 61—82. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1861>.

For citation:

Dorkhanov I. A., Sokolov B. O. (2022) Denomination, Religiosity and Anti-Immigrant Attitudes in Europe: Evidence from the European Social Survey. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 61–82. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1861>. (In Russ.)

КОНФЕССИЯ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ И АНТИ-ИММИГРАНТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ЕВРОПЕ: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ДОРХАНОВ Илья Андреевич — независимый исследователь, Санкт-Петербург, Россия
E-MAIL: i.dorhanov@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

СОКОЛОВ Борис Олегович — кандидат политических наук, старший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия
E-MAIL: bssokolov@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5151-8147>

Аннотация. В статье исследуется, как конфессиональная принадлежность и уровень индивидуальной религиозности европейцев связаны с их отношением к иммигрантам, представляющим различные религиозные группы. На основании теории социальной идентичности и теории религиозного сострадания выдвигается ряд гипотез относительно связи указанных факторов и толерантности к приезжим. Теория социальной идентичности утверждает, что индивиды склонны видеть в «своей» группе источник позитивной самоидентификации и потому воспринимают «инаковость» (например, принадлежность к иной религиозной группе; в случае Европы — к мусульманскому сообществу) как символическую угрозу. Согласно теории религиозного сострадания, религиозные индивиды сильнее привержены таким ценностям, как сострадание и забота о тех, кто испытывает трудности, и поэтому в большей степени

DENOMINATION, RELIGIOSITY AND ANTI-IMMIGRANT ATTITUDES IN EUROPE: EVIDENCE FROM THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY

*Ilya A. DORKHANOV*¹ — Independent Researcher
E-MAIL: i.dorhanov@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

*Boris O. SOKOLOV*² — Cand. Sci. (Polit.), Senior Research Fellow, Laboratory for Comparative Social Research
E-MAIL: bssokolov@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5151-8147>

¹ St. Petersburg, Russia

² HSE University, St. Petersburg, Russia

Abstract. This paper examines links between individual religiosity (defined both as denomination and subjective religiosity) and attitudes toward immigrants of various religious backgrounds among Europeans. These links are being analyzed through the lenses of social identity theory and religious compassion theory. Social identity theory claims that individuals tend to find a source of positive self-identification in their in-group. Therefore, they perceive the “otherness” (for instance, membership in a religious out-group, e.g., Muslims in European countries) as a symbolic threat to their identity. According to the religious compassion theory, the more religious individuals are, the more they are committed to such values as compassion and care for those facing hardships, which makes them more sympathetic to such a vulnerable group as immigrants. At the same time, the level of such solidarity is directly related to the perceived “closeness” of

склонны сочувствовать иммигрантам как уязвимой стране. При этом уровень солидарности прямо связан с тем, насколько «близкой» с религиозной точки зрения воспринимается конкретная группа приезжих.

На материалах седьмой волны Европейского социального исследования (ESS) по двадцати странам (сбор данных проводился в 2014—2015 гг., в разгар миграционного кризиса в Евросоюзе) строятся две многоуровневые регрессионные модели (в качестве первого уровня анализа выступают респонденты, в качестве второго — страны), в которых зависимыми переменными являются неприятие иммигрантов-мусульман и важность наличия у иммигрантов христианского бэкграунда. Результаты анализа показывают, что христиане (и католики, и протестанты) и более религиозные люди в большей степени склонны отдавать предпочтение иммигрантам из преимущественно христианских стран по сравнению с не принадлежащими ни к одной конфессии или нерелигиозными респондентами. При этом отношение к иммигрантам-мусульманам не связано ни с конфессиональной принадлежностью, ни с уровнем индивидуальной религиозности. Таким образом, в европейском контексте и теория религиозного сострадания, и теория социальной идентичности подтверждаются лишь отчасти.

Ключевые слова: иммиграция, анти-иммигрантские настроения, религиозность, теория социальной идентичности, теория религиозного сострадания, Европейский союз, Европейское социальное исследование, многоуровневый регрессионный анализ

a particular immigrant group in terms of its religion. Using the data from the 7th wave of the European Social Survey (ESS) on 20 European countries (fieldwork was conducted in 2014–2015, coinciding with the onset of the European migrant crisis), two multilevel regression models are fitted, with the hostility to Muslim immigrants and the importance of Christian background of immigrants as dependent variables. The results show that Christians (both Catholics and Protestants) and more religious people tend to prefer immigrants of Christian background, compared to the individuals who do not belong to any denomination and non-religious individuals respectively. However, the attitude towards Muslim immigrants is related neither to denomination nor to individual religiosity. It means that in the European context, both the religious social identity theory and the religious compassion theory are only partly supported.

Keywords: immigration, anti-immigrant attitudes, religiosity, social identity theory, religious compassion theory, European Union, European Social Survey, multilevel regression modeling

Введение

Проблема иммиграции занимает особое место в европейской политической повестке. Миграционный кризис последних лет [Holmes, Castañeda, 2016], дебаты об иммиграционной политике как проблеме европейской безопасности [Bove, Böhmelt, 2016], рост популярности партий и политиков, выступающих с антииммигрантских позиций¹ [Greven, 2016; Muis, Immerzeel, 2017; Rooduijn, 2015], связь между восприятием иммиграции и отношением европейцев к Евросоюзу [Hobolt, 2016; Kentmen-Cin, Erisen, 2017] — все это неизбежно ставит перед исследователями вопрос о причинах, по которым среди европейцев возникают антииммигрантские настроения. В данной статье в качестве одной из этих причин рассматривается религиозность.

Хотя религиозная проблематика уже давно занимает важное место в научной литературе по вопросу иммиграции в Европе, чаще всего она обсуждается в контексте исламской религиозности *иммигрантов* и того комплекса явлений, который С. Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций» [Хантингтон, 1994]. Куда меньше исследований посвящены вопросу о том, как религиозность *жителей принимающих стран* влияет на их отношение к иммигрантам. При этом, несмотря на широко распространенное (в том числе среди исследователей иммиграции) представление о светском характере современных европейских обществ [Casanova, 2007; Foner, Alba, 2008], христианство по-прежнему сохраняет важное место в жизни европейцев. Часть европейских государств признает те или иные христианские конфессии государственными (официальными), предоставляет им бюджетное финансирование, объявляет христианские праздники выходными днями, отвергая при этом аналогичные притязания со стороны религий иммигрантов, в первую очередь ислама [Alba, Foner, 2014]. Исследования также указывают на связь между религиозностью европейцев и их взглядами по вопросам, относящимся к проблематике иммиграции, такими как поддержка крайне правых партий [Immerzeel, Jaspers, Lubbers, 2013; Lucassen, Lubbers, 2012] и отношение к Евросоюзу [Nelsen, Guth, Fraser, 2001; Van der Brug, Hobolt, De Vreese, 2009]. Наконец, в некоторых европейских обществах существует феномен «этнической религии», понимаемой не как вера в сверхъестественное, обрядность и т. д., а как этнокультурный маркер, призванный отделять «своих» от «чужих» [Hervieu-Léger, 2000; Storm, 2011]. В совокупности эти факторы, опосредованно связывающие религиозность и антииммигрантские настроения, указывают на важность изучения связи между религиозностью европейцев и их отношением к иммигрантам.

В настоящей статье анализируется обусловленность антииммигрантских настроений в Европе двумя факторами, часто изучаемыми в контексте влияния религиозности на политические взгляды: конфессиональной принадлежностью и уровнем индивидуальной религиозности. Для этого используются материалы седьмой волны Европейского социального исследования (European Social Survey — ESS) по 20 государствам Европы и продвинутый метод статистического анализа — многоуровневое регрессионное моделирование. При этом учитывается

¹ См., например: Greven T. The Rise of Right-Wing Populism in Europe and the United States. A Comparative Perspective. Washington, DC: Friedrich Ebert Foundation, 2016. URL: http://dc.fes.de/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf (дата обращения: 20.01.2022).

религиозность как жителей принимающих стран, так и самих мигрантов — отношение к иммигрантам-мусульманам и отношение к иммигрантам из преимущественно христианских стран рассматриваются в качестве отдельных зависимых переменных.

Религиозность и антииммигрантские установки: что известно?

Научные работы по теме антииммигрантских настроений в Европе можно объединить в две большие группы [Hainmueller, Hopkins, 2014]. Одни исследователи объясняют неприятие иммигрантов с помощью социально-экономических факторов, таких как безработица, бедность и т. п. [Billiet, Meuleman, De Witte 2014; Citrin et al., 1997; Meuleman, 2011; Swank, Betz, 2003]. Другие видят причины поддержки антииммигрантской повестки дня в культурно-символической сфере, то есть в опасениях за национальную идентичность и отторжении людей с поведенческими установками и мировоззрением, отличными от господствующих в принимающем обществе [Davidov et al., 2014; Leong, Ward, 2006; Lucassen, Lubbers, 2012; Saroglou et al., 2009]. Представление об иммигрантах как источнике опасности обычно основано на воспринимаемой (*perceived threat*), а не на реальной угрозе или личном опыте, при этом различные группы иммигрантов связываются с разными типами угроз [Azrout, Wojcieszak, 2017; Schneider, 2008]. Иммигранты из других стран Европы воспринимаются европейцами главным образом в терминах экономических угроз: конкуренции на рынке труда, роста социальных расходов и налоговой нагрузки и других негативных факторов, связанных с личным материальным интересом. В то же время иммигранты из исламских стран ассоциируются с символической угрозой — «размыванием» национальной идентичности, традиционных европейских (как христианских, так и секулярных) ценностей и культуры.

Множество исследований (подробный обзор работ по теме см. [Hainmueller, Hopkins, 2014]) с разными теоретическими предпосылками и методологическим дизайном — как кросс-национальных, так и кейс-стади, — говорят о том, что антииммигрантские настроения в странах Запада в большей степени объясняются культурно-символическими факторами, чем экономическими [Burns, Gimpel, 2000; Card, Dustmann, Preston, 2012; Citrin et al., 1997]. Так, Дж. Фетцер [Fetzer, 2000], используя данные по Франции, Германии и США, пришел к выводу, что личная экономическая заинтересованность и экономическая маргинализация оказывают незначительное влияние на позицию респондента по проблеме иммиграции. В свою очередь, Дж. Сайдс и Дж. Ситрин [Sides, Citrin, 2007] установили, что в ряде европейских государств низкий уровень социального доверия и опасения за культурную и национальную идентичность теснее связаны с антииммигрантскими настроениями, чем материальное положение индивида и оценка им экономической ситуации в стране. Наконец, Ж. Биллиет, Б. Мельман и Х. Де Витте [Billiet, Meuleman, De Witte, 2014] показали, что отсутствие работы, нестабильная занятость и материальная депривация относительно слабо связаны с восприятием «этнической угрозы». При этом эффект первой из перечисленных переменных зависит от показателей роста ВВП конкретных стран и может порождаться общим ощущением экономической незащищенности, а не конкретными финансовыми

трудностями отдельных людей. Таким образом, есть основания полагать, что символические факторы оказываются более важной детерминантой антииммигрантских настроений, чем экономические.

Что можно сказать о роли религиозности в данном контексте? В литературе распространено утверждение о положительной связи между принадлежностью к доминирующей в обществе религии и антииммигрантскими взглядами в европейских странах. Иногда речь идет о христианской самоидентификации в целом [Scheepers, Gijsberts, Coenders, 2002; Scheepers, Gijsberts, Hello, 2002], иногда — о принадлежности к отдельным конфессиям, например католицизму [Savelkoul et al., 2010], однако почти везде (в том числе в данной работе) «принадлежность» понимается как самоидентификация индивида с религией (конфессией). Тем не менее эффект религиозной идентичности не всегда столь однозначен — важна и религиозная принадлежность самих мигрантов. Согласно И. Сторм [Storm, 2011], принадлежность к доминирующей конфессии положительно связана с восприятием иммигрантов как культурной угрозы лишь в тех странах Европы, где значительная их часть являются мусульманами, а доминирующая конфессия воспринимается главным образом как культурный маркер, а не повседневные «вера и ритуал». Помимо этого, живущие в европейских странах представители нехристианских религий менее склонны к предрассудкам против этнических меньшинств, чем христиане и нерелигиозные люди [Scheepers, Gijsberts, Hello, 2002].

Данные предыдущих исследований касательно эффектов индивидуальной религиозности неоднозначны. По результатам исследования на материале 24 европейских стран, более религиозные (по самооценке) индивиды склонны лучше относиться к иммигрантам [Davidov et al., 2014]. Однако в некоторых обществах эта связь имеет противоположный характер. Так, в Греции религиозные индивиды хуже относятся к иммигрантам — по-видимому, под влиянием консервативного дискурса православной церкви [Karyotis, Patrikios, 2010]. В Бельгии хуже всего воспринимают ношение хиджаба в общественных местах ультраконсервативные верующие-христиане, а также индивиды, негативно относящиеся к любым религиям как таковым. Другими словами, нетерпимость к иммигрантам связана скорее с непримиримостью в вопросах религии, чем собственно с религиозностью [Saroglou et al., 2009]. Дифференцированные эффекты различных аспектов индивидуальной религиозности отмечают П. Схеперс, М. Гейсбертс и М. Хелло в исследовании одиннадцати европейских стран — частота посещения церкви положительно связана со склонностью к этническим предрассудкам, тогда как степень знакомства с религиозной доктриной и важность религии для индивида — отрицательно [Scheepers, Gijsberts, Hello, 2002].

Таким образом, связь между различными измерениями религиозности (конфессиональной принадлежностью и уровнем индивидуальной религиозности) и антииммигрантскими взглядами неоднозначна и проявляется по-разному в различных социальных контекстах. Едва ли можно говорить о том, что обнаружены какие-либо устойчивые паттерны как в мировом, так и в европейском контексте. В существующих работах обычно рассматривается только одно из этих измерений религиозности [Davidov et al., 2014; Fetzer, 2000; Hayes, Dowds, 2006; Karyotis, Patrikios, 2010; Saroglou et al., 2009; Storm, 2011], реже — оба [Savelkoul

et al., 2010], при этом лишь в рамках одной или нескольких стран (исключения см. [Scheepers, Gijbbergs, Hello, 2002; Davidov et al., 2014]). Религиозность самих мигрантов также редко попадает в исследовательский фокус. Кроме того, наблюдаются явные лакуны и в плане теоретического осмысления возможной связи индивидуальной религиозности и конфессиональной принадлежности с антииммигрантскими взглядами.

Теория и гипотезы

Исследования по проблематике религиозности и антииммигрантских настроений редко опираются на конкретный теоретический подход и отталкиваются скорее от имеющихся данных. Однако есть несколько теорий, которые можно использовать для объяснения связи между религиозностью и антииммигрантскими взглядами. Наиболее перспективными здесь представляются теория социальной идентичности [Brader, Valentino, Suhay, 2008; Tajfel, 1981] и теория религиозного сострадания [Bloom, Arikan, Courtemanche, 2015]².

Теория социальной идентичности основана на идее, что индивид находит в группе, к которой принадлежит (in-group), позитивную самоидентификацию за счет подчеркивания положительных отличий этой группы от «внешних» групп (out-groups). То, что воспринимается как символическая угроза для группы (в частности, религиозная или другая инаковость), будет считываться ее членом и как угроза для него самого [Brader, Valentino, Suhay, 2008; Tajfel, 1981]. Желание защитить свою идентичность от посягательств со стороны «других» становится причиной межгрупповых конфликтов.

Религиозная идентичность представляется особенно важным типом социальной идентичности в силу того, что она, как правило, рано усваивается индивидами, укрепляется на протяжении жизни и задает разделяемые членами сообщества ценностные ориентиры [Bloom, Arikan, Courtemanche, 2015: 2]. Важной чертой религиозной идентичности, подобно национальной или этнической, является ее «сплывающий и принуждающий» характер [Ysseldyk, Matheson, Anisman, 2010: 63]. Однако религиозная идентичность воспринимается еще и как приверженность «высшей истине», что усиливает ее привлекательность и в определенной степени укрепляет чувство превосходства над другими группами [ibid.: 61—62]. Возможно, именно такая консолидирующая и разграничивающая роль религии приводит к тому, что религиозная идентичность становится важным фактором при конструировании границ национального сообщества [Hadler, Flesken, 2018]. Это, в свою очередь, может приводить и к росту неприятия иммигрантов с другой религиозной идентичностью (в случае Европы — в основном мусульман), и к более толерантному отношению к иммигрантам-христианам или, по крайней мере, выходцам из преимущественно христианских стран (которых представители христианских конфессий принимающей страны будут воспринимать как членов «близкой» группы).

² Здесь можно также упомянуть теорию этнической конкуренции [Olzak, 1994; Quillian, 1995] и теорию маргинализации [Allport, Kenneth, Tettagrew, 1979; Betz, 1994; Fetzer, 2000]. Однако первая лишь объединяет положения теории социальной идентичности с реалистической теорией группового конфликта, а вторая основывается на материалах небольшого количества кейс-стади, проводившихся к тому же в весьма специфических контекстах (см., например, [Hayes, Dowds, 2006]).

Напротив, индивиды, не причисляющие себя к какой-либо конфессии, будут менее склонны к исламофобии, поскольку позитивная самоидентификация через религию и ощущение символической угрозы свойственны им в меньшей степени (кроме, возможно, лиц, рассматривающих любую религию как угрозу секулярной европейской идентичности [Savelkoul et al., 2010]). Также можно предположить, что для таких индивидов христианский бэкграунд приезжих будет менее значимым.

Вышеописанные соображения суммируются следующими исследовательскими гипотезами:

Гипотеза 1 (Г1): Христиане (католики и протестанты) хуже относятся к иммигрантам-мусульманам, чем люди, не принадлежащие к какой-либо конфессии.

Гипотеза 2 (Г2): Наличие у иммигрантов христианского бэкграунда важнее для христиан (католиков и протестантов), чем для людей вне конфессии.

Помимо различий между христианами и индивидами вне конфессий можно было бы рассмотреть и различия между католиками и протестантами в отношении к иммигрантам-мусульманам. Однако строить обоснованные предположения по этому поводу довольно сложно. Значимых различий между католиками и протестантами по вопросу отношения к иммигрантам либо не обнаруживается [Scheepers, Gijssberts, Hello, 2002], либо они исчезают при учете контрольных переменных [Savelkoul et al., 2010]. Поэтому в данном исследовании не выдвигается гипотез, касающихся различий между католиками и протестантами в плане их отношения к иммигрантам-мусульманам.

Под теорией религиозного сострадания (*religious compassion theory* [Bloom, Arikan, Courtemanche, 2015]) здесь подразумевается то объяснение связи между индивидуальной религиозностью и отношением к иммиграции, которое пока не имеет устоявшегося наименования в литературе, но встречается относительно часто. Согласно этому объяснению, важными ценностями во многих религиозных учениях являются сострадание и забота о тех, кто переживает трудности и лишения [Boomgaarden, Freire, 2009; Knoll, 2009], особенно если эти люди принадлежат к той же религиозной группе или хотя бы воспринимаются как «близкие» по тому или иному признаку [Norenzayan, 2013]. Поэтому можно ожидать, что люди с высоким уровнем индивидуальной религиозности будут с большим сочувствием относиться к иммигрантам как к уязвимой группе. Впрочем, на практике «религиозное сострадание» взаимодействует с соображениями социальной идентичности и потому должно касаться в первую очередь единоверцев, принадлежащих к «своей» расовой или этнической группе, во вторую — единоверцев из других групп, а на остальных иммигрантов распространяться в значительно меньшей степени. Соответственно, логично предложить следующую гипотезу:

Гипотеза 3 (Г3): Индивидуальная религиозность положительно связана с важностью наличия у иммигрантов христианского бэкграунда.

Тем не менее низкий уровень сочувствия иноверцам по сравнению с единоверцами не означает его полного отсутствия и тем более отрицательной связи между уровнем религиозности индивида и отношением к представителям иных религий. С другой стороны, индивидуальная религиозность во многом действительно индивидуальна. Придавая разное значение религии в ее различных аспектах, индивиды выдвигают на передний план те или иные особенности вероучения, приходя

к состраданию [Bloom, Arikan, Courtemanche, 2015; Boomgaarden, Freire, 2009] или неприязни на почве религии [Allport, Kramer, 1946; Karyotis, Patrikios, 2010]. Даже разные способы измерения уровня индивидуальной религиозности приводят к различным содержательным выводам в этом отношении [Allport, Kramer, 1946; Gorsuch, Aleshire, 1974; Scheepers, Gijsberts, Hello, 2002]. Поэтому, в силу противоречивости существующих данных и нехватки исследований по данному вопросу, можно выдвинуть две конкурирующие гипотезы касательно направления связи между индивидуальной религиозностью и восприятием мигрантов-мусульман. Первая из этих гипотез вдохновляется теорией религиозного сострадания, а вторая — теорией социальной идентичности:

Гипотеза 4а (Г4а): Индивидуальная религиозность положительно связана с отношением к мусульманской иммиграции.

Гипотеза 4б (Г4б): Индивидуальная религиозность отрицательно связана с отношением к мусульманской иммиграции.

Данные

Для проверки сформулированных в предыдущем разделе гипотез используются данные седьмой волны Европейского социального исследования (полевые работы проводились в 2014—2015 гг.). Седьмая волна выбрана в связи с тем, что в ее опросник включен специальный модуль с вопросами, измеряющими различные аспекты отношения европейцев к проблеме иммиграции³. Обратной стороной такого решения является невозможность изучить взаимосвязь между принадлежностью к православию и отношением к иммиграции, поскольку православные респонденты крайне слабо представлены в этой волне ESS. Стоит отметить, что проблематика связи антииммигрантских настроений и православия пока что остается слабо проработанной, особенно в рамках количественной методологии (как исключение см. [Шустов, 2018]), поэтому в данной статье не рассматривается.

Так как в фокусе настоящего исследования находятся эффекты христианской религиозности, перед анализом из исходной базы данных были исключены следующие группы респондентов:

1) представители всех религий, кроме католицизма и протестантизма (респонденты, не принадлежащие ни к одной из религий, оставлены в качестве опорной категории);

2) иммигранты в первом и втором (с хотя бы одним родителем-иммигрантом) поколении⁴;

3) респонденты из Израиля (исследование затрагивает только европейские страны, где наиболее популярной религией является христианство).

В результате для статистического анализа используется выборка, включающая материалы по 29 916 респондентам из 20 стран⁵.

³ Heath A., Schmidt P., Green E., Ramos A., Davidov E., Ford R. Attitudes towards Immigration and Their Antecedents: Question Module Design Template // European Social Survey. 2014. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/questionnaire/ESS7_immigration_final_module_template.pdf (дата обращения: 20.01.2022).

⁴ Принадлежность к иммигрантам в первом поколении определялась через отрицательный ответ на вопрос «Вы родились в [данной стране]?»; во втором поколении — через отрицательный ответ хотя бы на один вопрос из двух: «Ваш отец родился в [данной стране]?» и «Ваша мать родилась в [данной стране]?».

⁵ Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Для измерения отношения респондентов к иммигрантам, принадлежащим к различным религиозным традициям, используются следующие вопросы из анкеты ESS:

1) «В какой степени, на Ваш взгляд, [страна] должна позволить... мусульманам из других стран приезжать и жить здесь?» (в целях экономии пространства далее для этой и других переменных используется сокращенное обозначение из материалов ESS — *almuslv*);

2) «Насколько важно, чтобы они [иммигранты] выросли в христианской среде?» (*qfimchr*).

Вопрос о готовности принимать иммигрантов-мусульман отражает отношение непосредственно к иммиграции из исламских стран, что позволяет проверить наличие связи между христианской религиозностью и исламофобией среди европейцев. В свою очередь, вопрос о христианском бэкграунде иммигрантов — это индикатор важности принадлежности потенциальных иммигрантов если не к христианству, то к культуре, исторически связанной с этой религией⁶. Можно предположить, что эта переменная косвенно указывает на уровень восприятия иммигрантов-нехристиан (в первую очередь мусульман) как угрозы, помогая охватить тех респондентов, для которых прямой вопрос об отношении к иммиграции мусульман слишком чувствителен и заставляет их корректировать ответы в соответствии с социальными ожиданиями. В анкете седьмой волны ESS присутствовало несколько других вопросов, затрагивающих проблемы иммиграции, однако в настоящем исследовании они не рассматриваются, так как либо дублируют уже используемые зависимые переменные, либо плохо соотносятся с религиозной тематикой⁷.

Переменная *almuslv* является порядковой и включает четыре категории: «позволить многим приехать и жить здесь», «позволить некоторому количеству», «позволить немногим», «не позволять никому». Для упрощения интерпретации результатов она была перекодирована в бинарную таким образом, что значению 0 («да»; опорная категория) соответствуют ответы «позволить многим» и «позволить некоторому количеству», а значению 1 («нет») — «позволить немногим» или «не позволять никому». Переменная *qfimchr* измеряется по 10-балльной шкале, где 1 означает «совершенно не важно», а 10 — «крайне важно». Формально она также является порядковой, однако в исследованиях на материалах межстрановых сравнительных опросов порядковые переменные с пятью и более категориями обычно трактуются как интервальные.

⁶ Heath A., Schmidt P., Green E., Ramos A., Davidov E., Ford R. Op. cit.

⁷ Как следует из документации седьмой волны ESS, вопрос «В какой степени, на Ваш взгляд, [страна] должна позволить людям расы или этнической группы, отличной от большинства жителей [страны], приезжать и жить здесь?» (*imdfetn*) измеряет отношение к мигрантам «из непохожих групп» (*migrants from dissimilar groups*). Эта широкая формулировка явно включает в себя и иммигрантов-мусульман, но поскольку в анкете имеется вопрос об отношении непосредственно к ним, включать в анализ менее сфокусированный индикатор представляется излишним. По сходным соображениям исключен вопрос об иммигрантах из «бедных стран за пределами Европы» (*impcnt*): фактически он измеряет отношение к иммигрантам из стран «третьего мира». Вопросы «В какой степени, на Ваш взгляд, [страна] должна позволить людям той же расы или этнической группы, что и большинство жителей [страны], приезжать и жить здесь?» (*imsmetn*) и «Насколько важно, чтобы они [иммигранты] были белыми?» (*qfimwhit*) отражают скорее влияние националистических/расовых предрассудков, чем религиозных убеждений. Наконец, вопрос об отношении к иммиграции из «более бедных стран Европы» (*eimpcnt*) напрямую связан с экономической, а не с «символической» угрозой, в силу чего выходит за рамки данного исследования.

Зависимые переменные анализируются по отдельности, то есть для каждой из них создается отдельный набор регрессионных моделей. Было показано, что вопросы ESS, измеряющие отношение к различным группам иммигрантов, отражают один латентный фактор [Davidov et al., 2015; Davidov, Cieciuch, Schmidt, 2018]. Иными словами, различные аспекты отношения к иммигрантам сильно коррелируют друг с другом, поэтому возможно на их основе сконструировать единую зависимую переменную, например в виде аддитивного индекса⁸. Однако в данном исследовании проверяются гипотезы высокого уровня детализации, разные для разных зависимых переменных. Поэтому выбранная аналитическая стратегия представляется оптимальной, так как позволяет оценить корреляцию между различными независимыми и каждой из зависимых переменных по отдельности, в то время как при создании индекса специфический контент зависимых переменных «растворяется».

Объясняющими переменными выступают *конфессиональная принадлежность (конфессия/деноминация)* и *индивидуальная религиозность*. Деноминация является номинальной переменной, сконструированной на основе вопросов «Принадлежность к конкретной религии или деноминации» (*rlgblg*) и «Религия или деноминация, к которой принадлежите в настоящее время» (*rlgdnm*). Она имеет три возможных значения: *католики*, *протестанты* и *вне конфессий*. Эти категории формируются следующим образом. Респонденты, которые ответили «нет» на вопрос о конфессиональной принадлежности, причисляются к категории «вне конфессий». Затем те, кто ответил «да» и перешел ко второму вопросу, причисляются к категории «католики» или «протестанты» в зависимости от выбранного варианта (приверженцы всех других религий/конфессий из выборки исключались). Некоторые респонденты отказались отвечать на первый либо второй вопрос, однако таковых набралось всего лишь 0,9% от общего числа опрошенных; они также были исключены из анализа. Из оставшихся 11 012 (36,8%) человек идентифицировали себя как католики, 4 869 (16,3%) — как протестанты, 14 035 (46,9%) — как не принадлежащие ни к одной конфессии. *Индивидуальная религиозность* измеряется через вопрос «Независимо от принадлежности к конкретной религии, насколько Вы, на Ваш взгляд, религиозны?» (*rlgdgr*). Это интервальная переменная, принимающая значения от 0 («совершенно не религиозен») до 10 («очень религиозен»).

В качестве контрольных переменных в данном исследовании используются стандартные социально-демографические показатели: возраст (*agea* в материалах ESS), количество лет, потраченных на получение образования (*eduysr*), гендер (*gndr*) и наличие постоянной работы за последнюю неделю (*pdwrk*)⁹. Также учитываются три страновые характеристики, которые часто фигурируют в сравнительных исследованиях антииммигрантских настроений, так как позволяют отразить влияние социально-экономических различий между государствами: реальный ВВП на душу

⁸ Коэффициент корреляции Пирсона для пары *almuslv* и *qfimchr* равняется 0,42 ($p=0,000$).

⁹ Также в качестве контрольной переменной использовался индикатор политических взглядов по шкале «лево — право» (*lrscscale*). По указанной переменной, однако, наблюдается много пропущенных значений — 10,2%, в силу чего ее добавление в модель значительно сокращает выборку. Впрочем, даже в этом случае содержательные результаты в целом не менялись.

населения¹⁰, индекс человеческого развития (ИЧР)¹¹ и индекс Джини^{12,13}. Все используемые интервальные переменные были стандартизованы (приведены к шкале со средним ноль и стандартным отклонением единица). Описательные статистики для всех переменных до стандартизации приведены в таблице А1 в приложении.

Методы

Для эмпирического анализа используется многоуровневая регрессия с группоспецифическим свободным членом (*random intercept*)¹⁴: многоуровневая логистическая регрессия для бинарной зависимой переменной *almuslv* и многоуровневая линейная регрессия для интервальной зависимой переменной *qfimchr*. Основным преимуществом данного метода по сравнению со стандартными одноуровневыми регрессионными моделями является возможность учесть воздействие ненаблюдаемых страновых характеристик через рандомизацию свободного члена^{15,16}. В моделях для всех зависимых переменных наблюдением первого уровня является респондент, второго — страна проживания. Согласно методологическим рекомендациям, все интервальные переменные первого уровня были центрированы по группам, то есть преобразованы таким образом, чтобы в каждой группе среднее для данной переменной равнялось нулю [Bell, Jones, Fairbrother, 2018].

Чтобы определить, насколько оправдано применение многоуровневого дизайна, был подсчитан коэффициент внутриклассовой корреляции (*intra-class correlation coefficient, ICC*) для «пустых» моделей, включающих только группоспецифический свободный член. Этот показатель отражает долю дисперсии зависимой переменной, которую можно объяснить межстрановыми различиями (в отличие от индивидуальных различий внутри стран). При значениях ICC, меньших чем 0,05, использование многоуровневых моделей не имеет практического смысла [Волченко, Широканова, 2017: 20; Gelman, Hill, 2006: 449]. Для переменной *almuslv* ICC равняется 0,175, для *qfimchr* — 0,144.

Следует отметить, что при небольшом количестве стран (< 30) не рекомендуется включать в модель сразу несколько контрольных переменных второго уровня,

¹⁰ Main Tables: National Accounts // Eurostat. 2018. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables> (дата обращения: 12.04.2020).

¹¹ UNDP Human Development Index (HDI) // European Health Information Gateway. 2019. URL: https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_42-0500-undp-human-development-index-hdi/ (дата обращения: 12.04.2020).

¹² GINI Index (World Bank Estimate) // The World Bank Data. 2019. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?type=points&view=map> (дата обращения: 12.04.2020).

¹³ Реальный ВВП на душу населения учитывался по состоянию на год (2014 или 2015) проведения в соответствующей стране опроса седьмой волны ESS (или год, на который пришлось большая часть периода полевых работ); данные по индексу человеческого развития и индексу Джини — по состоянию на 2015 г.

¹⁴ Существуют альтернативные варианты русского перевода англоязычного термина *random intercept* [Волченко, Широканова, 2017].

¹⁵ В силу недостатка места не представляется возможным подробно и с использованием математической нотации объяснить все особенности метода многоуровневой (используется также термин «иерархическая») регрессии. На русском языке детальный обзор по теме дают [Волченко, Широканова, 2017]; см. также классические учебники [Raudenbush, Bryk, 2002; Gelman, Hill, 2006].

¹⁶ В общем случае многоуровневые модели также позволяют учесть межстрановую вариацию в силе связи между зависимыми и объясняющими переменными посредством введения группоспецифических регрессионных коэффициентов (*random slopes*) для соответствующих предикторов. Однако в методологической литературе не рекомендуется использовать такие коэффициенты при небольшом количестве групп (<30) [Stegmuller, 2013; Bryan, Jenkins, 2016].

поэтому для каждой зависимой переменной было построено три модели, отличающиеся только используемым страновым предиктором. Поскольку результаты содержательно не различаются, то для экономии места сообщаются коэффициенты только для моделей с ВВП в качестве контрольной переменной¹⁷. Для оценки параметров моделей используется метод ограниченного максимального правдоподобия¹⁸. Все расчеты были выполнены в программной среде R (версия 3.6.1)¹⁹.

Результаты

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 1. Первые две колонки показывают оценки коэффициентов для моделей, в которых зависимой переменной является (не)готовность принимать мусульман, тогда как третья и четвертая — для моделей с зависимой переменной, отражающей важность для респондента христианского бэкграунда иммигрантов. Так как первые две модели — это бинарные логистические регрессии, то коэффициенты представлены в виде отношения шансов (*odds ratio*)²⁰. В оставшихся двух моделях коэффициенты показывают аддитивные эффекты соответствующих предикторов²¹. В содержательном отношении полученные оценки коэффициентов позволяют сделать следующие выводы.

Таблица 1. Результаты многоуровневого регрессионного анализа

Переменные	Мусульмане	Мусульмане	Христианский бэкграунд	Христианский бэкграунд
	Отношение шансов	Отношение шансов	Линейный эффект	Линейный эффект
Константа	1,25 (0,94—1,67)	1,33 (1,00—1,77)	−0,19 ** (−0,30—0,07)	0,06 (−0,06—0,19)
Деноминация: протестанты	1,07 (0,99—1,16)		0,41 *** (0,38—0,44)	
Деноминация: католики	1,15 *** (1,08—1,24)		0,43 *** (0,40—0,46)	
Религиозность		0,99 (0,96—1,02)		0,25 *** (0,24—0,26)

¹⁷ Результаты для спецификаций с альтернативными контролями второго уровня могут быть предоставлены по запросу.

¹⁸ Считается, что для получения надежных оценок группоспецифических коэффициентов количество наблюдений второго уровня должно быть не менее тридцати [Волченко, Широкая, 2017: 20], но в исследованиях на материалах ESS и других межстрановых опросных проектов это требование обычно игнорируется — попросту в силу отсутствия необходимого числа стран и разумных альтернатив. Некоторые авторы [Stegmueller, 2013] рекомендуют в таких случаях использовать байесовские методы. Пересчет представленных здесь моделей при помощи байесовских алгоритмов дает содержательно идентичные результаты.

¹⁹ Данные седьмой волны ESS публично доступны на сайте организации; код, необходимый для воспроизведения результатов, описываемых в статье (в том числе тех, которые упоминаются только в сносках), может быть предоставлен по запросу.

²⁰ Представленные в таком виде коэффициенты показывают, насколько при прочих равных изменится отношение вероятности выбрать ответ «нет» к вероятности выбрать ответ «да» при изменении соответствующего предиктора на одну единицу (для центрированных по группам переменных — при отклонении на одну единицу от группового среднего).

²¹ То есть насколько при прочих равных изменится зависимая переменная при изменении данного предиктора на одну единицу (для центрированных по группам переменных — при отклонении на одну единицу от группового среднего).

Переменные	Мусульмане	Мусульмане	Христианский бэкграунд	Христианский бэкграунд
	Отношение шансов	Отношение шансов	Линейный эффект	Линейный эффект
Возраст	1,29 *** (1,25—1,33)	1,30 *** (1,27—1,34)	0,17 *** (0,16—0,18)	0,16 *** (0,15—0,17)
Кол-во лет образования	0,60 *** (0,58—0,62)	0,60 *** (0,58—0,62)	-0,12 *** (-0,13—-0,11)	-0,12 *** (-0,13—-0,11)
Пол: женский	1,06 * (1,01—1,12)	1,07 ** (1,02—1,13)	-0,04 *** (-0,06—-0,02)	-0,09 *** (-0,11—-0,07)
Оплачиваемая работа: есть	1,08 ** (1,02—1,14)	1,08 ** (1,02—1,14)	-0,01 (-0,04—0,01)	-0,02 (-0,04—0,00)
ВВП	0,57 *** (0,44—0,75)	0,57 *** (0,43—0,74)	-0,24 *** (-0,35—-0,13)	-0,25 *** (-0,36—-0,13)
σ^2	3,29	3,29	0,74	0,73
τ_{00}	0,41 страна	0,41 страна	0,07 страна	0,08 страна
ICC	0,11	0,11	0,08	0,10
Число групп	20	20	20	20
Число наблюдений	29625	29463	29139	29001
R ² Фикс. / Услов.	0,156/0,250	0,155/0,249	0,179/0,248	0,186 / 0,264

Примечание. Для бинарных логистических моделей коэффициенты представлены в виде отношения шансов, для линейных моделей — в виде стандартных регрессионных коэффициентов; в скобках указаны соответствующие доверительные интервалы. σ^2 — это остаточная дисперсия первого уровня, τ_{00} — дисперсия группоспецифических свободных членов. Фиксированный (*marginal*) R² показывает долю дисперсии, объясняемой независимыми переменными; условный (*conditional*) R² дополнительно учитывает дисперсию, объясняемую межгрупповыми различиями.

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Во-первых, существуют определенные различия между людьми вне конфессии, протестантами и католиками в плане (не)готовности принимать мусульман. Различия между первыми двумя категориями являются лишь маргинально статистически значимыми ($p = 0,097$)²²; различия между людьми вне конфессий и католиками значимы на уровне $\alpha = 0,1\%$ ($p = 0,000$) — то есть последние менее толерантны. В то же время предсказанные вероятности ответить «нет» на вопрос про мигрантов-мусульман для соответствующих категорий переменной «конфессия» практически не отличаются: 0,56 (95% ДИ = [0,48; 0,62]²³); 0,57 [0,50; 0,64] и 0,59 [0,52; 0,66]. Таким образом, заметной связи между конфессиональной принадлежностью и отношением к мигрантам-мусульманам не обнаружено. Это означает, что выведенная из теории социальной идентичности гипотеза 1 в целом не согласуется с данными (а значимые отличия объясняются большим размером выборки и, следовательно, высокой мощностью теста).

Во-вторых, по сравнению с респондентами вне конфессий и протестанты, и католики значимо выше оценивают важность христианского бэкграунда иммигрантов — на 0,41 и 0,43 стандартных отклонений соответственно. Предсказанные значения зависимой переменной (по стандартизованной шкале) для этих трех

²² Этот коэффициент является значимым при отсутствии контрольных переменных в модели.

²³ Сообщаемые здесь и далее предсказанные вероятности и значения, а также соответствующие им доверительные интервалы были рассчитаны с помощью функции `plot_model()` в пакете R `sjPlot`.

категорий респондентов равняются $-0,19$ [$-0,31$; $-0,08$]; $0,21$ [$0,10$; $0,33$] и $0,24$ [$0,12$; $0,36$]. Обращает на себя внимание, что между протестантами и католиками в этом отношении нет практически никаких различий, и это позволяет предположить универсальную важность связи с христианской культурой как характеристики иммигрантов для представителей различных христианских конфессий. Так или иначе, гипотезу 2 (также опирающуюся на теорию социальной идентичности) можно считать подтвержденной.

В-третьих, важность христианского бэкграунда приезжающих в страну лиц положительно связана с индивидуальной религиозностью респондентов — при повышении второй переменной на одно стандартное отклонение значение первой также повысится на $0,25$ стандартных отклонения, *ceteris paribus*. Для минимального (нулевого) уровня религиозности предсказанное значение важности христианского бэкграунда иммигрантов равняется $-0,47$ [$-0,59$; $-0,35$], для максимального — $0,72$ [$0,59$; $0,85$]. Таким образом, гипотеза 3 (которая согласуется как с теорией социальной идентичности, так и с теорией религиозного сострадания) также выглядит правдоподобной.

В-четвертых, не наблюдается статистически значимой связи между индивидуальной религиозностью и неприятием мигрантов-мусульман. Соответствующий коэффициент равен $0,99$, а его доверительный интервал захватывает единицу (95% ДИ = [$0,96$; $1,02$]). Стоит отметить, что в парной регрессии можно обнаружить слабый положительный эффект (при повышении религиозности на одно стандартное отклонение шансы ответить «нет» на указанный вопрос анкеты увеличиваются на 10%), который все же исчезает при добавлении контрольных переменных. Таким образом, индивидуальная религиозность, в общем и целом, не связана с отношением к мигрантам-мусульманам. Следовательно, нет весомых статистических аргументов ни в пользу гипотезы 4а (о положительной связи), ни в пользу гипотезы 4б (об отрицательной связи), что противоречит предсказаниям и теории религиозного сострадания (в первом случае), и теории социальной идентичности (во втором).

Дискуссия

Представленные результаты показывают, что более религиозные европейцы значимо чаще склонны считать важным наличие христианского бэкграунда у иммигрантов. При этом связи между индивидуальной религиозностью и отношением к иммигрантам-мусульманам не обнаружилось. Это означает, что теория религиозного сострадания подтверждается лишь частично. Более религиозные европейцы действительно предпочитают иммигрантов из религиозно «близких» групп (что, впрочем, в определенной степени согласуется и с теорией социальной идентичности), однако это ничего не говорит о степени сочувствия к иммигрантам-иноверцам. Возможно, учет фактора расы и/или этничности иммигрантов в дальнейших исследованиях позволит лучше понять, как выстраиваются иерархии «религиозного сострадания» в европейском контексте.

Наличие у иммигрантов христианского бэкграунда действительно оказалось важнее для христиан, чем для людей вне конфессий. Однако различий в отношении к иммигрантам-мусульманам между этими группами почти нет. Оба результата касаются католиков и протестантов примерно в равной степени, что подтверждает

выводы тех исследований, которые говорят об отсутствии значимых различий между этими конфессиями в плане отношения к иммигрантам [Savelkoul et al., 2010; Scheepers, Gijsberts, Hello, 2002]. Следовательно, христианская самоидентификация сама по себе лишь укрепляет чувство солидарности с другими христианами, а (не)готовность принимать иммигрантов-мусульман определяется иными факторами. Видимо, уровень толерантности к приезжим определяется не столько конфессиональной принадлежностью, сколько тем, какие стороны вероучения приоритетны для индивида. Это означает, что теория (религиозной) социальной идентичности также лишь отчасти объясняет связь между религиозностью европейцев и их отношением к иммигрантам.

В целом обе использованные теоретические рамки позволяют объяснить только механизмы формирования установок европейцев по отношению к иммигрантам-христианам, но не к иммигрантам-мусульманам. Последнее может свидетельствовать о том, что религиозная инаковость не является существенным фактором европейской мигрантофобии в ее антимусульманском изводе. Впрочем, как упоминалось выше, ответы респондентов на вопрос о важности христианского бэкграунда иммигрантов могут быть в меньшей степени подвержены искажениям по причине социальной (не)желательности, но при этом они все-таки показывают, что религия приезжающих имеет значение для европейцев — как минимум в плане важности религиозной схожести мигрантов с местными. В этом отношении представляется, что теория социальной идентичности, хотя и не идеально, но все же лучше согласуется с данными, чем теория религиозного сострадания.

В заключение отметим ряд ограничений данного исследования. Во-первых, не рассматриваются религиозные переменные странового уровня — например, исторически преобладающая в стране конфессия и средний уровень религиозности населения. Возможно, «религиозный климат» в стране оказывает большее влияние на отношение ее жителей к иммигрантам, чем религиозные убеждения конкретных индивидов.

Во-вторых, не проверялись возможные эффекты взаимодействия между двумя индикаторами религиозности. Возможно, индивидуальная религиозность по-разному соотносится с отношением к мигрантам среди представителей различных конфессий.

В-третьих, не учитывается межстрановая вариация в силе связи между переменными. Это, в частности, позволило бы выяснить, есть ли значимые различия в эффектах независимых переменных между странами с высоким и низким средним уровнем религиозности, и изучить более подробно феномен «этнической религии» [Hervieu-Léger, 2000; Storm, 2011]. Однако построение надежных многоуровневых моделей, включающих как группоспецифические коэффициенты, так и эффекты взаимодействия, является нетривиальной методологической задачей, решение которой — удел будущих исследований данной темы.

Наконец, в-четвертых, хотя в исследовании и используется большой массив данных по двум десяткам стран, непонятно, до какой степени можно распространить полученные результаты на принимающие общества, в которых доминирующей религией является иная христианская конфессия (как в России) или вообще не христианство.

Список литературы

- Волченко О. В., Широканова А. А. Применение многоуровневого регрессионного моделирования к межстрановым данным (на примере генерализованного доверия) // Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М). 2017. Т. 43. С. 7—62. URL: <https://www.jour.isras.ru/index.php/soc4m/article/view/5264> (дата обращения: 20.01.2022).
- Volchenko O. V., Shirokanova A. A. (2017) Applying Multilevel Regression Modeling to Cross-National Data (on the Example of Generalized Trust). *Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling (4M)*. Vol. 43. P. 7—62. URL: <https://www.jour.isras.ru/index.php/soc4m/article/view/5264>. (In Russ.)
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. Политические исследования. 1994. № 1. С. 33—48.
- Huntington S. Clash of Civilizations? (1994) *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 33—48. (In Russ.)
- Шустов А. В. Этнокультурные особенности отношения к иммиграции в России // Социальные и гуманитарные знания. 2018. Т. 4. № 3. С. 173—184.
- Shustov A. V. (2018) Ethno-Cultural Peculiarities of Attitudes to Immigration in Russia. *Social and Humanitarian Knowledge*. Vol. 4. No. 3. P. 173—184. (In Russ.)
- Alba R., Foner N. (2014) Comparing Immigrant Integration in North America and Western Europe: How Much Do the Grand Narratives Tell Us? *International Migration Review*. No. 48. P. 263—291. <https://doi.org/10.1111/imre.12134>.
- Allport G. W., Kenneth C., Tettugrew T. (1979) *The Nature of Human Prejudice*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Allport G. W., Kramer B. M. (1946) Some Roots of Prejudice. *The Journal of Psychology*. Vol. 22. No. 1. P. 9—39. <https://doi.org/10.1080/00223980.1946.9917293>.
- Azrouit R., Wojcieszak M. E. (2017) What's Islam Got to Do with It? Attitudes Toward Specific Religious and National out-Groups, and Support for EU Policies. *European Union Politics*. Vol. 18. No. 1. P. 51—72. <https://doi.org/10.1177%2F1465116516678080>.
- Bell A., Jones K., Fairbrother M. (2018) Understanding and Misunderstanding Group Mean Centering: A Commentary on Kelley et al.'s Dangerous Practice. *Quality & Quantity*. Vol. 52. No. 5. P. 2031—2036. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0593-5>.
- Betz H. G. (1994) *Radical Right-Wing Populism in Western Europe*. New York, NY: St. Martin Press.
- Billiet J., Meuleman B., De Witte H. (2014) The Relationship between Ethnic Threat and Economic Insecurity in Times of Economic Crisis: Analysis of European Social Survey Data. *Migration Studies*. Vol. 2. No. 2. P. 135—161. <https://doi.org/10.1093/migration/mnu023>.
- Bloom P. B.-N., Arikan G., Courtemanche M. (2015) Religious Social Identity, Religious Belief, and Anti-Immigration Sentiment. *American Political Science Review*. Vol. 109. No. 2. P. 203—221. <https://doi.org/10.1017/S0003055415000143>.

Boomgaarden H. G., Freire A. (2009) Religion and Euroscepticism: Direct, Indirect or No Effects? *West European Politics*. Vol. 32. No. 6. P. 1240—1265. <https://doi.org/10.1080/01402380903230686>.

Bove V., Böhmelt T. (2016) Does Immigration Induce Terrorism? *The Journal of Politics*. Vol. 78. No. 2. P. 572—588. <https://doi.org/10.1086/684679>.

Brader T., Valentino N. A., Suhay E. (2008) What Triggers Public Opposition to Immigration? Anxiety, Group Cues, and Immigration Threat. *American Journal of Political Science*. Vol. 52. No. 4. P. 959—978. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2008.00353.x>.

Bryan M. L., Jenkins S. P. (2016) Multilevel Modeling of Country Effects: A Cautionary Tale. *European Sociological Review*. Vol. 32. No. 1. P. 3—22. <https://doi.org/10.1093/esr/jcv059>.

Burns P., Gimpel J. G. (2000) Economic Insecurity, Prejudicial Stereotypes, and Public Opinion on Immigration Policy. *Political Science Quarterly*. Vol. 115. No. 2. P. 201—225. <https://doi.org/10.2307/2657900>.

Card D., Dustmann C., Preston I. (2012) Immigration, Wages, and Compositional Amenities. *Journal of the European Economic Association*. Vol. 10. No. 1. P. 78—119. <https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2011.01051.x>.

Casanova J. (2007) Immigration and the New Religious Pluralism: A European Union/ United States Comparison. In: Banchoff T. (ed.) *Democracy and the New Religious Pluralism*. New York, NY: Oxford University Press. P. 59—83. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195307221.003.0005>.

Citrin J., Green D. P., Muste C., Wong C. (1997) Public Opinion Toward Immigration Reform: The Role of Economic Motivations. *The Journal of Politics*. Vol. 59. No. 3. P. 858—881. <https://doi.org/10.2307/2998640>.

Davidov E., Cieciuch J., Meuleman B., Schmidt P., Algesheimer R., Hausherr M. (2015) The Comparability of Measurements of Attitudes toward Immigration in the European Social Survey: Exact versus Approximate Measurement Equivalence. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 79. No. S1. P. 244—266. <https://doi.org/10.1093/poq/nfv008>.

Davidov E., Cieciuch J., Schmidt P. (2018) The Cross-Country Measurement Comparability in the Immigration Module of the European Social Survey 2014—15. *Survey Research Methods*. Vol. 12. No. 1. P. 15—27. <https://doi.org/10.18148/srm/2018.v12i1.7212>.

Davidov E., Meuleman B., Schwartz S. H., Schmidt P. (2014) Erratum Zu: Individual Values, Cultural Embeddedness, and Anti-Immigration Sentiments: Explaining Differences in the Effect of Values on Attitudes toward Immigration across Europe. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. Vol. 66. No. 1. P. 263—285. <http://dx.doi.org/10.1007/s11577-014-0293-2>.

Fetzer J. S. (2000) Economic Self-Interest or Cultural Marginality? Anti-Immigration Sentiment and Nativist Political Movements in France, Germany and the USA. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 26. No. 1. P. 5—23. <https://doi.org/10.1080/136918300115615>.

Foner N., Alba R. (2008) Immigrant Religion in the US and Western Europe: Bridge or Barrier to Inclusion? *International Migration Review*. Vol. 42. No. 2. P. 360—392. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2008.00128.x>.

Gelman A., Hill J. (2006) *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Gorsuch R. L., Aleshire D. (1974) Christian Faith and Ethnic Prejudice: A Review and Interpretation of Research. *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 13. No. 3. P. 281—307. <https://doi.org/10.2307/1384759>.

Hadler M., Flesken A. (2018) Political Rhetoric and Attitudes toward Nationhood: A Time-Comparative and Cross-National Analysis of 39 Countries. *International Journal of Comparative Sociology*. Vol. 59. No. 5—6. P. 362—382. <https://doi.org/10.1177/2F0020715218810331>.

Hainmueller J., Hopkins D. J. (2014) Public Attitudes Toward Immigration. *Annual Review of Political Science*. Vol. 17. P. 225—249. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-102512-194818>.

Hayes B. C., Dowds L. (2006) Social Contact, Cultural Marginality or Economic Self-Interest? Attitudes towards Immigrants in Northern Ireland. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 32. No. 3. P. 455—476. <https://doi.org/10.1080/13691830600554890>.

Hervieu-Léger D. (2000) *Religion as a Chain of Memory*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Hobolt S. B. (2016) The Brexit Vote: A Divided Nation, a Divided Continent. *Journal of European Public Policy*. Vol. 23. No. 9. P. 1259—1277. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1225785>.

Holmes S. M., Castañeda H. (2016) Representing the “European Refugee Crisis” in Germany and Beyond: Deservingness and Difference, Life and Death. *American Ethnologist*. Vol. 43. No. 1. P. 12—24. <https://doi.org/10.1111/amet.12259>.

Immerzeel T., Jaspers E., Lubbers M. (2013) Religion as Catalyst or Restraint of Radical Right Voting? *West European Politics*. Vol. 36. No. 5. P. 946—968. <https://doi.org/10.1080/01402382.2013.797235>.

Karyotis G., Patrikios S. (2010) Religion, Securitization and Anti-Immigration Attitudes: The Case of Greece. *Journal of Peace Research*. Vol. 47. No. 1. P. 43—57. <https://doi.org/10.1177%2F0022343309350021>.

Kentmen-Cin C., Erisen C. (2017) Anti-Immigration Attitudes and the Opposition to European Integration: A Critical Assessment. *European Union Politics*. Vol. 18. No. 1. P. 3—25. <https://doi.org/10.1177%2F1465116516680762>.

Knoll B. R. (2009) “And Who Is My Neighbor?” Religion and Immigration Policy Attitudes. *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 48. No. 2. P. 313—331. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2009.01449.x>.

Leong C.-H., Ward C. (2006) Cultural Values and Attitudes Toward Immigrants and Multiculturalism: The Case of the Eurobarometer Survey on Racism and Xenophobia. *International Journal of Intercultural Relations*. Vol. 30. No. 6. P. 799—810. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2006.07.001>.

Lucassen G., Lubbers M. (2012) Who Fears What? Explaining Far-Right-Wing Preference in Europe by Distinguishing Perceived Cultural and Economic Ethnic Threats. *Comparative Political Studies*. Vol. 45. No. 5. P. 547—574. <https://doi.org/10.1177%2F0010414011427851>.

Meuleman B. (2011) Perceived Economic Threat and Anti-Immigration Attitudes: Effects of Immigrant Group Size and Economic Conditions Revisited. In: Davidov E., Schmidt P., Billiet J. (eds.) *Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications*. London: Routledge. P. 281—310.

Muis J., Immerzeel T. (2017) Causes and Consequences of the Rise of Populist Radical Right Parties and Movements in Europe. *Current Sociology*. Vol. 65. No. 6. P. 909—930. <https://doi.org/10.1177%2F0011392117717294>.

Nelsen B. F., Guth J. L., Fraser C. R. (2001) Does Religion Matter? Christianity and Public Support for the European Union. *European Union Politics*. Vol. 2. No. 2. P. 191—217. <https://doi.org/10.1177%2F1465116501002002003>.

Norenzayan A. (2013) *Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and Conflict*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Olzak S. (1994) *The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Quillian L. (1995) Prejudice as a Response to Perceived Group Threat: Population Composition and Anti-Immigrant and Racial Prejudice in Europe. *American Sociological Review*. Vol. 60. No. 4. P. 586—611. <https://doi.org/10.2307/2096296>.

Raudenbush S. W., Bryk A. S. (2002) *Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Rooduijn M. (2015) The Rise of the Populist Radical Right in Western Europe. *European View*. Vol. 14. No. 1. P. 3—11. <https://doi.org/10.1007/s12290-015-0347-5>.

Saroglou V., Lamkaddem B., Van Pachterbeke M., Buxant C. (2009) Host Society's Dislike of the Islamic Veil: The Role of Subtle Prejudice, Values, and Religion. *International Journal of Intercultural Relations*. Vol. 33. No. 5. P. 419—428. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.02.005>.

Savelkoul M., Scheepers P., Tolsma J., Hagendoorn L. (2010) Anti-Muslim Attitudes in the Netherlands: Tests of Contradictory Hypotheses Derived from Ethnic Competition Theory and Intergroup Contact Theory. *European Sociological Review*. Vol. 27. No. 6. P. 741—758. <https://doi.org/10.1093/esr/jcq035>.

Scheepers P., Gijsberts M., Coenders M. (2002) Ethnic Exclusionism in European Countries. Public Opposition to Civil Rights for Legal Migrants as a Response to

Perceived Ethnic Threat. *European Sociological Review*. Vol. 18. No. 1. P. 17—34. <https://doi.org/10.1093/esr/18.1.17>.

Scheepers P., Gijssberts M., Hello E. (2002) Religiosity and Prejudice against Ethnic Minorities in Europe: Cross-National Tests on a Controversial Relationship. *Review of Religious Research*. Vol. 43. No. 3. P. 242—265. <https://doi.org/10.2307/3512331>.

Schneider S. L. (2008) Anti-Immigrant Attitudes in Europe: Outgroup Size and Perceived Ethnic Threat. *European Sociological Review*. Vol. 24. No. 1. P. 53—67. <https://doi.org/10.1093/esr/jcm034>.

Sides J., Citrin J. (2007) European Opinion About Immigration: The Role of Identities, Interests and Information. *British Journal of Political Science*. Vol. 37. No. 3. P. 477—504. <https://doi.org/10.1017/S0007123407000257>.

Stegmuller D. (2013) How Many Countries for Multilevel Modeling? A Comparison of Frequentist and Bayesian Approaches. *American Journal of Political Science*. Vol. 57. No. 3. P. 748—761. <https://doi.org/10.1111/ajps.12001>.

Storm I. (2011) “Christian Nations?” Ethnic Christianity and Anti-Immigration Attitudes in Four Western European Countries. *Nordic Journal of Religion and Society*. Vol. 24. No. 1. P. 75—96.

Swank D., Betz H. G. (2003) Globalization, the Welfare State and Right-Wing Populism in Western Europe. *Socio-Economic Review*. Vol. 1. No. 2. P. 215—245. <https://doi.org/10.1093/soceco/1.2.215>.

Tajfel H. (1981) *Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology*. Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Van der Brug W., Hobolt S. B., De Vreese C. H. (2009) Religion and Party Choice in Europe. *West European Politics*. Vol. 32. No. 6. P. 1266—1283. <https://doi.org/10.1080/01402380903230694>.

Ysseldyk R., Matheson K., Anisman H. (2010) Religiosity as Identity: Toward an Understanding of Religion from a Social Identity Perspective. *Personality and Social Psychology Review*. Vol. 14. No. 1. P. 60—71. <https://doi.org/10.1177%2F1088868309349693>.

Приложение

Таблица А1. *Описательные статистики*

N = 29916

Мигранты-мусульмане	
— Пропуски (%)	0 (0%)
— Да	12 778 (42,7%)
— Нет	17 138 (57,3%)
Важность христианского бэкграунда	
— Пропуски (%)	507 (1,7%)
— Среднее (std. откл.)	3,340 (3,114)
— Размах	0,000—10,000
Деноминация	
— Пропуски (%)	0 (0%)
— Вне конфессий	14 035 (46,9%)
— Протестанты	4 869 (16,3%)
— Католики	11 012 (36,8%)
Религиозность	
— Пропуски (%)	165 (0,6%)
— Среднее (std. откл.)	4,141 (3,006)
— Размах	0,000—10,000
Возраст	
— Пропуски (%)	45 (0,2%)
— Среднее (std. откл.)	50,099 (18,832)
— Размах	14,000—104,000
Лет образования	
— Пропуски (%)	237 (0,8%)
— Среднее (std. откл.)	12,822 (3,951)
— Размах	0,000—50,000
Пол	
— Пропуски (%)	0 (0%)
— Мужчины	14 420 (48,2%)
— Женщины	15 496 (51,8%)
Оплачиваемая работа	
— Пропуски (%)	0 (0%)
— Нет	14 420 (48,2%)
— Да	15 496 (51,8%)
ВВП	
— Пропуски (%)	0 (0%)
— Среднее (std. откл.)	32066,185 (15436,834)
— Размах	11200,000—73300,000
Коэффициент Джини	
— Пропуски (%)	0 (0%)
— Среднее (std. откл.)	30,908 (3,411)
— Размах	25,400—37,400
ИЧР	
— Пропуски (%)	0 (0%)
— Среднее (std. откл.)	0,886 (0,045)
— Размах	0,750—0,950

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1978](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1978)



В. И. Чумаков, Е. В. Шишкина, Ю. М. Токарева, В. Н. Хавронина

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Правильная ссылка на статью:

Чумаков В. И., Шишкина Е. В., Токарева Ю. М., Хавронина В. Н. Динамика социально-экономического положения населения Волгограда и Волгоградской области в период второй волны пандемии коронавируса // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 83—101. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1978>.

For citation:

Chumakov V. I., Shishkina E. V., Tokareva J. M., Khavronina V. N. (2022) Dynamics of the Socio-Economic Status of the Volgograd and Volgograd Region Population During the Second Wave of the Coronavirus Pandemic. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 83–101. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1978>. (In Russ.)

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

DYNAMICS OF THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE VOLGOGRAD AND VOLGOGRAD REGION POPULATION DURING THE SECOND WAVE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

ЧУМАКОВ Вячеслав Игоревич — кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия
E-MAIL: tchumakov.vi@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3119-9337>

Viacheslav I. CHUMAKOV¹ — *Cand. Sci. (Pedagogy)*, Associate Professor
E-MAIL: tchumakov.vi@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3119-9337>

ШИШКИНА Екатерина Викторовна — кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия
E-MAIL: e.w.shishkina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8620-8387>

Ekaterina V. SHISHKINA¹ — *Cand. Sci. (Philol.)*, Associate Professor
E-MAIL: e.w.shishkina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8620-8387>

ТОКАРЕВА Юлия Михайловна — кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия
E-MAIL: kazachkova.djulia@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-9342-3771>

Julia Mihailovna TOKAREVA¹ — *Cand. Sci. (Soc.)*, Associate Professor
E-MAIL: kazachkova.djulia@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-9342-3771>

ХАВРОНИНА Вера Николаевна — кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», Волгоград, Россия
E-MAIL: venus61@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1220-2593>

Vera N. KHAVRONINA¹ — *Cand. Sci. (Tech.)*, Associate Professor
E-MAIL: venus61@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1220-2593>

¹ The Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

Аннотация. Статья посвящена исследованию субъективных оценок социально-экономического положения жителей Волгограда и Волгоградской области в условиях самоизоляции в период второй волны пандемии коронавируса (зима — весна 2021 г.).

Abstract. The article studies subjective assessments of the socio-economic status among the residents of Volgograd and the Volgograd region in conditions of self-isolation during the second wave of the coronavirus pandemic (winter—spring 2021). The authors compare the

Освещен мировой опыт поддержки населения и экономики в сравнении с российскими реалиями. Приведены меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса изучаемого региона. Эмпирический анализ основывается на данных авторского социологического опроса, включающего в себя не только вопросы экономического характера, но также психосоциальные аспекты мер по длительному ограничению передвижения и снижению интенсивности социальных контактов. В статье рассмотрены меры социально-экономической поддержки населения с позиций социального государства. Анализ полученных данных показал ухудшение социально-экономического положения населения региона. Жители Волгоградской области подвержены страхам из-за угрозы потери работы, их психоэмоциональное состояние характеризуется тревожностью; участились конфликты, связанные с финансовыми трудностями, а также с вынужденным длительным нахождением с остальными членами семьи. Кроме этого, в работе эксплицирована роль СМИ в конструировании и воссоздании социальных страхов и угроз, влияющих на общественное сознание и имеющих такие последствия, как ажиотажное потребление, сужение поля социальных контактов. Предложены перспективы исследования с учетом продолжающейся пандемии коронавируса и неопределенности сроков ее окончания.

Ключевые слова: коронавирус, вторая волна, пандемия, самоизоляция, государственная поддержка

world practices of supporting the population and the economy and describe the measures of state support for small and medium-sized businesses introduced in the region under study. The empirical analysis is based on the data of the author's sociological survey, which covers not only questions of an economic nature, but also psychosocial aspects of restrictive lockdown measures. The article considers the measures of socio-economic support of the population from the standpoint of the welfare state. Analysis of the survey data showed the deterioration of the socio-economic situation of the region's population. Residents of the Volgograd region are subject to fears due to the threat of job loss, their psycho-emotional state is characterized by anxiety; conflicts related to financial difficulties, as well as forced long-term stay with the rest of the family, have become more frequent. In addition, the work explicated the role of the media in constructing and recreating social fears and threats that affect public consciousness and have such consequences as excessive consumption, and narrowing the field of social contacts. In conclusion, the authors suggest possible directions for the future studies, considering the ongoing coronavirus pandemic and the uncertainty of the timing of its completion.

Keywords: coronavirus, second wave, pandemic, self-isolation, state support

Введение

Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни человечества и будет иметь долговременные последствия, некоторые из которых уже сейчас можно выявить и описать: затронута экономика, политика, духовно-нравственная, социальная и медицинская сферы. Взрывной рост в последние годы продемонстрировала онлайн-сфера, выросло значение технологий видеоконференцсвязи, служб доставки продуктов, телемедицины, новые статусные высоты заняла вирусология. В то же время государственные институты, экономика, социальная защита продемонстрировали неготовность к глобальным катаклизмам, а в чем-то, возможно, и свою несостоятельность. Мировая экономика в любом случае претерпит фундаментальные изменения: компании будут вынуждены переосмысливать глобальные цепочки формирования стоимости, ориентированные в свое время на максимизацию эффективности и прибыли [Джамалов, 2020]. Сейчас речь идет о том, чтобы использовать полученный опыт для возобновления экономического роста и трансформации медико-социальной сферы от эффективности и экономической целесообразности в сторону ее большей человеко-ориентированности. Реализация моделей социального государства и государства всеобщего благосостояния (welfare state) порождает специфические проблемы: рудиментарные модели социальной защиты и медицины (например, в странах Южной Европы) в условиях пандемии не позволяют решать текущие задачи, а расширение системы прямых социальных выплат работает на ускорение инфляции и ведет к росту государственного долга. При этом во многих обществах увеличивается социальная поляризация. Наиболее выразительно это проявляется в таких странах, как Россия, Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. В связи с этим можно предположить, что в ближайшие годы произойдет пересмотр принципов социального государства — сужение его функций либо поиск нового направления развития с учетом полученного опыта.

Социально-экономическое положение граждан, его стабильность, напрямую зависит от развития институтов и нормативной базы социального государства, его стремления помочь бизнесу и населению в условиях турбулентности. Перспективными направлениями развития социального государства в России мы считаем усиление роли профсоюзов и союза предпринимателей, разморозку накопительной части пенсий и индексацию пенсий работающим пенсионерам, повышение МРОТ, введение почасовой оплаты труда, повышение внимания государства к нуждам малого и среднего бизнеса (снижение налоговой нагрузки и количества проверок со стороны контролирующих инстанций). Все это в значительной степени соотносится с социально-экономическим положением граждан, напрямую влияя как на индивидуальный статус, так и на динамику социально-экономического положения населения в регионах РФ и в целом по стране. Наступает эпоха больших смыслов — на смену западной установке «личное превыше общественного» должна прийти восточная максима «общественное превыше личного», что потребует перестройки всей системы потребления [Лизунов, 2020].

Влияние пандемии на социально-экономическое положение населения: обзор литературы

В научной и научно-практической литературе к настоящему моменту нет консенсуса относительно характера и масштаба влияния пандемии коронавируса на развитие российской экономики [Носачевская, 2020]. Находясь внутри пандемии, сложно в полной мере оценить ее последствия для России и мирового сообщества. По оценкам аналитиков, для восстановления мировой экономики до уровня конца 2019 г. потребуются не менее двух-трех лет. При этом должна существенно измениться структура самой экономики, а также рынка труда и сферы занятости. Представляется очень важной качественно иная поддержка малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан со стороны государства. Длительные периоды самоизоляции, по нашему мнению, стали одним из основных ударов по малому и среднему бизнесу и реальной экономике. Основная часть предприятий малого и среднего бизнеса относятся к сфере услуг (торговля, индустрия красоты и моды, туризм, общественная физическая культура, общественное питание, в том числе ресторация, фастфуд, бары и т. д.). Перед началом пандемии продукция этого сегмента в экономике России составляла около 20 %, и именно сфера услуг обеспечивала значительное количество рабочих мест [Епанчинцева, 2020].

Запас прочности у малого предпринимательства практически отсутствует, поэтому в этом секторе формируется выраженный запрос на государственную помощь: в отсутствие особых налоговых льгот и государственных заказов на фоне пандемийных ограничений положение действующих предприятий становится особенно уязвимым [Егоршин, Гуськова, 2020]. При этом многие эксперты отмечают, что в современных условиях в связи с отсутствием необходимых статистических данных непросто оценить ситуацию на рынке труда. По их мнению, на сложившуюся ситуацию сильное влияние оказывает политика, проводимая региональными властями [Современное общество..., 2021].

Отсутствие системной государственной поддержки порождает усиление конфликтности и негативизма в обществе. Н. Смелзер объясняет проявление социальной напряженности возникновением ситуации неопределенности, когда социальные группы находятся в неведении. При этом реакции общества в ситуации неопределенности различны и могут принимать форму надежды на благополучный исход, истерии, крайнего возбуждения, враждебности, насилия, митингов, погромов, забастовок, которые только усиливают социальную разобщенность и конфликтную активность. Одной из задач представленного исследования стало уточнение социально-психологических аспектов положения российских граждан в текущих условиях.

Социальная напряженность как явление, проявляющееся прежде всего на социально-психологическом и поведенческом уровнях, на фоне развития пандемии коронавируса может принимать различные формы, среди которых: 1) массовое психическое беспокойство, эмоциональное возбуждение; 2) стихийные массовые действия (ажиотажный спрос, скупка товаров и продуктов питания с целью создания страховых запасов «на черный день» и т. д.). 3) распространение пессимистических оценок будущего, фейковых новостей, теорий заговора; 4) неудовлетворенность существующими условиями жизни, утрата доверия к государственной

власти и низкий уровень поддержки действий главы государства; 5) ограниченность потребностей и интересов как результат социальной депривации, выраженной в форме вынужденной самоизоляции, обусловленной чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера; 6) готовность к протестным действиям (готовность к участию несанкционированных протестных акций); 7) показатели социальной идентификации, выражаемые через осознание людьми своей принадлежности к определенным общественным группам, деление на «своих» и «чужих» [Очергоряева, 2020].

Как справедливо указывают отечественные исследователи, изучение психоэмоционального состояния населения возможно на основе анализа проявления эмоциональных компонентов социально-психологического самочувствия человека в конкретных условиях — на фоне развития пандемии коронавируса. Такое исследование целесообразно продолжить в русле изучения эмоциональных переживаний, например паники, страха, тревоги, опасений и др., обусловленных пандемией [Журавлев, Китова, 2020]. Состояние экономики не в последнюю очередь зависит от распространения панических настроений и реакции граждан на те или иные события, связанных с пандемией.

Коронавирус стал поводом для развития иррациональных стратегий мышления, паники и деструктивного поведения во многих странах мира. Во многом под влиянием СМИ конструируются и воссоздаются социальные страхи и угрозы, влияющие на общественное сознание, что провоцирует иррациональные формы мышления и поведения, такие как ажиотажное потребление, ограничение социальных контактов. Это приводит к росту неуверенности, истерии и паники среди разных слоев населения.

Согласно теории социолога И. Гофмана, происходит автостигматизация — самостоятельное ограничение своего взаимодействия, возникающее из-за страха возможного заражения. В результате этого происходит общее падение критичности мышления, нерациональное восприятие информации и суждений. Этим могут воспользоваться те, кто имеет цель манипулировать общественным сознанием и изменить представления и установки больших групп населения через рекламу, социально-политические непопулярные решения, экономические реформы [Ардашев, 2020]. Еще один важный аспект повседневности жизни граждан, который исследователи зачастую упускают, — резкая активизация биополитики. Как отмечает армянский исследователь А. Овакян, пандемии влияют на этническое самосознание, оставляя в нем глубокий след [Ռոզմանյան, 2020]. Один из самых мощных страхов населения — боязнь потерять работу. Как показывают данные онлайн-опроса, проведенного 23—24 апреля 2020 г. британской исследовательской компанией Crosby Textor Group, подобные опасения испытывает каждый третий житель Австралии и Великобритании (для сравнения: такие же мнения высказали 41 % жителей США и 86 % жителей Индии). В России такая ситуация характерна для 26 % занятых. При этом 45 % отмечают, что из их окружения многие боятся остаться без работы, а каждый пятый заявил, что более трех знакомых уже потеряли ее [Попов, Соловьева, 2020]. Таким образом, одна из важнейших функций современного социального государства — создание условий для обеспечения занятости граждан в условиях нестабильности на рынке труда. Социально-

экономическое положение населения определяется в том числе умением государства оперативно реагировать на нужды широких масс людей, а также умением доводить информацию о тех или иных мерах, обосновывать их необходимость. Таким образом, социально-экономическое положение граждан зависит в том числе от способности государства выстраивать коммуникацию с населением, от наличия каналов обратной связи в диаде «государство — народ» и наличия возможности у населения принимать реальное участие в принятии решений.

Другой эффект пандемии — снижение уровня жизни населения. По данным социологических измерений, большинство российских граждан испытывали в 2020 г. экономические трудности. Их материальное положение остается тяжелым. В сентябре 2020 г. граждане России оценивали свои денежные доходы следующим образом: 29% респондентов, по самооценке, живут в условиях нищеты или бедности, не обеспечивая доходы на питание («денег не хватает даже на приобретение продуктов питания» — 6%) или еле-еле сводя концы с концами («денег хватает только на приобретение продуктов питания» — 23%). У 54% респондентов денег хватает для приобретения необходимых продуктов и одежды, 14% могут позволить купить себе большинство товаров длительного пользования, 3% не отказывают себе ни в чем. В сентябре 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г. по критерию самооценки доходов россиян существенных изменений не зафиксировано. Количественная структура ключевых социально-экономических групп не изменилась¹ [Российское общество..., 2020].

В практике зарубежных стран можно найти примеры мер, направленных на обеспечение позитивной динамики социально-экономического положения населения. Так, в мае 2020 г. правительство Гондураса объявило, что основным приоритетом государства выступает производство продуктов питания, развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной независимости и безопасности; осуществляется раздача продовольствия наименее обеспеченным группам населения. В Колумбии во время пандемии государство решает эту проблему путем организации доставки продуктов питания на дом, обеспечения отдельных категорий населения бесплатными обедами. Правительство Перу дополнительно профинансировало на муниципальном и региональном уровне обеспечение питанием социально незащищенных групп населения, расходование государственных средств на эти цели проходит тщательную проверку. В США действует программа «Школьные обеды по время пандемии COVID-19»: предоставляется питание для детей и подростков до 18 лет из малообеспеченных семей в период летних каникул².

¹ Приводятся результаты социологического мониторинга «Как живешь, Россия?», реализуемого Центром стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН с 1992 г. (научный руководитель мониторинга — доктор социологических наук В. К. Левашов). В исследовании использована квотно-пропорциональная всероссийская выборка с взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, образования, места жительства. В основу территориального размещения выборки легло экономико-географическое районирование страны при соблюдении пропорции численности населения и пропорций между городским и сельским населением. Объем выборочной совокупности составлял на различных этапах 1312—1866 респондентов. Объем выборочной совокупности в августе — сентябре 2020 г. составил 1607 респондентов. Эмпирическим объектом исследования выступает взрослое население России.

² Социальные последствия пандемии COVID-19 и инклюзивность. URL: <https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-inclusion.pdf> (дата обращения: 17.07.2021).

Основным приоритетом национальных и международных усилий стала поддержка занятости населения и бизнеса, а также возмещение потерянных доходов в форме социальных выплат по безработице, компенсаций и льгот работодателям, послаблений в налоговом регулировании. Например, в Германии правительство объявило, что если гражданин с инвалидностью получает пособие по болезни или безработице, он также может получить временную двухнедельную надбавку. В Корее пожилые работники получили право на субсидию для поддержки трудоустройства [Барышева, Антипанова, Бинь, 2020]. В России в период пандемии были введены отдельные прямые выплаты населению, например, разовые пособия семьям с детьми школьного возраста. В то же время исследователи, анализирующие ситуацию в постсоветских странах, говорят о необходимости введения более серьезных системных мер поддержки: так, по мнению узбекских ученых, в условиях пандемии необходимо снижение таможенных пошлин, отмена или упрощение разрешительных процедур и механизмов контроля для действующих организаций, устранение монополий на рынке ресурсов и услуг для бизнеса, создание равных условий работы для всех предпринимателей [Sheraliyev, Sunnatullayev, 2021].

Ряд мер похожей направленности был принят в условиях пандемии в Волгоградской области. С апреля 2020 г. общий объем финансирования мероприятий по поддержке бизнеса из бюджета этого региона составил пять миллиардов рублей. Разработаны и действуют два пакета антикризисных мер, которые позволили смягчить последствия пандемии и обеспечить устойчивость экономики региона; в их число вошли меры административной поддержки: в шесть раз сокращено число проверок бизнеса; введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве, автоматически продлены порядка 8,6 тысяч лицензий и разрешений, объявлен мораторий на переход к исчислению налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для объектов недвижимости³.

Опираясь на существующие в литературе подходы, в нашем исследовании мы рассматриваем следующие параметры социально-экономического положения населения и его динамики: наличие работы, строгость соблюдаемых изоляционных мер, доля дистанционной работы в профессиональной деятельности, отношение к пандемии коронавируса, использование средств противозидемической защиты, психологическое и финансовое состояние людей, наличие сбережений и кредитов, оценка необходимого дохода на одного члена семьи в условиях пандемии и доступности товаров первой необходимости. Отдельное внимание в работе уделено оценке гражданами действенности государственной помощи и мнению респондентов о том, какая именно помощь необходима.

Материалы и методы исследования

Эмпирически представленное исследование опирается на данные анонимного онлайн-опроса, проходившего в два этапа: апрель — июль 2020 г. и январь — март 2021 г. Респонденты — жители города Волгограда и Волгоградской области — были отобраны для опроса по принципу сплошной выборки; основой критерий отбора опрашиваемых — проживание на территории изучаемого региона. Результаты первого

³ В Волгоградской области господдержка предпринимательства содействует устойчивости экономики региона. URL: <https://www.volgograd.ru/news/290752/> (дата обращения: 17.07.2021).

этапа исследования были отражены в монографии, изданной по итогам конференции в Волгоградском государственном университете в декабре 2020 г. [Современное общество..., 2021]. В опросе приняли участие 317 человек от 17 до 65 лет (78% женщин, 22% мужчин; 51% — молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет). 3,2% опрошенных не имеют постоянного места работы, остальные респонденты — представители российского студенчества, работающее население и пенсионеры.

Результаты

Отношение к пандемии и соблюдение изоляционных мер

При ответе на вопрос о строгости соблюдения изоляционных мер 19,4% опрошенных в 2021 г. респондентов заявили, что покидают пределы жилища только с целью покупки необходимых продуктов питания и медикаментов, 42,4% посещают свои рабочие места, 14,3% выходят в магазины и совершают прогулки в пределах придомовой территории, 2,9% не соблюдают режим самоизоляции, около 4,5% не выходят из дома совсем. Полученные результаты сильно разнятся с оценками, полученными во время первой волны. По прошествии времени количество граждан, посещающих рабочие места, выросло практически вдвое, что может быть связано как с изменением ограничительных мер, так и с необходимостью обеспечивать себя и свою семью. Кроме того, в три раза снизилось число не соблюдающих изоляцию, при этом в два раза больше людей ограничили свои выходы из дома. Последнее, вероятно, может объясняться увеличением доли населения, перешедшего на дистанционный формат учебы или работы. Во время самоизоляции существенно возросла роль сервисов доставки продуктов: из результатов анкетирования видно, что в полтора раза меньше людей теперь посещают магазины. При этом значительно выросло количество респондентов, использующих всевозможные средства противозидемической защиты (маска, перчатки, антисептик, жидкое мыло) — с 44% до 63,8%; в четыре раза снизилось число людей, которые отказываются от любых средств противозидемической защиты, поскольку не верят в их действенность.

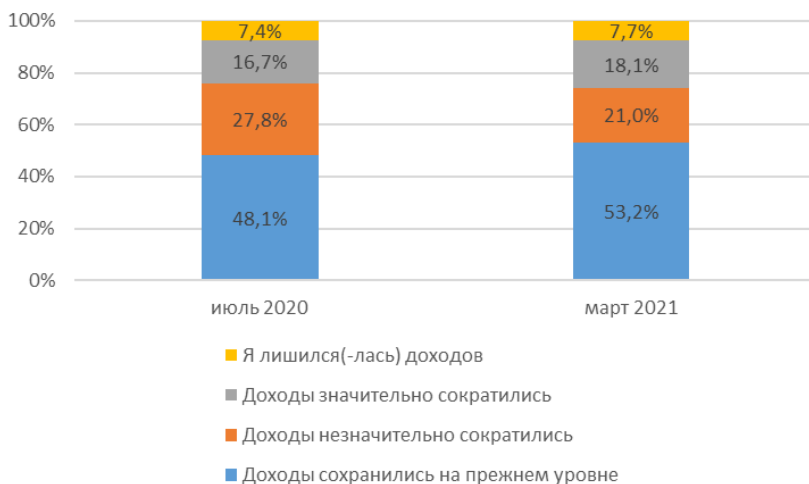
Данные опроса говорят о том, что население стало значительно серьезнее относиться к пандемии, покидает дома только в случае крайней необходимости (например, покупка продовольствия), прибегая при этом ко всем доступным средствам защиты. 72,3% жителей опасаются осложнений, которые могут возникнуть во время и после заболевания. 19,4% считают, что опасность нового вируса кроется в том, что ученые и врачи не обладают достаточным количеством сведений о нем. 8,3% утверждают, что опаснее самого заболевания могут быть панические и депрессивные настроения людей, возникающие вследствие длительной эпидемии. Каждый второй житель Волгограда и Волгоградской области считает, что единственное средство спасения от пандемии — соблюдение всех защитных мер; 32,6% полностью полагаются на вакцинирование, а 16,8% считают необходимым ввести полный карантин.

Материальное положение

Пандемия нанесла серьезный удар по финансовому состоянию людей. В начале отмечалось падение экономической активности граждан, что было обусловлено

дестабилизацией некоторых отраслей экономики (туризм, гостиничный бизнес, индустрия развлечений). Массовое сокращение рабочих мест в этих сферах повлекло за собой рост неплатежеспособности. В течение года ситуация несколько стабилизировалась. Приведенные на рисунке 1 данные свидетельствуют, что более половины жителей г. Волгоград и Волгоградской области сохранили уровень своих доходов; значительно сократились доходы у 18,1% опрошенных, а 7,7% лишились доходов.

Рис. 1. Изменение доходов в период самоизоляции (июль 2020 г.— март 2021 г.)



Серьезные опасения вызывает тот факт, что на 5 п. п. выросло количество граждан, не имеющих сбережений. Возможно, накопления были истрачены на предметы первой необходимости во время длительной изоляции. 34,9% жителей (в начале пандемии — 42,5%) имеют лишь небольшие накопления в размере 10—20 тыс. руб., что не может являться значительным финансовым подспорьем, если учитывать длительность карантинных мер. Данные, представленные на рисунке 2, говорят об истощении финансовых запасов жителей г. Волгоград и Волгоградской области, о неготовности людей к длительным ограничительным мерам.

Сокращение доходов населения повышает актуальность вопроса о необходимости обращения к займам и кредитам с целью покрытия текущих расходов (см. рис. 3). В 2021 г. 9,9% опрошенных отметили, что прибегали к помощи банков, взяв кредит или оформив кредитную карту (на начало пандемии — 6,6%). Несколько возросла и доля граждан, которые решили обратиться за помощью к родственникам и друзьям. Также увеличилось количество респондентов, принципиально отказавшихся от любых долговых обязательств в условиях нестабильной экономической ситуации. Пандемия ударила по рабочим местам, а также дополнительным источникам дохода граждан. Анализируя данные анкетирования, можно сделать вывод, что более половины опрошенных сократили свои текущие расходы, чтобы не втягивать себя в кредитные отношения. Однако в сложившейся социально-экономической

ситуации большая часть населения не имеет возможности откладывать сбережения, доходов хватает лишь на покрытие необходимых трат (продукты питания, коммунальные платежи, медикаменты). Тем не менее, население адаптируется к сложившимся условиям. Исследование показало, что в случае вынужденного кредитования 63,8% жителей готовы были бы одолжить у банка минимальную сумму в размере 20—30 тыс. руб., 12,6% респондентов было бы достаточно 30—50 тыс. руб., а 9,4% ограничились бы 50—80 тыс. руб.. Оставшиеся 14,1% указали сумму от 80 тысяч и выше для покрытия текущих расходов.

Рис. 2. Наличие сбережений у населения (июль 2020 г.— март 2021 г.)

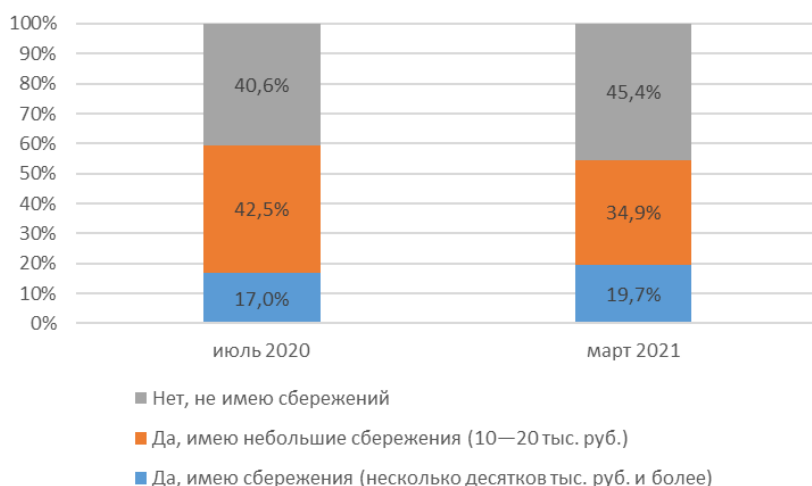
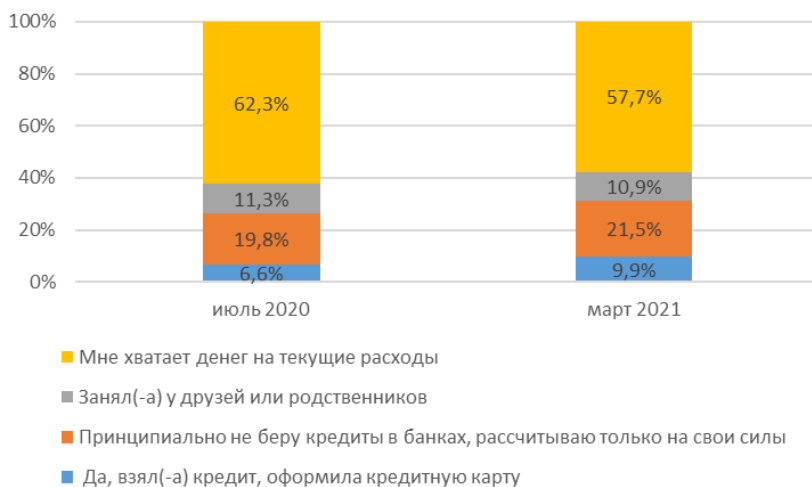
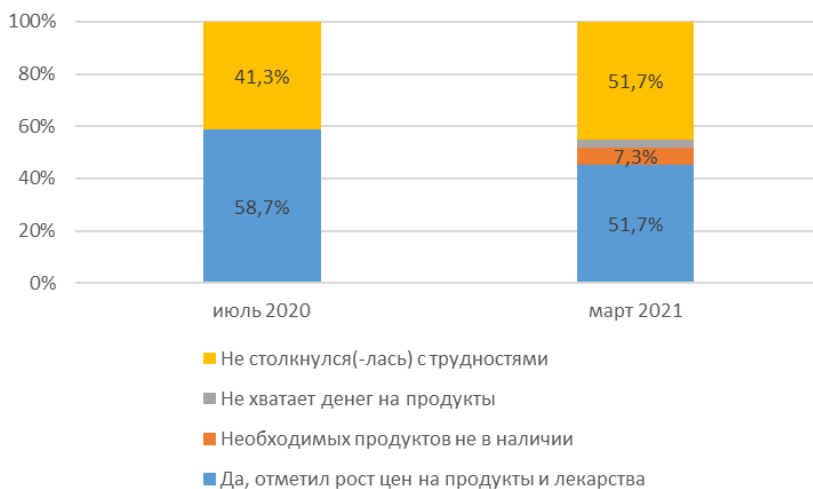


Рис. 3. Необходимость кредитования с целью покрытия текущих расходов (июль 2020 г.— март 2021 г.)



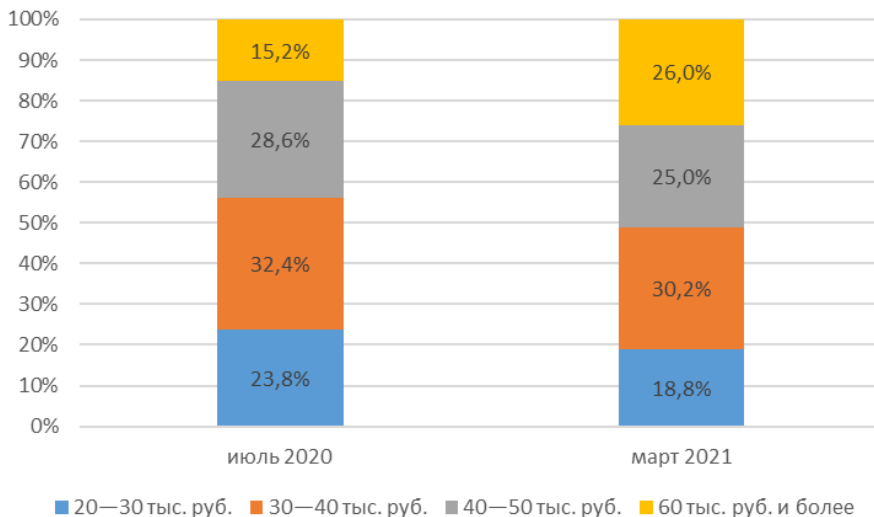
В период пандемии особое значение приобрели товары первой необходимости, среди которых выделяют продовольственные и непродовольственные товары. 51,7 % жителей Волгограда и Волгоградской области отметили рост цен на товары первой необходимости, оставшиеся 37,3 % не заметили никаких изменений по сравнению с периодом, предшествующим пандемии. В опросе, проходившем во время первой волны коронавируса, такие варианты ответов, как «необходимых продуктов нет в наличии» и «не хватает денег на продукты», не были выбраны ни одним из респондентов, во время второй волны эпидемии 3,5 % жителей ответили, что им не хватает денег на продукты, а 7,3 % столкнулись с отсутствием необходимых товаров на полках магазинов (см. рис. 4). Последнюю группу респондентов мы попросили уточнить, о каких именно товарах идет речь. Были названы следующие предметы: маски, перчатки, оксиметры, термометры, медикаменты (обезболивающие, вода для инъекций, лидокаин, цефтриаксон и другие антибиотики, парацетамол, антисептики, витамины и т. д.), продукты питания (мука, сахар, соль, гречневая крупа, картофель, чай, молоко, консервы, туалетная бумага, масло). Эти данные свидетельствуют о стремительно ухудшающемся экономическом положении жителей региона.

Рис 4. Трудности при приобретении товаров первой необходимости
(июль 2020 г. — март 2021 г.)



Практически не изменились запросы граждан относительно денежной суммы, необходимой для комфортного пребывания дома в период самоизоляции. Так, 30,2 % опрошенных заявили, что их устроил бы доход в 30—40 тыс. руб. на одного человека; 26 % жителей имеют более низкие финансовые требования (20—30 тыс. руб.), а 25 % считают, что им бы могло хватить 40—50 тыс. руб. на одного человека. 18 % указали необходимый на человека доход в размере 60 и более тыс. руб. (см. рис. 5).

Рис. 5. Необходимый доход в период самоизоляции (июль 2020 г.— март 2021 г.)



Поддержка государства

Население продолжает ждать помощи со стороны государства в период пандемии. Приведем примеры некоторых ответов на вопрос о том, какие меры помощи гражданам и малому бизнесу должно ввести государство в период введения самоизоляции: «Поддержка малого бизнеса и ИП»; «Снижение или отмена налоговых выплат, возможность отсрочить платежи по аренде помещения»; «Для сохранения нации необходимо обеспечить бесплатными средствами защиты и лекарствами, отменить налоги малому бизнесу на период пандемии»; «Упростить формирование пакета документов для владельцев своего дела. Для граждан: ввести ограничение на повышение цен в магазине»; «Ежемесячные выплаты на каждого совершеннолетнего члена семьи в размере 1,5 МРОТ»; «Для физических лиц — повышение государственного контроля на цены товаров основной необходимости. Для юридических лиц — принять меры, которые будут служить „подушкой безопасности“ в ходе кризисных моментов»; «Снизить налог, предоставить минимум лекарств бесплатно, снизить оплату ЖКХ»; «Социальная поддержка граждан, потерявших источник дохода из-за ограничений в режиме изоляции»; «Перейти грамотно на удаленку, модернизировать данный процесс»; «Доступная диагностика коронавируса (экспресс-тесты, взятие крови на дому, льготные КТ легких при показаниях) и лечение (бесплатное снабжение препаратами по показаниям)»; «Выплаты в связи с потерей работы; снижение стоимости коммунальных услуг; снижение налогового процента для малого бизнеса; прекращение роста цен на товары первой необходимости на время самоизоляции»; «Предоставление кредитов малому бизнесу с отсрочкой по платежам, отсрочка по ипотечным выплатам и другим кредитам для граждан, выплаты семьям малоимущих и многодетных, увеличение пособий по безработице».

Эмоциональное состояние и настроения

Вызывает интерес не только финансовое, но и психологическое состояние граждан в период самоизоляции. Так, лишь каждый четвертый респондент настроен оптимистично, почти 43% жителей признаются, что их посещают тревожные мысли о будущем, 22,9% говорят о подавленном состоянии (см. рис. 6). Это и неудивительно, ведь период самоизоляции — это большое испытание. Многие отмечают частые конфликты в семье, связанные с финансовыми трудностями, а также с вынужденным соседством с остальными членами семьи. Почти 3% отмечают перманентные конфликты, а 15% говорят о возросшей напряженности внутри семьи (см. рис. 6).

Рис. 6. Влияние самоизоляции на внутрисемейные отношения

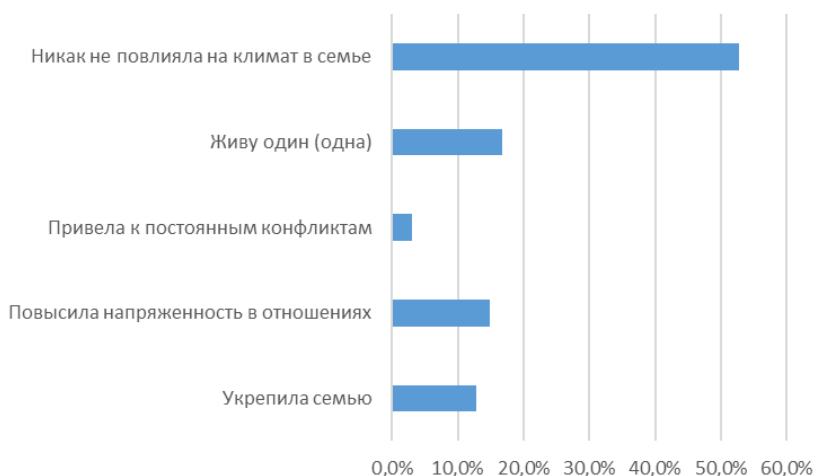
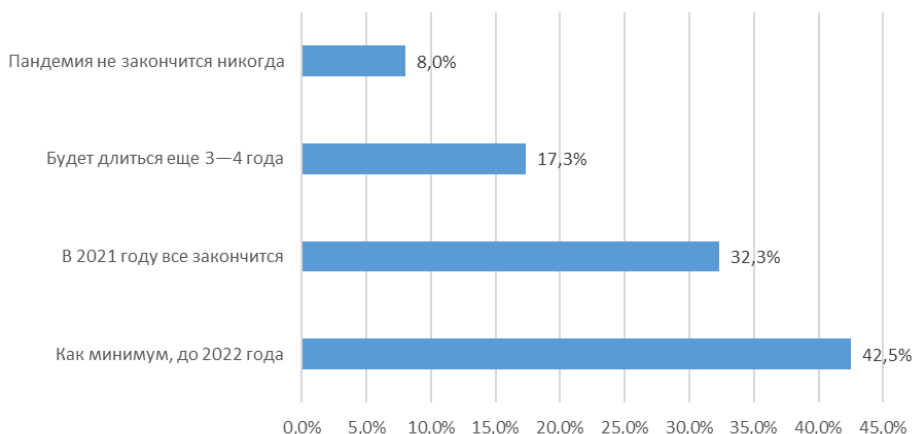


Рис. 7. Прогноз относительно сроков окончания пандемии

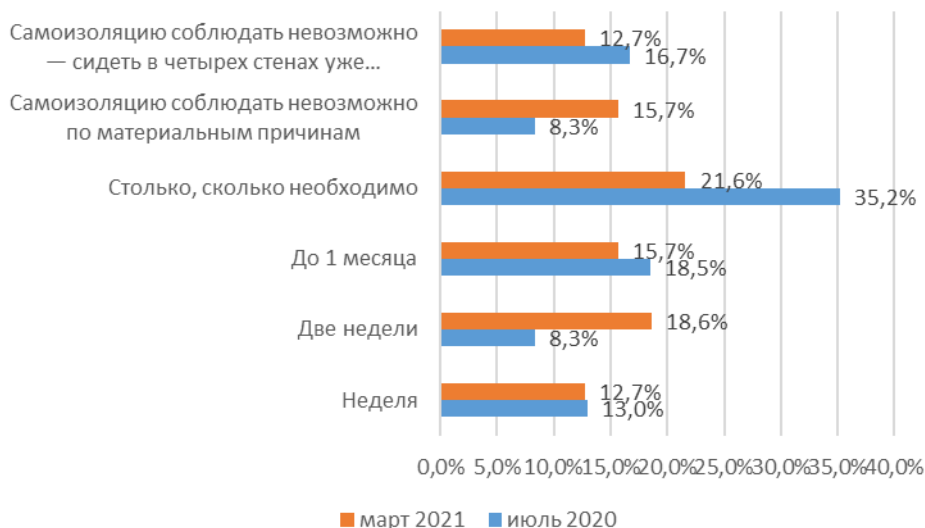


Длительность пандемии давно показала несостоятельность прогнозов относительно ее исхода. Уже более года мир ожидает отмены карантинных, локдаунов, самоизоляции и других ограничительных мер. Согласно проведенному нами исследованию, каждый третий житель г. Волгоград и Волгоградской области был уверен, что пандемия завершится в 2021 г., в то же время 42,5% опрошенных утверждали, что сложившаяся ситуация не разрешится, как минимум, до 2022 г. 17,3% опрошенных рассчитывали еще на 3—4 года соседства с новой вирусной инфекцией, а 8% говорят о том, что пандемия не завершится никогда, что обуславливает необходимость поиска адаптационных стратегий и поиска возможных путей решения актуальных проблем (см. рис. 7).

Поиск дополнительной работы

Сложившаяся экономическая ситуация, а также недостаточная финансовая поддержка со стороны государства заставляют граждан полагаться только на собственные силы, искать дополнительные источники заработка. Однако работодатели также переживают кризис, стараются минимизировать затраты, сокращая персонал. В ходе исследования было установлено, что с начала пандемии на 10% увеличилось количество респондентов, которые искали возможность заработать денег, однако не преуспели в этом. Лишь 14,4% смогли найти подработку. Если в начале исследования 62,3% жителей не видели необходимости в дополнительной работе, то в 2021 г. доля выбирающих такой ответ составила всего 38,8%. Это означает, что гражданам недостаточно имеющихся доходов или они не смогли полностью адаптироваться к сложившейся ситуации. Проведенный опрос показал, что многие (39,1%) нашли удаленную работу. Кроме этого, пользуются популярностью такие профессии, как таксист, курьер, репетитор, SMM-менеджер.

Рис. 8. Максимально возможная длительность самоизоляции (июль 2020 г.)



Разнообразные ответы были даны на вопрос «Сколько времени Вы можете провести в самоизоляции без ущерба для своего материального положения и психического состояния далее (с условной даты 1 января 2021 года)?». На графике мы видим, что лишь каждый пятый опрошенный готов соблюдать необходимые меры столько, сколько потребуется; в июле 2020 г. таковых было больше (см. рис. 8). Это говорит о том, что, с одной стороны, население постепенно сталкивается с истощением финансовых ресурсов, а с другой — людям психологически сложно далее соблюдать самоизоляцию, ограничивать себя в коммуникативных контактах с другими людьми, сидеть взаперти. Почти 16% жителей могут провести в четырех стенах еще один месяц. Некоторые респонденты вынуждены ездить на работу, поскольку не имеют иного финансового подспорья (15,7%). 12,7% не готовы более соблюдать меры предосторожности и оставаться дома.

Выводы

Анализ полученных в ходе двух волн опроса данных показывает, что население Волгоградской области адаптировалось к пандемии к 2021 г. В то же время психологическое состояние населения существенно ухудшилось — выросло количество конфликтов и проявлений тревожности, возросло напряжение в семьях. По сравнению с начальным этапом пандемии, доходы значительного количества людей истощились, при этом незначительно выросла доля людей, потерявших доходы как таковые. Второй этап исследования показал, что в целях экономии своих финансовых средств респонденты перешли к «сберегающей» модели потребления. По сравнению с началом пандемии, выросло число респондентов, нуждающихся в дополнительном заработке, при этом многие смогли найти удаленную работу. Полученные данные косвенно свидетельствуют о том, что некоторые сферы занятости получили дополнительный стимул для развития (например, курьерские услуги, доставка продуктов на дом).

Материалы опросов показывают, что население не стремится опираться на поддержку государства, рассчитывает на собственные силы, осуществляя поиск дополнительных источников заработка, но, тем не менее, граждане надеются на активизацию государственной помощи в обозримом будущем. Респонденты предлагают следующие меры поддержки гражданам и бизнесу со стороны государства: контроль цен в магазинах, снижение или отмена налоговых выплат, возможность отсрочить арендные платежи, обеспечение бесплатными средствами защиты и лекарствами, предоставление выплат в связи с потерей работы, снижение стоимости коммунальных услуг и др.

Большинство опрошенных в 2021 г. респондентов надеется на окончание пандемии в течение ближайшего года. При этом сопоставление данных двух волн опроса показывает, что социально-экономическое положение граждан в Волгоградской области незначительно ухудшилось, ресурсы для функционирования в режиме самоизоляции в значительной степени истощены. Это актуализирует необходимость введения дополнительных мер государственной поддержки летом — осенью 2021 г. В отсутствие таких мер социально-экономическое положение граждан будет ухудшаться, что может привести к социальной напряженности и, возможно, к повышению протестной активности.

Перспективным для исследования мы считаем дальнейшее изучение избранной темы в период третьей волны пандемии и с учетом кампании по вакцинации и мер поддержки семей с детьми школьного возраста, анонсированных президентом РФ В. Путиным летом 2021 г.

Список литературы (References)

Ардашев Р. Г. Пандемия коронавируса как стратегия иррационального мышления: естественные условия и социальные рамки // Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке. 2020. № 11. С. 70—74.

Ardashev R. G. (2020) Coronavirus as a Strategy of Irrational Thinking: Natural Conditions and Social Framework. *The Problem of the Relationship between the Natural and the Social in Society and Human*. No. 11. P. 70—74. (In Russ.)

Барышева Г. А., Антипанова О. А., Бинь Д. Т. Влияние пандемии covid-19 на социально-экономическое развитие и положение наиболее уязвимого населения // Векторы благополучия: экономика и социум. 2020. Т. 39. № 4. С. 105—117.

Barysheva G. A., Antipanova O. A., Bin D. T. (2020) Impact of the COVID-19 Pandemic on Socio-Economic Development and the Situation of the Most Vulnerable Population. *Vectors of Well-Being: Economy and Society*. Vol. 39. No. 4. P. 105—117. (In Russ.)

Джамалов Ф. О. У. Мир после пандемии коронавируса (видение общественно-политических, экономических, гуманитарных и иных последствий пандемии коронавируса) // Поствирусный мир. Актуальные вопросы социально-экономического и культурного развития: сборник научных статей / под ред. О. В. Архиповой и А. И. Климина. СПб.: Ассоциация «НИЦ «Пересвет», 2020. С. 7—12.

Jamalov F. O. U. (2020) The World after the Coronavirus Pandemic (Vision of the Socio-Political, Economic, Humanitarian, and Other Consequences of the Coronavirus Pandemic). In: Arkhipova O. V., Klimin A. I. (eds.) *Post-viral World. Topical Issues of Socio-Economic and Cultural Development. Collection of Scientific Articles*. Saint Petersburg: Association "Research Center Peresvet". P. 7—12. (In Russ.)

Егоршин А. П., Гуськова И. В. Шансы малого предпринимательства России в условиях пандемии коронавируса // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 10—2. С. 127—133. <https://doi.org/10.17513/vaael.1357>.

Egorshin A. P., Guskova I. V. (2020) Chances of Small Business in Russia in the Context of the Coronavirus Pandemic. *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. No. 10—2. P. 127—133. <https://doi.org/10.17513/vaael.1357>. (In Russ.)

Епанчинцева А. В. Меры поддержки малого и среднего бизнеса в России в период пандемии коронавируса: критический анализ // Экономика нового мира. 2020. Т. 5. № 1—2 (17). С. 17—22.

Epanchinzeva A. V. (2020) Measures to Support Small and Medium-Sized Businesses in Russia during the Coronavirus Pandemic: A Critical Analysis. *Economy of the New World*. Vol. 5. No. 1—2 (17). P. 17—22. (In Russ.)

Журавлев А. Л., Китова Д. А. Анализ интереса населения к информации о пандемии коронавируса (на примере пользователей поисковых систем интернета) //

Психологический журнал. 2020. Т. 41. № 4. С. 5—18. <https://doi.org/10.31857/S020595920010383-7>.

Zhuravlev A. L., Kitova D. A. (2020) Attitude of Residents of Russia to Information on the Coronavirus Pandemia (On the Example of Users of the Internet Search Systems). *Psychological Journal*. Vol. 41. No. 4. P. 5—18. <https://doi.org/10.31857/S020595920010383-7>. (In Russ.)

Лизунов В. В. Экономика России в условиях пандемии коронавируса 2020 года обзор по материалам онлайн-конференции // Национальные приоритеты России. 2020. Т. 38. № 3. С. 79—83.

Lizunov V. V. (2020) Russian Economy under the Conditions of Coronavirus Pandemic 2020 Review Based on the Information of the Webex. *National Priorities of Russia*. Vol. 38. No. 3. P. 79—83. (In Russ.)

Носачевская Е. А. Об актуальных вопросах развития российской экономики с учетом последствий пандемии коронавируса COVID-19 // Евразийское Научное Объединение. 2020. Т. 65. № 7—4. С. 235—239.

Nosachevskaya E. A. (2020) On Topical Issues of the Development of the Russian Economy, Taking into Account the Consequences of the COVID-19 Coronavirus Pandemic. *Eurasian Scientific Association*. Vol. 65. No. 7—4. P. 235—239. (In Russ.)

Очергоряева Д. В. Ксенофобия как конфликтогенный фактор социальной напряженности в условиях пандемии коронавируса // Обзор.НЦПТИ. 2020. Т. 22. № 3. С. 13—18.

Ochergoryaeva D. V. (2020) Xenophobia as a Conflict Factor of Social Tension in the Context of the Coronavirus Pandemic. *Overview.NTsPTI*. Vol. 22. No. 3. P. 13—18. (In Russ.)

Попов А. В., Соловьева Т. С. Устойчивость положения работников в условиях пандемии covid-19: опыт международных исследований // Управление. 2020. Т. 8. № 4. С. 101—108. <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2020-8-4-101-108>.

Popov A. V., Soloveva T. S. (2020) Sustainability of Workers in Terms of the COVID-19 Pandemic: International Research Experience. *Governance*. Vol. 8. No. 4. P. 101—108. <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2020-8-4-101-108>. (In Russ.)

Российское общество и государство в условиях пандемии: социально-политическое положение и демографическое развитие Российской Федерации в 2020 году / под ред. Г. В. Осипова, С. В. Рязанцева, В. К. Левашова, Т. К. Ростовской; отв. ред. В. К. Левашов. М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2020.

Osipov G. V., Ryazantsev S. V., Levashov V. K., Rostov T. K. (eds.) (2020) Russian Society and State in a Pandemic: Socio-Political Situation and Demographic Development of the Russian Federation in 2020. Moscow: ITD PERSPECTIVE. (In Russ.)

Современное общество: оценка состояния и перспективы развития: монография / под общ. ред. Н. А. Скобелиной, Н. В. Дулиной, И. В. Василенко [и др.]; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования «Волгогр. гос. ун-т». Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2021.

Skobelina N. A., Dulina N. V., Vasilenko I. V., et al. (eds.) (2021) *Modern Society: Assessment of the State and Development Prospects: Monograph*. Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Volgograd State University, Volgograd: VolSU Publishing House. (In Russ.)

Հովականյան Յուրի. Ազգային հոգեվոր-բարոյական առանձնահատկությունների դերը համավարակի դեմ պայքարում Հովականյան Ամբերդ Տեղեկագիր. 2020. Կ. 2. № 1. Ը. 112—121.

Hovakanyan Yu. (2020) The Role of National Spiritual-Moral Peculiarities in the Fight against the Epidemic. *Amberd Bulletin*. Vol. 2. № 1. P. 112—121. (In Armenian)

Sheraliyev J. J. U., Sunnatullayev E. S. U. Koronavirus pandemiyasi davrida siyosiy xatarlarning o'zbekiston iqtisodiyoti va tashqi savdo sohasiga ta'siri. *Iqtisodiyot. Tahlillar va Prognozlar*. 2021. Կ. 12. № 1. Ը. 117—125.

Sheraliyev J. J. O., Sunnatullayev E. S. O. (2021) The Impact of Political Risks on the Economy and Foreign Trade of Uzbekistan during the Coronavirus Pandemic. *Economics: Analysis and Forecasts*. № 1 (12). P. 117—125. (In Uzbek)

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

Правильная ссылка на статью:

Мониторинг мнений (ВЦИОМ): январь — февраль 2022 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 102—115.

For citation:

Public Opinion Poll (VCIOM): January — February 2022. (2022) *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 102–115.

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ: ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2022

Результаты ежедневных опросов «ВЦИОМ—Спутник». Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

СОДЕРЖАНИЕ ДАЙДЖЕСТА

ПОЛИТИКА

КРИЗИС В КАЗАХСТАНЕ: ОЦЕНКА РОССИЯН103

ПРИЗНАНИЕ ДОНБАССА: ДАННЫЕ ПЕРВОГО ОПРОСА 105

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

КРИПТОВАЛЮТА: ОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ106

ПОСТКОВИД: СТРАДАЕМ, НО НЕ ЛЕЧИМСЯ.....108

СБЕРЕЖЕНИЯ РОССИЯН: МОНИТОРИНГ110

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ: БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ..... 112

«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»:

ОХВАТ УЧАСТНИКОВ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ..... 114

ПОЛИТИКА

КРИЗИС В КАЗАХСТАНЕ: ОЦЕНКА РОССИЯН103

ПРИЗНАНИЕ ДОНБАССА: ДАННЫЕ ПЕРВОГО ОПРОСА105

КРИЗИС В КАЗАХСТАНЕ: ОЦЕНКА РОССИЯН

8—9 января 2022 г.

За происходящими в Казахстане в январе 2022 г. событиями следили 72% россиян, из них внимательно наблюдали за развитием событий 30%; следили, не вникая в детали — 42% граждан. Респонденты, которым интересны события в Казахстане, характеризовали их как бунт на фоне повышения цен на газ (26%), государственный переворот (17%), безобразия и беспредел (10%), беспорядки и мародерство (8%), атаку террористов и гражданскую войну (по 7% соответственно). Каждый пятый из тех, кто интересуется протестными акциями в Казахстане, считает происходящее провокацией иностранных спецслужб (21%); 17% согласны с тем, что это народное восстание; 14% поддерживают точку зрения, что это борьба за власть; 9% полагают, что это попытка различных стран усилить свое влияние в регионе; 8% сказали, что это акция международного терроризма против Казахстана. Использование силовых структур для разгона протестующих со стороны властей Казахстана скорее правильным считают 63% интересующихся событиями россиян; о том, что это решение неправильное, сообщили 23%. У граждан России, интересующихся казахским кризисом, текущие события вызывают страх (30%), осуждение (25%), разочарование (24%), надежду (19%), уважение (14%), скепсис (5%). Большинство интересующихся казахским кризисом соотечественников считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам ОДКБ о вводе миротворческих сил (70%), противоположного мнения придерживается каждый пятый опрошенный (21%).

Рис. 1. Скажите, пожалуйста, Вы следите за событиями, происходящими в последние дни в Казахстане, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)

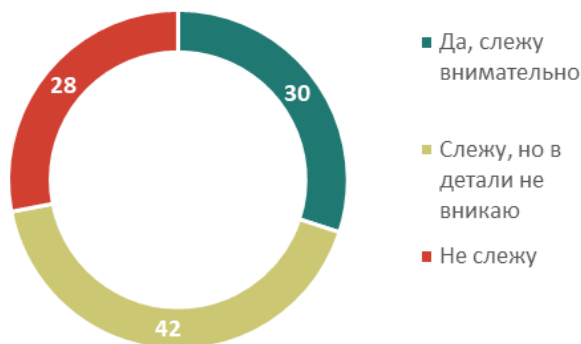
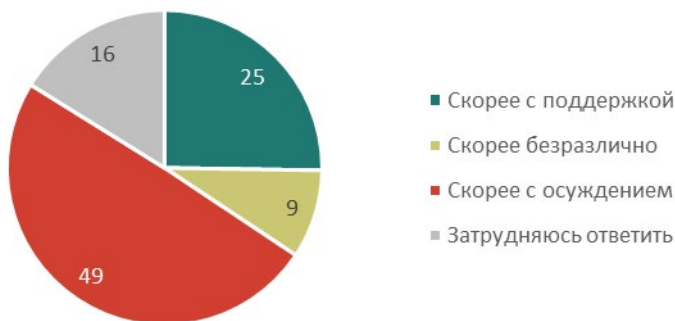


Рис. 2. Люди по-разному относятся к событиям в других странах. Одни события вызывают интерес, но лично для них не имеют значения. Вторые вызывают интерес и имеют особое значение. Третьи не вызывают интерес и не значимы. Если говорить о событиях в Казахстане, какая позиция Вам ближе? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)



Рис. 3. Скажите, пожалуйста, как Вы в целом относитесь к участникам акций протеста в Казахстане? (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кому интересны события в Казахстане)



ПРИЗНАНИЕ ДОНБАССА: ДАННЫЕ ПЕРВОГО ОПРОСА

22 февраля 2022 г.

Большинство россиян сообщили, что в той или иной степени знают, что президент России В. Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик в связи с обращением их руководителей (92 %). Хорошо знают и читали об этом подробности — 66 % соотечественников, четверть слышали об этом без подробностей (26 %), и 8 % респондентов не слышали об этом событии. Три четверти опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик (73 %), скорее не поддерживают — 16 %, каждый десятый россиянин затруднился ответить (11 %). Выразили поддержку решению президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками большинство россиян — 78 %. Скорее не поддерживают это решение 14 % опрошенных.

Рис. 4. Вчера Президент Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик в связи с обращением руководства этих республик. Вы знаете, слышали или сейчас впервые слышите об этом? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)



Рис. 5. Скажите, пожалуйста, решение Президента о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Вы поддерживаете или не поддерживаете? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)



СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

КРИПТОВАЛЮТА: ОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ	106
ПОСТКОВИД: СТРАДАЕМ, НО НЕ ЛЕЧИМСЯ.....	108
СБЕРЕЖЕНИЯ РОССИЯН: МОНИТОРИНГ	110

КРИПТОВАЛЮТА: ОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ

22 января 2022 г.

Россияне в той или иной степени слышали о биткоине (64%), хорошо знают о нем 17%, каждый пятый впервые услышал это название (19%.) Среди знакомых с этой криптовалютой россиян почти половина полагают, что ее может купить любой желающий (42%), четверть думают, что биткоины доступны ограниченному кругу (24%), 15% считают, что покупка биткоинов запрещена в России. Большинство знакомых с понятием биткоина соотечественников сообщили, что ни они сами, ни их родные никогда не покупали криптовалюту (74%), каждый пятый отметил, что биткоин покупали родственники или друзья (21%), сами приобретали биткоины 4% граждан России. Информированные о криптовалюте молодые люди (18—34 года) к идее запрета сделок с криптовалютой в России чаще относятся отрицательно (18—24 года — 54%, 25—34 года — 50%). Россияне в возрасте 35—44 лет, осведомленные о криптовалюте, относятся к предложению Центробанка запретить сделки с биткоином скорее безразлично (39%), скорее отрицательно — 35%, положительно — 25%. Знакомые с биткоином 45—59-летние сограждане скорее положительно реагируют на идею его запрета (36%), безразлично — 35%, отрицательно — 24%. Половина граждан России 60+, которым известно понятие «криптовалюта», предложение о ее запрете поддерживают (53%), треть безразличны (29%), 15% относятся отрицательно.

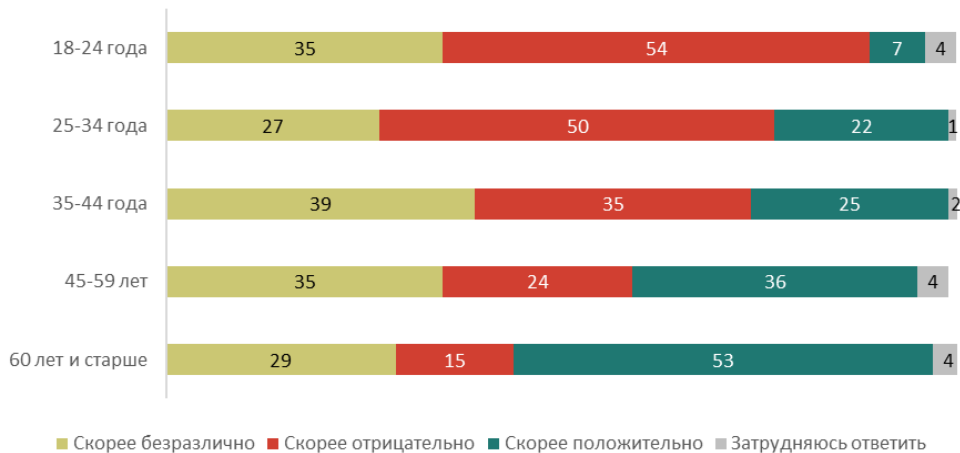
Рис. 1. Скажите, Вы лично когда-либо покупали биткоины или нет?
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто «знает/слышал»)



Рис. 2. Биткоины может купить любой желающий. Есть разные мнения: одни считают покупку биткоинов хорошей инвестицией, другие не рекомендуют покупать их. А с каким утверждением Вы согласны в большей степени? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто «знает/слышал»)



Рис. 3. Как Вы относитесь к предложению Центробанка запретить сделки с криптовалютой, биткоином в России? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто «знает/слышал»)



ПОСТКОВИД: СТРАДАЕМ, НО НЕ ЛЕЧИМСЯ¹

25 января 2022 г.

С последствиями перенесенного COVID-19 сталкивались 79% переболевших (с положительным тестом или отмечавших характерные симптомы). Половина переболевших среди таких последствий отметили нарушение вкуса и обоняния (49%), на втором месте опрошенные называли общую слабость (38%). Большинство переболевших россиян, столкнувшихся с постковидным синдромом, не проводили специальные реабилитационные мероприятия по восстановлению после болезни (80%), занимались восстановительными процедурами 20% из тех, кто перенес коронавирус. Опрошенные, которые сообщили, что занимались реабилитацией, чаще принимали медикаменты и лекарственные препараты (64%), гуляли на свежем воздухе (54%), занимались дыхательной гимнастикой (42%) и лечебной физкультурой (41%), обращали внимание на здоровье и образ жизни (33%), каждый пятый прошел медицинский осмотр (21%). У каждого второго среди проходивших реабилитацию после перенесенного COVID-19 была общая слабость (55%) и потеря запахов, вкусов (52%). При слабости и снижении работоспособности после перенесенного COVID-19 требуется специальное обследование и консультация врача, — считают более половины россиян (61%), каждый пятый опрошенный отметил, что прием лекарственных препаратов и витаминов ускорит восстановление (19%), каждый десятый сообщил, что специально что-либо делать не нужно: восстановление будет длительным, но все пройдет само (11%).

Рис. 4. Вы лично сталкивались с последствиями перенесенного коронавируса? Если да, то какими? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто болел)



¹ Всероссийский опрос «ВЦИОМ—Спутник» проведен по заказу компании «Гриндекс».

Рис. 5. Какие именно формы реабилитации Вы использовали?
(закрытый вопрос, любое число ответов, в % от тех, кто болел коронавирусом и проводил реабилитационные мероприятия)



СБЕРЕЖЕНИЯ РОССИЯН: МОНИТОРИНГ

25 января 2022 г.

Треть россиян сообщили о наличии сбережений (33%), чаще накопления имеют граждане 18—24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%). Более половины опрошенных ответили, что их семья не имеет сбережений (64%). Большинство россиян, имеющих сбережения, принимают решение о сумме отложенных средств в зависимости от ситуации (86%), в то время как 8% откладывают в сбережения столько, сколько запланировали (14% среди жителей городов-миллионников). Регулярно, раз в месяц или квартал, откладывают деньги 43% россиян, имеющих сбережения, чаще — 25—34-летние (63%). Более половины опрошенных делают накопления ситуативно, когда появляются деньги (54%), чаще — россияне от 45 лет и старше (45—59 лет — 62%, 60+ лет — 63%). За последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды, из них только 6% потратили почти все сбережения, 20% — большую часть сбережений, 34% — меньшую часть. Не приходилось тратить накопления внепланово 37% опрошенных (52% среди 18—24-летних). Большинство россиян, делающих накопления, не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (69%), в то время как 27% опрошенных выразили согласие с данным утверждением.

Рис. 6. Есть ли в Вашей семье сейчас сбережения, накопления?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)

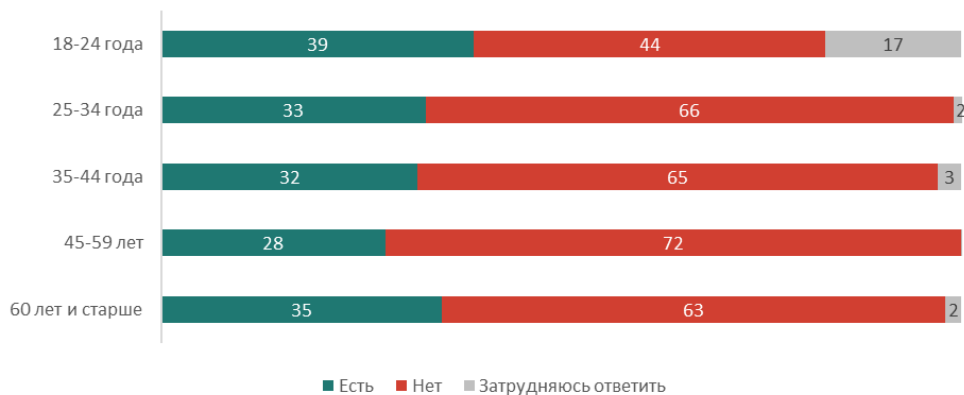
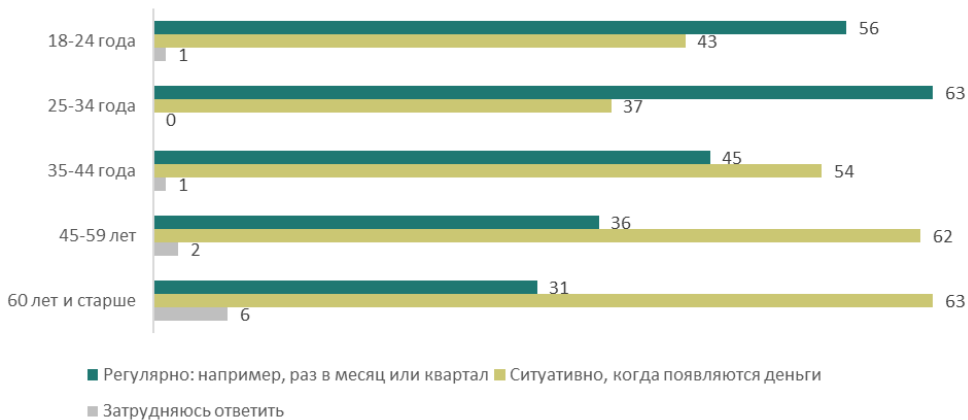


Рис. 7. С какой периодичностью Вы / Ваша семья обычно откладываете деньги на сбережения? (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, у кого в семье есть накопления)



ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ: БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ.....112

«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»:

ОХВАТ УЧАСТНИКОВ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ.....114

ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ: БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

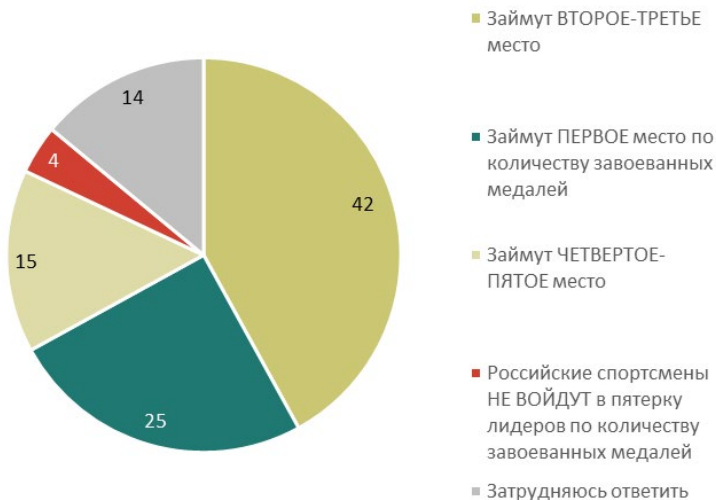
29 января 2022 г.

О Зимних Олимпийских играх в Пекине в той или степени известно большинству россиян (83%). Треть хорошо знают (39%), 44% слышали об Олимпиаде, но подробностями не интересовались. Наиболее информированы об Олимпиаде наши сограждане в возрасте 25—34 лет и 60+ (92% и 95% соответственно). Следить за Олимпиадой будут более половины россиян (66%). Планируют регулярно смотреть трансляции по всем видам спорта 17% опрошенных, 7% будут смотреть те трансляции, где у российских спортсменов будет шанс завоевать призовую медаль, 42% собираются смотреть только интересующие их трансляции соревнований. Не будут следить за ходом Олимпиады 32%. В первую очередь наши сограждане будут смотреть соревнования по биатлону (33%) и фигурному катанию (32%), каждого пятого интересуют хоккей (22%) и лыжный спорт (20%), 7% намерены следить за соревнованиями конькобежцев. По оценкам россиян, на предстоящей Олимпиаде будет больше золотых медалей, чем на прошедшей в 2018 г. (42%). Треть граждан России думают, что медалей будет столько же (28%), 13% предполагают, что медалей будет меньше. Россияне считают, что у наших спортсменов больше шансов завоевать олимпийские медали в фигурном катании (44%), биатлоне (34%), хоккее (24%) и в лыжных видах спорта (21%). На медали в фигурном катании надеются половина россиян в возрасте 45—59 лет и от 60 лет и старше (51% и 54% соответственно).

Рис. 1. Собираетесь ли Вы следить за ходом предстоящих Олимпийских игр или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рис. 2. Как Вы думаете, как выступят на предстоящей Олимпиаде российские спортсмены?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»: ОХВАТ УЧАСТНИКОВ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ

3 февраля 2022 г.

О том, что в сети есть тренинги, курсы, марафоны, предлагающие изменить жизнь или приблизиться к исполнению желаний, половина россиян узнали во время опроса (46%), слышали, но затруднились привести название таких тренингов 43% опрошенных. Из конкретных курсов граждане чаще выделяли марафон желаний Елены Блиновской (5%), среди молодежи 18—24 лет этот тренинг назвал каждый десятый опрошенный (10%). Большинство россиян декларировали, что они не проходили тренинги и марафоны по исполнению желаний или изменению жизни (81%). О том, что такие курсы проходили их друзья и близкие, сообщили 14%. Опыт прохождения подобного онлайн-обучения имеют 5% наших сограждан, их доля выше среди 35—44-летних (7%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (7%) и городов с населением 100—500 тыс. человек (7%). Половина участников онлайн-марафонов получили тот результат, на который рассчитывали (54%). Не увидели эффекта от обучения треть россиян (38%). Россияне не хотели бы в будущем пройти подобные тренинги (80%), чаще об этом заявляли столичные жители (86%) и опрошенные в возрасте 45—59 лет (85%). О желании участвовать в онлайн-тренингах заявили 17%, больше всего заинтересована молодежь 18—24 лет (31%).

Рис. 3. Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали о таких онлайн-курсах, тренингах, марафонах или сейчас слышите впервые? Если слышали, то назовите все такие курсы, тренинги, марафоны (открытый вопрос, до 5 ответов, % от всех опрошенных)



Рис. 4. Скажите, пожалуйста, среди Ваших близких, членов семьи, друзей есть те, кто лично проходил такие курсы, тренинги, марафоны? Или, возможно, Вы сами проходили? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто «слышал»)



Рис. 5. Скажите, после прохождения таких курсов, тренингов, марафонов Вы или Ваши близкие получили или не получили тот результат, на который рассчитывали? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто «проходил»)



DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1792](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1792)



К. А. Адамович

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РОССИЙСКИХ УЧАЩИХСЯ ПОСЛЕ 9-ГО КЛАССА В 2000—2017 ГГ.: ТИПЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕДИКТОРЫ РАЗЛИЧИЙ

Правильная ссылка на статью:

Адамович К. А. Образовательные траектории российских учащихся после 9-го класса в 2000—2017 гг.: типы региональных ситуаций и предикторы различий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 116—142. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1792>.

For citation:

Adamovich K. A. (2022) Educational Trajectories of Russian Students after the 9th Grade in 2000—2017: Types of Regional Situations and Their Predictors. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 116—142. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1792>. (In Russ.)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РОССИЙСКИХ УЧАЩИХСЯ ПОСЛЕ 9-ГО КЛАССА В 2000—2017 ГГ.: ТИПЫ РЕ- ГИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕДИК- ТОРЫ РАЗЛИЧИЙ

АДАМОВИЧ Ксения Александровна — аспирант, научный сотрудник Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: kadamovich@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4477-2809>

EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF RUS- SIAN STUDENTS AFTER THE 9TH GRADE IN 2000—2017: TYPES OF REGIONAL SITUATIONS AND THEIR PREDICTORS

Kseniia A. ADAMOVICH¹ — Research Fellow at the International Laboratory for Evaluation of Practices and Innovations in Education

E-MAIL: kadamovich@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4477-2809>

¹ HSE University, Moscow, Russia

Аннотация. В статье исследуются региональные различия в выборе образовательной траектории после 9-го класса, а также динамика этих различий с 2000 по 2017 гг. В наблюдаемый период произошел рост неравенства между регионами в доле учащихся, выбравших академическую траекторию. С использованием динамического алгоритма трансформации временных шкал было выделено три типа региональных сценариев динамики этого показателя. Первый тип отражает постепенное снижение доли учащихся, выбравших академическую траекторию, в период с 2000 по 2017 гг. В регионах второго типа снижение этого показателя началось позднее, с 2006 г. Регионы третьего типа показали резкий спад доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию, в период с 2001 по 2003 гг., а затем значительный рост этого показателя в 2014—2016 гг. В рамках теории социального неравенства Пьера Бурдьё, адаптированной американскими географами для исследований пространства, факторы различий в сценариях рассматриваются в разрезе двух

Abstract. The study examines regional differences in educational trajectories of Russian school students after 9th grade and the dynamics of these differences in 2000–2017. Over the observed period, there was an increase in regional inequality in the proportion of students who chose an academic track. Using the dynamic time warping algorithm for cluster analysis, the author of the study identifies three types of regional situations. The first type of dynamics presents a gradual decrease in the share of students on the academic track in 2000–2017. In the regions of the second type the share of students on the academic track began to decline later, in 2006. In the regions of the third type, the share of 9th grade graduates on the academic track declined sharply in 2001–2003, but then increased significantly in 2014–2016. Within the framework of the sociological theory of Pierre Bourdieu, adopted by American geographers for spatial studies, the predictors of these differences were examined in the context of two spatial concepts — indicators of the social space of students and their living environment. Depending

аспектов — социального пространства учащихся и их среды обитания. Показано, что в зависимости от социального пространства учащихся эффекты изменений в образовательной политике могут варьироваться. В долгосрочной перспективе это чревато дальнейшим ростом социально-экономического неравенства регионов.

Ключевые слова: пространственное неравенство, образовательные траектории, динамика региональных показателей, доступ к высшему образованию, региональные различия

Благодарность. Статья подготовлена в ходе работы по Программе фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5—100».

Введение

Пространственные различия — одна из наиболее острых тем, обсуждаемых в крупных странах с федеративным территориально-государственным устройством. Для России этот вопрос особенно актуален, поскольку масштабы региональных различий в нашей стране по некоторым показателям превышают межстрановые. Так, согласно отчету Всемирного банка, в 2015 г. по уровню экономического развития российские регионы различались в 17 раз. Иными словами, по ВРП на душу населения по паритету покупательской способности Сахалинская область была сопоставима с Сингапуром, Тюменская область и Чукотка — с ОАЭ и Гонконгом, а Карачаево-Черкесия и Ингушетия — с Мьянмой и Гондурасом [Sanghi et al., 2018]. Другой пример связан с языковым разнообразием народов РФ: по данным переписи населения 2010 г., доля населения с родным русским языком в российских регионах варьируется от 1 % до 100 % [Смирнова, Смирнов, 2010]. Поскольку выпускные экзамены в РФ сдаются на русском языке, языковой барьер может ограничивать образовательные и карьерные возможности учащихся.

Традиционно пространственное неравенство рассматривается как объективное следствие концентрации наиболее конкурентных благ, ресурсов и других преимуществ на одних территориях и их отсутствия или недостатка на других [Зубаревич,

on the indicators of the social space of students, the effects of changes in educational policy can vary, which in the long run could result in a further increase of regional socio-economic inequality.

Keywords: spatial inequality, educational tracks, dynamics of regional indicators, access to higher education, regional differences

Acknowledgments. The study was prepared within the framework of the Basic Research Program at the HSE University and supported within the framework of a subsidy by the Russian Academic Excellence Project “5—100”.

Сафронов, 2013]. Соответственно, одной из ключевых причин экономической дифференциации регионов считается аккумулирование предпринимательской активности в областях, обладающих потенциалом для снижения издержек бизнеса. Это так называемые факторы «первой природы» (природные ресурсы, географическое положение) и факторы «второй природы» (институциональная среда, человеческий капитал) [Krugman, 1991], причем по мере экономического развития последние становятся более значимыми. Среди причин социального неравенства регионов, которое само по себе тесно связано с экономическим, исследователи называют неравенство в доходах и занятости населения, качественные характеристики самого населения (состояние здоровья, уровень образованности и т. д.), а также уровень миграции населения [Зубаревич, 2009].

Динамика пространственного неравенства по ряду экономических показателей изучена довольно неплохо. Например, показано, что региональные различия по величине подушевых доходов населения и уровню бедности в 2000—2011 гг. несколько снизились, в то время как неравенство субъектов РФ по уровню ВРП и уровню безработицы выросло [Зубаревич, Сафронов, 2013]. Региональные различия в образовательных возможностях российских учащихся и их тренды изучены в меньшей степени.

Значительная часть исследований, посвященных выбору образовательной траектории российскими учащимися, фокусируются на социально-экономическом бэкграунде их семей и характеристиках школ и не рассматривают региональный контекст в качестве значимого фактора (см., например, [Прахов, 2015; Попов, Тюменева, Кузьмина, 2012]). В тех работах, где этот аспект все же принимается во внимание, он, как правило, операционализируется через степень урбанизированности территории или размер населенного пункта (см., например, [Бессуднов, Малик, 2016]), что не всегда отражает весь масштаб пространственных различий. Наконец, лишь единичные исследования фокусируются на динамике неравенства в выборе учащимися своей образовательной траектории [Богданов, Малик, 2020], однако и в них пространственные различия учтены в меньшей степени — например, при учете размера населенного пункта Москва и Санкт-Петербург вынесены в отдельную категорию, однако другие региональные контексты не принимаются во внимание. В другом исследовании, посвященном оценке эффектов от введения ЕГЭ в России на образовательные возможности учащихся, учитывается не только размер населенного пункта, но и дистанция от места проживания респондента до региональной столицы [Francesconi, Slonimczyk, Yurko, 2019]. Отчасти это позволяет учесть социальную иерархию пространства внутри региона, но не между ними. Это особенно важный момент в контексте специфики образовательной миграции учащихся именно в России, поскольку российские учащиеся предпочитают поступать не в региональные столицы, а в Москву и Санкт-Петербург [Габдрахманов, Никифорова, Лешуков, 2019; Габдрахманов, 2019].

В долгосрочной перспективе региональная дифференциация образовательных траекторий учащихся может привести к углублению экономического и социального неравенства. С одной стороны, система высшего образования вносит существенный вклад в ВРП российских регионов [Клячко, Семионова, 2018]. С другой стороны, экономическое развитие субъектов РФ по определению связано с уровнем

занятости населения, в том числе населения с высшим образованием и другими качественными характеристиками [Агранович, 2017]. Возникает ситуация замкнутого круга, когда пространственная диспропорция в выборе образовательных траекторий порождает рост регионального социально-экономического неравенства, который, в свою очередь, способствует усилению неравенства образовательного.

В данной статье, во-первых, рассматриваются региональные различия в выборе образовательных траекторий после 9-го класса, а также динамика этих различий с 2000 по 2017 г., когда произошли значительные социальные, экономические и политические изменения [Зубаревич, 2005; Зубаревич 2019а; Зубаревич 2019b]. Во-вторых, показаны три сценария в динамике доли выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу двумя годами спустя. В-третьих, анализируются связанные с этими сценариями характеристики регионов. Выделение таких типовых сценариев является новизной данной работы, поскольку оно позволяет определить общие тренды и паттерны для выбора образовательной траектории учащимися из разных регионов на протяжении почти двух десятилетий. В работе не ставится задача по созданию новой типологии субъектов РФ или по прогнозированию различий в выборе образовательных траекторий, вместо этого предполагаются выявление и анализ существующих трендов востребованности академической траектории среди учащихся.

Институциональный контекст

Выбор образовательной траектории в России состоит из целого ряда этапов. Ключевым является переход после 9-го класса школы в старшие классы (*академическая траектория*) или в учреждения профессионального образования (*профессиональная траектория*), поскольку именно этот переход определяет дальнейшие возможности для поступления в вуз [Хавенсон, Чиркина, 2018; Хавенсон, Чиркина, 2019; Чиркина, 2018]. Однако у учащихся также есть возможность выбирать *комбинированную траекторию*, предполагающую поступление в учреждения среднего профессионального образования (СПО) после 9-го класса, а затем поступление в вуз. До 2015 г. такая траектория позволяла получать высшее образование, минуя сдачу единого государственного экзамена на выходе из 11 класса, что в определенной степени способствовало росту приема в учреждения СПО [Bodovski, Chykina, Khavenson, 2019; Yastrebov, Kosyakova, Kurakin, 2018; Александров, Тенишева, Савельева, 2015]. После 2015 г. возможность поступления в вуз без ЕГЭ (по результатам собственных испытаний вуза) после СПО сохраняется лишь для тех учащихся, кто продолжает обучение по выбранному профилю. Так, в 2016 г. только 9,8% выпускников 9-х классов выбрали комбинированную траекторию (для сравнения, академическую траекторию выбрали 51,6% учащихся того же года, а профессиональную — 26,9%) [Yastrebov, Kosyakova, Kurakin, 2018].

Таким образом, точкой входа в академический, профессиональный и комбинированный трек является образовательный переход после 9-го класса. Выбор между старшими классами школы, поступлением в СПО и отказом от продолжения обучения определяет дальнейшие возможности выпускника для продвижения по той или иной траектории. Выборы, которые учащийся совершает в дальнейшем (например, принятие решения о поступлении в вуз), в определенном смысле пред-

определены именно этим решением. Поэтому в фокусе данного исследования находится переход после 9-го класса как старт для каждой из этих траекторий, а также региональное неравенство доступа к ним, возникающее на данном этапе.

Академический трек считается более перспективным для карьерного роста, в то время как учащиеся, ограничившиеся получением среднего профессионального образования, чаще сталкиваются со сложностями дальнейшего служебного продвижения и бывают вынуждены менять специальность [Чередниченко, 2014; Константиновский и др., 2011]. Соответственно, при выборе будущей траектории учащиеся и их семьи могут оценивать ее потенциальные преимущества, а также соизмерять их с затратами на получение образования выбранного уровня. В результате значимыми для выбора образовательной траектории оказываются факторы, связанные с социально-экономическими характеристиками семьи и шансами учащегося на успешную сдачу экзаменов, от которых потом зависит доступ к бесплатному обучению в вузе или к более престижным университетам [Yastrebov, Kosyakova, Kurakin, 2018; Jackson, Khavenson, Chirkina, 2019].

На региональном уровне выбор траектории учащимися в большей степени связан с социально-экономическими показателями регионов (доля населения с высшим образованием, доля городского населения), а не с доступом к образовательным ресурсам в виде углубленных программ и квалифицированных учителей [Захаров, Адамович, 2020]. При этом сама по себе доля учащихся, выбравших академическую траекторию в 9-м классе, оказалась значимым детерминантом для средних в регионе баллов ЕГЭ по русскому языку и, соответственно, для дальнейшего выбора образовательной траектории, поскольку экзамен по этому предмету необходим для поступления во все российские вузы.

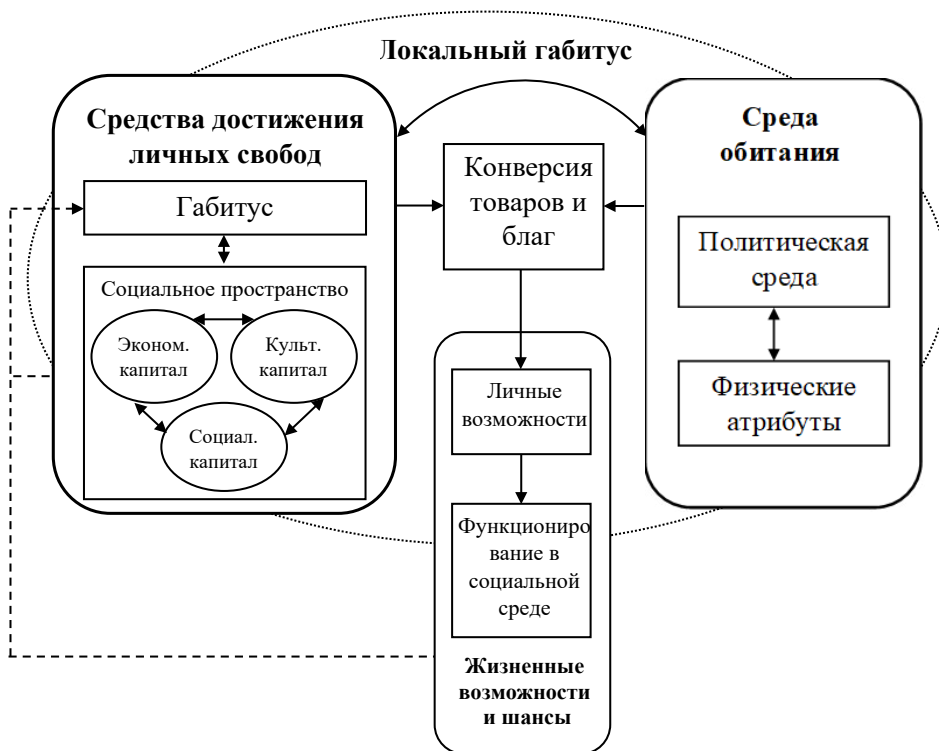
Концептуальная основа исследования

В данном исследовании используется подход, предложенный географами Эмилем Израелем и Амноном Френкелем [Israel, Frenkel, 2018], которые выделяют пространственные компоненты в теории социального неравенства П. Бурдьё и рассматривают неравенство как функцию от габитуса индивида, его окружающей среды и различных форм индивидуального капитала (см. рис. 1), тем самым адаптируя концепцию П. Бурдьё для исследований пространственных различий.

Сам Бурдьё в своих работах не фокусируется непосредственно на географических и физических характеристиках пространства, однако вся концепция базируется на его социальном и символическом значении. Этот аспект его теории подчеркивается и другими исследователями (например, [Yoon, 2020]). Пространство в понимании П. Бурдьё социально структурировано и точно отражает классовую стратификацию, поскольку само по себе уже является площадкой, где разыгрываются различные комбинации для взаимодействия габитуса индивида и разных форм его капитала [Bourdieu, 1984]. Напомним вкратце, что П. Бурдьё выделяет три типа капитала: *экономический*, включающий заработную плату и другие денежные активы, а также собственность; *культурный* капитал, аккумулирующий образование, знания и достижения человека; и, наконец, *социальный* капитал, представляющий собой социальные связи человека, их количество, плотность и качество [Bourdieu, 1986]. Социальное пространство индивида формируется

через совокупность этих трех видов капитала, доступных его окружению, которые, в свою очередь, взаимодействуют с ценностями, убеждениями и вкусами самого индивида (то есть тем, что П. Бурдьё определяет как *габитус*). Несмотря на то, что габитус является личностной характеристикой, люди, обитающие вместе в одном социальном пространстве, имеют схожие жизненные установки, тем самым формируя *локальный габитус*. В результате социальное пространство, локальный и индивидуальный габитус обуславливают *возможности человека и его жизненные шансы* [Bourdieu, 1985; 1986]. Последние, в свою очередь, вносят дальнейшие изменения в социальное пространство и габитус. На более высоком уровне этот процесс формирует символический статус пространства: люди пользуются ресурсами и возможностями территории для накопления и преумножения своего социального и экономического капитала, повышая таким образом и ее социальный и экономический капитал [Bourdieu et al., 1999]. В обратной ситуации, когда люди ограничены в возможностях, социальный и экономический капитал пространства снижается, и формирование его символического статуса может принимать характер стигматизации и/или патологизации [там же].

Рис. 1. Место пространственного компонента в структуре социального неравенства



Опираясь на теорию П. Бурдьё, Э. Исраэль и А. Френкель предлагают концептуальную основу для исследования пространственного неравенства возможностей, добавляя к социальным характеристикам пространства (space) показатели места (place). Место в данном случае — это *среда обитания* человека, которая определяется, с одной стороны, *физическими атрибутами* (например, площадью или расположением), а с другой стороны — *политической средой* (political milieu), то есть порядком и условиями доступа индивида к тем или иным ресурсам, товарам и благам. В определенной степени, политическая среда пространства отражает его локальный габитус, поскольку направленность политических процессов в демократической парадигме определяется людьми, населяющими это пространство.

Такая концепция позволяет исследовать пространственные различия на разных уровнях: от «макро» (внутристрановые различия, например между центром и периферией) и «мезо» (например, между городом и пригородом) до «микро», когда различия в среде обитания и социальном пространстве исследуются на уровне жителей разных домов одного квартала. Вне зависимости от уровня рассмотрения пространственные конфигурации формируются и изменяются людьми, придающими тому или иному месту социальное значение в результате политических и экономических процессов [Agnew, 2011; Saar, Palang, 2009].

Описанный подход — хороший базис для анализа неравенства образовательных возможностей, которое представляет собой частный случай социального неравенства. К сожалению, задача изучения различий в локальном габитусе и индивидуальных установках учащихся и их родителей при выборе образовательной траектории требует дополнительных ресурсов, поэтому в данной работе факторы пространственного неравенства будут рассматриваться с точки зрения социального пространства и среды обитания.

Исследование фокусируется на региональных различиях, поскольку, как было показано выше, субъекты РФ значительно различаются между собой по экономическим, социальным и демографическим показателям. Кроме того, административное и политическое устройство Российской Федерации предполагает наличие у регионов достаточно широких полномочий, распространяющихся в том числе и на сферу образования. Таким образом, региональные различия в политической среде и социальном пространстве делают именно этот уровень особенно интересным для анализа.

Данные и дизайн исследования

Данные

Эмпирическую базу исследования составили данные статистических сборников «Регионы России. Экономические показатели» за 2000—2017 гг., которые ежегодно публикуются Федеральной службой государственной статистики. Где это было возможно, собранные данные сопоставлялись с результатами статистических форм Министерства образования и науки и Министерства просвещения. Поскольку в наблюдаемый период административно-территориальное деление РФ менялось, состав субъектов рассматривался с позиций 2011 г. Итоговая выборка

исследования составила 1 494 наблюдения для 83 регионов¹ на протяжении 18 лет. Наблюдаемый период охватывает выбор образовательной траектории для 18 когорт учащихся, начиная от выпускников 9-х классов 2000 г. (те из них, кто выбрал академическую траекторию, окончили 11 классов школы в 2002 г.) и заканчивая выпускниками 9-х классов 2017 г. (часть из которых затем выпустилась из 11 класса в 2019 г.).

В качестве индикатора выбора образовательной траектории рассматривалась доля выпускников 9-х классов в регионе, окончивших старшую школу двумя годами спустя. Эта переменная была стандартизирована по всему временному ряду (со средним, равным 0 и стандартным отклонением, равным 1). В фокусе данной работы находится лишь вход на академическую траекторию, который представлен образовательным переходом учащихся после 9-го класса [Хавенсон, Чиркина, 2018; Хавенсон, Чиркина, 2019; Чиркина, 2018], поэтому в исследовании не учитываются образовательные траектории выпускников 11-х классов и их поступление в вузы.

Также в анализ были включены детерминанты выбора образовательной траектории, связанные с социальным пространством учащихся и их средой обитания. В рамках выбранной концепции индикаторы социального пространства рассматриваются через призму трех типов капитала:

1. Экономический капитал. Он может операционализироваться через финансовые средства, средства производства, а также готовые продукты и рабочую силу [Радаев, 2002]. В качестве показателя доходности на региональном уровне был использован уровень ВРП на душу населения (для корректного анализа динамики этот показатель переведен в цены 2000 г., скорректирован на индекс потребительских цен и логарифмирован). В качестве показателя рабочей силы в анализ включен уровень безработицы среди молодежи.

2. Социальный капитал. Он может операционализироваться через принадлежность к определенной социальной группе, национальную и языковую принадлежность, миграционный статус [Anheier et al., 1995]. Этот тип капитала сложнее представить в институционализированном состоянии, и его показатели на индивидуальном и коллективном уровнях разнятся. Так, применимо к пространству социальный капитал может рассматриваться через различия между городом и селом, центральными районами и гетто [Portes, Landolt, 1996; Pope, 2003]. С учетом этого в данной работе социальный капитал регионов операционализировался через долю городского населения и коэффициент миграционного прироста.

3. Культурный капитал традиционно рассматривается как социальные, культурные и компетентностные характеристики человека. В исследованиях образовательного неравенства культурный капитал измеряется через уровень образования и/или наличие ученой степени [Большаков, 2013; Прахов, 2015]. В рамках данной работы в качестве индикаторов культурного капитала были использованы такие показатели, как доля населения с высшим образованием и доля населения с общим образованием из числа занятых на рынке труда.

¹ Республика Крым и город федерального значения Севастополь были исключены из выборки в силу отсутствия данных за весь рассматриваемый период.

Индикаторами среды обитания стали показатели политической среды в сфере образования на уровне регионов. Для этого были выбраны те индикаторы, связь которых с выбором траекторий на индивидуальном уровне ранее уже была подтверждена исследованиями [Хавенсон, Чиркина, 2018; Прахов, Юдкевич, 2012; Francesconi, Slonimczyk, Yurko, 2019], а именно:

- доступность бюджетных мест в учреждениях СПО, измеренная через отношение численности приема к численности когорты выпускников 9-го класса;
- доступность бюджетных мест в вузах, измеренная через отношение численности приема к численности когорты выпускников 11 класса;
- год введения ЕГЭ.

В качестве физического атрибута среды учитывалась численность населения в регионе (через численность когорты девятиклассников).

Географические характеристики (климатическая зона, наличие природных ресурсов и проч.) учитывались только на первом этапе анализа для составления карт и не включались в качестве предикторов выбора образовательной траектории как менее значимые факторы «первой природы» по концепции П. Кругмана [Krugman, 1991].

Таблица 1. *Описательная статистика*

Переменная	Число наблюдений	Среднее	Ст. отклонение	Мин.	Макс.
Доля выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу двумя годами позднее (в %)	1494	56.09	8.05	21.19	88.46
Уровень ВРП на душу населения (в руб.)	1475	250393.90	461840.9	5434.31	6183351.0
Доля безработных среди молодежи (в %)	1217	4.02	2.51	0.30	31.50
Доля городского населения (в %)	1494	69.36	13.22	26.0	100.0
Коэффициент миграционного прироста	1494	-9.40	123.11	-1170	2523.0
Доля населения с высшим образованием (в %)	1472	25.54	6.0	11.90	50.0
Доля населения с общим образованием (в %)	1306	22.72	5.92	6.20	61.10
Доступность бюджетных мест в СПО (в % к размеру когорты)	1494	50.44	18.83	9.09	301.19
Доступность бюджетных мест в вузах (в % к размеру когорты)	1217	113.43	59.48	6.35	551.35
Год введения ЕГЭ	83	2003.68	1.59	2001	2008
Численность когорты выпускников 9-х классов (тыс. чел.)	1494	18.96	16.83	0.40	118.20

Методология

В соответствии с задачами исследования анализ проводился в три этапа. На первом этапе была проанализирована региональная динамика доли выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу двумя годами спустя. Для этого были использованы методы описательной статистики.

На втором этапе были выявлены типы региональных ситуаций в динамике доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию. Для этого был реализован кластерный анализ временных шкал с использованием алгоритма динамической трансформации временных шкал (DTW — Dynamic Time Warping) [Paparrizos, Gravano, 2017; Müller, 2007; Sakoe, Chiba, 1990]. Для каждого субъекта была построена кривая, отображающая долю выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу два года спустя, после чего были подобраны регионы с наименьшим DTW-расстоянием для этой кривой (формула 1).

$$DTW(track_n, track_{n+1}) = \min \left\{ \frac{\sum_{k=1}^k d(w_k)}{K} \right\}, N = 82 \quad (1),$$

где *track* — это временной ряд доли учащихся, выбравших академическую траекторию после 9-го класса,

d — матрица расстояний между временными рядами,

w — путь трансформации, которая обеспечивает минимальное расстояние между элементами матрицы,

k — длина пути трансформации между временным рядом *n* и следующим временным рядом *n+1*,

K — совокупная длина пути трансформации,

N — количество временных рядов.

Далее на основе DTW-расстояния при помощи эксплораторного иерархического кластерного анализа [Aghabozorgi, Shirkhorshidi, 2015] были выделены три кластера, характеризующих три разных типа региональных ситуаций в динамике доли учащихся, выбравших академическую траекторию. Для каждого из этих кластеров были определены центроиды — искусственно созданные временные ряды, построенные так, чтобы DTW-расстояние между ними и каждым временным рядом в кластере было минимальным. Таким образом, для каждого кластера эти центроиды отражают тренды в динамике доли выпускников 9-го класса, выбравших академическую траекторию.

На третьем этапе исследования были выявлены предикторы различий для описанных выше типов региональных ситуаций. Для этого был проведен анализ с использованием мультиномиальной логистической регрессии [Greene, 2008]. В качестве зависимой переменной использовался выделенный на предыдущем этапе тип региональной ситуации, в качестве ковариатов были добавлены две группы предикторов — социальное пространство и среда обитания. Вероятность попадания в тип региональной ситуации *t* оценивалась по формуле 2.

$$Prob(Y_{Reg} = t | W_{Reg}) = \frac{\exp(W'_{Reg} \alpha_t)}{\sum_{t=1}^T \exp(W'_{Reg} \alpha_t)}, t = 1, \dots, T. (2),$$

где *Reg* — это регион,

W — набор региональных характеристик (показатели социального пространства и среды обитания),

α — регрессионный коэффициент.

Выполненное исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, оно не отражает различия внутри регионов в выборе учащимися образовательных траекторий. Во-вторых, доступные данные не позволяют учесть образовательную мобильность, связанную с поступлением в старшие классы школ других регионов. В определенной степени этот фактор контролируется благодаря включению коэффициента миграционного прироста в анализ. В-третьих, исследование фокусируется на образовательном переходе из основной школы в старшие классы как точке входа на академическую траекторию и не рассматривает дальнейшие траектории и выборы учащихся.

Результаты

Региональная динамика доли учащихся, выбравших академическую траекторию после 9-го класса

В период с 2000 по 2017 г. средняя по регионам доля выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию, снизилась почти на пятую часть — с 62,72 % до 50,39 % (см. рис. 2). Однако это снижение не было постепенным. Можно отметить три этапа резкого падения этого показателя (в 2002, 2006 и 2012 гг.) и отдельные плато в 2003—2005 гг. и в 2008—2010 гг. При этом дисперсия доли учащихся, выбравших академическую траекторию, также менялась циклично: периоды роста в 2002, 2006 и 2013 гг. сменяются периодами спада и плато в 2003—2005 гг. и в 2008—2012 гг. В итоге в 2017 г. средняя доля девятиклассников, окончивших старшую школу двумя годами спустя, составляет 50,39 %, но регионы различаются по этому показателю почти в 2.5 раза. В целом в наблюдаемый период дисперсия доли учащихся на академической траектории выросла почти вдвое, от 0,098 в 2000 г. до 0,172 в 2017 г.

Помимо этого, в наблюдаемый период формируются две группы регионов с сильно выбивающимися значениями показателей. Первую группу представляют те регионы, где доля выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию, стабильно оставалась высокой, — это Москва, Санкт-Петербург, Республика Якутия (см. приложение 1). Вторая группа представлена регионами с наименьшей долей учащихся, выбравших академическую траекторию, — это республики Чечня, Адыгея, Карачаево-Черкесия (см. приложение 2). Интересно, что ряд республик Северного Кавказа (Северная Осетия, Дагестан) также демонстрирует наибольшее снижение этого индикатора с 2000 по 2017 гг., в то время как Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ показывают наибольший прирост (см. рис. 3).

Рис. 2 Региональная динамика доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию в 2000—2017 гг.

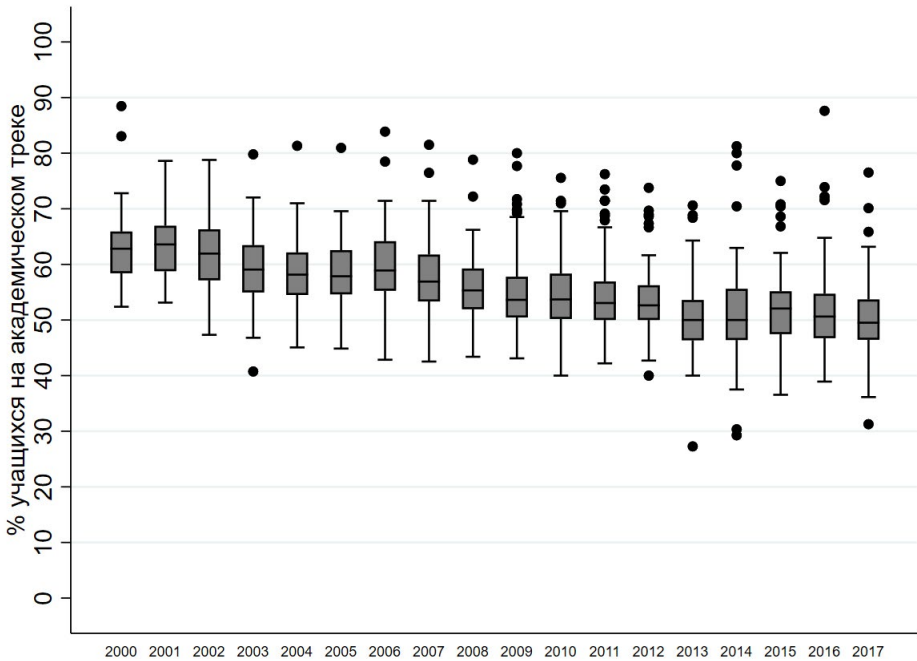


Рис. 3. Географическое распределение разницы в долях выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию, между 2000 и 2017 гг.



Таким образом, можно заключить, что в период с 2000 по 2017 гг. увеличивается разрыв между регионами в доле выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу два года спустя, причем рост этих различий происходит за счет снижения этого показателя в большинстве субъектов РФ при стабильно высокой востребованности академической траектории в наиболее экономически развитых регионах страны.

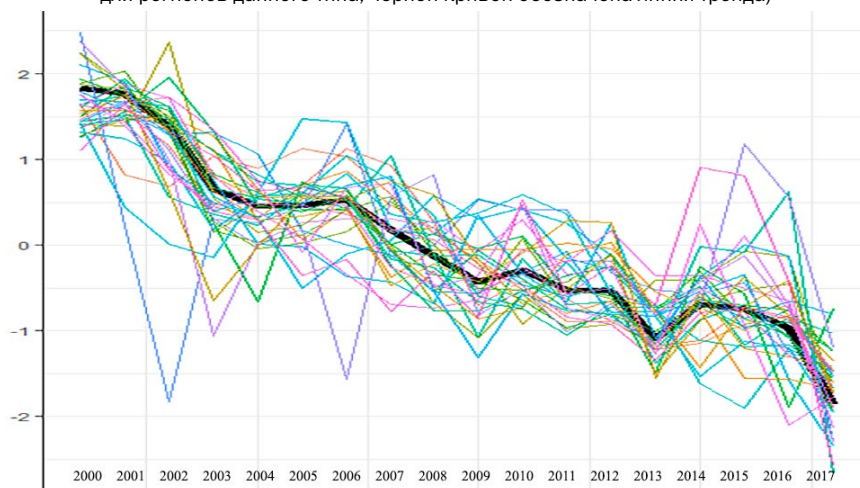
Типы региональных ситуаций в динамике доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию

Описанные выше результаты позволяют предположить, что изменения в доле выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу двумя годами позже, происходили в регионах по-разному. Были выделены три основных сценария динамики востребованности академической траектории в 2000—2017 гг. Географическое распределение данных типов показано в приложении 3.

1. Первый тип — «Постепенное снижение».

Регионы первого типа демонстрируют динамику, близкую к общестрановой: постепенный спад доли учащихся, выбравших академическую траекторию, с периодами плато (см. рис. 4). Так, в начале наблюдаемого периода востребованность академической траектории среди учащихся этих регионов довольно высока — линия тренда для доли выпускников 9-х классов, окончивших затем старшую школу, почти на 1,8 стандартного отклонения выше среднероссийского значения. Однако затем этот показатель снижается, и после небольшого периода стабильности в 2003—2006 гг. к 2017 г. линия тренда опускается до уровня в $-1,8$ стандартных отклонения. В итоге разница между 2000 и 2017 гг. составляет почти 3,6 стандартных отклонения. Дополнительно отмечается небольшое снижение доли учащихся на академической траектории в 2009 и 2013 гг.

Рис. 4. Динамика доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию в 2000—2017 гг., в регионах первого типа (цветные кривые обозначают временные ряды для регионов данного типа, черной кривой обозначена линия тренда)

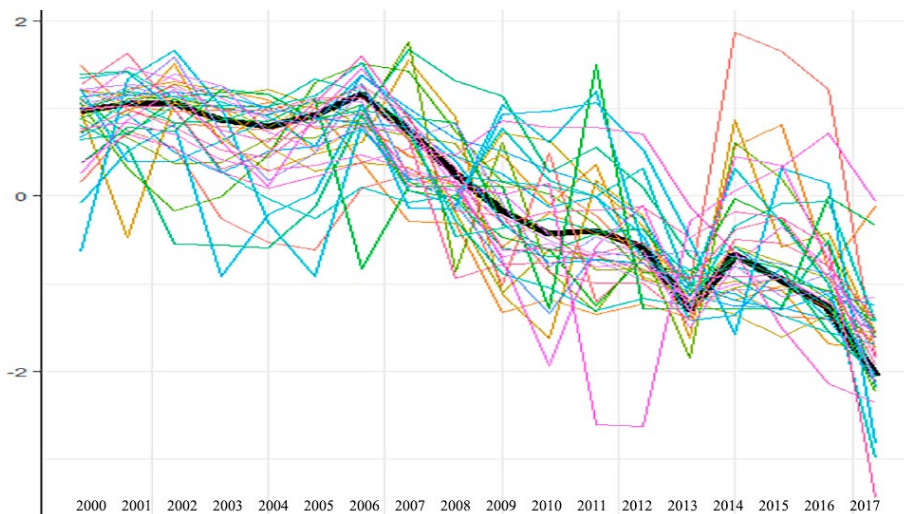


География регионов, демонстрирующих указанный тип динамики, довольно обширна. Это 34 субъекта РФ, значительная часть которых представлена регионами Урала и Южной Сибири, а также центральной части России. Эти территории значительно различаются по своим социально-экономическим и демографическим показателям, здесь присутствуют и автономные округа, и национальные республики. Несмотря на такое разнообразие, во всех этих регионах наблюдается схожий тренд на постепенное снижение доли учащихся, выбравших академическую траекторию (за исключением отдельных регионов со скачкообразной динамикой). В дальнейшем этот тип будет использоваться в качестве референтного при анализе социально-экономических и институциональных различий между типами.

2. Второй тип — «Отсроченное падение».

На фоне регионов предыдущего типа выделяется группа субъектов РФ, где снижение доли выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу два года спустя, началось позднее, в 2006 г. (см. рис. 5). До этого востребованность академической траектории была стабильно высокой и держалась на уровне 1 стандартного отклонения. Затем, в течение 11 лет с 2006 по 2017 гг., этот показатель снизился до -2 стандартных отклонений, включая небольшое падение в 2013 г. Спад 2009 г., наблюдаемый в регионах первого типа, здесь практически не выражен, вместо этого отмечается небольшое плато в 2009—2012 гг.

Рис. 5. Динамика доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию в 2000—2017 гг., в регионах второго типа (цветные кривые обозначают временные ряды для регионов данного типа, черной кривой обозначена линия тренда)

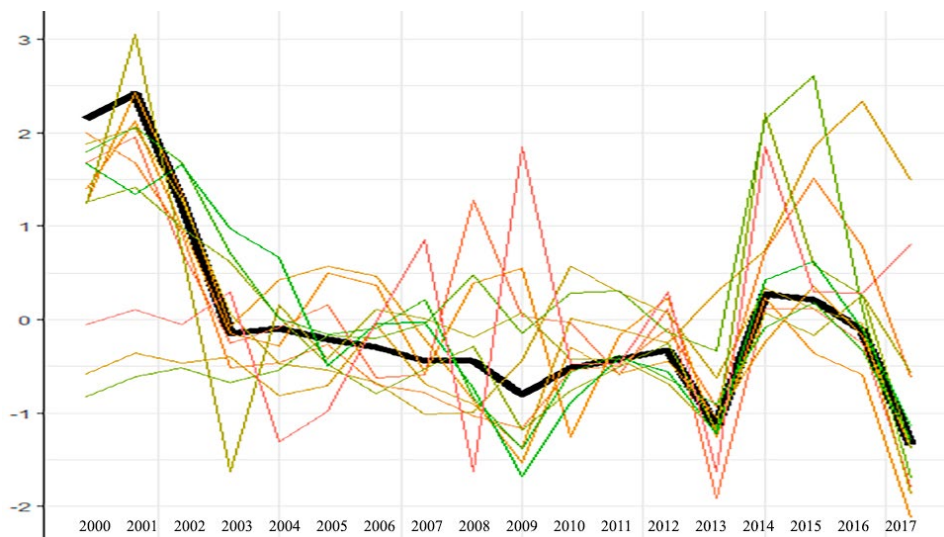


Такое «отсроченное снижение» наблюдается в 37 субъектах РФ, большая часть которых — это регионы центральной части России и Поволжья. Однако здесь, как и в регионах первого типа динамики, сложно выделить географическую привязку, а также общую специфику социально-экономического контекста.

3. Третий тип — «Резкий спад».

Отличие регионов этого типа состоит в том, что спад доли выпускников 9-х классов, окончивших старшую школу два года спустя, был резким и быстрым: с 2001 по 2003 г. этот показатель сократился в среднем на 2,5 стандартных отклонения (см. рис. 6). Затем, с 2003 по 2012 г. востребованность академической траектории оставалась практически стабильной — доля выпускников 9-х классов, окончивших затем старшую школу, колебалась вокруг общероссийского значения. Здесь также отмечаются два периода снижения этого показателя, в 2009 и 2013 гг. Другим характерным отличием динамики доли учащихся, выбравших академическую траекторию, в этих регионах является всплеск этого показателя в 2014—2015 гг. с последующим резким снижением. Можно предположить, что регионы данного типа демонстрируют общестрановую динамику в ускоренном виде — период снижения и плато, характерный для первого типа, здесь был пройден быстрее.

Рис. 6. Динамика доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию в 2000—2017 гг., в регионах третьего типа (цветные кривые обозначают временные ряды для регионов данного типа, черной кривой обозначена линия тренда)

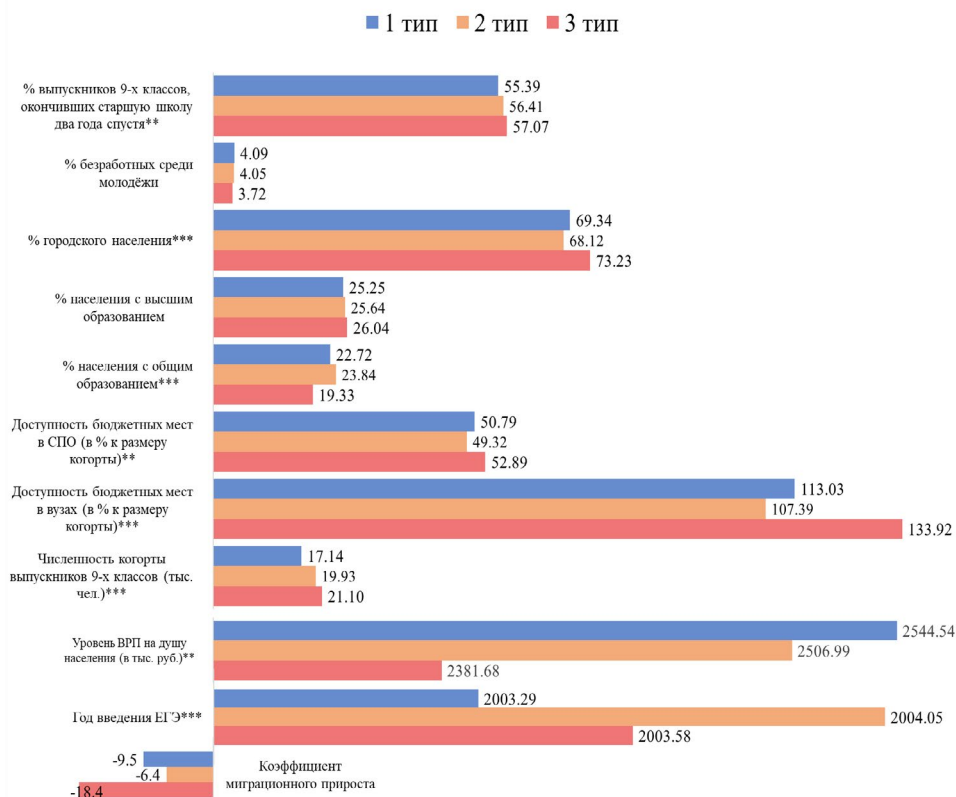


Этот тип динамики демонстрируют регионы с довольно контрастным социально-экономическим контекстом. Всего такой сценарий характерен для 12 субъектов РФ, из которых 4 — регионы Центрального федерального округа. При этом Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ образуют особый подтип: в начале наблюдаемого периода доля учащихся, выбравших академическую траекторию, в них относительно мала (от 0 до -1 стандартного отклонения), зато к 2014—2016 гг. этот показатель увеличился сильнее всего. В то же время в регионах с меньшим уровнем экономического развития (республика Алтай, Еврейская автономная область) в 2001—2003 гг. наиболее выражен спад доли девятиклассников, выпустившихся из старшей школы двумя годами позднее.

Связь типов региональной динамики доли учащихся, выбравших академическую траекторию, с характеристиками социального пространства и среды обитания учащихся

Второй этап исследования показал, что выявленные типы динамики характерны для регионов с очень разным контекстом. Важно отметить, что выделенные типы демонстрируют значимые статистические различия практически по всем использованным в анализе контекстуальным показателям (см. рис. 7), но при этом внутри этих типов регионы различаются между собой по социально-экономическим и демографическим характеристикам значительно сильнее.

Рис. 7. Различия в средних значениях социально-экономических и институциональных показателей между регионами по типам динамики доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию за 2000 и 2017 гг.



Символом *** отмечены показатели, для которых статистические различия между группами значимы на уровне 0,01, ** — на уровне 0,05, * — на уровне 0,10.

Для того чтобы оценить шансы региона на попадание в тот или иной тип динамики, был проведен анализ с использованием мультиномиальной логистической регрессии на обобщенных данных за 2000—2017 гг. Результаты анализа для представлены в таблице 2. В качестве референтного типа динамики был выбран

наиболее распространенный сценарий «Постепенное снижение», где динамика доли учащихся на академической траектории была близка к общестрановой. Таким образом, анализ показывает специфику регионов с отличающейся от общестрановой динамикой.

Таблица 2. Связь типов региональной динамики в доле учащихся, выбравших академическую траекторию, с показателями социального пространства и среды обитания учащихся

Переменные (референтный тип 1 — «Постепенное снижение»)	«Отсроченное падение» (2 тип)	«Резкий спад» (3 тип)
Показатели социального пространства		
Уровень ВРП на душу населения (логарифм)	−0,28** (0,13)	−0,33 (0,20)
Доля безработных среди молодёжи (в %)	−0,02 (0,04)	−0,04 (0,07)
Доля городского населения (в %)	−0,00 (0,01)	0,00 (0,01)
Коэффициент миграционного прироста	−0,00 (0,00)	−0,00* (0,00)
Доля населения с ВО (в %)	0,06*** (0,02)	−0,01 (0,03)
Доля населения с ОО (в %)	0,01 (0,02)	−0,17*** (0,04)
Показатели среды обитания		
Доступность бюджетных мест в СПО (в %)	0,00 (0,01)	−0,00 (0,01)
Доступность бюджетных мест в вузах (в %)	−0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Год введения ЕГЭ	0,30*** (0,07)	0,14 (0,09)
Численность когорты 9-классников	0,02** (0,01)	0,02* (0,01)
Константа	−595,58*** (131,33)	−270,89 (187,65)
Число наблюдений	1217	1217

В скобках показаны стандартные ошибки регрессионных коэффициентов; уровень значимости: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

Регионы второго типа — «Отсроченное падение», в которых снижение доли учащихся на академической траектории произошло позднее, отличаются в показателях и социального пространства, и среды обитания. В эту группу с большей вероятностью попадают регионы с более низким уровнем ВРП на душу насе-

ния и большей долей населения с высшим образованием. Имеет значение и год введения ЕГЭ — такую динамику с большей вероятностью показывают регионы, присоединившиеся к реформе позднее. Также в регионах этого типа чуть выше численность населения — размер когорты 9-классников. Интересно, что в данном случае социальное пространство и среда обитания вносят практически равный вклад в определение специфики данного типа, хотя ключевым показателем с точки зрения силы связи остается год введения ЕГЭ.

Регионы третьего типа — «Резкий спад» — меньше отличаются от референтной группы по показателям среды обитания. Единственное значимое отличие здесь наблюдается только для численности населения. То есть сами по себе отклонения от общестранового тренда в динамике более характерны для регионов с высокой численностью населения. Большой вклад в определение специфики данного типа вносят показатели социального пространства. Так, резкий спад в доле учащихся на академической траектории с большей вероятностью покажут регионы, где меньше людей только с общим образованием. Коэффициент миграционного прироста оказался статистически значимым, но с очень слабой силой связи.

Заключение

Проведенное исследование показывает, как два пространственных концепта — социальное пространство и среда обитания — определяют образовательные возможности учащихся из разных регионов. Показатели среды обитания (решения в сфере образовательной политики, принимаемые на уровне регионов) накладываются на различия в социальном пространстве учащихся, что приводит к росту региональных различий в доле учащихся, выбравших академическую траекторию.

Всего за 18 лет с 2000 по 2017 г. средняя доля российских учащихся, окончивших впоследствии старшую школу, снизилась почти на 13%. Однако это произошло не везде: в Москве и Санкт-Петербурге, как наиболее экономически развитых регионах с наибольшей концентрацией университетов, популярность академической траектории остается на прежнем уровне. В регионах с меньшим уровнем экономического развития этот показатель, напротив, снижался.

Одной из причин роста региональных различий можно назвать введение ЕГЭ. Принято считать, что Единый государственный экзамен увеличил доступность высшего образования для учащихся из отдаленных регионов и мест с низкой транспортной доступностью [Прахов, 2015; Francesconi, Slonimczyk, Yurko, 2019]. Однако есть предпосылки к тому, что эта реформа имела и другие, косвенные последствия. Так, введение ЕГЭ стало серьезным сигналом для учащихся 9-х классов, стимулировавшим их переоценить свои шансы на успешную сдачу экзаменов и поступление в университет в рамках академической траектории. В зависимости от социально-экономических характеристик региона, установление новых правил сдачи экзаменов и приема в вузы имело разные последствия.

В регионах, присоединившихся к проведению реформы с самого начала, введение новых правил сдачи экзаменов и поступления в вузы сопровождалось синхронным снижением доли учащихся, окончивших затем старшую школу. В ряде менее экономически развитых субъектов РФ, которые присоединились к проведению единого госэкзамена позднее, доля учащихся, выбравших академиче-

скую траекторию, также снизилась позже. При этом введение ЕГЭ практически не отразилось на востребованности академической траектории в регионах с более высоким уровнем человеческого капитала (выше доля людей с высшим образованием и меньше доля людей с общим образованием).

В свою очередь, это ставит вопрос и о востребованности комбинированной траектории среди выпускников 9-х классов. Поскольку меньшая доля выпускников 9-х классов стала выбирать поступление в старшую школу, можно предположить, что спрос на такой «обходной маневр» для поступления в вуз возрос. Однако это также произошло не везде — в регионах с высоким уровнем человеческого капитала доля выпускников старших классов осталась на прежнем уровне, и даже несколько выросла. Для более детального анализа региональных различий в выборе комбинированной траектории необходимы дальнейшие исследования.

Еще одна интересная тенденция — это спад доли 9-классников, окончивших затем старшую школу, в 2009 и в 2013—2014 гг. Эти спады не так ярко выражены, если рассматривать ситуацию в среднем по стране, и становятся более заметны при анализе региональных подвыборок. Такое снижение востребованности академической траектории могло быть связано с последствиями экономических кризисов, что подтверждается и другими исследованиями [Абанкина и др., 2012]. В ситуации кризиса учащиеся вынуждены производить переоценку затрат на подготовку к экзаменам и получение высшего образования, принимая во внимание финансовую нестабильность своих семей.

Проделанная работа подчеркивает важность учета пространственного компонента и региональной специфики не только для анализа образовательных возможностей учащихся, но и для оценки результативности внедряемых практик и последствий принятых политических решений в сфере образования. В зависимости от показателей социального пространства учащихся, эффекты от изменений в образовательной политике могут варьироваться, что в долгосрочной перспективе может спровоцировать дальнейший рост социально-экономического неравенства.

Литература

Абанкина И. В., Абанкина Т. В., Филатова Л. М. и др. Тенденции изменения общественного спроса на высшее образование в современной России // Вопросы образования. 2012. № 3. С. 88—111.

Abankina I. V., Abankina T. V., Filatova L. M., Nikolaenko E. A. (2012) Trends in Social Demand for Higher Education in Contemporary Russia. *Educational Issues*. No. 3. P. 88—112. (In Russ.)

Агранович М. Л., Ермачкова Ю. В., Селиверстова И. В. Насколько различаются регионы в странах ОЭСР по показателям образования // Образовательная политика. 2017. № 1. С. 37—46.

Agranovich M. L., Ermachkova Yu. V., Seliverstova I. V. (2017) How Do Regions Differ Across OECD Countries in Terms of Education Outcomes. *Educational Policy*. No. 1. P. 37—46. (In Russ.)

Александров Д. А., Тенишева К. А., Савельева С. С. Мобильность без рисков: образовательный путь «в университет через колледж» // Вопросы образования. 2015. № 3. С. 66—91.

Alexandrov D. A., Tenisheva K. A., Savelyeva S. S. (2015) Mobility without Risks: An Educational Path “To University through College”. *Educational Issues*. No. 3. P. 66—91. (In Russ.)

Бессуднов А. Р., Малик В. М. Социально-экономическое и гендерное неравенство при выборе образовательной траектории после окончания 9-го класса средней школы // Вопросы образования. 2016. № 1. С. 135—167.

Bessudnov A. R., Malik V. M. (2016) Socio-Economic and Gender Inequality When Choosing an Educational Trajectory after Graduating from the 9th Grade of Secondary School. *Educational Issues*. No. 1. P. 135—167. (In Russ.)

Богданов М. Б., Малик В. М. Как сочетаются социальное, территориальное и гендерное неравенства в образовательных траекториях молодежи России? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 392—421. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1603>.

Bogdanov M. B., Malik V. M. (2020) How Are Social, Territorial and Gender Inequalities Combined in the Educational Trajectories of Russian Youth? *Monitoring Public Opinion: Economic and Social Change*. No. 3. P. 392—421. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1603>. (In Russ.)

Большаков Н. В. Измерение культурного капитала: от теории к практике // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 6. С. 3—12.

Bolshakov N. V. (2013) Measuring Cultural Capital: From Theory to Practice. *Monitoring Public Opinion: Economic and Social Change*. No. 6. P. 3—12. (In Russ.)

Габдрахманов Н. К. Концентрация студентов в системе высшего образования на карте Российской Федерации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2019. Т. 27. № 1. С. 7—17.

Gabdrakhmanov N. K. (2019) The Concentration of Students in the System of Higher Education on the Map of the Russian Federation. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economics*. Vol. 27. No. 1. P. 7—17. (In Russ.)

Габдрахманов Н. К., Никифорова Н. Ю., Лешуков О. В. «От волги до Енисея...»: образовательная миграция молодежи в России // Современная аналитика образования. 2019. № 5. С. 4—42.

Gabdrakhmanov N. K., Nikiforova N. Yu., Leshukov O. V. (2019) “From the Volga to the Yenisei...”: Educational Migration of Youth in Russia. *Modern Analytics of Education*. No. 5. P. 4—42. (In Russ.)

Захаров А. Б., Адамович К. А. Региональные различия в доступе к образовательным ресурсам, в академических результатах и в траекториях российских учащихся // Экономическая социология. 2020. Т. 20. № 1. С. 60—80.

Zakharov A. B., Adamovich K. A. (2020) Regional Differences in Access to Educational Resources, Academic Outcomes, and Russian Student Trajectories. *Economic Sociology*. Vol. 20. No. 1. P. 60—80. (In Russ.)

Зубаревич Н. В. Бедность в российских регионах в 2000—2017 гг.: факторы и динамика // *Население и экономика*. 2019. № 3. С. 63—74.

Zubarevich N. V. (2019) Poverty in Russian Regions in 2000—2017: Factors and Dynamics. *Population and Economy*. No. 3. P. 63—74. (In Russ.)

Зубаревич Н. В. Богатые регионы стали еще богаче // *Экономическое развитие России*. 2019. Т. 26. № 6.

Zubarevich N. V. (2019) Wealthy Regions Have Become even Richer. *Economic Development of Russia*. Vol. 26. No. 6. P. 86—90. (In Russ.)

Зубаревич Н. В. Проблема социального неравенства регионов: возможно ли реальное смягчение? // *Управленческое консультирование*. 2009. № 3. С. 154—169.

Zubarevich N. V. (2009) The Problem of Social Inequality of Regions: Is Real Mitigation Possible? *Management Consulting*. No. 3. P. 154—169. (In Russ.)

Зубаревич Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. М.: Едиториал УРСС, 2005.

Zubarevich N. V. (2005) Social Development of Russian Regions: Problems and Trends in the Transition Period. Moscow: Editorial URSS. (In Russ.)

Клячко Т. Л., Семионова Е. А. Вклад образования в социально-экономическое развитие регионов России // *Экономика региона*. 2018. Т. 14. № 3. С. 791—805.

Klyachko T. L., Semionova E. A. (2018) The Contribution of Education to the Socio-Economic Development of Russian Regions. *Economics of the Region*. Vol. 14. No. 3. P. 791—805. (In Russ.)

Зубаревич Н. В., Сафронов С. Г. Неравенство социально-экономического развития регионов и городов России 2000-х годов: рост или снижение? // *Общественные науки и современность*. 2013. № 6. С. 15—26.

Zubarevich N. V., Safronov S. G. (2013) Inequality in the Socio-Economic Development of Regions and Cities in Russia in the 2000s: Growth or Decline? *Social Sciences and Modernity*. No. 6. P. 5—26. (In Russ.)

Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко Г. А., и др. Образование и жизненные траектории молодежи: 1998—2008 годы. М.: ЦСПиМ. 2011.

Konstantinovskiy D. L., Voznesenskaya E. D., Cherednichenko G. A., Khokhlushkina F. A. (2011) Education and Life Trajectories of Youth: 1998—2008. Moscow: TsSPiM. (In Russ.)

Попов Д. С., Тюменева Ю. А., Кузьмина Ю. В. Современные образовательные траектории школьников и студентов // *Социологические исследования*. 2012. № 2. С. 135—142.

Popov D. S., Tyumeneva Yu. A., Kuzmina Yu. V. (2012) Modern Educational Trajectories of Schoolchildren and Students. *Social Research*. No. 2. P. 135—142. (In Russ.)

Прахов И. А. Барьеры доступа к качественному высшему образованию в условиях ЕГЭ: семья и школа как сдерживающие факторы // *Вопросы образования*. 2015. № 1. С. 88—117.

Prakhov I. A. (2015) Barriers to Access to High-Quality Higher Education in the Conditions of the Unified State Examination: Family and School as Constraints. *Educational Issues*. No. 1. P. 88—117. (In Russ.)

Прахов И. А., Юдкевич М. М. Влияние дохода домохозяйств на результаты ЕГЭ и выбор вуза // Вопросы образования. 2012. № 1. С. 126—147.

Prakhov I. A., Yudkevich M. M. (2012) Influence of Household Income on Use Results and University Choice. *Educational Issues*. No. 1. P. 126—147. (In Russ.)

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20—32.

Radaev V. V. (2002) The Concept of Capital, Forms of Capital and Their Conversion. *Economic Sociology*. Vol. 3. No. 4. P. 20—32. (In Russ.)

Смирнова Н. А., Смирнов С. А. Перепись населения 2010: социально-демографическая характеристика населения РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2010. № 3. С. 95—104.

Smirnova N. A., Smirnov S. A. (2010) Population Census 2010: Socio-Demographic Characteristics of the Population of the Russian Federation. *Bulletin of St. Petersburg University. Economics*. No. 3. P. 95—104. (In Russ.)

Хавенсон Т. Е., Чиркина Т. А. Образовательный выбор учащихся после 9 и 11-го классов: сравнение первичных и вторичных эффектов социально-экономического положения семьи // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 4. С. 539—554.

Havenson T. E., Chirkina T. A. (2019) Educational Choices of Students After Grades 9 and 11: A Comparison of Primary and Secondary Effects of Family Socioeconomic Status. *Journal of Social Policy Research*. Vol. 1. No. 4. P. 539—554. (In Russ.)

Хавенсон Т. Е., Чиркина Т. А. Эффективно поддерживаемое неравенство // Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 5. С. 66—89.

Havenson T. E., Chirkina T. A. (2018) Effectively Maintained Inequality. *Economic Sociology*. Vol. 19. No. 5. P. 66—89. (In Russ.)

Чередниченко Г. А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на материалах социологических исследований). М.: ЦСП и М, 2014.

Cherednichenko G. A. (2014) Educational and Professional Trajectories of Russian Youth (Based on Sociological Research). TsSP i M. (In Russ.)

Чиркина Т. А. Социально-экономическое положение и выбор образовательной траектории учащимися: теоретические подходы к изучению взаимосвязи // Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 3. С. 109—125.

Chirkina T. A. (2018) Socio-Economic Status and the Choice of Educational Trajectory by Students: Theoretical Approaches to the Study of the Relationship. *Economic Sociology*. Vol. 19. No. 3. P. 109—125. (In Russ.)

Aghabozorgi S., Shirkhorshidi A. S., Wah, T. Y. (2015) Time-Series Clustering—a Decade Review. *Information Systems*. Vol. 53. P. 16—38. <https://doi.org/10.1016/j.is.2015.04.007>.

Agnew J. (2011) Chapter 23: Space and Place. In: *The SAGE Handbook of Geographical Knowledge*. P. 316—331. <https://dx.doi.org/10.4135/9781446201091.n24>.

Anheier H. K., Gerhards J., Romo F. P. (1995) Forms of Capital and Social Structure in Cultural Fields: Examining Bourdieu's Social Topography. *American Journal of Sociology*. Vol. 100. No. 4. P. 859—903. <https://doi.org/10.1086/230603>.

Bodovski K., Chykina V., Khavenson T. (2019) Do Human and Cultural Capital Lenses Contribute to Our Understanding of Academic Success in Russia. *British Journal of Sociology of Education*. Vol. 40. No. 3. P. 393—409. <https://doi.org/10.1080/01425692.2018.1552844>.

Bourdieu P. (2018) *Distinction a Social Critique of the Judgement of Taste*. Routledge.

Bourdieu P. (1985) The Social Space and the Genesis of Groups. *Social Science Information*. Vol. 24. No. 2. P. 195—220.

Bourdieu P. (1986) The Forms of Capital. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. JG Richardson. New York, Greenwood. Vol. 241. No. 258.

Bourdieu P. (1999) Site Effects in the Weight of the World. *Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society*.

Francesconi M., Slonimczyk F., Yurko A. (2019) Democratizing Access to Higher Education in Russia: The Consequences of the Unified State Exam Reform. *European Economic Review*. Vol. 117. P. 56—82. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.04.007>.

Greene W. (2008) *Econometric Analysis*. 6th (ed.). Upper Saddle River: Prentice Hill Publishing.

Israel E., Frenkel A. (2018) Social Justice and Spatial Inequality: Toward a Conceptual Framework. *Progress in Human Geography*. Vol. 42. No. 5. P. 647—665. <https://doi.org/10.1177/0309132517702969>.

Jackson M., Khavenson T., Chirkina T. (2020) Raising the Stakes: Inequality and Testing in the Russian Education System. *Social Forces*. Vol. 98. No. 4. P. 1613—1635. <https://doi.org/10.1093/sf/soz113>.

Krugman P. (1991) *Geography and Trade*. Cambridge, MA: MIT Press.

Müller M. (2007) Dynamic Time Warping. In: *Information Retrieval for Music and Motion*. P. 69—84. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74048-3_4.

Paparrizos J., Gravano L. (2017) FASt and Accurate Time-Series Clustering. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*. Vol. 42. No. 2. P. 1—49. <https://doi.org/10.1145/3044711>.

Pope J. (2003) *Social Capital and Social Capital Indicators: A Reading List*. Public Health Information Development Unit [for the] Commonwealth Department of Health and Ageing.

Portes A., Landolt P. (1996) *The Downside of Social Capital*. Cambridge, Mass.: New Prospect.

Saar M., Palang H. (2009) The Dimensions of Place Meanings. *Living Reviews in Landscape Research*. Vol. 3. No. 3. P. 5—24. <https://doi.org/10.12942/LRLR-2009-3>.

Sakoe H., Chiba S. (1978) Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition. *Ieee Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*. Vol. 26. No. 1. P. 43—49. <https://doi.org/10.1109/TASSP.1978.1163055>.

Sanghi A., Abate M. A., Benitez D. A., Cineas G., Kim Y. S., Stavrou S. G., Matytsin M., Rostovtseva I. Sivaev D. (2018) Rolling Back Russia's Spatial Disparities: Re-Assembling the Soviet Jigsaw under a Market Economy. The World Bank. No. 126805.

Yastrebov G., Kosyakova Y., Kurakin D. (2018) Slipping past the Test: Heterogeneous Effects of Social Background in the Context of Inconsistent Selection Mechanisms in Higher Education. *Sociology of Education*. Vol. 91. No. 3. P. 224—241. <https://doi.org/10.1177/0038040718779087>.

Yoon E. S. (2020) School Choice Research and Politics with Pierre Bourdieu: New possibilities. *Educational Policy*. Vol. 34. No. 1. P. 193—210. <https://doi.org/10.1177/02F0895904819881153>.

Приложения

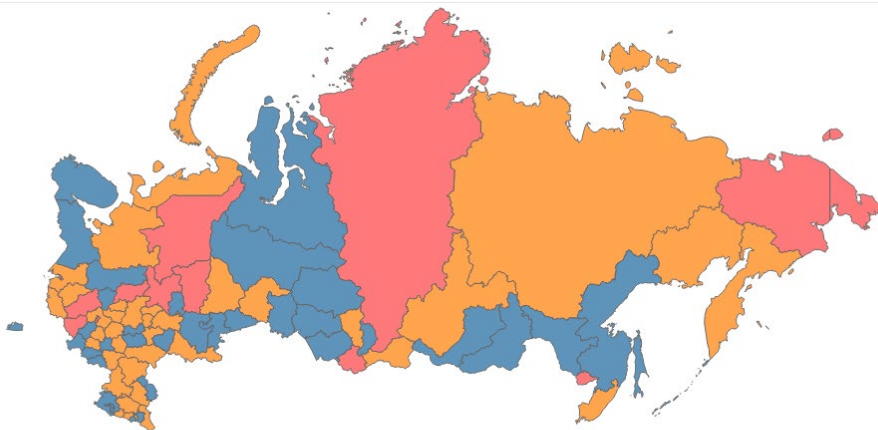
Приложение 1. Географическое распределение доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию в 2000 г.



Приложение 2. Географическое распределение доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию в 2017 г.



Приложение 3. Географическое распределение для типов региональных ситуаций в динамике доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию за 2000 и 2017 гг.



Типы региональных ситуаций в динамике доли выпускников 9-х классов, выбравших академическую траекторию: географическое распределение



DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1820](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1820)



К. А. Любичкая, С. В. Янкевич, Н. В. Княгинина, Е. В. Петякина

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: БАРЬЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Правильная ссылка на статью:

Любичкая К. А., Янкевич С. В., Княгинина Н. В., Петякина Е. В. Семейное образование в России: барьеры и механизмы их преодоления // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 143—157. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1820>.

For citation:

Lyubitskaya K. A., Jankiewicz S. V., Knyaginina N. V., Petyakina E. V. (2022) Homeschooling in Russia: Barriers and Mechanisms to Overcome Them. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 143–157. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1820>. (In Russ.)

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: БАРЬЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

HOMESCHOOLING IN RUSSIA: BARRIERS AND MECHANISMS TO OVERCOME THEM

ЛЮБИЦКАЯ Кристина Александровна — кандидат наук об образовании, научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: krislubitskaya@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6600-8879>

*Kristina A. LYUBITSKAYA*¹ — *Cand. Sci. (Educ.), Research Fellow, Center for Modern Childhood Research, Institute of Education*
E-MAIL: krislubitskaya@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6600-8879>

ЯНКЕВИЧ Семен Васильевич — кандидат юридических наук, заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ по учебной работе, заведующий Лабораторией образовательного права Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: syankevich@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3067-591X>

*Szymon V. JANKIEWICZ*¹ — *Cand. Sci. (Law), Deputy Dean for Academic Affairs, Faculty of Law; Head of The Education Law Laboratory, Institute of Education*
E-MAIL: syankevich@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3067-591X>

КНЯГИНИНА Надежда Владимировна — Научный сотрудник Лаборатории образовательного права Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: nknyaginina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4895-9793>

*Nadezhda V. KNYAGININA*¹ — *Research Fellow, Education Law Laboratory, Institute of Education*
E-MAIL: nknyaginina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4895-9793>

ПЕТЯКИНА Елизавета Вячеславовна — воспитатель группы продленного дня, Гимназия им. Е. М. Примакова, Москва, Россия
E-MAIL: evpetyakina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

*Elizaveta V. PETYAKINA*² — *Teacher Assistant*
E-MAIL: evpetyakina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

¹ HSE University, Moscow, Russia

² E. M. Primakov Gymnasium, Moscow, Russia

Аннотация. Получение общего образования детьми в форме семейного становится все более распространенным выбором среди родителей, особенно

Abstract. Secondary education through homeschooling is becoming more common among parents. It is becoming trendy in the context of distance learning

в условиях дистанционного обучения, когда они оказались вынуждены стать активными участниками образовательного процесса и обучать своих детей дома. При реализации семейного образования родители сталкиваются с разными барьерами, которые влияют на образование детей. На основании 25 интервью с родителями детей 1—8 классов авторы выделяют разные группы барьеров реализации семейного образования, оценивают их с точки зрения наличия или отсутствия правовой составляющей и дают рекомендации по изменению законодательства и организационной модели формы семейного образования, направленные на уменьшение образовательного неравенства в регионах.

Ключевые слова: семейное образование, хоумскулинг, образовательное право, барьеры семейного образования, организация образовательного процесса, образовательное неравенство

Благодарность. Статья подготовлена по результатам экспертно-аналитического исследования «Совершенствование законодательного регулирования семейной формы получения общего образования. Возможности сочетания различных форм получения образования и форм обучения при освоении образовательных программ общего образования» по заказу Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2019 г.

Введение

Последние десятилетия характеризуются появлением нешкольных форм образования. Среди них наиболее популярно и востребовано семейное образование: в 2019/2020 учебном году 20,4 тыс. семей выбрали для своих детей эту форму

when families act as active participants in the educational process at home. One of the most popular reasons for choosing to homeschool is to overcome regional educational inequality — to compensate for it and provide quality education to continue studying at a good university. However, parents of homeschooled children face different barriers. The authors conducted 25 semi-structured interviews with parents of children in grades 1—8 and highlighted the barriers to implementing homeschooling. The article analyzes the identified barriers to the presence or absence of a legal component and gives recommendations on changing the legislation and the organizational model of homeschooling.

Keywords: homeschooling, educational law, barriers to homeschooling, organization of the educational process, educational inequality

Acknowledgments. The article was prepared based on the results of an expert-analytical study “Improving the legislative regulation of the family form of general education. Possibilities of combining various forms of education in the development of educational programs of general education” commissioned by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in 2019.

получения общего среднего образования, что почти в два раза больше, чем три года назад (11,5 тыс.)¹. Основной причиной выбора семейного образования родители называют возможность самостоятельно проектировать образовательную траекторию ребенка образование в соответствии с запросами и требованиями семьи [Поливанова, Любичкая, 2017; Любичкая, 2020]. Для многих родителей семейное образование дает возможность дать детям такой уровень знаний и компетенций, который позволит им продолжить обучение в ведущих университетах страны, поскольку уровень образования в их регионе недостаточен [Хавенсон, Чиркина, 2019; Захаров, Адамович, 2020].

Выбирая семейное образование, родители сталкиваются со множеством барьеров, влияющих на качество и содержание получаемого ребенком образования, при этом в разных регионах страны эти барьеры различаются.

В статье выявлены и описаны барьеры реализации семейного образования в регионах РФ с точки зрения наличия или отсутствия юридических предпосылок их возникновения и даны рекомендации по изменению законодательства и организационной модели формы семейного образования, направленные на уменьшение образовательного неравенства в регионах. Статья состоит из следующих разделов. В первой части содержится краткий обзор модели семейного образования и нормативно-правовых актов РФ, которые его регулируют. Далее приводятся результаты анализа интервью с родителями детей школьного возраста — описываются разные барьеры, с которыми столкнулись семьи при реализации семейного образования. В завершающей части работы дается правовая оценка выявленных барьеров и предложения по их устранению.

Правовой статус семейного образования в России

Многие образовательные системы мира допускают получение образования не в школе, а дома — «хоумскулинг» (*homeschooling*). Степень государственного регулирования такой формы образования варьируется — от минимального контроля в Италии и Великобритании до строгого запрета (за редкими исключениями) в Германии [Gaither, 2017].

В России используется модель «хоумскулинга», которая в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании) обозначена как форма семейного образования (далее также — семейная форма, семейное образование)². Впервые в законодательстве России семейная форма появилась в ст. 10 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». Родители получили возможность самостоятельно выполнять государственную функцию — давать

¹ Министерство просвещения Российской Федерации. Статистика: Общее образование. URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/general_edu (дата обращения: 24.10.2020).

² Не следует путать семейную форму получения общего образования с обучением на дому детей, находящихся на длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (ч. 5 ст. 41 Закона об образовании), а также с семейными детскими садами. Обучение на дому предполагает, что ребенок находится в контингенте школы, направляющей к нему на дом учителя, с которым они осваивают школьную образовательную программу. Семейные детские сады как одна из форм дошкольного образования детей создаются, как правило, многодетными семьями либо группами семей в целях обеспечения воспитания, обучения, присмотра и ухода, оздоровления и питания детей. Семейной формой образования организация таких дошкольных групп не является.

образование своим детям. Главное, чтобы они исполняли свою обязанность по обеспечению получения детьми общего образования (ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ)³.

Для этого родителям нужно организовать учебный процесс своего ребенка за пределами школы, например, обучать ребенка самостоятельно или нанять репетиторов. Без родителя и репетиторов, в форме самообразования, согласно ч. 2 ст. 63 Закона об образовании, можно учиться в старшей школе (среднее общее образование).

Семейное образование организовано следующим образом: ребенок учится дома и приходит в школу для прохождения промежуточной аттестации, которая обычно представляет собой полугодовую или годовую контрольную работу по предмету. Такая аттестация проводится по правилам и в формах, установленных школой, к которой прикреплен ребенок. Когда ребенок приходит в школу для аттестации, он получает статус экстерна, обеспечивающий ему академические права и доступ к ресурсам школы на время аттестации, в том числе к учебникам (п. 9 ч. 1 ст. 33 Закона об образовании).

Однако ни в Законе об образовании, ни в подзаконных актах не содержится обязанность проходить промежуточную аттестацию, только право. В соответствии с ч. 3 ст. 34 Закона об образовании, «лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного образования, имеют право пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию»⁴. Последствия реализации этого права могут быть следующими: ребенок успешно проходит аттестацию и может продолжить обучение в семейной форме либо получает академическую задолженность, и если он ее не ликвидирует, то должен продолжить обучение в школе. Таким образом, если не пользоваться правом и не проходить промежуточную аттестацию, знания можно будет проверить только на государственной итоговой аттестации. Ее обучающиеся в семейной форме обязаны пройти для получения документов об образовании.

Семейная форма получения образования подразумевает, что государство в лице школы только контролирует получение основного общего образования на государственной итоговой аттестации, дает право проходить промежуточные аттестации, а организация образовательного процесса и ответственность за его качество лежат на плечах родителей. Нормативное регулирование семейной формы образования лаконично, в Законе об образовании она упоминается всего в пяти статьях. Это может свидетельствовать как о крайне либеральном режиме регулирования (предоставление возможности решать возникающие вопросы на месте), так и о недостаточном качестве регулирования.

Метод и данные

В статье используются данные, собранные в ходе экспертно-аналитического исследования «Совершенствование законодательного регулирования семей-

³ Родитель (законный представитель) должен уведомить орган местного самоуправления о том, что ребенок будет учиться в семейной форме, и написать заявление об отчислении из школы.

⁴ Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/70291362/> (дата обращения: 14.02.2022).

ной формы получения общего образования. Возможности сочетания различных форм получения образования и форм обучения при освоении образовательных программ общего образования» по заказу Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2019 г. Целью исследования было изучение проблем, с которыми сталкиваются семьи из разных регионов страны, выбирающие семейное образование для освоения общеобразовательных программ общего образования. Для реализации этой цели в пяти регионах страны мы провели интервью с отцами и матерями детей школьного возраста (1—8 классы), которые практикуют семейное образование: четыре интервью с отцами и двадцать одно интервью с матерями.

Выборка информантов строилась так, чтобы в ней были представлены не менее трех родителей из каждого региона, определенного техническим заданием проекта. В исследовании приняли участие: Республика Татарстан (4 человека), Ярославская область (7 человек), Московская область (5 человек), Иркутская область (3 человека), город Москва (6 человек). Интервью проводились в 2019 г. с помощью программы Skype или по телефону. Респонденты рекрутировались через онлайн-сообщества социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook. Например, через группу «Альтернативное образование в России» в Facebook, количество участников которой превышает 32 тыс. человек, и в дальнейшем — методом снежного кома. Информанты имеют высокий уровень образования, работу, у пяти респондентов в семье один ребенок, двенадцать семей с двумя детьми и восемь семей — с тремя и более. Гайд интервью содержал общие вопросы об информанте и его семье, а также об его опыте перехода к реализации семейного образования. Средняя продолжительность интервью составила около часа.

Анализ собранного материала проводился с учетом результатов недавних исследований о трудностях семейного образования [Поливанова, Любичкая, 2017; Любичкая, 2020; Barbosa, 2016; ANI, Sengil-Akar, 2020], что позволяет обозначить ключевые проблемы и распределить их в следующие группы барьеров: информационные (барьеры № 1, 2, 4), организационные (барьеры № 5, 6), финансовые (барьер № 7) и правовые (барьеры № 3, 8, 9). Далее остановимся на каждом из барьеров, кратко обозначив его суть, соотнесем их с положениями действующего федерального и регионального законодательства, а также проведем оценку того, насколько они связаны с пробелами в законодательстве, и предложим пути их устранения⁵.

Результаты исследования

На основании результатов интервью мы выделили следующие барьеры, с которыми сталкиваются родители:

1) Отсутствие информации о возможности получения образования в семейной форме.

Школы об этом [семейном образовании] умалчивают. Никто тебе напрямую не предлагает, что вы можете взять эту ответственность на себя и уйти из всяких заведе-

⁵ Важно оговориться, что некоторые из барьеров и предложений по их решению носят дискуссионный характер: выделяя их в таком качестве, мы следуем за мнением наших респондентов.

ний — не предлагается. То есть мы нашли сами, я нашла сама <...>. У нас люди очень настороженно к этому относятся, почему-то только дети с ограниченными возможностями должны учиться на семейной форме. Мне кажется, надо давать людям шанс выбрать, не надо замалчивать. Люди могут выбирать: либо так, либо так, не надо навязывать, но и не надо делать из этого нечто плохое. (Республика Татарстан, мать пятиклассника)

2) Отсутствие общих правил и требований к родителям, выбравшим форму семейного образования. Эта проблема подразумевает сложности в поиске необходимой информации о том, как действовать в той или иной ситуации. Родители вынуждены собирать информацию по частям из различных источников (интернет, публикации, советы знакомых):

Для того чтобы оформить на семейное образование, я в первую очередь прочитала в принципе, как это делается. На самом деле все описания либо очень бюрократичные и длинные, либо несколько запутанные. (Ярославская область, мать второклассницы)

Мысль перейти на семейное образование вынашивалась долго, но не решались перейти, наверное, почему и другие родители долго на это решаются, потому что совершенно непонятно, как это все устроено. И у нас в стране это в принципе такой эксперимент скорее. Очень мало информации об этом. Даже общаясь с завучем — у меня завуч соседка, которая мне рассказывала, что на самом деле это все мои фантазии, это нельзя, поэтому это все затянулось. (Москва, мать семиклассника)

При этом в результате находятся ответы не на все вопросы.

Например, мы не сдадим в мае какую-то аттестацию, что делать нам дальше? Не сдали мы, например, историю. Что нам делать? Нам же нужен допуск к ОГЭ. Какие мои действия? Что я должна сделать? Понятно, я подойду к учителю или к завучу, попрошу, чтобы нас еще раз приняли. А если они нам откажут? Имеют они нам право отказать-то? <...> А если сдали мы в дистанционной школе где-то в другом месте? Пусть мы прикреплены там, в другом городе, но ЕГЭ-то нам в Ярославле сдавать, все равно нам бумаги надо нести сюда. А вдруг им что-то не понравится, они что-то не примут? Опять же мы теряем время, и мы без защиты. Страшно, это просто страшно, не отработано ничего. Сидел бы один человек, который отвечает за «семейников», принимал бы все эти бумажки. (Ярославская область, мать восьмиклассницы)

3) Государственные и муниципальные школы не предоставляют учебники и учебные пособия.

Со школой вообще кроме аттестации никак не взаимодействуем, они не стали нам помогать учебниками, я попросила: «Хотя бы исписанные дайте, потому что очень дорого покупать». Они отказали: «Мы вам можем дать на эти две недели». — А что мне на две недели эти учебники? — «Мы ж вас не зачисляем? Не зачисляем. Раз не зачисляем, мы не имеем права вам ничего давать. Зачисление идет на две недели, значит, в это

время можем дать». А мне на две недели учебники не нужны. (Ярославская область, мать третьеклассника и четвероклассницы)

4) Недостаточная информированность органов управления образованием. Некоторые респонденты отмечают, что им приходится самостоятельно искать законодательные акты и доказывать возможность обучения вне образовательной организации.

Мы написали заявление, что мы переходим на семейное образование, в Департаменте. Приняли его у нас не сразу. Видимо, потому что люди в Департаменте были мало с этим знакомы. Они удивились сначала. Они сначала не поняли. Но, когда мы объяснили всю ситуацию, что все законно, по законодательству это все можно сделать, они там подумали хорошо и заявление приняли. Только уведомили нас, что нужно прикрепить к школе. (Иркутская область, отец четвероклассника)

5) Непонимание и давление со стороны образовательной организации. Родители отмечают, что школы не понимают, что делать с учащимися, находящимися на семейном образовании, а работники школ (директора, завучи, учителя) отговаривают от перехода, ссылаясь на необходимость социализации и другие причины.

Я пришла в школу, и меня встретили изначально с несколько круглыми глазами. Но я бы не сказала, что именно агрессивно, скорее люди не сталкивались с этим или еще что-то. (Ярославская область, мать второклассницы)

Нам прямым текстом сказали: «Вы же понимаете, что экзамены будут принимать учителя нашей школы, вы же прекрасно понимаете, что ребенка просто завалят, все». (Республика Татарстан, мать пятиклассника)

Нам в школе учителя задали вопрос: «А как же социализация?» Мы говорим: «За счет дополнительного образования она будет проходить, где дети заинтересованные, а нам та социализация, которая есть, вообще спорный момент, они ругаются, могут все что угодно принести в школу». (Республика Татарстан, мать семиклассницы)

6) Негибкость системы промежуточной аттестации. Недостатки существующих в школах форматов промежуточной аттестации становятся причиной для поиска дистанционных платформ и платных частных школ, специализирующихся на семейном образовании. Респонденты отмечают невозможность договориться о сроках и графике промежуточной аттестации, а также форме ее проведения.

Мы определили график сдачи аттестации. Это, конечно, не очень удобно, потому что в принудительной форме заставляют аттестовываться, хотелось бы, чтобы более вольный вариант по аттестации был. (Иркутская область, отец четвероклассника)

7) Отсутствие компенсаций родителям детей, обучающихся в форме семейного образования.

Я когда первый раз пришла в Департамент, мне сказали: «Денег не будет!» Я сказала, что мне не надо. Все, вопросов больше нет. Они ко мне по-другому отнеслись. Я знаю, что у нас были товарищи, которые особо не учили, но денег требовали регулярно. У них ничего с деньгами не получилось, но отношения они испортили. (Ярославская область, мать третьеклассника и четвероклассницы)

Для родителей остается открытым вопрос о том, должны ли средства, направляемые на каждого ребенка в школы, выделяться бюджетом на обучение их вне образовательной организации.

Мне интересно, мои дети не ходят в детский сад, мои дети не проходят бесплатное медицинское обслуживание, мы не посещаем поликлинику, мы все сдаем сами, оплачиваем сами. Даже с месячным ребенком мы просто находили палату в клинике частной, и за два часа мы прошли всех врачей и сдали все анализы. Это я платила из своего кармана. Конечно, у меня возникает иногда вопрос, мой муж платит налоги — можно ли вычесть что-то. (Республика Татарстан, мать пятиклассника)

При этом родители, выбравшие семейную форму обучения детей, опасаются, что выплаты повлекут за собой ужесточение контроля и усиление внимания к ним.

Надо будет доказывать, что ты не верблюд и не осел, и не лев, а человек, у которого дети на семейном образовании находятся. Потом замучают, начнут проверять, а так ли это. (Республика Татарстан, отец семиклассницы)

Хорошо бы, конечно, если компенсация была, но не будет ли при такой компенсации больше спрос, что ли, не изменится ли что-то, если введут такую компенсацию. (Московская область, мать первоклассницы и восьмиклассницы)

8) Низкая мотивация учителей и административных сотрудников школы в осуществлении сотрудничества с семьями, чьи дети обучаются в форме семейного образования.

Кому охота с нами заниматься. Мне кажется, денег-то и не выделяется особых школе за то, что они нам консультации там проводят, еще что-то. То есть им это и неинтересно даже, наверно. (Ярославская область, мать восьмиклассницы)

Школьных учителей раздражают «семейники», которые вдруг прискакивают, их нужно аттестовывать, а у учителей и так очень много работы, и тут плюс в нагрузку эти «семейники», за аттестацию которых, я не знаю, платят там или не платят. Все сводилось к тому, что родители детей чувствовали, что к ним относятся предвзято, не так, как к детям на очной форме обучения. С них спрашивают по максимуму, когда ребенок отвечает по максимуму, вместо того чтобы сказать «хорошо, молодец», говорят, что вот, у нас некоторые вообще наизусть все рассказывают. Да, отношение предвзятое. (Московская область, мать первоклассницы и восьмиклассницы)

9) Отсутствие льгот, предусмотренных учащимся очной, очно-заочной и заочной формы.

А) Не предусмотрены льготы на проезд и право на посещение театров и музеев по сниженным ценам или бесплатно.

У нас даже дети на семейной форме обучения не имеют права на льготу в транспорте, например. То есть в школе не учишься — в музеи не ходишь, в транспорте платишь полную сумму, как взрослый человек. (Московская область, мать первоклассницы и восьмиклассницы)

Б) Не предусмотрена отсрочка от армии на время прохождения школьной программы.

Дискриминация идет семейного образования, ущемление в законодательном плане даже. Эти дети ничем не отличаются от тех, которые посещают очные школы. Если родители выбрали другую форму, почему дети должны быть ограничены? Например, не дают отсрочку от армии. Почему? Почему ребенку на очном обучении можно, а на семейном нельзя? Ну что, не учиться? Учиться! Ему надо доучиться, сдать экзамены, но почему-то нет, непонятно, почему. В моей ситуации я сейчас в размышлении, потому что мой сын, когда школу закончит, ему уже будет 18. Если мы останемся на этой форме обучения, то получается, что посреди года его могут забрать в армию, не дав доучиться. (Московская область, мать второклассника)

Правовая оценка и пути устранения барьеров

Выявленные барьеры подразделяются на: *информационные* (барьеры № 1, 2, 4); *организационные* (барьеры № 5, 6); *финансовые* (барьер № 7) и *правовые* (барьеры № 3, 8, 9).

Ниже представлена оценка данных барьеров с точки зрения действующего законодательства и устройства системы образования, а также предложены возможные способы их устранения.

Барьеры, связанные с отсутствием информации о том, как организовать обучение в семейной форме, не следуют из законодательства. Они обусловлены отсутствием на официальных информационных ресурсах сведений о процедуре перехода и особенностях обучения в семейной форме, или эти сведения есть, но плохо доступны для понимания (цитируется федеральное законодательство).

Несмотря на принятие Министерством просвещения РФ проекта порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам⁶, в котором детально прописывается алгоритм перехода на семейное образование, многие вопросы относятся к полномочиям учредителей школ. Таким образом, барьер может быть устранен за счет изменения информационной политики органов местного самоуправления в сторону

⁶ Проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» URL: <https://regulation.gov.ru/p/98655> (дата обращения: 24.10.2020).

большей открытости и доступности информации. Сообщества родителей детей, практикующих семейное образование, также могут внести вклад в устранение этого барьера. Федеральное вмешательство вряд ли будет способствовать большей информированности.

Организационные барьеры, касающиеся негативного отношения школ и органов местного самоуправления к семейному образованию, не имеют правовой природы. Более того, негативное отношение трудно доказать юридически, если нет факта нарушения законодательства. Этот барьер родителям придется преодолевать самостоятельно — вести переговоры, кооперироваться с другими родителями, привлекать внимание СМИ и государственных органов к проблеме (например, главы муниципального образования, регионального министерства образования, прокуратуры и др.). Если информация о семейном образовании станет более доступной, возможно, уровень негативного отношения к нему снизится.

Барьеры, возникающие при прохождении промежуточной аттестации, непосредственно связаны с образовательным законодательством.

Как отмечалось ранее, промежуточная аттестация считается правом ученика с элементами обязанности (обязательное возвращение в школу в случае неуспеха). Именно на промежуточной аттестации можно выяснить, исполняет ли родитель свою обязанность учить ребенка в семейной форме. Для государственной системы успешное прохождение аттестации — важный индикатор того, что ребенок получает обязательное основное общее образование. Существует риск, что без периодического контроля факт отсутствия обучения ребенка на протяжении многих лет станет известен слишком поздно — лишь на государственной итоговой аттестации (обычно в конце девятого класса).

На первый взгляд, логичным разрешением ситуации может быть установление обязанности родителей приводить детей на промежуточную аттестацию с определенной периодичностью, хотя бы раз в год. На практике некоторые родители выбирают для своих детей этот вариант аттестации. Однако это не универсальное решение. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) не содержат перечня предметов и образовательных результатов для отдельных учебных годов. Родители могут иметь собственный план обучения, несовпадающий с программой школы. Существует риск, что при добросовестном обучении ребенка в семье в соответствии с требованиями ФГОС ребенок не справится с аттестацией в школе, где программа составлена по-другому. Например, предмет, который в школе проходили в этом учебном году, родитель запланировал на следующий или, наоборот, они с ребенком идут по программе с опережением. Гибкость семейного образования не сочетается с едиными для всех решениями.

Для преодоления этого барьера возможны следующие решения. Во-первых, родители могут подстраиваться под рабочие программы школы при подготовке ребенка к промежуточной аттестации. Во-вторых, родители могут выбрать для аттестации школу с наиболее соответствующей их плану образовательной программой. Однако эти решения также ограничивают родителя в обучении своего ребенка, потому что в обоих случаях школы с подходящей программой может не быть. Компромиссом в данном случае оказывается модель аттестации, при которой ожидаемые результаты обучения в предстоящем учебном году предвари-

тельно согласовываются родителями со школой. Если заблаговременно (до промежуточной аттестации) будет определено, что должно войти в ее состав за учебный год, школа сможет скорректировать программу аттестации для такого ребенка.

Главный финансовый барьер — компенсация родителям расходов за семейное образование. Семейная форма подразумевает отказ родителей от государственного финансирования образования их детей (за исключением промежуточной и государственной итоговой аттестации). Вместе с тем федеральное законодательство предусматривает возможность поддержки родителей, однако решение о том, устанавливать ли компенсации, передано на региональный уровень. До принятия Закона об образовании компенсации устанавливались на федеральном уровне.

В 2019 г. компенсации выплачивались в пяти регионах: Пермском крае, Тамбовской (в виде пособия на ребенка), Тульской, Свердловской и Омской областях, а также в отдельных муниципальных образованиях, например в некоторых городах Московской области⁷. Несмотря на небольшую распространенность выплат, родители ожидают от государства поддержки, так как выполняют функцию школы, в которой мог бы обучаться их ребенок и которая получила бы для него финансирование⁸.

В этом смысле компенсация частично возмещала бы затраты родителей, а также обеспечивала бы дополнительные возможности по повышению качества образования ребенка — репетиторов, дополнительные занятия, онлайн-курсы, учебники и литературу. Для ребенка, который учится в школе, часть этих благ доступна по умолчанию, как то, что предоставляется школой — консультации, дополнительное образование, освоение отдельных предметов. Для ребенка, обучающегося

⁷ Подробнее см.: Постановление Правительства Пермского края от 17 сентября 2013 г. № 1224-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования в Пермском крае» // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/16181650/> (дата обращения: 27.01.2022); Закон Тамбовской области от 3 марта 2009 г. № 502-З «О пособии на ребенка в Тамбовской области», ст. 1 // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/28125885/> (дата обращения: 27.01.2022); Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании», ст. 8—1 // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/30373399/> (дата обращения: 27.01.2022); Закон Свердловской области от 15 сентября 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», ст. 29 // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/20925134/> (дата обращения: 27.01.2022); Постановление Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 г. № 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования» // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Юдекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/453128950> (дата обращения: 27.01.2022); Приказ Министерства образования Омской области от 16 сентября 2015 г. № 39 «Об утверждении Порядков выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в форме семейного образования» // Омский образовательный портал. URL: <http://www.omsk.edu.ru/node/3009> (дата обращения: 27.01.2022).

⁸ Формулы расчета и суммы компенсаций различаются. Так, например, суммы компенсаций в Тамбовской области установлены в следующем размере: начальное общее образование — 16 781 руб. в год; основное общее образование — 19 452 руб. в год; среднее общее образование — 22 436 руб. в год (см.: Закон Тамбовской области от 3 марта 2009 г. № 502-З «О пособии на ребенка в Тамбовской области», ст. 1 // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/28125885/> (дата обращения: 27.01.2022)). В Омской области размер компенсаций в настоящее время является самым большим в России: от 73 до 113 тыс. рублей в год в зависимости от уровня общего образования. Кроме того, в Омской области компенсация является фактически возмещением затрат родителей: норматив финансирования на обучение одного ребенка за исключением норматива на проведение промежуточной аттестации. Во всех субъектах обязательным условием для получения компенсации является отсутствие академической задолженности у ребенка (см.: Приказ Министерства образования Омской области от 16 сентября 2015 г. № 39 «Об утверждении Порядков выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в форме семейного образования» // Омский образовательный портал. URL: <http://www.omsk.edu.ru/node/3009> (дата обращения: 27.01.2022)).

в семье, школа предоставляет только одну услугу — промежуточную аттестацию. Причины этого неравного положения — правовые.

Несмотря на то, что сочетание различных форм получения образования и форм обучения гарантируется ч. 4 ст. 17 Закона об образовании, школы, как правило, отказывают обучающимся в зачислении для освоения отдельных предметов. Гипотетически сочетание формы семейного образования и очной формы обучения может быть реализовано через индивидуальный учебный план, но на практике отсутствуют подходящие механизмы. Иными словами, ни школа, ни ее учредитель, формирующий государственное (муниципальное) задание, не готовы ответить на вопрос, сколько в нормативе финансирования обучения одного ребенка «стоит» химия или физика.

К правовым барьерам также относится вопрос обеспечения учебниками. Практика показывает, что многие школы предоставляют учебники по договору с родителями. Однако они не обязаны это делать по закону, в соответствии с которым бесплатные учебники положены ребенку на семейной форме в период прикрепления к школе для аттестации. Этот барьер можно преодолеть, если внести в закон положение, что при наличии достаточного количества учебников в школьной библиотеке их по запросу нужно предоставлять детям, учащимся в семейной форме.

Помимо учебников, дети, обучающиеся в семейной форме, лишены многих льгот как федерального, так и регионального уровня — при посещении музеев и театров, проезде в общественном транспорте и в поездах дальнего следования и пр. Эти барьеры могут быть устранены только в результате комплексного изменения законодательства.

Более того, дети, реализующие образовательную программу в форме семейного образования и достигшие в процессе обучения возраста 18 лет, не получают отсрочку от службы в армии. Решить эту проблему можно только внеся изменения в законодательство о воинской обязанности.

Заключение

Проведенное исследование показало, что, несмотря на отсутствие жестких правовых ограничений, при реализации образования детей в семейной форме родители сталкиваются с разнообразными барьерами. Во-первых, это недостаток информации о том, как перейти на семейное образование и обучаться на нем в дальнейшем. Отсутствие понятных «правил игры» на местах создает проблемы с организацией обучения и затрудняет сотрудничество между родителями и школой. Правовое регулирование семейного образования остается рамочным и не конкретизируется. Это касается неоднозначного статуса промежуточной аттестации (право или обязанность), соотношения содержания промежуточной аттестации и собственного плана обучения ребенка на семейном образовании, возможности получать консультации учителей или осваивать отдельные предметы в школе. Большой поддержкой для родителей в этих случаях выступают онлайн-платформы, в том числе предлагающие платные образовательные услуги.

Финансовые и правовые барьеры указывают на то, что семейное образование является правом детей и родителей, но только в значении «не запрещено учиться в семье», а не в значении государственных гарантий или поддержки детей и родителей. Только в пяти субъектах Российской Федерации установлены компенсации родителям детей, обучающихся на семейном образовании. Родители сообщают, что их дети лишены льгот, которые полагаются школьникам, не получают доступа к государственным услугам школьного образования, за исключением вопросов аттестации. Ответы респондентов свидетельствуют, что в некоторых случаях эта ситуация устраивает все стороны — отсутствие доступа к государственным благам дает возможность минимально взаимодействовать с государственной системой. С другой стороны, это показывает, что позитивные, а не ограничительные государственные меры по обеспечению качественного семейного образования не реализуются.

Список литературы (References)

Захаров А. Б., Адамович К. А. Региональные различия в доступе к образовательным ресурсам, в академических результатах и в траекториях российских учащихся // Экономическая социология. 2020. Т. 21. № 1. С. 60—80. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2020-1-60-80>.

Zakharov A. B., Adamovich K. A. (2020) Regional Differences in Access to Educational Resources, Academic Results and Students' Trajectories in Russia. *Journal of Economic Sociology*. Vol. 21. No. 1. P. 60—80. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2020-1-60-80>. (In Russ.)

Любичкая К. А. Родительская вовлеченность в формирование образовательного пространства детей: дисс. ... канд. наук об образ. М.: НИУ ВШЭ, 2020. URL: <https://www.hse.ru/sci/diss/371817057> (дата обращения: 27.01.2022).

Lyubitskaya K. A. (2020) Parental Engagement in the Construction of Children's Educational Space. PhD Dissertation in Education. Moscow: HSE University. URL: <https://www.hse.ru/sci/diss/371817057> (accessed: 27.01.2022). (In Russ.)

Поливанова К. Н., Любичкая К. А. Семейное образование в России и за рубежом // Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 2. С. 72—80.

Polivanova K. N., Lyubitskaya K. A. (2017) Homeschooling in Russia and Abroad. *Journal of Modern Foreign Psychology*. Vol. 6. No. 2. P. 72—80. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2017060208>. (In Russ.)

Хавенсон Т. Е., Чиркина Т. А. Образовательный выбор учащихся после 9-го и 11-го классов: сравнение первичных и вторичных эффектов социально-экономического положения семьи // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 4. С. 539—554. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-4-539-554>.

Khavenson T. E., Chirkina T. A. (2019) Student Educational Choice after the 9th and 11th Grades: Comparing the Primary and Secondary Effects of Family Socioeconomic Status. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 17. No. 4. P. 539—554. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-4-539-554>. (In Russ.)

AHI B., Sengil-Akar S. (2020) Understanding the Initial Stories of Families Preferring Homeschooling: A Narrative Study. *Education and Urban Society*. Vol. 53. No. 5. P. 515—535. <https://doi.org/10.1177/0013124520941926>.

Barbosa L. M. R. (2016) Homeschooling in Brazil: A Matter of Rights or a Political Debate? *Journal of School Choice*. Vol. 10. No. 3. P. 355—363. <https://doi.org/10.1080/15582159.2016.1202074>.

Gaither M. (ed.) (2017) *The Wiley Handbook of Home Education*. Chichester, UK; Malden, MA: John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118926895>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1870](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1870)



К. В. Харченко

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛОЙ: СЛАГАЕМЫЕ, ФАКТОРЫ, СЛЕДСТВИЯ

Правильная ссылка на статью:

Харченко К. В. Удовлетворенность старшеклассников школой: слагаемые, факторы, следствия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 158—175. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1870>.

For citation:

Kharchenko K. V. (2022) Satisfaction of High School Students with School: Terms, Factors, Consequences. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 158–175. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1870>. (In Russ.)

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТАРШЕ- КЛАССНИКОВ ШКОЛОЙ: СЛАГАЕМЫЕ, ФАКТОРЫ, СЛЕДСТВИЯ

ХАРЧЕНКО Константин Владимирович — кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия
E-MAIL: geszak@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3329-7755>

Аннотация. В статье представлены результаты двух социологических исследований удовлетворенности старшеклассников условиями обучения в школе, которые проводились на основе репрезентативной выборки в образовательных организациях Белгородской области в 2018 и 2019 гг. Для решения поставленных задач были использованы принцип многомерности, системный, структурно-функциональный и личностно-ориентированный подходы, методы сравнительного и математико-статистического анализа. Обзор российских и зарубежных исследований соответствующей тематики позволил определить специфику социологического подхода — в отличие от психологического, он в большей мере ориентирован на внешнюю среду социального взаимодействия и на социальное управление. Раскрыта роль категории удовлетворенности в измерении эффективности образовательной системы. Сравнение результатов двух исследований позволяет говорить об отсутствии позитивной динамики и даже о некотором снижении удовлетворенности. Наибольшее негативное влияние оказывают перегрузка стар-

SATISFACTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH SCHOOL: TERMS, FACTORS, CONSEQUENCES

Konstantin V. KHARCHENKO¹ — Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, Leading Research Fellow
E-MAIL: geszak@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3329-7755>

¹ Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia

Abstract. The article presents the results of two studies on the satisfaction of high school students with the conditions of schooling, which were conducted in educational organizations of the Belgorod region in 2018 and 2019. The study is based on the principle of multidimensionality and systemic, structural-functional, and personality-oriented approaches, methods of comparative and mathematical-statistical analysis. A review of Russian and foreign studies on relevant topics made it possible to determine the specifics of the sociological approach. In contrast to the psychological one, it focuses on the external environment of social interaction and social management. The authors reveal the role of the concept of satisfaction in measuring the educational system's effectiveness. Comparison of the results of the two studies suggests the absence of positive dynamics and even a slight decrease in satisfaction. Overload of high school students, misunderstanding on the part of teachers, and noisy classroom environment have the most significant negative impact, among specific aspects — the quality of textbooks and school meals. Satisfaction is directly proportional to functional

шекласников, непонимание со стороны учителей и шумная обстановка в классе, среди частных аспектов — качество учебников и школьного питания. Удовлетворенность прямо пропорциональна функциональной грамотности, особенно таким ее элементам, которые подразумевают субъектность, коррелирует с активностью участия в жизни школы, а также, в несколько меньшей степени, с успеваемостью. Подчеркивается, что удовлетворенность формирует не только организационную лояльность в настоящем, но и социальный потенциал организации на перспективу. В заключении показано, как результаты измерения удовлетворенности могут транслироваться в плоскость управленческих решений.

Ключевые слова: удовлетворенность, школа, старшеклассники, метод индексов, социальная активность, субъектность

literacy, especially elements that imply subjectivity. Satisfaction correlates with active participation in school life and, to a lesser extent, academic performance. The authors emphasize that satisfaction forms not only organizational loyalty in the present but also the social potential of the organization in the future. In conclusion, the authors show how measuring satisfaction can be translated into managerial decision-making.

Keywords: satisfaction with education, secondary school, high school students, method of indices, public activity, subjectivity

Введение

Актуальность изучения удовлетворенности старшеклассников содержанием и инфраструктурой образовательного процесса определяется, исходя из важности изучения проблем среднего общего образования, с одной стороны, и развития концепта «удовлетворенность» как социально-управленческой категории, используемой для оценки эффективности функционирования социальных институтов, с другой.

Как показывает методология и практика международных исследований в области оценки качества образования, удовлетворенность участников образовательных отношений сегодня является не менее значимым фактором эффективности образовательной деятельности, чем предметные и метапредметные ее результаты. Так, в исследовании PISA учитывается, среди прочего, индекс дисциплинарного климата¹. Учет показателя удовлетворенности обучающихся в ходе совершенствования образовательной политики является признаком клиентоориентированного подхода, который соответствует мировым трендам в сфере оценки качества услуг.

¹ ОЭСР. Исследование «PISA для школ». Руководство читателя к школьному отчету. 2020. URL: <https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/Reader's%20guide%20in%20Russian.pdf> (дата обращения: 22.02.2022).

Понимание изменений параметра удовлетворенности школьников условиями получения образования, несомненно, важно для совершенствования российской образовательной системы, которая характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, по мере реализации национального проекта «Образование» во многих школах укрепляется материально-техническая база, активно внедряются цифровые образовательные технологии. С другой же, в последнее время нарастают кризисные тенденции, которые ставят под сомнение положительный результат реформирования сферы образования [Егорычев, Кретинин, 2017]. В этом плане для взвешенной оценки состояния и тенденций развития образования немаловажен учет мнения самих участников образовательного процесса.

Исследование удовлетворенности учащихся сферой образования представляется актуальным и для регионального контекста. Белгородская область, на примере которой проведено настоящее исследование, на протяжении двух последних десятилетий являлась политически и экономически стабильным регионом, острых проблем в сфере образования не возникало. Социологический же подход позволяет учитывать так называемые «слабые сигналы» и своевременно на них реагировать, чтобы не допускать открытой негативной реакции общественности на те или иные проблемы.

Акцентирование категории «удовлетворенность» также важно в связи с возрастающим интересом власти к социологическим показателям эффективности управления, что открывает возможности оценивания состояния различных сфер жизнедеятельности с учетом поведенческих моделей и оценочных суждений субъектов. Так, в Указе Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» показателем № 1 является доверие к власти, измеряемое социологическим путем². Категория «удовлетворенность» также характеризует доверие респондента к объекту оценки, причем с позиции, скорее, не психологического состояния, а рационального анализа ситуации. Исходя из этого, следует развивать методологию и методику оценки удовлетворенности, обеспечивающую трансляцию субъективных суждений участников опросов в объективные данные, на которые можно опираться при принятии управленческих решений.

Итак, цель исследования — на основе репрезентативных социологических данных измерить уровень удовлетворенности старшеклассников условиями получения основного общего образования с учетом влияния на данный показатель частных аспектов школьной жизни, проблемного поля, а также факторов общественного участия, успеваемости и функциональной грамотности.

Гипотезы исследования: 1) повысить удовлетворенность школой в целом можно путем воздействия на отдельные стороны школьной жизни, имеющие наиболее низкие показатели удовлетворенности; 2) включенность старшеклассников

² Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/64970> (дата обращения: 22.02.2022).

в школьную жизнь способствует повышению удовлетворенности, причем в большей степени, чем фактор успеваемости; 3) удовлетворенность школой связана, скорее, не с позицией клиента, получающего услуги определенного качества, а с субъектностью молодых людей; 4) удовлетворенность предопределяет лояльность по отношению к своей школе даже после ее окончания, что выражается в представлениях о возможных формах взаимодействия с ней в будущем.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем реализован алгоритм оценки удовлетворенности деятельностью образовательной организации, который включает измерение базового параметра и оценку влияния на его значение набора иных субъективных и так называемых объективирующих факторов. В части измерительных методик авторским вкладом является разработка и использование метода индексов.

Теоретические основы исследования

В научной традиции удовлетворенность учащихся школой рассматривается с учетом двух базовых парадигм: психологической и социологической. С позиции психологии исследования удовлетворенности школьной жизнью «фокусируются на том, как и почему люди переживают свою жизнь в позитивном ключе» [Сычев и др., 2018: 6]. Такие исследования направлены, в частности, на изучение психологического климата в школе [Persson, Haraldsson, Hagquist, 2016; Coelho, Dell’Aglia, 2019], оценку социального благополучия учащихся и влияния уровня оптимизма на их физическое здоровье [Kern et al., 2015]. Среди факторов удовлетворенности психологическая научная традиция учитывает идентификацию со школой и личную эффективность учащегося [Simonsen, Rundmo, 2020], а также самооценку, обусловленную поддержкой со стороны родителей, друзей и учителей [Tian et al., 2013]. При этом важными являются вопросы предсказания возможных психопатологических симптомов, измерения удовлетворенности социальными институтами (школа, семья) в сравнении с удовлетворенностью самим собой [Сычев и др., 2018].

Социологический подход к оценке удовлетворенности школой тесно пересекается с психологическим подходом в части предмета оценивания — например, отношений в классе и с учителями, однако уделяет больше внимания вопросам социального взаимодействия.

Так, работа Ю. П. Поваренкова и Ю. Н. Слепка посвящена удовлетворенности деятельностью и личностью учителя [Поваренкова, Слепка, 2015]. А. Уитли и соавторы изучают корреляции между уровнем удовлетворенности учащихся школой, их успеваемостью и взаимоотношениями друг с другом [Whitley et al. 2012]. Исследование А. В. Ключева, С. В. Ляшко и С. В. Тарасова, проведенное на эмпирическом материале образовательных организаций Ленинградской области, содержит данные в части оценок учителями, родителями и самими старшеклассниками их учебной мотивации, образовательной подготовки, функциональной компетентности и других параметров [Ключев, Ляшко, Тарасов, 2015]. Влияние на удовлетворенность школой набора сформированных компетенций — социальной, эмоциональной, когнитивной и других — является предметом внимания Ж. Суня, изучающего факторы отклоняющегося поведения учащихся [Sun, 2016].

В работе Л. Фана, Ж. Суня и М. Юэня анализируются культурные, экономические и социальные факторы, в том числе отношения с семьей, учителями и сверстниками, которые влияют на благополучие детей в школе, переехавших вместе с семьями из китайских сел в города. В частности, делается вывод о том, что экономические проблемы семьи положительно влияют на успеваемость, побуждая детей лучше учиться, чтобы стать более конкурентоспособными [Fang, Sun, Yuen, 2016]. Предмет внимания В. В. Маркина, А. Н. Силина и В. В. Воронова — образовательные траектории коренных малочисленных народов Севера в социально-пространственном ключе [Маркин, Силин, Воронов, 2019].

Л. Босакова и соавторы на примере Словакии исследуют такие факторы удовлетворенности школой, как трудности в обучении, социальная среда и материальное положение семьи [Bosakova et al., 2020].

Для развития социологического подхода к исследованию удовлетворенности школой важны работы, содержащие проекцию не только на внутриорганизационные отношения, но и на внешний контур социального взаимодействия, как, например, качество жизни на данной территории. Так, С. Ферран и соавторы рассматривают удовлетворенность школой в контексте удовлетворенности жизнью в целом и субъективного благополучия [Casas et al., 2013]. Дж. Варела и соавторы, изучая влияние школьного насилия на удовлетворенность школой на примере Чили, увязывают данные параметры с удовлетворенностью жизнью [Varela et al., 2018].

В целом обращает на себя внимание обилие работ, в которых в качестве факторов удовлетворенности школой рассматриваются взаимоотношения учащихся с учителями и сверстниками, а также успеваемость, при недостатке внимания к инфраструктурным характеристикам. Так, нам не встретилось работ, посвященных социологической оценке качества учебников, хотя такой метод упоминается, в частности, в статье О. З. Имангожиной [Имангожина, 2015]. Опубликован ряд работ, посвященных удовлетворенности качеством школьного питания, среди которых на фоне небольших по масштабу исследований выделяется репрезентативное исследование по 85 субъектам РФ [Адамчук, Куликов, 2019].

В связи с этим возникает необходимость в исследовании удовлетворенности старшеклассников школой, учитывающем широкий набор аспектов и факторов, которые были бы полезны не только для сферы образования, но и для развития эвристического потенциала категории удовлетворенности как таковой.

Говоря об удовлетворенности учащихся школой, мы опираемся на собственные выкладки в части понимания природы удовлетворенности населения сферами жизнедеятельности [Харченко, 2011]:

- удовлетворенность выражает дуализм оценки и состояния и проявляется как в поведенческих моделях, так и оценочных суждениях;
- удовлетворенность, несмотря на изначальную субъективность данной категории, может быть объективирована, что делает результаты анализа пригодными для принятия управленческих решений;
- объективирующими факторами удовлетворенности служат социально-демографические характеристики респондентов; степень знакомства опрашиваемого с объектом; степень его участия в преобразовании объекта; а также «качество человека» как совокупность его личных характеристик;

- удовлетворенность отражает реакцию участников образовательного процесса на внешние условия — как объективно складывающиеся, так и являющиеся следствием инициатив субъекта управления.

Социологическая оценка удовлетворенности обучающихся школой должна стать неотъемлемой частью методологии оценки качества образования, включающей обобщение статистических данных и результаты применения контрольно-измерительных материалов.

Объект и методы исследования

Объектом нашего исследования являются условия получения образования учащимися 9—11-х классов в общеобразовательных организациях Белгородской области, влияющие на удовлетворенность.

Для решения поставленных задач были использованы принцип многомерности, системный, структурно-функциональный и личностно-ориентированный подходы, методы сравнительного и математико-статистического анализа. Сбор первичной социологической информации осуществлялся путем анкетного опроса участников образовательного процесса на основе репрезентативной выборки.

Исследование проводилось на основе многоступенчатой стратифицированной выборки со сплошным отбором на последней ступени (доверительный интервал — 95% с погрешностью в 5%). Квотирование осуществлялось по 22 городским округам и муниципальным районам Белгородской области в соответствии со статистическими данными о количестве обучающихся 9-х и 11-х классов. В выборочной совокупности каждого муниципального образования, за исключением города Белгорода, были представлены городские, крупные сельские и малокомплектные школы.

Опрос проводился в конце апреля — начале мая 2018 г. ($N = 2395$) и в аналогичный период 2019 г. ($N = 2788$), что позволяет проследить динамику ситуации в сфере образования и исключить сезонный фактор.

Инструментом исследования послужила электронная анкета, включающая 33 вопроса, посредством которых предполагалось измерение общего показателя удовлетворенности (как в оценочном, так и в деятельностном ключе), ее частных аспектов и объективирующих факторов.

Большинство тематических параметров предполагало четырехэлементную порядковую шкалу (например: *да; скорее, да; скорее, нет; нет + затрудняюсь ответить*). Такой подход обеспечивает сопоставимость данных при проведении корреляционного анализа, а также определенность высказываемых позиций. На наш взгляд, вариант ответа «средне» в трех-, пятиэлементных и подобных шкалах, который, как правило, набирает больше всего ответов, не дает материала для анализа и сопоставления данных и фактически ничем не отличается от неопределенной позиции («затрудняюсь ответить»).

Еще одно преимущество четырехэлементной шкалы состоит в том, что она позволяет использовать метод индексов. С учетом ранее наработанной методологии [Харченко, 2011] индексы рассчитывались по формуле:

$$\frac{A + 0,75 * B - 0,75 * C - D}{100},$$

где А, В, С и D — варианты ответа: первые два положительные (например, «однозначно, да» и «скорее, да»), вторые два отрицательные.

Индекс выступает в качестве универсального измерителя удовлетворенности, проблемности, частотности и других показателей.

В рамках настоящего исследования использование метода индексов позволило сравнивать результаты исследований разных лет; общий и частные показатели удовлетворенности; тематические параметры в целом по выборке и по подвыборкам с учетом социально-демографических и иных характеристик.

Анализ количественных данных был выполнен при помощи пакета прикладных программ SPSS, что позволило реализовать процедуры частного анализа, анализа таблиц сопряженности и корреляционного анализа. Анализ ответов на открытые и полуоткрытые вопросы позволил уточнить и дополнить выводы, сделанные на основе количественных данных.

Результаты исследования и их обсуждение

Отправной точкой исследования является показатель общей удовлетворенности старшеклассников школой, который имеет следующие значения: полностью довольны — 24,7 % школьников; скорее, довольны — 49,5%; скорее, недовольны — 20,6%, совсем недовольны — 5,2%. Индекс общей удовлетворенности составляет +0,41, что значительно ниже аналогичного показателя 2018 г., равного +0,52. При этом доля «полностью довольных» снизилась примерно на 5 процентных пунктов, и почти на столько же возросла подгруппа «скорее, недовольных» при том, что доля вероятностно положительных ответов («скорее, да») практически не изменилась (в 2018 г. таковых было 49,5 %).

Картину общей удовлетворенности дополняет и уточняет параметр «Гипотетическая готовность к переходу в другую школу». Судя по ответам, ни за что не сменили бы школу 46,3 % учащихся, вряд ли перешли бы в другую школу 35,2 %, перешли бы при удобном случае 7,6 % и перешли бы, не раздумывая — 5,0 %. По сравнению с предыдущим исследованием, расклад ответов на данный вопрос практически не изменился, о чем говорит и сравнение индексов: +0,62 в 2019 г. и +0,63 в 2018 г. Представляется, что разрыв между показателями удовлетворенности как оценки и как гипотетического действия в пользу последнего объясняется недовольством не условиями в конкретной школе, а системными недостатками современной сферы образования.

Анализ удовлетворенности частными аспектами объекта — в нашем случае системы образования — в соотношении с общим показателем позволяет выделить стороны, воздействуя на которые, можно повысить эту удовлетворенность. Данные частной удовлетворенности по результатам нашего исследования представлены в таблице 1.

Как видим, учащиеся стабильно довольны психологическим фоном учебного процесса (отношениями в классе и отношениями со стороны учителей), а также знаниями, которые им дает школа. При этом уровень дисциплины оценивается средне. Обнаруживается важная роль учителя в образовательном процессе: удовлетворенность качеством учебников и пособий заметно ниже, чем качеством получаемых знаний. По параметру удовлетворенности внеклассная и внешкольная

работа уступает основной учебной деятельности, хотя в идеале она должна быть существенным подспорьем в процессе и обучения, и социализации. Относительно низкими оценками удовлетворенности характеризуется работа психолога — отчасти из-за того, что функции школьных психологов не определены на законодательном уровне, и их роль сводится к «оценщикам», а не к «наставникам».

Таблица 1. Удовлетворенность школьников частными аспектами школьной жизни, % от числа опрошенных и индексы

	Полностью довольны	Скорее, довольны	Скорее, недовольны	Полностью недовольны	Индекс	
					2018 (справочно)	2019
Знания, которые дает школа	41,7	49,4	7,0	1,9	+0,74	+0,72
Отношение со стороны учителей	47,8	45,3	5,0	1,9	+0,75	+0,76
Качество учебников, пособий	32,5	47,6	15,9	4,1	+0,57	+0,52
Порядок, дисциплина в школе	34,9	50	11,3	3,8	+0,64	+0,60
Отношения в классе	54,3	36,9	6,3	2,5	+0,76	+0,75
Внеклассные и внешкольные мероприятия	43,6	42,1	9,8	4,5	+0,65	+0,63
Кружки и секции при школе	39,5	44,9	11,1	4,5	+0,63	+0,60
Школьное питание	32,7	40,4	15,4	11,5	+0,51	+0,40
Работа психолога	46,9	40,0	7,9	5,1	+0,60	+0,66

Низкие оценки удовлетворенности качеством школьного питания и резкое снижение данного параметра за последний год объясняются, скорее всего, тем, что по целому ряду параметров (вкус пищи, запах, посуда, обслуживание и т.д.) школьные столовые заметно уступают стандартам кафе, к которым уже привыкли современные дети. Фактором низкого качества школьного питания является применение в данной сфере Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»³ на общих основаниях, без учета специфики данного вида закупок.

Между общей и частной удовлетворенностью по всем параметрам обнаруживается значимая 2-сторонняя корреляция на уровне $p < 0,01$. Корреляционный анализ показывает, что на общую удовлетворенность школой больше всего влияет удовлетворенность знаниями (коэффициент Спирмена равен 0,487), школьным

³ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547> (дата обращения: 22.02.2022).

питанием (0,445), качеством внеклассных и внешкольных мероприятий (0,433), порядком и дисциплиной школе (0,431), отношениям со стороны учителей (0,430), кружками и секциями при школе (0,411), по остальным параметрам коэффициенты варьируются от 0,364 до 0,337. Как видим, на общую удовлетворенность положительно влияет удовлетворенность качеством знаний и отрицательно — недовольство качеством питания и внеурочной деятельности. Качество учебников при этом — менее значимый фактор, что говорит о важности психологического контакта в процессе обучения.

Средний индекс частной удовлетворенности составляет +0,63, что заметно отличается от общей удовлетворенности, равной +0,41. Следует также отметить, что за период между двумя исследованиями данный параметр практически не изменился (предыдущее его значение +0,65), тогда как общая удовлетворенность заметно снизилась. Это позволяет предположить усиление негативного влияния иных факторов, о которых речь пойдет далее.

Факторами, влияющими на общую удовлетворенность школой, безусловно, являются трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе обучения. По результатам исследования, наиболее выраженная зависимость при $p < 0,01$ оказалась между удовлетворенностью и сильной усталостью после учебы (-0,380), непониманием со стороны учителей (-0,272), шумной обстановкой в классе (-0,249), отсутствием свободного времени (-0,246), трудным учебным материалом (-0,236), и слишком строгой дисциплиной (-0,171) (см. рис. 1). Сравнение исследований 2018 и 2019 гг. обнаруживает сходные ранги данных факторов, что говорит об устойчивой корреляционной зависимости.

Рис. 1. Влияние проблем, с которыми сталкиваются учащиеся, на их удовлетворенность школой, коэффициенты корреляции Спирмена



При ответе на открытый вопрос о проблемах многие учащиеся указали на неудовлетворительную материально-техническую базу школ, некачественное питание, обилие так называемых «ненужных предметов», что вместе с большими домашними заданиями по ним негативно влияет на удовлетворенность школой. В ценностном плане мы убеждены, что образованный человек должен знать основы всех предметов в объеме школьной программы, однако сейчас общественное мнение усиливает водораздел между «нужными» и «ненужными» предметами по причине утилитарного подхода к образованию, обусловленного ситуацией с ОГЭ и ЕГЭ.

Что же касается перегрузок учащихся домашними заданиями, очевидно, что здесь необходима более тесная координация между учителями, преподающими разные предметы. При этом очень важно, чтобы помимо заданий, у школьников были свои интеллектуальные увлечения, которые можно координировать в рамках внеурочной деятельности.

Помимо «структурных» факторов удовлетворенности, высвечивающих ее частные аспекты, настоящее исследование предполагало оценку так называемых объективирующих факторов, которые характеризуют объект внимания через характеристики того, кто выступает в роли оценщика [Харченко, 2011: 58]. В данном случае в качестве таковых факторов выступают общественная активность, успеваемость и функциональная грамотность старшеклассников.

Индикатором общественной активности школьников для нас являлся параметр «участие в жизни школы». Индекс участия составил +0,38, не изменившись с точностью до сотых долей по сравнению с предыдущим периодом. Исследование показало, что между общей удовлетворенностью и степенью участия в жизни школы существует значимая корреляционная зависимость при $p < 0,01$: коэффициент корреляции Спирмена равен 0,334. Анализ таблицы сопряженности показывает, что среди школьников, активно участвующих почти во всех мероприятиях, однозначная удовлетворенность возрастает с 24,7 % до 40,4 %. Напротив, в подгруппе не участвующих в общественной жизни однозначная неудовлетворенность увеличивается с 5,2 % до 27,2 %.

Среди частных параметров удовлетворенности параметр «участие в жизни школы», как и в исследовании 2018 г., обнаруживает наибольшую корреляцию с удовлетворенностью внеклассными и внешкольными мероприятиями (0,290) и отношением со стороны учителей (0,279). Отсюда напрашиваются две закономерности: 1) вовлечение учащихся в школьное самоуправление, предоставление им возможности не только участвовать, но и планировать внеклассные и внешкольные мероприятия повышает удовлетворенность школой, а значит, и ее социальный ресурс; 2) обеспечение комфортных условий обучения, которые формируют удовлетворенность школой, усиливают интерес учащихся к внеклассной и внешкольной деятельности.

Удовлетворенность школой во многом определяется ситуацией успеха. В этом плане показательна устойчивая зависимость данного параметра от успеваемости: коэффициент корреляции Спирмена составляет +0,111 при $p < 0,01$. Анализ таблицы сопряженности подтверждает выраженную двустороннюю зависимость (см. табл. 2). Все же внимательный взгляд позволяет отметить, что низкая успеваемость в большей мере влияет на неудовлетворенность школой, чем высокая успеваемость — на удовлетворенность.

По сравнению с предыдущим исследованием, снизилась удовлетворенность школой в подгруппе «Отличник либо одна-две четверки» с 37,0 % до 29,2 %. В подгруппе «троечников» неудовлетворенность возросла, но незначительно, на 2—3 %.

Помимо успеваемости, значимым фактором удовлетворенности является функциональная грамотность, под которой понимается, во-первых, элементарная грамотность — способность читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, а во-вторых, мета-

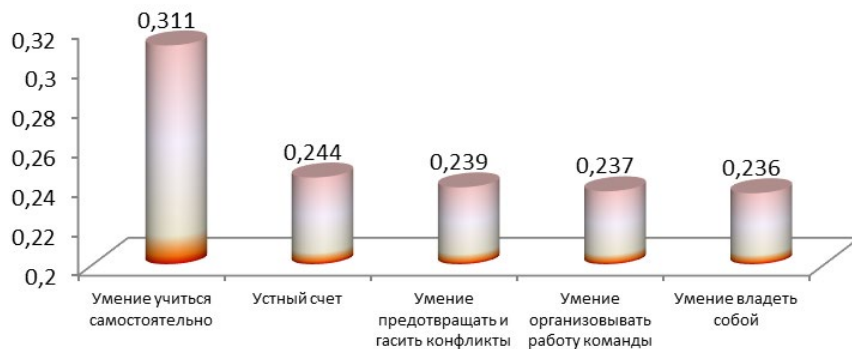
предметные и жизненные навыки, которые обеспечивает потенциал интеграции личности в систему социальных отношений.

Таблица 2. **Влияние успеваемости на удовлетворенность старшеклассников школой, % от числа опрошенных**

Вопрос «Вы ходите в школу...»	Простое распределение, %	Отличник либо 1—2 четверки	В основном «5» и «4» либо одни четверки	В основном «4», есть «3»	Все или большинство «троек»
Всегда с удовольствием	24,7	29,2	25,8	19,6	12,0
Чаше с удовольствием	49,5	47,1	51,4	49,1	44,4
Чаше без удовольствия	20,6	18,8	19,1	24,5	26,9
Всегда без удовольствия	5,2	4,8	3,6	6,8	16,7

Между всеми изучаемыми аспектами функциональной грамотности и общей удовлетворенностью обнаруживается положительная корреляционная зависимость при $p < 0,01$, как и в исследовании 2018 г. В наибольшей мере это относится к умениям самостоятельно учиться (коэффициент Спирмена равен 0,311), устного счета (0,244), предотвращать и гасить конфликты (0,239), организовывать работу команды (0,237), владеть собой и не поддаваться эмоциям (0,236), что иллюстрирует рисунок 2.

Рис. 2. Влияние отдельных аспектов функциональной грамотности учащихся на их удовлетворенность школой, коэффициенты корреляции Спирмена



В исследовании 2018 г. также выходили на первый план умения разрабатывать проекты (0,272), составлять заявки на конкурсы (0,264), пользоваться законодательством (0,245).

Как видим, на отношение учащихся к школе позитивно влияет субъектность — социальное качество, противоположное инертности и инфантильности, которое позволяет молодому человеку «выступать в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной реальности» [Луков, 1987: 35—37], проявлять самостоятельную инициативу в социуме [Луков, Луков, 2020], самостоятельно планировать свою деятельность и проектировать конкретные ее составляющие, грамотно выстраивая свою жизнь и помогая другим.

В определенной мере удовлетворенность формирует поведенческие стратегии, и прежде всего — представления о возможных связях выпускника со своей школой в будущем. Как показало исследование, почти три четверти респондентов планируют в будущем посещать свою школу, больше половины опрошенных готовы поддерживать с ней виртуальную связь, а порядка 40%-45% — привести в эту же школу своих детей и помогать школе материально (см. табл. 3).

Таблица 3. Возможные поведенческие стратегии выпускника после окончания школы, % от числа опрошенных во всей выборочной совокупности и в подвыборках

«Окончив школу, я буду...»	Простое распределение*		Подвыборки		
	2018 (справочно)	2019	Отличники	Активные	Очень довольные
Приходить на официальные встречи выпускников	76,8	75,7	78,1	88,5	88,8
Просто так приходить в свою школу, к своим учителям	73,7	70,5	73,8	88,0	86,8
Посещать группы школы в соцсетях, участвовать в обсуждениях	59,2	54,8	55,0	74,7	74,6
Учить здесь своих детей, если они у меня будут	45,6	42,4	36,9	55,4	65,2
При возможности оказывать школе спонсорскую помощь	41,1	36,5	38,9	53,6	60,6

* Сумма ответов превышает 100%, поскольку допускалось несколько вариантов ответа.

Как видим, социальную базу школы составляют, прежде всего, учащиеся, довольные условиями обучения, а также активные в школьной жизни — даже в большей мере, чем те, кто показывает успехи собственно в учебе.

При этом в 2019 г. ответы подгруппы отличников оказались практически равны простому распределению в целом по выборке, тогда как в 2018 г. среди отличников было существенно больше тех, кто готов приходить на официальные встречи (92,8% против 76,8% в целом по выборке), навещать учителей (91,8% против 73,7%), посещать группы школы в соцсетях, участвовать в обсуждениях (72,2%

против 59,2%), учить здесь своих детей (62,6% против 45,6%), а также при возможности оказывать школе спонсорскую помощь (71,3% против 41,1%).

Заключение

Настоящее исследование было посвящено оценке удовлетворенности старшеклассниками условиями получения общего образования. По факту абсолютные значения удовлетворенности оказались довольно высоки, что говорит либо об отсутствии серьезных проблем в данной отрасли на момент проведения исследования, что маловероятно, либо о «привыкании» именно к такой системе образования, какая она есть на данный момент, при отсутствии критического подхода и сравнения ее с идеальным образцом. Безусловно, на показателях сказываются условия проведения исследования — предложение заполнить анкету исходит от учителя. Когда мы в 2008—2009 гг. изучали удовлетворенность сферой образования глазами родителей, значения показателей, полученные в ходе поквартирного опроса, были на 20% более позитивными, чем на родительских собраниях. Так или иначе, даже при некотором сомнении в истинности абсолютных показателей ценность исследования состоит в возможности сравнения значимости различных факторов удовлетворенности, а также понимания динамики изучаемых процессов.

Использование результатов социологических исследований, проведенных в аналогичный период 2018 и 2019 гг., позволило сделать вывод об отсутствии позитивной динамики развития сферы образования. Исследования показали, что общая удовлетворенность школой за данный период времени существенно снизилась, однако по большинству остальных параметров либо было заметно незначительное снижение удовлетворенности, либо ситуация оставалась на одном и том же уровне, если учитывать статистическую погрешность. Понятно, что годовой промежуток времени, не связанный с крупными внешними переменами в образовании и обществе в целом (не считая реализации национального проекта «Образование»), не может обеспечить позитивные изменения по части удовлетворенности, которая достаточно инертна. Сходство значений показателей по результатам опросов 2018 и 2019 гг., иногда даже до десятых долей, подтверждает корректность формирования выборки и надежность данных.

Нами было показано, что измерение общего показателя удовлетворенности недостаточно для принятия управленческих решений. Чтобы понимать его природу, во-первых, следует учитывать влияние на него показателей удовлетворенности отдельными сторонами жизнедеятельности. Результаты исследования обнаруживают достаточно высокую удовлетворенность отношениями со сверстниками и с учителями, а также знаниями, которые дает школа. Средний уровень удовлетворенности обнаруживают оценки внеурочной деятельности, порядка и дисциплины в школе, работы психолога. Ниже всего — удовлетворенность качеством учебников и, в особенности, школьным питанием. По части учебников мнение старшеклассников совпадает с мнением учителей, репрезентативный опрос которых проводился нами в те же периоды времени.

Среди проблем, которые, как выяснилось, в наибольшей мере влияют на удовлетворенность — перегрузка старшеклассников, непонимание со стороны учителей и шумная обстановка в классе. Отметим, что фиксация респондентами

«непонимания со стороны учителей», на первый взгляд, противоречит позитивно оцениваемому «отношению со стороны учителей». Все же непонимание — более глубинная психологическая проблема, чем внешне выражаемое отношение, и нестыковки данных здесь нет. Точно так же отношения со сверстниками оцениваются положительно, а обстановка в классе видится как проблема. В данном случае также берутся в расчет разные стороны одного явления: дружба либо, как минимум, отсутствие межличностных конфликтов — это одно, а рабочая обстановка на уроке — другое.

Как показало исследование, среди объективирующих факторов удовлетворенности наиболее выраженную роль играет участие в жизни школы, которое даже перевешивает успеваемость. В самом деле, если человек вносит вклад в формирование благоприятной образовательной среды, вряд ли он будет выражать недовольство.

Очень важно, что были обнаружены значимые корреляции между удовлетворенностью школой и таким аспектами функциональной грамотности, как умения самостоятельно учиться, предотвращать и гасить конфликты, организовывать работу команды, владеть собой и не поддаваться эмоциям. Совокупность данных умений можно обобщить понятием «субъектность». Иными словами, молодые люди с активной жизненной позицией больше довольны условиями получения образования, чем те, кто проявляет инфантилизм и иждивенчество.

В настоящей работе было показано, что удовлетворенность значима не только сама по себе, для формирования в школе благоприятной организационной среды, но и для наращивания социального потенциала организации за счет вовлечения в ее деятельность выпускников, которые могли бы приходиться на встречи с учителями, участвовать в обсуждениях перспектив развития школы, в будущем — формировать «династии учеников». Более того, удовлетворенность старшеклассников школой — залог более успешного воспроизводства педагогических кадров, которое сейчас является серьезной проблемой.

Выявление проблем в части удовлетворенности должно стимулировать управленцев к принятию решений в двух плоскостях. Первая плоскость — это преобразование объективной реальности: основной деятельности и ее инфраструктуры, а вторая — работа с субъективным миром заинтересованных лиц путем совершенствования идеологического и информационного обеспечения.

Говоря о перспективах продолжения исследования, отметим важность продолжения замеров базовых параметров данного мониторинга в будущем, а также включения новых параметров, связанных, в частности, с оценками реализованных дистанционных форм обучения и противоэпидемиологических мероприятий.

Список литературы (References)

Адамчук Д. В., Куликов А. А. Удовлетворенность родителей качеством питания в образовательных организациях: от детского сада к школе // Управление образованием: теория и практика. 2019. Т. 9. № 4. С. 66—77. <https://emreview.ru/index.php/emr/issue/view/36/37> (дата обращения: 21.02.2022).

Adamchuk D. V., Kulikov A. A. (2019) Parents' Satisfaction with the Quality of Food in Educational Institutions: From Kindergarten to School. *Education Management*

Review. 2019. Vol. 9. No. 4. P. 66—77. URL: <https://emreview.ru/index.php/emr/issue/view/36/37> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Егорычев А. М., Кретинин А. С. Опыт и традиции советского образования: необходимость использования в современной системе образования // Центр инновационных технологий и социальной экспертизы (ЦИТИСЭ). 2017. № 2 (11). С. 7—23. URL: <https://ma123.ru/en/2017/05/experience-and-traditions-of-soviet-education-necessity-of-use-in-the-modern-educational-system/> (дата обращения: 21.02.2022).
Egorychev A. M., Kretinin A. S. (2017) Experience and Traditions of Soviet Education: Necessity of Use in the Modern Educational System. *Center for Innovative Technologies and Social Expertise (CITISE)*. 2017. No. 2 (11). P. 7—23. URL: <https://ma123.ru/en/2017/05/experience-and-traditions-of-soviet-education-necessity-of-use-in-the-modern-educational-system/> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Имангожина О. З. Методы определения качества учебной литературы // Международный журнал экспериментального образования. 2015. Т. 12. Ч. 3. С. 401—403. URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9135> (дата обращения: 21.02.2022).

Imangozhina O. Z. Methods for Determining the Quality of Educational Literature. *Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya*. 2015. Vol. 12. Part 3. P. 401—403. URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9135> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Клюев А. В., Ляшко С. В., Тарасов С. В. Оценка качества образовательного результата в учреждениях общего и профессионального образования Ленинградской области // Управленческое консультирование. 2015. № 2. С. 77—89. URL: <https://www.acjournal.ru/jour/article/view/26> (дата обращения: 21.02.2022).

Cluev A. V., Lyashko S. V., Tarasov S. V. (2015) Assessment of Quality of Educational Result in Institutions the General and Professional Education of the Leningrad Region. *Administrative Consulting*. No. 2. P. 77—89. URL: <https://www.acjournal.ru/jour/article/view/26> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Луков В. А. Молодежное движение в социалистическом обществе: вопросы теории и практики. М.: Молодая гвардия, 1987.

Lukov V. A. (1987) Youth Movement in a Socialist Society: Issues of Theory and Practice. Moscow: *Molodaia gvardiya*. (In Russ.)

Луков В. А., Луков С. В. Субъектность молодежи в процессах социализации и инкультурации // Горизонты гуманитарного знания. 2020. № 1. С. 3—20. <https://doi.org/10.17805/ggz.2020.1.1>.

Lukov V. A., Lukov S. V. (2020). Youth's Subjectivity in Socialization and Inculturation Processes. *The Horizons of Humanities Knowledge*. 2020. № 1. P. 3—20. <https://doi.org/10.17805/ggz.2020.1.1>. (In Russ.)

Маркин В. В., Силин А. Н., Воронов В. В. Образовательные траектории молодежи коренных малочисленных народов Севера: социально-пространственный дискурс // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 5. С. 141—154. <https://doi.org/10.15838/esc.2019.5.65.9>.

Markin V. V., Silin A. N., Voronov V. V. (2019) Education Options for Young People from Indigenous Minorities of the North: Regional Aspect. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. Vol. 12. No. 5. P. 141—154. <https://doi.org/10.15838/esc.2019.5.65.9>.

Поваренков Ю. П., Слепко Ю. Н. Удовлетворенность деятельностью и личностью учителя учащихся средней и старшей школы // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2015. № 2. С. 36—41. URL: http://www.universityjournal.ru/assets/gu_2_2015.pdf (дата обращения: 21.02.2022).

Povarionkov Yu.P., Slepko Yu.N. (2015) Satisfaction with Activity and Identity of the Teacher of Pupils of High and High School. *New University. Topical Issues of Humanities and Social Sciences*. No. 2. P. 36—41. URL: http://www.universityjournal.ru/assets/gu_2_2015.pdf (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Сычев О. А., Гордеева Т. О., Лункина М. В., Осин Е. Н., Сиднева А. Н. Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьников // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 6. С. 5—15. <https://doi.org/10.17759/pse.2018230601>.

Sychev O. A., Gordeeva T. O., Lunkina M. V., Osin E. N., Sidneva A. N. Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale. *Psychological Science and Education*. 2018. Vol. 23. No. 6. P. 5—15. <https://doi.org/10.17759/pse.2018230601>. (In Russ.)

Харченко К. В. Удовлетворенность: методология и опыт муниципальных исследований. М.: Альперия, 2011.

Kharchenko K. V. (2011) Satisfaction: Methodology and Experience of Municipal Studies. Moscow: *Alperia*.

Bosakova L., Madarasova Geckova A., van Dijk J. P., Reijneveld S. A. (2020). School Is (Not) Calling: The Associations of Gender, Family Affluence, Disruptions in the Social Context and Learning Difficulties with School Satisfaction Among Adolescents in Slovakia. *International Journal of Public Health*. Vol. 65. No. 8. P. 1413—1421. <https://doi.org/10.1007/s00038-020-01474-4>.

Coelho C. C. de A., Dell'Aglio D. D. (2019) School Climate and School Satisfaction among High School Adolescents. *Psicologia: Teoria e Prática*. Vol. 21. No. 1. <https://doi.org/10.5935/1980/6906/psicologia.v21n1p265-281>.

Fang L., Sun R. C. F., Yuen M. (2016). Acculturation, Economic Stress, Social Relationships and School Satisfaction Among Migrant Children in Urban China. *Journal of Happiness Studies*. Vol. 17. P. 507—531. <https://doi.org/10.1007/s10902-014-9604-6>.

Casas F., Băltătescu S., Bertran I., González M., Hatos A. (2013) School Satisfaction Among Adolescents: Testing Different Indicators for its Measurement and its Relationship with Overall Life Satisfaction and Subjective Well-Being in Romania and Spain. *Social Indicators Research*. Vol. 111. P. 665—681. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0025-9>.

Kern M., Adler A., Waters L. E., White M. A. (2015) Measuring Whole-School Well-being in Students and Staff. In: White M., Murray A. (eds.) *Evidence-Based Approaches*

in *Positive Education*. *Positive Education*. P. 65—31. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9667-5_4.

Persson L., Haraldsson K., Hagquist C. (2016) School Satisfaction and Social Relations: Swedish Schoolchildren's Improvement Suggestions. *International Journal of Public Health*. Vol. 61. No. 1. P. 83—90. <https://doi.org/10.1007/s00038-015-0696-5>.

Simonsen I.-E., Rundmo T. (2020) The Role of School Identification and Self-Efficacy in School Satisfaction Among Norwegian High-School Students. *Social Psychology of Education*. Vol. 23. P. 1565—1586. <https://doi.org/10.1007/s11218-020-09595-7>.

Sun R. C.F. (2016). Student Misbehavior in Hong Kong: The Predictive Role of Positive Youth Development and School Satisfaction. *Applied Research Quality Life*. Vol. 11. P. 773—789. <https://doi.org/10.1007/s11482-015-9395-x>.

Tian L., Liu B., Huang, S., Huebner E. S. (2013). Perceived Social Support and School Well-Being Among Chinese Early and Middle Adolescents: The Mediation Role of Self-Esteem. *Social Indicators Research*. Vol. 113. P. 991—1008. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0123-8>.

Varela J. J., Zimmerman M. A., Ryan, A.M., Stoddard S. A., Heinze J. E., Alfaro J. (2018). Life Satisfaction, School Satisfaction, and School Violence: A Mediation Analysis for Chilean Adolescent Victims and Perpetrators. *Child Indicators Research*. Vol. 11. P. 487—505. <https://doi.org/10.1007/s12187-016-9442-7>.

Whitley A. M., Huebner, E.S., Hills K. J., Valois R. F. (2012) Can Students be Too Happy in School? The Optimal Level of School Satisfaction. *Applied Research Quality Life*. Vol. 7. P. 337—350. <https://doi.org/10.1007/s11482-012-9167-9>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1724](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1724)



С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЖИМАХ ГОСУДАРСТВ ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Правильная ссылка на статью:

Малиновский С. С., Шибанова Е. Ю. Высшее образование в режимах государств всеобщего благосостояния: обзор исследований // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 176—203. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1724>.

For citation:

Malinovskiy S. S., Shibanova E. Y. (2022) Higher Education in Welfare State Regimes: A Literature Review. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 176–203. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1724>. (In Russ.)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЖИМАХ ГОСУДАРСТВ ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

МАЛИНОВСКИЙ Сергей Сергеевич — кандидат политических наук, старший научный сотрудник, заместитель заведующего проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов», эксперт Центра социологии высшего образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: smalinovskiy@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9885-4391>

ШИБАНОВА Екатерина Юрьевна — младший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: eshibanova@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4662-8410>

Аннотация. Вопрос о месте высшего образования в государственной политике распределения общественных благ актуализируется на фоне его экспансии и усиления роли в определении жизненных шансов. В статье рассматриваются дефициты и перспективные направления академической дискуссии о системах высшего образования в разных моделях (режимах) государств всеобщего благосостояния. Используется метод критического обзора исследований. На основе сравнения доступности образования, институционального дизайна образовательных систем и социальной стратификации выделены характерные для либерального, консервативного и социально-демократического режимов профили распределения высшего образования.

HIGHER EDUCATION IN WELFARE STATE REGIMES: A LITERATURE REVIEW

*Sergey S. MALINOVSKIY*¹ — *Cand. Sci. (Polit.), Senior Research Fellow, Laboratory for University Development; Expert, Center of Sociology of Higher Education*
E-MAIL: smalinovskiy@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9885-4391>

*Ekaterina Yu. SHIBANOVA*¹ — *Junior Research Fellow, Laboratory for University Development*
E-MAIL: eshibanova@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4662-8410>

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. Expansion and the growing role of higher education in determining life outcomes highlight the issue of its provision as a part of state welfare and redistribution policy. This article employs the critical review method and analyzes research on higher education in welfare state regimes. The article addresses research gaps and perspectives in studying higher education addressing the welfare regimes' framework. A comparative analysis of access to higher education, educational systems' institutional settings, and social stratification provide patterns in higher education redistribution, typical for conservative, liberal and social-democratic welfare regimes.

Ключевые слова: государство всеобщего благосостояния, высшее образование, системы образования, доступность высшего образования, критический обзор литературы

Keywords: welfare states, higher education, educational systems, access to higher education, critical review

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-113-50369.

Acknowledgments. The reported study was funded by RFBR, project number 19-113-50369.

Введение

Идеи государства всеобщего благосостояния начали *de facto* воплощаться в жизнь с конца XIX века, хотя теоретическое осмысление эта концепция получила позднее. Еще до окончания Первой мировой войны многие страны стали реализовывать социальную политику в отношении «базового» пакета рисков и жизненных ситуаций [Kuhnle, Sander, 2010]. Послевоенная индустриализация расширила палитру и масштаб социальных рисков, а также долю населения, вовлеченного в орбиту государственной социальной политики. Развитые промышленные страны (в том числе за пределами Западной Европы) разработали схожий пакет программ государства всеобщего благосостояния: пенсии, страхование здоровья и инвалидности, семейные пособия, страхование от производственных травм и жилищные программы [Wilensky, 2002]. «Золотой век» всеобщего благосостояния (1960—1970-е годы) укоренил идею большей коллективной ответственности за индивидуальное благополучие, выходящей за рамки только страхования социальных рисков. Государство всеобщего благосостояния реализуется, когда «правительство обеспечивает минимальные стандарты дохода, здравоохранения, пропитания, жилья и образования для каждого гражданина, которые гарантированы каждому не как благотворительность, а как политическое право» [Wilensky, 1974: 1]. В дальнейшем концепция расширилась и стала включать в себя и распределительное налогообложение. Таким образом, в расширительной трактовке речь идет о модели производства и распределения благосостояния в обществе.

Школьное образование традиционно рассматривается как неотъемлемая часть пакета благосостояния и социального обеспечения большинства государств. Эмпирические исследования показали устойчивые соотношения между моделями государств всеобщего благосостояния и образовательными системами (см., например, [Pechar, Andres, 2011; West, Nikolai, 2013]). Высшее образование в данном контексте остается менее изученным, потому что долгое время оно было элитным (доступным малой доле населения) и рассматривалось вне государственной социальной политики [Goastellec, 2017].

Вопрос о месте высшего образования в политической экономии производства и распределения благосостояния получает новое звучание по мере его экспансии и превращения в социальную норму, возрастания роли в определении

жизненных шансов и социальной стратификации общества. Высшее образование начинает рассматриваться как часть системы социального обеспечения [Hega, Hokenmaier, 2002] или как альтернативная форма страхования социальных рисков [Allmendinger, Leibfried, 2003]. Границы всеобщего благосостояния послевоенного времени пересматриваются, трансформируясь согласно изменениям общественного контракта между университетами и нациями-государствами [Kwiek, 2005].

При этом в академической литературе доминирующей линией исследований вопроса о распределении высшего образования остается изучение факторов микроуровня: индивидуальных характеристик и социокультурного бэкграунда семей. Например, гендер [Lörz, Mühleck, 2019], раса и этничность [Riegle-Crumb, King, 2010], социальное положение [Jury et al., 2017], доход [Jerrim, Vignoles, 2015], территориальные факторы [Chankseliani, 2013] обуславливают дифференциацию в получении высшего образования как в целом, так и в разрезе его качества. Менее исследованными представляются вопросы о степени и механизмах влияния дизайна образовательной системы, макроэкономического развития страны и политического устройства на охват и равенство в распределении высшего образования. Существующие знания в этой области в основном фрагментарны и касаются отдельных макроуровневых характеристик, например, экономического развития страны и его циклов [Torche, 2010], масштаба и динамики государственных инвестиций [Agasisti, 2009], дифференциации системы, структуры рынка высшего образования [Gamoran, 2007]. Роль страновых контекстов, специфика взаимосвязи разных элементов институционального дизайна образовательных систем для разных типов стран остается сравнительно менее изученной, за некоторыми исключениями (см., например, [Shavit, Müller, 1998]). Во многом высшее образование продолжает рассматриваться *per se*, вне поля зрения остается соотношение образования и других социальных сфер, производственной модели, рынка труда.

Данная статья адресуется к указанным лакунам и рассматривает высшее образование в более широком контексте его окружения, как часть национальной политико-экономической модели. Целью статьи является критическое рассмотрение исследований о механизмах и результатах распределения высшего образования в разных типах государств всеобщего благосостояния. Проведенный анализ позволяет систематизировать знание о макроуровневых факторах различий в организации образовательных систем и в охвате высшим образованием, критически оценить применимость концепции государства всеобщего благосостояния к сферам, которые традиционно находились вне его орбиты.

В первом разделе представлена аналитическая рамка и методология критического обзора литературы. В зависимости от исторической эволюции модели государств всеобщего благосостояния могут опираться на коллективную ответственность или на индивидуализацию рисков, на сильную государственную координацию или на рынок, на равенство возможностей или на выравнивание результатов, на универсализацию государственной опеки или на резидуальную поддержку наиболее депривированных групп населения и т. д. В последние два десятилетия в академической литературе предложен ряд типологий данных моде-

лей (например, [Hall, Soskice, 2001; Iversen, Stephens, 2008; Busemeyer, 2014]). В данной статье в качестве отправной точки используется концепция режимов государств всеобщего благосостояния (РВБ), предложенная Г. Эспинг-Андерсеном [Esping-Andersen, 1990]. Типология режимов стала одной из самых популярных эвристических рамок и во многом пересекается с другими классификациями, что делает ее наиболее релевантной для анализа.

Последующий обзор построен в логике сравнения а) институционального устройства систем образования, б) распределения охвата высшим образованием и его доступности, в) вклада высшего образования в социальную стратификацию в странах с разными режимами.

Далее в статье предложена систематизация ключевых характеристик моделей высшего образования в «идеальных» режимах западных стран: либеральном, консервативном и социально-демократическом.

Заключение посвящено рассмотрению дефицитов существующей академической повестки и попытке выявления перспективных направлений исследований высшего образования в русле концепции государства всеобщего благосостояния.

Аналитическая рамка и методология обзора

В 1990 г. Г. Эспинг-Андерсен [Esping-Andersen, 1990] разработал типологию моделей обеспечения всеобщего благосостояния, которая до сих пор остается наиболее влиятельной для сравнительного описания социальной политики развитых западных стран. Согласно Эспинг-Андерсену [ibid.], основаниями для различения государств всеобщего благосостояния являются:

- уровень стратификации, то есть степень, в которой масштаб и структура социального обеспечения стратифицируют общество;
- уровень декоммодификации, то есть степень, в которой индивид может подерживать уровень жизни безотносительно участия в рыночных отношениях;
- баланс взаимодействия государства, рынка и домохозяйств в обеспечении социальными благами.

Автор на основе эмпирических данных показал, что применительно к этим измерениям можно выделить идеальные модели распределения благосостояния, которые он назвал режимами государств всеобщего благосостояния.

Либеральный (англо-саксонский) режим опирается на рынок, а государство обеспечивает социальную защиту в случае провалов рынка. Этот РВБ в наибольшей степени характерен, например, для США, Австралии, Великобритании. В Скандинавских странах установлен социально-демократический (нордический) режим, который находится на противоположном полюсе и предполагает универсализацию социальных прав за счет государства. Консервативный режим (корпоративистский/континентальный) наблюдается, например, в Германии, Франции, Австрии и характеризуется средним уровнем маркетизации в распределении благосостояния, а также обусловленностью социальных прав экономическим статусом семей.

Изначально данная классификация касалась в основном пенсионного обеспечения, но в дальнейшем легла в основу анализа многих других социальных сфер. Предложенные типы, касающиеся в основном западных демократических

государств, дополнялись новыми, характерными, например, для стран Южной Европы [Castles, Ferrera, 1996] и Азии [Gough, 2001]. Для транзитных, в том числе постсоветских государств, постулируется гибридизация характеристик идеальных типов с представлением, что по мере транзита они будут смещаться в сторону одного из режимов [Esping-Andersen, 1996].

Представленный в статье обзор исследований фокусируется на месте высшего образования в трех изначально выделенных Эспинг-Андерсеном идеальных режимах. Они относятся к развитым капиталистическим демократиям, отличаются большей устойчивостью во времени и в этом смысле предполагают большую валидность выводов.

Ряд предпосылок о связи образования и модели обеспечения всеобщего благосостояния формирует аналитическую рамку и предмет обзора.

Во-первых, модель РВБ может быть связана с институциональной организацией образовательных систем. В соответствии с концепцией Эспинг-Андерсена, послевоенная эволюция распределения властных ресурсов между трудом и капиталом, институционализация рабочих движений и паттерны формирования политических коалиций оказывают влияние на структурирование социальных сфер общества. В литературе рассматривается идея интегрированных политико-экономических систем, в которых различные общественные сферы и их элементы оказываются институциональными взаимодополняющими компонентами. Рамка моделей формирования человеческого капитала постулирует взаимную обусловленность национальной структуры навыков и социальной политики, координации рынков труда, электоральной системы, политических коалиций [Iversen, Stephens, 2008]. По мере того, как высшее образование усиливает значение в общественном благосостоянии, его организационное устройство может быть в большей степени подчинено распределительным принципам политико-экономической модели.

Во-вторых, институциональная организация образовательных систем определяет масштаб охвата высшим образованием и равномерность его распределения в обществе. Как было сказано выше, РВБ различаются по степени декоммодификации и стратификации. Применительно к высшему образованию декоммодификация означает баланс рынка и государства в обеспечении образованием, то есть модель финансирования. Стратификация определяется через степень универсализации прав на общественные блага. Известно, что дифференциация образовательных возможностей характеризует модели организации образовательных систем [Müller, Jonsson, Mills, 1996]. Конвенциональными измерениями стратификации доступа к высшему образованию являются трекинг (то есть степень дифференциации траекторий после основной школы, жесткость траектории и возможность ее менять, время первого образовательного выбора) [Pfeffer, 2008], стандартизация и соотношение общего и профессионального образования [Kerckhoff, 2001].

В-третьих, в зависимости от распределительной модели доступность высшего образования в разной степени связана с воспроизводством социальной стратификации. Способность обеспечивать равенство социального благополучия — одна из ключевых характеристик для различения РВБ [Esping-Andersen, 2015].

Образование не только имеет самостоятельную ценность как часть стандарта благополучия, но и играет ключевую роль в опосредовании социальной стратификации [Gamoran, 2007]. Доминирует представление о значимой положительной корреляции между образовательным и доходным неравенствами, в то время как экспансия высшего образования может снижать доходное неравенство [Park, 1996]. Однако значимость образования как фактора социальной мобильности различна для разных стран [Breen, Jonsson, 2005].

РВБ характеризуются разными соотношениями социальных сфер, включая систему страхования рисков, рынок труда, стратегии производства, инвестиции в навыки и отдачу от них. Баланс социальных сфер и принципы распределения общественных благ в том или ином РВБ могут повышать или снижать значение уровня образования в сохранении или улучшении социального статуса.

Подытоживая, мы предполагаем, что РВБ определяет институциональный дизайн образовательных систем, связанных с охватом и дифференциацией доступности высшего образования. Последнее, в свою очередь, влияет на воспроизводство социальных структур, что лежит в основе типологии распределительных моделей. Таким образом, мы рассматриваем высшее образование как часть государства всеобщего благосостояния, а предметом обзора станут механизмы и результаты его распределения. В соответствии с представленными предпосылками, анализ места высшего образования в РВБ будет проведен в трех ракурсах:

- 1) институциональная организация образовательных систем (релевантная для дифференциации доступности высшего образования),
- 2) охват высшим образованием и его доступность,
- 3) связь доступности высшего образования и социальной стратификации.

По этим трем блокам будет проведен критический обзор литературы. Цель данного метода состоит в систематизации и критическом рассмотрении существующей академической дискуссии. Метод допускает сравнительно большую широту поставленных вопросов, требует репрезентативного отбора публикаций и предполагает критическую интерпретацию в качестве инструмента анализа [Page et al., 2015]. Данная работа не рассматривает весь корпус публикаций по доступности высшего образования в разных странах, производится сплошная выборка статей, которые репрезентируют дискуссию в рамках выбранной авторами аналитической рамки и концепции РВБ.

На первом этапе при помощи реферативной базы данных Scopus были отобраны англоязычные статьи в академических журналах, опубликованные в период с 1990 по 2020 г. Ограничения по времени обусловлены временем разработки концепции РВБ. Поиск был ограничен по отраслям знаний: социальные, экономические, гуманитарные науки и мультидисциплинарные области.

В качестве поисковых запросов по ключевым словам и заголовкам использовались следующие комбинации: (welfare AND regime*) AND education; (welfare AND state*) AND (higher AND education); (welfare AND regime*) AND (higher AND education).

В результате первичного отбора был сформирован пул публикаций из 1 003 статей. На основании анализа заголовков и аннотаций публикаций из общего списка были удалены статьи по следующим основаниям:

- не относились к рассматриваемой тематике — 840: были исключены работы, которые либо не фокусировались на концепции РВБ, либо не затрагивали образование в качестве центрального предмета изучения или одного из фокусов работы,
- отсутствовал доступ к полному тексту статьи — 9,
- повторяющиеся публикации — 10.

В результате был сформирован список из 144 статей. Далее были отобраны публикации, которые адресуются к одному из трех ракурсов, сформулированных выше.

В список не попали работы, исследовательский дизайн которых не предполагал сбор или анализ эмпирических данных. Также были исключены публикации, адресующиеся к типологии РВБ, но при этом не имеющие в фокусе именно высшее образование, его доступность или институциональную организацию; работы, которые фокусируются на образовании как предметной области, но не соотносят ее с концепцией РВБ. Кроме этого, в пул обозреваемых работ были включены релевантные публикации из списка литературы в отобранных работах. Итоговый список публикаций для обзора составил 48 статей.

Институциональное устройство систем образования

Анализ исследований позволил выделить ключевые характеристики институционального устройства образовательных систем, которые обсуждаются в контексте распределения высшего образования в РВБ.

В анализируемых исследованиях доминирует тематика *финансирования (высшего) образования* в качестве ключевого показателя, позволяющего концептуализировать различия между моделями государств всеобщего благосостояния. Баланс затрат на образование в соотношении с расходами на другие сферы социальной политики характеризует выбор государством альтернатив снижения социального неравенства. Относительный акцент на выравнивании условий через прямые социальные трансферты наблюдается в консервативных режимах, тогда как обеспечение равенства возможностей через инвестиции в образование характерно для либеральных стран. Либеральные режимы тратят большую долю государственных расходов на образование, консервативные — меньшую, отдавая предпочтение расходам на социальное обеспечение. Социально-демократические страны лидируют и в абсолютных (в реальном выражении) [Hega, Hokenmaier, 2002], и в относительных (доля от ВВП) расходах [Pechar, Andres, 2011] как на образование, так и на социальное обеспечение. Более поздние исследования также подтвердили лидерство социально-демократических РВБ в масштабе государственных инвестиций в образование [Sakamoto, 2018], тогда как разница между консервативными и либеральными режимами неоднозначна [Willemse, de Beer, 2012].

Дж. Мошер [Mosher, 2015] интегрировал образование в рамку РВБ, анализируя политические факторы, влияющие на баланс инвестиций в образование и другие сферы социальной политики. В социально-демократических режимах, доминирование левых партий, опирающихся на сильные профсоюзы, связано с наибольшим уровнем инвестиций в целом во все социальные сферы, включая образование. Для консервативных стран сильные позиции центристских партий связаны с относительным акцентом на социальную политику в ущерб образо-

ванию. Либеральные режимы автор предложил разделять на модель, где профсоюзы и левые партии не играют существенной роли, и на модель, где значение профсоюзов также незначительно, но у левых партий есть умеренное влияние. Отличием последней является сравнительно большая роль государства в социальном обеспечении, но обе разновидности подразумевают больший относительный акцент на финансировании сферы образования. В целом же для всех РВБ сильная роль профсоюзов и распространение католицизма, как правило, связаны с большими расходами на социальное обеспечение, а не на образование. Там, где левые партии играют большее значение, чем профсоюзы, финансирование образования выше.

Модели характеризуются и разным балансом источников финансирования и распределения ресурсов по разным уровням образования. В социально-демократических режимах самый высокий уровень государственных расходов на все уровни образования, в консервативных — наименьший [West, Nikolai, 2013], с явным акцентом на профессиональном образовании. С учетом частных вложений либеральные режимы лидируют в общих расходах на третичное образование, затраты на которое относительно ВВП превосходят другие режимы [Pechar, Andres, 2011; Schulze-Cleven, Olson, 2017]. При этом либеральные страны тратят значительно больше государственных средств на школьное образование по сравнению с послешкольным.

В либеральных режимах высшее образование в основном финансируется за счет частных ресурсов. В консервативных странах континентальной Европы преобладает государственное финансирование и сектор слабо приватизирован. Государство играет большую роль в высшем образовании в социально-демократических странах: объем предложения и финансирование контролируются государством, приватизация сектора минимальна. По доле частных расходов на третичное образование в процентах к ВВП консервативные страны находятся на среднем уровне, а в социально-демократических странах она минимальна [Triventi, 2014; Pechar, Andres, 2011]. Аналогично страны можно ранжировать по уровню расходов на научные исследования в секторе высшего образования [Bégin-Caouette, Askvik, Cui, 2016].

Баланс стоимости обучения и финансовой поддержки студентов хорошо иллюстрирует распределительные принципы государств всеобщего благосостояния.

В социально-демократических странах на фоне недорогого или преимущественно бесплатного высшего образования хорошо развиты инструменты массовой поддержки студентов. Гранты, стипендии и образовательные кредиты нацелены на выравнивание условий обучения и позволяют покрывать не только стоимость обучения, но и издержки на проживание, питание и прочие нужды [Triventi, 2014; Pechar, Andres, 2011]. Социально-демократическая модель предполагает, что доступ к благу является универсальным и предоставляется по праву гражданства. В этой же логике все студенты имеют право на финансовую помощь, займы реализуются скорее в качестве социальной поддержки: либо с низкой ставкой, либо без процентов, с расширенным сроком возврата [Dolepес, 2006]. Социально-демократические страны лидируют по среднему объему финансовой помощи и кредитов, предоставляемых студентам [Pechar, Andres, 2011].

В либеральных странах стоимость обучения наиболее высока, индивидуальные расходы в меньшей степени компенсируются государственной поддержкой. Даже с учетом объема доступных грантов, стипендий и образовательных кредитов в странах англосаксонской системы (Австралии, Японии, Великобритании, Новой Зеландии) средняя стоимость высшего образования составляет в среднем около трети от среднедушевого ВВП, в США и в Канаде — в среднем 17 % [Triventi, 2014].

Высокая стоимость обучения связана с более высокой отдачей от высшего образования и соседствует с развитым рынком образовательного кредитования [Pechar, Andres, 2011]. Государственная же поддержка в первую очередь нацелена на наименее обеспеченных студентов и тех, кто по какой-то причине не может полноценно участвовать в рыночной конкуренции. Либеральная логика *резидуализма* предполагает, что главная задача государства — обеспечение равенства возможностей, а вмешательство допустимо, только если кто-то неспособен участвовать в рынке.

Сравнительно невысокая стоимость обучения типична для консервативных стран. Так же, как и в либеральных странах, в консервативных режимах поддержка студентов не универсальна, она нацелена на определенные социальные группы [Wollscheid, Hovdhaugen, 2019]. В целом ее уровень невысок и не позволяет выравнять условия обучения, а кредитование не играет значительной роли [Triventi, 2014; Pechar, Andres, 2011]. Слаборазвитая система поддержки студентов соответствует идее консервативных режимов о ключевой роли семьи в обеспечении социального благополучия [Dolepес, 2006].

Кейсы конкретных стран подтверждают, что финансовая поддержка студентов соотносится с моделью РВБ. Так, для социально-демократического режима Дании характерна высокая финансовая доступность образования и даже широкая поддержка студентов-родителей. В либеральной модели Великобритании уровень государственной поддержки невысокий, она в первую очередь нацелена на помощь студентам из семей с низким имущественным положением [Brooks, 2012].

Анализ исследований показывает, что принципы РВБ во многом задают параметры финансирования образования. Универсализация социального обеспечения, выравнивание возможностей и результатов, акцент на всех уровнях образования характерны для социально-демократических стран. Меньшая роль государства, важность индивидуальной ответственности и инвестиций в неспецифические навыки свойственны либеральному РВБ. Средний уровень государственных и частных расходов на образование с акцентом на профессиональное обучение присущ консервативным моделям.

Другим наиболее распространенным направлением сравнительного анализа РВБ является *институциональная организация образовательных переходов (трекинг)*.

В Скандинавских странах основная и старшая школы, как правило, составляют единый уровень образования. Бесплатное обучение и высокая стандартизация не предполагают разделения на траектории во время всего срока обучения в школе, как правило, до 16 лет [Bukodi et al., 2018; Willemse, de Beer, 2012]. К этому же полюсу тяготеют либеральные страны, где школьные траектории унифицированы. Разделение на треки практически отсутствует как формальный институт в США

и Канаде, но частично сохранено в других странах англосаксонской модели — здесь учащиеся распределяются по разным образовательным траекториям, но в более позднем возрасте [Triventi, 2014].

На противоположном полюсе — консервативные страны, где трекинг начинается раньше, является более жестким, селективным и соответствует большему уровню образовательной стратификации [West, Nikolai, 2013; Blossfeld, 2016; Willemse, de Beer, 2012]. Дифференциация траекторий после обязательного уровня обучения высокая, в среднем распределение учащихся по образовательным траекториям начинается в 12—13 лет или даже раньше [Pechar, Andres, 2011; Triventi, 2014]. Классический пример — немецкоговорящие государства, где дуальное обучение и деление на гимназии и профессиональные училища фактически разделяет учеников на тех, кто готовится к поступлению в вузы, и тех, кто выходит на рынок труда.

Модель трекинга связана с ролью социально-экономического положения родителей в дифференциации образовательных результатов школьников и, соответственно, шансов на поступление в вуз. В социально-демократических режимах дифференциация в среднем заметно ниже и в меньшей степени определяется семейными факторами. Ровно противоположная ситуация складывается в консервативных режимах [Xu, 2008]. В либеральных странах различия в образовательных достижениях — на уровне выше среднего. Здесь культурный капитал семьи играет сравнительно большее значение в поляризации образовательных результатов [Xu, Hampden-Thompson, 2012]. Дополнительной серьезной проблемой либеральных режимов остается высокий уровень отсева [West, Nikolai, 2013]. Различия между наиболее и наименее успевающими школьниками больше всего заметны в консервативных режимах, меньше — в социально-демократических, в средней степени — в либеральных [Peter, Edgerton, Roberts, 2010].

РВБ отличаются и в паттернах сегрегации учеников внутри школ или между ними. Социально обусловленная дифференциация между школами наименее выражена в социально-демократической модели и наиболее заметна в консервативной [Peter et. al., 2010; Allmendinger, Leibfried, 2003]. При этом в консервативных режимах внутришкольная дифференциация менее выражена, чем в странах с либеральной моделью, опирающейся на принципы соревновательной меритократии и группирование по способностям внутри школ [Beblavý, Thum, Veselkova, 2013].

Наконец, *профессионализация образования* (то есть относительный охват практико-ориентированными образовательными программами) является важным различительным признаком для РВБ. В либеральных режимах почти все школьники обучаются на программах без деления на профессиональные и академические траектории [Hega, Hokenmaier, 2002; West, Nikolai, 2013]. Старшеклассников, обучающихся на профессиональных программах, практически нет в североамериканских странах, но в других либеральных государствах профессионализация после основной школы более распространена [Triventi, 2014]. В социально-демократических странах наблюдается средний уровень профессионализации [Hokenmaier, 1998; West, Nikolai, 2013]: доля школьников, обучающихся на неакадемических программах, в среднем около 50%. В консервативных режимах доля

школьников, обучающихся на профессиональном треке, наиболее высока — около 60—70% [Triventi, 2014; Hokenmaier, 1998].

В рассматриваемых исследованиях (правда, без детального обоснования) постулируется связь РВБ и моделей образовательных переходов. В консервативных странах сильная дифференциация между школами, профессионализация и раннее жесткое разделение на образовательные траектории соседствуют с ускоренным выходом на рынок труда и сохранением социальной стратификации. В либеральных режимах формально единый трек в старшей школе соответствует акценту на неспецифических знаниях и большей образовательной мобильности, но *de facto* существует неформальная стратификация через возможности выбора школьных предметов и рыночные ресурсы семей. В социально-демократических режимах низкая образовательная дифференциация, модель трекинга и профессионализация соответствуют высокому уровню социальной защиты, преобладанию инвестиций в специфические компетенции и ограниченной социальной стратификации.

Анализ исследований позволяет заметить, что дискуссия о дизайне образовательных систем в РВБ практически не адресуется к вопросам стандартизации школьного образования, к различиям в кадровом и финансовом обеспечении школ, дифференциации содержания образования.

Кроме этого, заметна концентрация исследовательских усилий на уровне школьного образования, в то время как институциональные характеристики непосредственно высшего образования по большей части оставлены без внимания. С нашей точки зрения, горизонтальная и вертикальная дифференциация вузовского ландшафта могла бы быть важным аспектом сравнения РВБ в контексте ответа на вопрос о доступности высшего образования и вклада образования в социальную стратификацию.

Наконец, немногие исследования касаются вопросов университетской автономии и централизации государственного управления, принципиально важных для описания модели распределения образования в разных режимах. По сравнению с социально-демократическими государствами, консервативным странам присуща большая стандартизация и централизация управления высшим образованием — вузы менее автономны и часто получают финансирование в зависимости от результативности [Triventi, 2014]. В либеральном РВБ вузы более автономны [Dolenec, 2006]. Однако другие исследователи не нашли паттернов университетской автономии в РВБ [Willemse, de Beer, 2012], поэтому данный вопрос остается открытым.

Охват и доступность высшего образования

С точки зрения *охвата высшим образованием* режимы стартовали с очень разных позиций, но глобальный процесс экспансии сделал эти различия менее заметными. В либеральных и социально-демократических странах уровень образования населения в среднем рос с большей скоростью, чем в консервативных [Blossfeld, 2016].

Сохраняются различия в структуре образования населения. Скандинавские страны характеризуются наибольшим охватом по всем уровням обучения.

Консервативные страны отличаются в среднем меньшим уровнем образованности граждан, относительным акцентом на дошкольном и профессиональном образовании и, соответственно, меньшим охватом старшей школой и высшим образованием. Либеральные РВБ делают акцент на общих навыках, поэтому охват школьным и высшим образованием сравнительно выше, чем профессиональным [West, Nikolai, 2013]. Тем не менее в охвате высшим образованием первенство все равно остается за социально-демократическими странами [Triventi, 2014].

Доля успешно окончивших аспирантуру оказывается наибольшей в социально-демократических странах, затем — в консервативных, и наименьшая — в либеральных [Bégin-Caouette et al., 2016]. Барьеры для участия взрослого населения в высшем образовании наименьшие в либеральных режимах, а также в социально-демократических, и наибольшие — в постсоветских странах [Saar, Täht, Roosalu, 2014]. В целом охват программами обучения взрослых наиболее высок в социально-демократических странах, наименьший — в консервативных, и средний — в либеральных [Massing, Gaulty, 2017].

Государства всеобщего благосостояния дифференцированы с точки зрения *неравенства доступа к высшему образованию*. Позитивная связь социального положения и достигнутого уровня образования наблюдается во всех РВБ, однако ее сила различна. Во всех режимах малообеспеченные семьи сравнительно меньше охвачены третичным образованием. Социальное происхождение (социальный класс, профессиональный статус и образование родителей) имеют большее влияние на достигнутый уровень образования в консервативных режимах, затем следуют либеральные страны, где сильнее разница между семьями среднего класса и наиболее обеспеченными слоями населения [Raitano, 2015]. В социально-демократических государствах социальное положение родителей [Bukodi et al., 2017] и доход семей [Raitano, 2015] имеют относительно малый эффект на образовательные возможности детей. Ожидаемо, что межпоколенческая образовательная мобильность существенна в либеральных режимах и менее заметна в консервативных [Beller, Hout, 2006].

Вопросы гендерного неравенства и дефамилиализации (то есть возможности поддержания уровня жизни безотносительно брачного статуса и внутрисемейных отношений) стали важны для уточнения «классических» моделей РВБ, хотя их рассмотрение применительно к образованию куда менее распространено. Гендерное неравенство образовательных возможностей в меньшей степени характерно для социально-демократических режимов и в наибольшей степени проявляется в консервативных [Blossfeld, 2016], где значение имеет модель патриархальной семьи. И хотя социально-демократические страны — лидеры по гендерному равенству в высшем образовании, даже в этих странах присутствует горизонтальная сегрегация мужчин и женщин: женщины реже учатся на инженерно-технических и естественнонаучных направлениях [Ianneli, Smyth, 2008]. Экспансия высшего образования существенно выровняла возможности получения образования для женщин во всех режимах, в том числе в консервативных странах, которые были традиционно наиболее неравными в гендерном измерении [Blossfeld, 2016].

Заметный пласт работ посвящен анализу специфики нордических стран в выравнивании образовательных возможностей. Анализ кейсов с использо-

ванием разных метрик образовательной мобильности (накопленное количество лет обучения, сравнение полученных уровней образования и отношение шансов) показал, что, например, в нордической модели Дании мобильность выше, чем в либеральном режиме США [Andrade, Thomsen, 2018]. Социальная защищенность людей с высшим образованием может стимулировать повышение образовательного уровня по сравнению с либеральными моделями, где уровень социальных рисков выше. В соответствии с альтернативной точкой зрения, в нордической модели щедрое социальное обеспечение и небольшая дифференциация доходов могут приводить к снижению стимулов для получения высшего образования и, как следствие, к ограниченной социальной мобильности [Landersø, Heckman, 2017].

Углубленный анализ образовательной системы Франции [van Zanten, 2019] показал, как в консервативном режиме высокая степень дифференциации и неформального трекинга на школьном и вузовском уровне, вместе с моделями выбора, обусловленными семейным капиталом, приводят к существенным диспропорциям в распределении высшего образования. Продолжая эту линию, Х. Андрес и Л. Печар [Andres, Pechar, 2013] показывают, что в консервативных странах высокая стратификация доступа к высшему образованию обеспечивается через фильтрацию на уровне школы, несмотря на преобладающее отсутствие платы за обучение в вузах.

Консервативные страны характеризуются выраженной стратификацией образовательных систем и меньшим, по сравнению с либеральными странами, акцентом на инклюзию депривированных групп населения. Получение образования мотивируется рисками исключения из распределительной модели, так как благосостояние в консервативных режимах определяется в первую очередь профессиональным статусом. Либеральные страны делают меньший акцент на социальной опеке, индивидуальные риски высоки, а значит, участие в образовании мотивировано экономической отдачей от него на рынке труда [Voeren et al., 2012].

В немногочисленных публикациях затрагивается способность режимов сокращать или усиливать неравенство доступности высшего образования на фоне расширения охвата населения всеми уровнями обучения. За время экспансии высшего образования неравенство образовательных возможностей выросло в либеральных странах. Скандинавские государства стартовали с позиций более низкого уровня неравенства и сохранили их по мере экспансии [Blossfeld, 2016]. До «золотого века» государств всеобщего благосостояния в Скандинавских странах социальное положение отца было таким же значимым предиктором получения высшего образования, как и в других режимах. А уже для детей неквалифицированных рабочих поколения 1970-х годов в Дании и Швеции вероятность получения высшего образования детьми была выше в три-четыре раза, чем в Германии или США. Ни в консервативных, ни в либеральных странах таких изменений не произошло до сих пор [Esping-Andersen, 2015].

В нордических странах доступность высшего образования улучшилась в целом за счет расширения количества мест в вузах. Однако это было достигнуто во многом за счет поступления учащихся из семей с низким культурным капиталом на менее престижные практико-ориентированные программы [Thomsen, 2015].

Рассмотренные исследования соотносят дифференциацию доступности и институциональные характеристики образовательных систем в РВБ, но не концептуализируют причинно-следственные связи, характерные для конкретного режима.

Кроме этого, стоит отметить перспективность изучения экспансии высшего образования и ее последствий для неравенства с точки зрения концепции государства всеобщего благосостояния. Например, сравнение действия популярных в академической литературе концепций эффективно или максимально поддерживаемого неравенства в разных РВБ остается дефицитным. Наконец, не дан ответ на вопрос о степени устойчивости идеальных моделей РВБ и характерных для них паттернов охвата высшим образованием. Даже для Скандинавских стран с универсалистской логикой обеспечения образованием населения дифференциация доступности заметно различается, если, например, сравнивать Финляндию и Швецию [Thomsen et al., 2017].

Образовательные факторы социальной стратификации

Для всех режимов в среднем более высокий уровень охвата высшим образованием связан с большим уровнем социальной мобильности (имеется в виду соотношение профессиональных статусов родителей и их детей) [Beller, Hout, 2006]. Тем не менее РВБ имеют характерные отличия с точки зрения связи достигнутого образовательного уровня и жизненных шансов в занятости, заработной плате, субъективном благополучии.

Вероятность быть трудоустроенным сравнительно выше у выпускников вузов в социально-демократических и англосаксонских странах и меньше — в консервативных и североамериканских государствах. Тем не менее в консервативных режимах шансы на *трудоустройство* выпускников вузов и колледжей все еще существенно выше, чем у выпускников школ [Triventi, 2014], что объясняется моделью дуального обучения, способствующей профилактике безработицы молодежи. В Скандинавских странах институты развитого социального государства лучше страхуют от долгосрочной безработицы [Tamesberger, 2017].

Различия в трудоустройстве молодежи в зависимости от социально-экономического бэкграунда (при контроле уровня образования) опять же минимальны в нордических странах. В консервативных режимах вероятность трудоустройства определяется в большей степени происхождением, а не образованием [Iannelli, Smyth, 2008].

На сегодняшний день практически отсутствуют работы, которые фокусируются на сравнении отдачи от высшего образования в разных режимах. Одно из немногих исследований показало [Triventi 2014], что в североамериканских странах выпускники третичного сектора получают самую высокую зарплатную премию за образование на рынке труда по сравнению с выпускниками старшей школы. Следом идут консервативные страны, страны англосаксонского блока и социально-демократические режимы. В силу активной политики перераспределения доходов, в социально-демократических странах прямые экономические стимулы получения третичного образования меньше, чем в других режимах. Однако участие в высшем образовании может стимулироваться, во-первых, премией на регио-

нальном рынке труда [Rodríguez-Pose, Tselios, 2012], а во-вторых, получением больших общественных благ, обусловленных профессиональным положением [Kolm, Tonin, 2015].

Получение послешкольного образования вносит вклад в стратификацию населения по субъективному благополучию. Однако при контроле демографических характеристик, здоровья, занятости и дохода данная связь сохраняется только для консервативных режимов [Jongbloed, Pullman, 2016]. При этом авторы сами справедливо отмечают контринтуитивность вывода об отсутствии связи для либеральных стран, где дифференциация по здоровью и доходу намного выше, чем в нордических странах.

Одинаково для всех режимов более высокий уровень образования снижает социальную изоляцию [Ogg, 2005].

Консервативные модели отличаются и большей значимостью образования в формировании различий в субъективном восприятии здоровья; затем следуют либеральные режимы, ожидаемо наименьшие различия — в социально-демократических странах [Leão et al., 2018].

Таким образом, конвенциональным оказывается представление, что модель социально-демократических режимов в наибольшей степени выравнивает возможности для социальной мобильности, в том числе посредством образования. Однако даже в нордических странах в наиболее и наименее обеспеченных группах населения мобильность осталась незначительной, тогда как выравнивающий эффект социальной политики прежде всего затронул средний класс [Esping-Andersen, 2015]. В консервативных режимах поддерживается социальная стратификация, тогда как либеральные режимы допускают большую степень мобильности.

Семейный капитал может влиять на мобильность опосредованно — через различия в доступе к образованию — или напрямую дифференцировать жизненные шансы и социальное положение детей из разных семей. Социально-демократические режимы выравнивают социальные различия безотносительно участия в высшем образовании, тогда как в либеральных режимах уровень охвата третичным образованием выступает значимым фактором дифференциации социальной мобильности [Beller, Hout, 2006].

Модели высшего образования в режимах всеобщего благосостояния

Систематизация исследований позволяет выделить следующие паттерны институциональных характеристик, структуры охвата высшим образованием и образовательных факторов социальной стратификации в разных РВБ (суммированы в табл. 1).

Присущие *социально-демократическому режиму* максимальная декоммодификация и минимальная стратификация распределения благосостояния находят отражение в институциональных характеристиках образовательной системы. Высшее образование является частью обширного пакета государственного социального обеспечения, нацеленного на равенство условий для граждан. На всех уровнях образования государственные расходы и образовательные организации преобладают над частными. Высшее образование менее селективно

и более стандартизировано, расценивается как общественное благо, которое предоставляется массово и бесплатно по праву гражданства. Все студенты могут рассчитывать на значительную государственную поддержку, стипендии и беспроцентные займы. Трекинг неселективный, нежесткий или отсутствует вовсе, выбор траектории обучения совершается поздно. Профессионализация школьного образования высока, связана с высокой степенью координации рынков и акцентом на специфических навыках, что при этом не приводит к неравному распределению компетенций и образовательных результатов школьников. В результате в социально-демократических странах наибольший уровень охвата населения по всем уровням образования, включая высшее и образование взрослых, а его доступность в меньшей степени подвержена социально и гендерно обусловленному неравенству. Вклад образования в социальную мобильность не является решающим. Из-за активной политики перераспределения доходов наличие послешкольного образования обеспечивает наименьшую среди всех РВБ разницу в зарплате по сравнению с выпускниками школ и ведет к невысокой дифференциации как по уровню субъективного благополучия, так и по уровню дохода.

Либеральным режимам свойственны маркетизация и меритократия в распределении благосостояния, обуславливающие высокую степень стратификации. Высшее образование рассматривается как преимущественно индивидуальное благо, минимальное участие государства допускается только там, где необходимо исправление провалов рынка и координация общественных экстерналий. Выбирая между альтернативами социальной политики, либеральные страны в государственных расходах делают акцент на выравнивании возможностей через образование. При этом больший акцент приходится на школьное образование. Высшее образование предоставляется, как правило, на платной основе и по высокой стоимости, финансируется преимущественно за счет частных ресурсов. Система поддержки студентов развита в основном по линии кредитования и государственной помощи наименее социально защищенным группам. Идеология конкурентного меритократического доступа к высшему образованию воплощена в отсутствии трекинга в школьном образовании и связана с наиболее высоким уровнем межпоколенческой образовательной мобильности. Высокий охват высшим образованием обеспечивается не государством, но рынком. При этом доступ к высшему образованию и вероятность окончания университета *de facto* во многом обусловлены семейным капиталом и финансовыми ресурсами. Либеральные страны делают акцент на профессионально неспецифических навыках на фоне слабо регулируемых рынков труда и меньшей государственной ответственности в страховании рисков. Премия за высшее образование наиболее высокая при существенной дифференциации заработных плат и сравнительно большей безработице молодежи. Социальная мобильность и субъективное благополучие тесно связаны с наличием высшего образования.

Консервативные режимы стремятся к воспроизводству существующих иерархий: организация социальных сфер, и в том числе высшего образования, способствует поддержанию социальной стратификации.

В структуре государственных расходов главное место занимают социальное страхование и прямые социальные выплаты, а не образование. В системе образования больший акцент в финансировании делается на школьном и профессиональном образовании, охват высшим образованием наименьший среди РВБ. Высшее образование обеспечивается при сильном государственном участии, его стоимость невысока, при этом преобладает роль семьи, схемы государственной поддержки студентов развиты слабо. Разделение на академический и профессиональный треки начинается очень рано и определяет последующий образовательный уровень и социальное расслоение. Доступ к образованию, как и к другим общественным благам, во многом зависит от социального статуса семьи, что способствует поддержанию минимальной межпоколенческой образовательной мобильности. Стратификация образовательных возможностей конвертируется в различия образовательных результатов и профессиональных траекторий. Сильнее всего среди РВБ наличие высшего образования вознаграждается на рынке труда и в терминах зарплаты, а также в вероятности трудоустройства. Уровень благополучия сильно стратифицирован в зависимости от уровня образования и дохода. Преобладающая модель патриархальной семьи соответствует большей степени гендерных диспропорций в образовательных возможностях.

Таблица 1. Модели распределения высшего образования в режимах государств всеобщего благосостояния

Институциональное устройство систем образования			Доступность высшего образования		Образовательные факторы социальной стратификации *****
Финансирование образования *	Трекинг и дифференциация образовательных результатов **	Профессионализация старшей школы ***	Охват образованием ****	Неравенство доступа к высшему образованию *****	
<i>Социально-демократический РВБ</i>					
<p>Высокие государственные расходы (на все уровни образования) преобладают над частными, доля которых минимальна.</p> <p>Высокая финансовая доступность: образование бесплатно, развиты схемы безусловной массовой финансовой поддержки студентов.</p>	<p>Неселективный, гибкий, поздний трекинг (либо отсутствует).</p> <p>Низкая дифференциация траекторий после основной школы.</p> <p>Низкая дифференциация образовательных результатов.</p>	Средняя/ высокая	<p>Максимальный охват всеми уровнями образования, включая дошкольное, высшее и образование взрослых, программы аспирантуры.</p> <p>Высокая скорость экспансии высшего образования.</p>	<p>Высокая доступность вне зависимости от уровня образования, дохода, классовой принадлежности родителей.</p> <p>Снижение неравенства по мере экспансии.</p> <p>Средний уровень образовательной мобильности.</p> <p>Низкий уровень гендерного неравенства при сохранении горизонтальной сегрегации.</p> <p>Экспансия снизила неравенство за счет доступа к высшему образованию для менее образованных семей.</p>	<p>Низкая роль образования в дифференциации зарплатных премий, вероятности трудоустройства, субъективного благополучия.</p> <p>Высшее образование — страховка от долгосрочной безработицы.</p> <p>Обеспечивается равенство возможностей социальной мобильности, которое сравнительно слабо связано с высшим образованием.</p> <p>Высокий уровень социальной мобильности среднего класса.</p>

Институциональное устройство систем образования			Доступность высшего образования		Образовательные факторы социальной стратификации *****
Финансирование образования *	Трекинг и дифференциация образовательных результатов **	Профессионализация старшей школы ***	Охват образованием ****	Неравенство доступа к высшему образованию *****	
<i>Либеральный РВБ</i>					
<p>В структуре государственных расходов образование преобладает над социальным страхованием (финансирование равенства возможностей).</p> <p>Высокие государственные расходы на школьное образование. Высокий уровень финансирования высшего образования за счет частных инвестиций.</p> <p>Резидуальная поддержка студентов на основании экономического положения.</p> <p>Низкая финансовая доступность: образование платное, стоимость высокая, но развито образовательное кредитование.</p>	<p>Трекинг отсутствует в североамериканских странах, частично сохранен в англосаксонских (поздний).</p> <p>Низкая формальная дифференциация траекторий после основной школы, неформальный трекинг.</p> <p>Высокая дифференциация образовательных результатов (внутри школ).</p>	Низкая	<p>Высокий охват профессионально неспецифичным (школьным и высшим) образованием.</p> <p>Высокая скорость экспансии высшего образования.</p>	<p>Большая роль культурного капитала и ресурсов семей в образовательных возможностях.</p> <p>Рост неравенства по мере экспансии.</p> <p>Образовательная мобильность — самая высокая среди РВБ.</p> <p>Сильная разница в образовательных возможностях между семьями среднего класса и наиболее обеспеченными слоями населения.</p> <p>Экспансия усилила поляризацию образовательных возможностей.</p>	<p>Высокая премия за высшее образование, но премия в вероятности трудоустройства — самая низкая среди РВБ.</p> <p>Субъективное благополучие дифференцировано в зависимости от наличия высшего образования.</p> <p>Высшее образование — источник социальной мобильности.</p> <p>Высокий уровень социальной мобильности.</p>
<i>Консервативный РВБ</i>					
<p>В структуре государственных расходов социальное страхование преобладает над образованием (финансирование равенства результатов).</p> <p>Государственные расходы на высшее образование относительно низки, но преобладают над частными.</p> <p>В структуре расходов относительный акцент на школьном и профессиональном образовании.</p> <p>Средняя финансовая доступность: высшее образование, как правило, недорогое, финансовая поддержка студентов слабо развита.</p>	<p>Селективный, не гибкий, ранний трекинг.</p> <p>Высокая формальная дифференциация траекторий после начальной/основной школы.</p> <p>Высокая дифференциация образовательных результатов (между школами).</p>	Высокая	<p>Низкий охват высшим образованием.</p> <p>Большой охват профессиональным и дошкольным образованием.</p> <p>Низкая скорость экспансии высшего образования.</p>	<p>Самая большая роль социального статуса семей в образовательных возможностях.</p> <p>Социальное происхождение оказывает самое сильное влияние на доступ к высшему образованию среди РВБ.</p> <p>Образовательная мобильность низкая.</p> <p>Высокий уровень гендерного неравенства.</p>	<p>Высокая премия за высшее образование, большие различия в отдаче от разных уровней образования.</p> <p>Дифференциация доходов в первую очередь связана с происхождением, а не с образованием.</p> <p>Субъективное благополучие сильно дифференцировано в зависимости от уровня образования.</p> <p>Образовательная стратификация лежит в основе стабильной социальной стратификации.</p>

Примечание. Список источников:

- * [Hega, Hokenmaier, 2002; Pechar, Andres, 2011; Sakamoto, 2018; Willems, de Beer, 2013; Mosher, 2015; West, Nikolai, 2013; Dolenc, 2006; Triventi, 2014; Bégin-Caouette, Askvik, Cui, 2016; Schulze-Cleven, Olson, 2017; Wollscheid, Hovdhaugen, 2019].
- ** [Bukodi et al., 2018; Willems, de Beer, 2013; Triventi, 2014; West, Nikolai, 2013; Blossfeld, 2016; Pechar, Andres, 2011; Xu, 2008; Xu, Hampden-Thompson, 2012; Peter et. al, 2010; Allmendinger, Leibfried, 2003; Beblavý et al., 2013].
- *** [Hega, Hokenmaier, 2002; West, Nikolai, 2013; Triventi, 2014; Andres, Pechar, 2013; Hokenmaier, 1998].
- **** [West, Nikolai, 2013; Pechar, Andres, 2011; Triventi, 2014; Bégin-Caouette, Askvik, Cui, 2016; Saar et al., 2014; Massing, Gauly, 2017; Boeren et al., 2012; Andres, Pechar, 2013; Blossfeld, 2016].
- ***** [Raitano, 2015; Bukodi et al., 2018; Beller, Hout, 2006; Triventi, 2014; Andrade, Thomsen, 2018; Landersø, Heckman, 2017; Thomsen et al., 2017; van Zanten, 2019; Esping-Andersen, 2015; Andres, Pechar, 2013; Thomsen, 2015; Iannelli, Smyth, 2008; Blossfeld, 2016; Massing, Gauly, 2017].
- ***** [Beller, Hout, 2006; Schulze-Cleven, Olson, 2017; Rodríguez-Pose, Tselios, 2012; Triventi, 2014; Kolm, Tonin, 2015; Raitano, 2015; Castellano, Punzo, 2016; Triventi, 2014; Tamesberger, 2017; Iannelli, Smyth, 2008; Ogg, 2005; Jongbloed, Pullman, 2016; Leão et al., 2018; Esping-Andersen, 2015].

Заключение

В данной статье представлен обзор исследований, касающихся места высшего образования в режимах государств всеобщего благосостояния. Соотношения доступности высшего образования, институционального дизайна образовательных систем и социальной стратификации формируют характерные для разных режимов профили. Паттерны распределения высшего образования задают пространство для его концептуализации как социального блага современного государства всеобщего благосостояния. Проведенный обзор научных статей позволяет выделить ряд ограничений и перспективных векторов для дальнейших исследований.

Долгое время доминировало представление, сформулированное Гарольдом Виленским, что образование принципиально отличается от социальной политики и находится вне рамок формирования государств всеобщего благосостояния [Wilensky, 1974]. Среди характеристик, отличающих высшее образование от других социальных благ, ключевыми считаются его историческая элитарность и примат индивидуальной экономической отдачи, меритократичность и конкурентность в распределении. В отличие от других социальных благ, для которых чем выше их денежное выражение, тем выше потенциал декоммодификации, экономическая отдача напрямую зависит от участия в рынке труда. Кроме этого, в отличие от социальных пособий и трансфертов, имеющих прямой распределительный эффект, у высшего образования есть потенциал опосредованного перераспределения благосостояния *ex ante*. С другой стороны, высшее образование обладает немонетарной ценностью и все больше воспринимается как неотъемлемая часть благополучия современного человека. В последние годы академическая дискуссия смещается в сторону общественных экстерналий высшего образования. Тем не менее вопрос о том, в какой степени его можно считать частью ресурсов всеобщего благосостояния, остается открытым.

Режимы государств всеобщего благосостояния различаются по характеристикам институционального устройства систем образования — образовательным траекториям, институциональной дифференциации, балансу рыночного и государственного участия, структуре ресурсного обеспечения. Тем не менее дискуссия концентрируется вокруг отдельных характеристик (чаще всего финансирования или структуры охвата), тогда как только немногие работы сравнивают сочетания элементов институционального устройства, описывая модели образовательных политик, сопоставляя их типы и вариации с более широким контекстом распределительной модели.

Необходимость дальнейших исследований в данном направлении заметна также в дефицитах концептуализации влияния политических и экономических оснований РВБ на институционализацию сферы высшего образования. Авторы рассмотренных статей используют типологию режимов в качестве аналитической рамки и соответствующие страны — в качестве единиц наблюдения. При этом эмпирически выявленные паттерны распределения образования редко адресуются к вопросу о природе и эволюции данных моделей через призму концепции государств всеобщего благосостояния.

Без выявления (в том числе с позиции исторического институционализма) роли политической мобилизации, соотношения семьи, рынка и государства, принципов социальной политики в формировании дизайна непосредственно образовательных

систем данная типология, будучи эффективной эвристикой для анализа социальной политики, остается менее продуктивной и специфичной для сферы высшего образования. Так, многие исследования, не адресуясь специально к концепции РВБ, пришли к схожим выводам, например в части организации систем образования [Green, Preston, Janmaat, 2006] или образовательной мобильности (см. [Müller et al., 1996]).

Дальнейшего рассмотрения требует и вопрос о связи высшего образования с другими подсистемами государства всеобщего благосостояния. Одна традиция утверждает конгенитальность принципов организации разных социальных сфер в рамках режимов, то есть высшее образование выстраивается в соответствии с теми же векторами стратификации и декоммодификации, что и другие социальные сферы [Willemse, de Beer, 2012], акценты в социальной политике, включая развитие образования, сонаправлены [Sakamoto, 2018]. Другая традиция говорит, что в организации социальных сфер страны группируются по комбинациям альтернатив государственной политики, в которых социальное обеспечение и образование являются субститутами [Hega, Hokenmaier, 2002]. При этом операционализация этих соотношений преимущественно ограничена показателями финансирования. В существенно меньшей степени в рассмотренных статьях фигурируют другие общественные сферы, например рынок труда, семейная политика, режимы производства, что определяет возможности для перспективных исследований. Так, в работе [Powell, Barrientos, 2004] рассмотрены типы сочетаний разных элементов политики социального страхования рисков (*welfare mix*): респонсивного (расходы на социальное обеспечение), перспективного (расходы на образование) и расходов на активную политику на рынках труда. Выяснилось, что именно включение разных элементов позволяет выделять более точные и устойчивые модели социальных политик. Другое исследование показало, что в Швеции социальная политика защиты трудящихся, координация системы образования с запросами со стороны рынка труда, стратегии трудоустройства и модели безработицы тесно взаимоувязаны в рамках модели социально-демократического режима [DiPrete et al., 2001].

В последние годы развиваются альтернативные подходы к исследованию производства и распределения благ в современных капиталистических обществах, которые рассматривают образование как элемент национальных политико-экономических моделей.

Роль образования в данных концепциях в основном различается по линии акцента на формировании общих или специфических навыков, связанных со степенью социальной защиты и координации рынка труда [Hall, Soskice, 2001]. Комбинация институтов социальной защиты труда определяет структуру образования с акцентом на специфические (для фирм или для отрасли в целом) навыки и профессиональное образование в странах с сильной социальной защитой трудящихся и на общие навыки и высшее образование в странах, где такой защиты нет [Estevez-Abe, Iversen, Soskice, 2001].

Ряд типологий продолжает эту линию, синтезируя концепции государства всеобщего благосостояния и разновидностей капитализма (*varieties of capitalism*): режимы формирования человеческого капитала [Iversen, Stephens, 2008], режимы формирования навыков [Bussemeyer, 2014], режимы транзита (от школы до рабочего места) [Pohl, Walther, 2007], режимы рынков труда и всеобщего благополучия

[Tamesberger, 2017]. Данные подходы выделяют типы стран, которые в целом соответствуют классификации режимов государств всеобщего благосостояния, однако фокусируются на уровне профессионального образования или не рассматривают образовательную систему детально. Таким образом, рамка государства всеобщего благосостояния обладает дальнейшим потенциалом для интеграции с другими подходами и сравнительного изучения именно систем высшего образования в более широком контексте моделей современного капитализма.

Наконец, концепция РВБ с самого начала критиковалась за статичность и идеалистичность предложенных моделей. Различия в организации образовательных систем в рамках одного режима были показаны, например, для Скандинавских [Antikainen, 2006] и консервативных стран [Castellano, Punzo, 2016]. Аналогично при анализе участия в высшем образовании, расходов на образование, стоимости обучения, грантовой поддержки и трекинга для посткоммунистических стран была обнаружена гибридизация режимов, сочетающая либеральный и консервативный подходы [Czarnecki, 2014]; различается организация образования и в балтийских республиках [Želvyz, Jakaitienė, Stumbrienė, 2017].

Гибридизация ставит вопрос о релевантности сравнения политики обеспечения всеобщего благосостояния на национальном уровне, особенно для федеративных государств. В ряде исследований эвристика РВБ была апробирована для сравнения региональных моделей распределения благосостояния, существующих в рамках одного государства, — Швейцарии [Armingeon, 2004], Бразилии [Satyro, Cunha, 2019], Китая [Ratigan, 2017].

Проблематика трансформации моделей остается ключевой для концепции РВБ. Например, эволюция образования в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы далека от идеальных типологий, так как, подчиняясь логике рыночного транзита и копирования моделей европейской академии, она опиралась на советское наследие сильной опеки со стороны государства [Kwiek, 2014]. Вопрос о месте высшего образования в трансформирующихся государствах всеобщего благосостояния, для которых нехарактерна «западная» модель капитализма и демократии, остается практически незатронутым.

Типологизация режимов позволяет выйти за рамки сравнения образовательных систем с позиций глобальной конвергенции, но, с другой стороны, во многом упускает из виду роль глобализации и неолиберального транзита. Страны с разными РВБ по-разному проходили одинаковый процесс маркетизации и либерализации управления университетами в зависимости от политико-экономического контекста [Schulze-Cleven, Olson, 2017]. На стыке общих тенденций развития государств всеобщего благосостояния и исторической укорененности институтов лежит возможность анализа соотношения идеализированных типов и их актуальных вариаций в конкретных странах.

Список литературы (References)

Agasisti T. (2009) Towards 'Lisbon Objectives': Economic Determinants of Participation Rates in University Education: An Empirical Analysis in 14 European Countries. *Higher Education Quarterly*. Vol. 63. No. 3. P. 287—307. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2008.00416.x>.

Allmendinger J., Leibfried S. (2003) Education and the Welfare state: The Four Worlds of Competence Production. *Journal of European Social Policy*. Vol. 13. No. 1. P. 63—81. <https://doi.org/10.1177/0958928703013001047>.

Andrade S. B., Thomsen J. P. (2018) Intergenerational Educational Mobility in Denmark and the United States. *Sociological Science*. Vol. 5. No. 5. P. 93—113. <https://doi.org/10.15195/v5.a5>.

Andres L., Pechar H. (2013) Participation Patterns in Higher Education: A Comparative Welfare and Production Régime Perspective. *European Journal of Education*. Vol. 48. No. 2. P. 247—261.

Antikainen A. (2006) In Search of the Nordic Model in Education. *Scandinavian Journal of Educational Research*. Vol. 50. No. 3. P. 229—243. <https://doi.org/10.1080/00313830600743258>.

Armingeon K. (2004) Renegotiating the Swiss Welfare State. In: Lehbruch G., van Waarden F. (eds.) *Renegotiating the Welfare State*. London: Routledge. P. 181—200.

Beblavý M., Thum A. E., Veselkova M. (2013) Education and Social Protection Policies in OECD Countries: Social Stratification and Policy Intervention. *Journal of European Social Policy*. Vol. 23. No. 5. P. 487—503. <https://doi.org/10.1177/0958928713499174>.

Bégin-Caouette O., Askvik T., Cui B. (2016) Interplays Between Welfare Regimes Typology and Academic Research Systems in OECD Countries. *Higher Education Policy*. Vol. 29. No. 3. P. 287—313. <https://doi.org/10.1057/hep.2015.25>.

Beller E., Hout M. (2006) Welfare States and Social Mobility: How Educational and Social Policy May Affect Cross-National Differences in the Association Between Occupational Origins and Destinations. *Research in Social Stratification and Mobility*. Vol. 24. No. 4. P. 353—365. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2006.10.001>.

Blossfeld P.N. (2016) Inequality of Educational Opportunity and Welfare Regimes. *World Studies in Education*. Vol. 17. No. 2. P. 53—85. <https://doi.org/10.7459/wse/17.2.05>.

Boeren E., Holford J., Nicaise I., Baert H. (2012) Why Do Adults Learn? Developing a Motivational Typology Across 12 European Countries. *Globalisation, Societies and Education*. Vol. 10. No. 2. P. 247—269. <https://doi.org/10.1080/14767724.2012.678764>.

Breen R., Jonsson J. O. (2005) Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility. *Annual Review of Sociology*. Vol. 31. P. 223—243.

Brooks R. (2012) Student-Parents and Higher Education: A Cross-National Comparison. *Journal of Education Policy*. Vol. 27. No. 3. P. 423—439. <https://doi.org/10.1080/02680939.2011.613598>.

Bukodi E., Eibl F., Buchholz S., Marzadro S., Minello A., Wahler S., Blossfeld H.-P., Erikson R., Schizzerotto A. (2018) Linking the Macro to the Micro: A Multidimensional Approach to Educational Inequalities in Four European Countries. *European Societies*. Vol. 20. No. 1. P. 26—64. <https://doi.org/10.1080/14616696.2017.1329934>.

Busemeyer M. R. (2014) *Skills and Inequality: Partisan Politics and the Political Economy of Education Reforms in Western Welfare States*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107477650>.

Castellano R., Punzo G. (2016) Patterns of Earnings Differentials Across Three Conservative European Welfare Regimes with Alternative Education Systems. *Journal*

of Applied Statistics. Vol. 43. No. 1. P. 140—168. <https://doi.org/10.1080/02664763.2015.1049518>.

Castles F. G., Ferrera M. (1996) Home Ownership and the Welfare State: Is Southern Europe Different? *South European Society and Politics*. Vol. 1. No. 2. P. 163—185. <https://doi.org/10.1080/13608749608539470>.

Chankseliani M. (2013) Rural Disadvantage in Georgian Higher Education Admissions: A Mixed-Methods Study. *Comparative Education Review*. Vol. 57. No. 3. P. 424—456. <https://doi.org/10.1086/670739>.

Czarnecki K. (2014) The Higher Education Policy of Post-Communist Countries in the Context of Welfare Regimes. *The Poznan University of Economics Review*. Vol. 14. No. 2. P. 43—62.

DiPrete T. A., Goux D., Maurin E., Tahlin M. (2001) Institutional Determinants of Employment Chances. The Structure of Unemployment in France and Sweden. *European Sociological Review*. Vol. 17. No. 3. P. 233—254.

Dolenec D. (2006) Marketization in Higher Education Policy: An Analysis of Higher Education Funding Policy Reforms in Western Europe Between 1980 and 2000. *Revija Za Socijalnu Politiku*. Vol. 13. No. 1. P. 15—35.

Esping-Andersen G. (2015) Welfare Regimes and Social Stratification. *Journal of European Social Policy*. Vol. 25. No. 1. P. 124—134. <https://doi.org/10.1177/0958928714556976>.

Esping-Andersen G. (1990) *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Esping-Andersen G. (ed.). (1996) *Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Estevez-Abe M., Iversen T., Soskice D. (2001) Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State. In: Hall P. A., Soskice D. (eds.) *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press. P. 145—183. <https://doi.org/10.1093/0199247757.003.0004>.

Gamoran A. (2007) More Inclusion than Diversion: Expansion, Differentiation, and Market Structure in Higher Education. In: Shavit Y., Arum R., Gamoran A. (eds.) *Stratification in Higher Education: A Comparative Study*. Redwood City: Stanford University Press. P. 1—36. <https://doi.org/10.1515/9780804768146-003>.

Goastellec G. (2017) Higher Education, Welfare State, and Inequalities. In: Shin J., Teixeira P. (eds.) *Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions*. Dordrecht: Springer. P. 1—6. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_364-1.

Gough I. (2001) Globalization and Regional Welfare Regimes: The East Asian Case. *Global Social Policy*. Vol. 1. No. 2. P. 163—189. <https://doi.org/10.1177/146801810100100202>.

Green A., Preston J., Janmaat J. (2006) *Education, Equality and Social Cohesion: A Comparative Analysis*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New York, NY: Palgrave Macmillan.

Hall P. A., Soskice D. (2001) An Introduction to Varieties of Capitalism. In: Hall A., Soskice D. (eds.) *Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press. P. 1—68.

Hega G. M., Hokenmaier K. G. (2002) The Welfare State and Education: A Comparison of Social and Educational Policy in Advanced Industrial Societies. *German Policy Studies*. Vol. 2. No. 1. P. 143—173.

Hokenmaier K. G. (1998) Social Security vs. Educational Opportunity in Advanced Industrial Societies: Is There a Trade-Off? *American Journal of Political Science*. Vol. 42. No. 2. P. 709—711.

Iannelli C., Smyth E. (2008) Mapping Gender and Social Background Differences in Education and Youth Transitions Across Europe. *Journal of Youth Studies*. Vol. 11. No. 2. P. 213—232. <https://doi.org/10.1080/13676260701863421>.

Iversen T., Stephens J. D. (2008) Partisan Politics, the Welfare State, and Three Worlds of Human Capital Formation. *Comparative Political Studies*. Vol. 41. No. 4—5. P. 600—637. <https://doi.org/10.1177/0010414007313117>.

Jerrim J., Vignoles A. (2015) University Access for Disadvantaged Children: A Comparison Across Countries. *Higher Education*. Vol. 70. No. 6. P. 903—921. <https://doi.org/10.1007/s10734-015-9878-6>.

Jongbloed J., Pullman A. (2016) Well-Being in the Welfare State: The Redistributive Capacity of Education. *European Journal of Education*. Vol. 51. No. 4. P. 564—586. <https://doi.org/10.1111/ejed.12196>.

Jury M., Smeding A., Stephens N. M., Nelson J. E., Aelenei C., Darnon C. (2017) The Experience of Low-SES Students in Higher Education: Psychological Barriers to Success and Interventions to Reduce Social-Class Inequality. *Journal of Social Issues*. Vol. 73. No. 1. P. 23—41. <https://doi.org/10.1111/josi.12202>.

Kerckhoff A. C. (2001) Education and Social Stratification Processes in Comparative Perspective. *Sociology of Education*. Vol. 74. P. 3—18.

Kolm A. S., Tonin M. (2015) Benefits Conditional on Work and the Nordic Model. *Journal of Public Economics*. Vol. 127. P. 115—126. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.05.010>.

Kwiek M. (2014) Changing Higher Education and Welfare States in Postcommunist Central Europe: New Contexts Leading to New Typologies? *Human Affairs*. Vol. 24. No. 1. P. 48—67. <https://doi.org/10.2478/s13374-014-0205-1>.

Kwiek M. (2005) The University and the State in a Global Age: Renegotiating the Traditional Social Contract? *European Educational Research Journal*. Vol. 4. No. 4. P. 324—341. <https://doi.org/10.2304/eeerj.2005.4.4.1>.

Kuhnle, S., Sander, A. (2010) The Emergence of the Western Welfare State. In: Castles F. G., Leibfried S., Lewis J., Obinger H., Pierson C. (eds.) *The Oxford Handbook of the Welfare State*. New York, NY: Oxford University Press.

Landersø R., Heckman J. J. (2017) The Scandinavian Fantasy: The Sources of Intergenerational Mobility in Denmark and the US. *The Scandinavian Journal of Economics*. Vol. 119. No. 1. P. 178—230. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12219>.

Leão T., Campos-Matos I., Bamba C., Russo G., Perelman J. (2018) Welfare States, the Great Recession and Health: Trends in Educational Inequalities in Self-Reported Health in 26 European Countries. *PLoS ONE*. Vol. 13. No. 2. P. e0193165. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193165>.

Lörz M., Mühleck K. (2019) Gender Differences in Higher Education from a Life Course Perspective: Transitions and Social Inequality Between Enrolment and First Post-Doc Position. *Higher Education*. Vol. 77. No. 3. P. 381—402.

Massing N., Gauly B. (2017) Training Participation and Gender: Analyzing Individual Barriers Across Different Welfare State Regimes. *Adult Education Quarterly*. Vol. 67. No. 4. P. 266—285. <https://doi.org/10.1177/0741713617715706>.

Mosher J. S. (2015) Education State, Welfare Capitalism Regimes, and Politics. *Comparative European Politics*. Vol. 13. No. 2. P. 240—262. <https://doi.org/10.1057/cep.2013.19>.

Müller W., Jonsson J. O., Mills C. (1996) A Half Century of Increasing Educational Openness? Social Class, Gender and Educational Attainment in Sweden, Germany and Britain. In: Erikson R., Jonsson J. O. (eds.) *Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective*. Boulder, CO: Westview Press. P. 183—206.

Ogg J. (2005) Social Exclusion and Insecurity Among Older Europeans: The Influence of Welfare Regimes. *Ageing and Society*. Vol. 25. No. 1. P. 69—90. <https://doi.org/10.1017/S0144686X04002788>.

Paré G., Trudel M.-C., Jaana M., Kitsiou S. (2015) Synthesizing Information Systems Knowledge: A Typology of Literature Reviews. *Information & Management*. Vol. 52. No. 2. P. 183—199. <https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008>.

Park K. H. (1996) Educational Expansion and Educational Inequality on Income Distribution. *Economics of Education Review*. Vol. 15. No. 1. P. 51—58. [https://doi.org/10.1016/0272-7757\(95\)00000-3](https://doi.org/10.1016/0272-7757(95)00000-3).

Pechar H., Andres L. (2011) Higher-Education Policies and Welfare Regimes: International Comparative Perspectives. *Higher Education Policy*. Vol. 24. P. 25—52. <https://doi.org/10.1057/hep.2010.24>.

Peter T., Edgerton J. D., Roberts L. W. (2010) Welfare Regimes and Educational Inequality: A Cross-National Exploration. *International Studies in Sociology of Education*. Vol. 20. No. 3. P. 241—264. <https://doi.org/10.1080/09620214.2010.516111>.

Pfeffer F. T. (2008) Persistent Inequality in Educational Attainment and its Institutional Context. *European Sociological Review*. Vol. 24. No. 5. P. 543—565. <https://doi.org/10.1093/esr/jcn026>.

Pohl A., Walther A. (2007) Activating the Disadvantaged. Variations in Addressing Youth Transitions Across Europe. *International Journal of Lifelong Education*. Vol. 26. No. 5. P. 533—553. <https://doi.org/10.1080/02601370701559631>.

Powell M., Barrientos A. (2004) Welfare Regimes and the Welfare Mix. *European Journal of Political Research*. Vol. 43. No. 1. P. 83—105. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2004.00146.x>.

Raitano M. (2015) Intergenerational Transmission of Inequalities in Southern European Countries in Comparative Perspective: Evidence from EU-SILC 2011. *European Journal of Social Security*. Vol. 17. No. 2. P. 292—314. <https://doi.org/10.1177/138826271501700208>.

Ratigan K. (2017) Disaggregating the Developing Welfare State: Provincial Social Policy Regimes in China. *World Development*. Vol. 98. P. 467—484. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.010>.

Riegle-Crumb C., King B. (2010) Questioning a White Male Advantage in STEM: Examining Disparities in College Major by Gender and Race/Ethnicity. *Educational Researcher*. Vol. 39. No. 9. P. 656—664. <https://doi.org/10.3102/0013189X10391657>.

Rodríguez-Pose A., Tselios V. (2012) Welfare Regimes and the Incentives to Work and Get Educated. *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 44. No. 1. P. 125—149. <https://doi.org/10.1068/a44102>.

Saar E., Täht K., Roosalu T. (2014) Institutional Barriers for Adults' Participation in Higher Education in Thirteen European Countries. *Higher Education*. Vol. 68. No. 5. P. 691—710. <https://doi.org/10.1007/s10734-014-9739-8>.

Sakamoto T. (2018) Four Worlds of Productivity Growth: A Comparative Analysis of Human Capital Investment Policy and Productivity Growth Outcomes. *International Political Science Review*. Vol. 39. No. 4. P. 531—550. <https://doi.org/10.1177/0192512116685413>.

Satyro N. G. D., Cunha P. S. (2019) The Coexistence of Different Welfare Regimes in the Same Country: A Comparative Analysis of the Brazilian Municipalities Heterogeneity. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*. Vol. 21. No. 1. P. 65—89. <https://doi.org/10.1080/13876988.2018.1484211>.

Schulze-Cleven T., Olson J. R. (2017) Worlds of Higher Education Transformed: Toward Varieties of Academic Capitalism. *Higher Education*. Vol. 73. No. 6. P. 813—831. <https://doi.org/10.1007/s10734-017-0123-3>.

Shavit Y., Muller W. (1998) *From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*. Cary, NC: Oxford University Press.

Tamesberger D. (2017) Can Welfare and Labour Market Regimes Explain Cross-Country Differences in the Unemployment of Young People? *International Labour Review*. Vol. 156. No. 3—4. P. 443—464. <https://doi.org/10.1111/ilr.12040>.

Thomsen J. P., Bertilsson E., Dalberg T., Hedman J., Helland H. (2017) Higher Education Participation in the Nordic Countries 1985—2010 — A Comparative Perspective. *European Sociological Review*. Vol. 33. No. 1. P. 98—111. <https://doi-org.eres.qnl.qa/10.1093/esr/jcw051>.

Thomsen J. P. (2015) Maintaining Inequality Effectively? Access to Higher Education Programmes in a Universalist Welfare State in Periods of Educational Expansion 1984—2010. *European Sociological Review*. Vol. 31. No. 6. P. 683—696.

Torche F. (2010) Economic Crisis and Inequality of Educational Opportunity in Latin America. *Sociology of Education*. Vol. 83. No. 2. P. 85—110. <https://doi.org/10.1177/0038040710367935>.

Triventi M. (2014) Higher Education Regimes: An Empirical Classification of Higher Education Systems and its Relationship with Student Accessibility. *Quality & Quantity: International Journal of Methodology*. Vol. 48. No. 3. P. 1685—1703. <https://doi.org/10.1007/s11135-013-9868-7>.

van Zanten A. (2019) Neo-Liberal Influences in a 'Conservative' Regime: The Role of Institutions, Family Strategies, and Market Devices in Transition to Higher Education in France. *Comparative Education*. Vol. 55. No. 3. P. 347—366. <https://doi.org/10.1080/03050068.2019.1619330>.

West A., Nikolai R. (2013) Welfare Regimes and Education Regimes: Equality of Opportunity and Expenditure in the EU (and US). *Journal of Social Policy*. Vol. 42. No. 3. P. 469—493. <https://doi.org/10.1017/S0047279412001043>.

Wilensky H. L. (1974) *The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures*. Berkley, CA: University of California Press.

Wilensky H. L. (2002) *Rich Democracies: Political Economy, Public Policy, and Performance*. Berkley, CA: University of California Press.

Willemse N., de Beer P. (2012) Three Worlds of Educational Welfare States? A Comparative Study of Higher Education Systems Across Welfare States. *Journal of European Social Policy*. Vol. 22. No. 2. P. 105—117. <https://doi.org/10.1177/0958928711433656>.

Wollscheid S., Hovdhaugen E. (2019) Study Success Policy Patterns in Higher Education Regimes: More Similarities than Differences? *Higher Education Policy*. Vol. 34. No. 2. P. 499—519. <https://doi.org/10.1057/s41307-019-00147-z>.

Xu J. (2008) Sibship Size and Educational Achievement: The Role of Welfare Regimes Cross-Nationally. *Comparative Education Review*. Vol. 52. No. 3. P. 413—436. <https://doi.org/10.1086/588761>.

Xu J., Hampden-Thompson G. (2012) Cultural Reproduction, Cultural Mobility, Cultural Resources, or Trivial Effect? A Comparative Approach to Cultural Capital and Educational Performance. *Comparative Education Review*. Vol. 56. No. 1. P. 98—124. <https://doi.org/10.1086/661289>.

Želvys R., Jakaitienė A., Stumbrienė D. (2017) Moving Towards Different Educational Models of the Welfare State: Comparing the Education Systems of the Baltic Countries. *Filosofija. Sociologija*. Vol. 28. No. 2. P. 139—150.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1842](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1842)



А. Е. Кузнецов, О. А. Сычев, Н. Л. Зелянская, К. И. Белоусов

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ШКАЛЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Правильная ссылка на статью:

Кузнецов А. Е., Сычев О. А., Зелянская Н. Л., Белоусов К. И. Русскоязычная версия шкалы региональной идентичности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 204—225. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1842>.

For citation:

Kuznetsov A. E., Sychev O. A., Zelianskaia N. L., Belousov K. I. (2022) Russian Version of the Regional Identity Scale. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 204–225. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1842>. (In Russ.)

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ШКАЛЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

КУЗНЕЦОВ Александр Евгеньевич — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

E-MAIL: kzntsv@list.ru

<https://orcid.org/0000-0003-1699-6466>

СЫЧЕВ Олег Анатольевич — кандидат психологических наук, научный сотрудник, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Бийск, Россия

E-MAIL: osn1@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0373-6916>

ЗЕЛЯНСКАЯ Наталья Львовна — кандидат филологических наук, доцент, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

E-MAIL: zelyanskaya@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5727-6919>

БЕЛОУСОВ Константин Игоревич — доктор филологических наук, профессор, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

E-MAIL: belousovki@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4447-1288>

Аннотация. В условиях глобализации и растущей межрегиональной миграции региональная идентичность выступает в качестве одного из существенных факторов, требующих учета в социально-психологических исследованиях. Тем не менее приходится констатировать отсутствие русскоязычных инструментов оценки региональной

RUSSIAN VERSION OF THE REGIONAL IDENTITY SCALE

Alexander E. KUZNETSOV¹ — Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, Department of Sociology

E-MAIL: kzntsv@list.ru

<https://orcid.org/0000-0003-1699-6466>

Oleg A. SYCHEV² — Cand. Sci. (Psych.), Research Fellow

E-MAIL: osn1@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0373-6916>

Natalia L. ZELIANSKAIA¹ — Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor

E-MAIL: zelyanskaya@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5727-6919>

Konstantin I. BELOUSOV¹ — Dr. Sci. (Philol.), Full Professor

E-MAIL: belousovki@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4447-1288>

¹ Perm State University, Perm, Russia

² Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy, Biysk, Russia

Abstract. In the context of globalization and growing interregional migration, regional identity is one of the essential factors that socio-psychological research should consider. Nevertheless, a Russian-language scale of regional identity is absent. This study proposes a Russian version of the Regional Identity Scale by R. Asún, C. Zúñiga, and J.-F. Morales. It

идентичности, отвечающих современным теоретическим представлениям о ее природе. В данном исследовании была разработана русскоязычная версия шкалы региональной идентичности Р. Асуна, К. Суньига и Х.-Ф. Моралеса, включающая четыре субшкалы, с разных сторон характеризующие региональную идентичность: чувство принадлежности региону, идентификация с территорией, культурой и населением региона. Апробация методики проводилась на выборке в 1027 жителей одиннадцати регионов России (средний возраст $M = 33,7$; $SD = 14$; 78 % женщин) в ходе бланкового и онлайн-опроса. Результаты конфирматорного факторного анализа подтверждают четырехфакторную структуру опросника при наличии общего фактора региональной идентичности. Показана высокая надежность общего показателя (α Кронбаха = 0,94) и отдельных субшкал (0,78—0,88). Валидность шкалы подтверждается высокой корреляцией с показателем региональной идентичности и умеренной — с показателями российской и общечеловеческой идентичности по методике С. Макфарленда, а также существенными корреляциями с показателями гражданской идентичности по методике С. Роккас. В соответствии с ожиданиями обнаружена зависимость региональной идентичности от возраста и места рождения (в данном или другом регионе), а также от региона проживания (при контроле возраста и места рождения). Таким образом, предложенная методика представляет собой надежный и валидный инструмент, пригодный для исследования региональной идентичности жителей регионов России.

includes four subscales that characterize various dimensions of regional identity: a sense of belonging to a region, identification with the territory, its culture, and population. We tested the scale with a survey of 1027 respondents in eleven regions of Russia (average age $M = 33.7$, $SD = 14.02$, 78% are women). The confirmatory factor analysis verifies the four-factor structure of the scale with the presence of a common regional identity factor. The reliability of the aggregated scale (Cronbach's $\alpha = 0.94$) and individual subscales (0.78—0.88) is high. The validity is confirmed by: a significant correlation with the indicator of regional identity; moderate association with indicators of Russian and universal (all humanity) identities measured by the Identification with All Humanity Scale by S. McFarland; as well as significant correlations with indicators of civic identity assessed using the relevant scale by S. Roccas. Following expectations, we found that regional identity depends on age, place of birth (in this or another region), and the region of residence (when controlling for age and place of birth). Thus, the proposed questionnaire is a reliable and valid scale suitable for studying the identity of Russian region residents.

Ключевые слова: социальная идентичность, региональная идентичность, регион, шкала региональной идентичности, факторная структура, валидность результатов опроса

Keywords: social identity, regional identity, region, regional identity scale, factor structure, validity

Благодарность. Исследование выполнено по гранту РНФ № 20-18-00336 «Геоконцептология и региональная идентичность».

Acknowledgments. The study is supported by the Russian Science Foundation grant (project No. 20-18-00336 “Geoconceptology and Regional Identity”).

Введение

Современность характеризуется взрывным возобновлением массовых миграций. В одних регионах они свидетельствуют об ослаблении или «размывании» региональной идентичности под воздействием глобализации [Sagan, Sitek, Szajnowska-Wysocka, 2020]; в других — напротив, актуализируют региональные идентичности, мобилизуют негативное отношение к иммигрантам [Hooghe, Stiers, 2020] и призывы к сдерживанию межрегиональной миграции [Vermeulen, Roy, Quax, 2019]. С другой стороны, мигрантские сообщества нередко сопротивляются ассимиляции и переносят элементы своей традиционной идентичности на новое место. Так региональная идентичность выступает как непростой, географически и структурно подвижный феномен. Сложность этого частного случая социальной идентичности может проявляться в дифференцированном отношении носителя региональной идентичности к месту жительства, к природе, культуре, истории и населению. Настоящая статья посвящена задаче разработки инструмента исследования региональной идентичности, который отразил бы ее сложность и не сводил бы ее к чисто пространственной ассоциации.

Теоретические подходы к исследованию социальной идентичности

Социальная идентичность — «часть самовосприятия человека, которая происходит из его знания о его членстве в социальной группе (или группах) вместе с эмоциональной значимостью, привязанной к этому членству» [Tajfel, 1974: 69].

Классическая традиция исследования социальной идентичности сложилась в социальной психологии. Теория социальной идентичности (Social Identity Theory; SIT) [Tajfel, 1969; Tajfel, Billic, 1974; Tajfel et al., 1971; Tajfel, Turner, 1986; Turner, Brown, Tajfel, 1979] исследовала проблему автономии групповой идентичности — возникновение межгрупповой дискриминации и ингруппового фаворитизма (тенденции благоприятствовать своей группе в ущерб другой) вне ситуаций конфликтов интересов и борьбы за ресурсы. Развитием SIT стала теория самокатегоризации (Self-Categorization Theory; SCT) [Turner, 1975; Turner et al., 1987; Turner, 1985; Turner, Oakes, 1989], описывающая взаимосвязь между межличностными и межгрупповыми отношениями на континууме деперсонализации — между личной идентичностью (соотношение «я — меня», определяющее человека как носителя личных качеств) и социальной («мы — нас», где человек может определять себя

как «типичного» представителя группы). Выбор групповой идентичности мотивируется стремлением снизить субъективную неопределенность и предполагает сравнение между доступными индивиду группами, оценку типичности [Haslam et al., 1993; Oakes et al., 1995] и однородности группы [Haslam et al., 1995; Hogg, 2000; McGarty et al., 1993].

В целом классическая теория идентичности и порожденная ею традиция исследуют идентификацию в связи с внутренним (однородность) и внешним (межгрупповым) сходством групп. Заслугой SIT и SCT стало последовательное различение проблем идентичности и *сходства*: действительно, если бы идентичность определялась сходством, то этим упраздняялась бы автономия и сама проблема идентичности.

Однако надежность выводов SIT и SCT зависит от метода сбора данных: тезис об автономии был показан на материалах так называемой «минимальной групповой парадигмы» — экспериментальные и контрольные группы в исследованиях классической традиции были принудительны, анонимны, не имели истории взаимодействия. Я. Рэбби и коллеги оспорили результаты и выводы авторов SIT и SCT, показав, что в этой же парадигме экспериментаторы могут сфабриковать и такие условия, которые *исключают* возникновение ингруппового фаворитизма (и, стало быть, групповой идентичности) [Rabbie, Horwitz, 1988; Rabbie, Lodewijkx, 1994]. В аналогичных экспериментах субъекты игнорировали категоризацию и ориентировались на ожидаемые выплаты, демонстрируя только межличностное взаимодействие [Gaertner, Insko, 2000; Lodewijkx et al., 1999; Rabbie, Horwitz, 1988; Rabbie, Lodewijkx, 1994]. Следовательно, необходимо найти реальный, эмпирический эквивалент искусственных групп SIT и SCT, в котором идентичность будет формироваться без влияния исследователя. На наш взгляд, таким эквивалентом может стать «регион» — пространство, в отношении которого у человека потенциально складывается чувство принадлежности, не зависящее от выбора контрагентов, знакомства или истории взаимодействия с ними.

Региональная идентичность

Работы по региональной идентичности не единичны, в том числе по России [Smith-Peter, 2017; Clowes, Erbslöh, Kokobobo, 2018]. Однако, в основном, они посвящены «исторической географии» (см. [Jessop, Brenner, Jones, 2008]). Это тенденция к культурному редуционизму — когда идентичность считается *производной* от какого-либо свойства индивида или группы. Идентичность тогда выступает исторической, культурной, этнической, гендерной, но никогда идентичностью *per se* — как относительно автономной областью человеческого осознания и действия, изучавшейся SIT. Идентичность может быть активным и творческим проявлением чувства принадлежности. «Региональная идентичность не есть черта, которую регионы и их обитатели имеют, но скорее есть нечто, активно исполняемое» ими [Prokkola, Zimmerbauer, Jakola, 2015: 105].

«Регион» — удобная точка для начала исследования социопространственных отношений: в России регионы редко совпадают с границами этнокультурных общностей. Региональная категоризация и партикуляризация здесь буквально воспроизводят понимание категоризации в SIT — они объединяют разнородные

объекты и разъединяют подобные [Billig, 1985]. Искусственный характер регионализации России еще не отрицает реальность регионов и позволяет скептически отнестись к модным сомнениям в том, являются ли регион и региональная идентичность эмпирическими феноменами или конструктами [Paasi, 2010, 2011; Paasi, Metzger, 2017]. Если отождествление себя с регионом у реальных людей эмпирически отличается от их же отождествлений с группой и иными традиционными «носителями» идентичности, то региональная идентичность тоже реальна.

Поскольку «регион» более не отождествляется с группой (см. [Knight, 1982]), осмысление региональной идентичности затруднено — это «трудная и неуловимая вещь» «загадочной природы», которую «легче узнать по ее отсутствию, чем по присутствию» [Royle, 1998: 5, 12, 11]. В эмпирических исследованиях региональной идентичности не ограничиваются осознанием принадлежности к группе жителей региона и придают большое значение переживанию связи с его природой и культурой, отражению в идентичности пространственных и временных аспектов среды [Bernardo, Palma-Oliveira, 2016; Cinnirella, 1998]. Д. Сантана с соавторами выделяют в структуре региональной идентичности экологическую (природная среда), культурную и историческую составляющие [Santana, Carrasco, Estrada, 2013].

Идентификация с местом проживания может быть упорядочена в несколько уровней от самых локальных, частных (например, идентификация с районом) к более широким, таким как город, регион, страна и т. п. [Bonaiuto, Alves, 2012]. Национальная и региональная идентичность выступают в качестве наиболее важных типов идентичности, связанной с территорией, образуя при этом вложенную структуру, что эмпирически проявляется в наличии корреляций между ними [Asún, Zúñiga, 2013]. Кроме того, региональная идентичность показывает прямые связи не только с национальной, но и общечеловеческой идентичностью [Hooghe, Stiers, 2020].

Общая характеристика шкалы региональной идентичности

Несмотря на актуальность проблемы и расширение русскоязычного инструментария для оценки социальной идентичности (см., например, [Агадуллина, Ловаков, 2013]), российские ученые до сих пор не имеют надежной шкалы измерения региональной идентичности, отражающей сложность ее структуры. Редким примером такого рода методик выступает «Шкала региональной идентичности» (Regional Identity Scale, RIS-2), предложенная в 2018 г. чилийскими психологами Р. Асуном, К. Суньгой и Х.-Ф. Моралесом [Asún, Zúñiga, Morales, 2018] на основе ее более ранней версии [Zúñiga, Asún, 2004].

В качестве теоретической основы авторы указывают теорию социальной идентичности А. Тэшфела [Tajfel, 1974], подчеркивая при этом, что особого внимания заслуживает не только факт идентификации как осознания принадлежности к группе, но и степень выраженности такой идентификации. Предназначением методики RIS-2 и стала оценка степени идентификации с регионом. Необходимо отметить, что в своем понимании региональной идентичности авторы методики не ограничиваются социальной идентичностью как осознанием принадлежности к группе (населению региона), но учитывают и другие аспекты, включающие отношение к территории и культуре региона.

Шкала региональной идентичности, образованная из 17 утверждений, имеет многомерную структуру и позволяет оценить разные ее аспекты. Оригинальная версия шкалы на испанском языке показывает трехфакторную структуру, включающую факторы осознания своей принадлежности к региону (4 утверждения), идентификации с территорией региона (4 утв.) и идентификации с культурой региона (9 утв.). Соответствующие этим факторам шкалы характеризуются высокой внутренней согласованностью (α Кронбаха от 0,75 до 0,93), как и вся шкала в целом ($\alpha=0,95$). О валидности методики свидетельствуют ожидаемые существенные связи с анкетными показателями (из одного вопроса) идентификации с городом и регионом, местом рождения (в этом или другом регионе), а также индикаторами представления о себе как о части этого региона. Региональная идентичность в исследовании авторов методики показала также слабые, но статистически значимые связи с показателями более широкой идентичности — чилийской и латиноамериканской. Таким образом, шкала региональной идентичности обладает целым рядом достоинств — краткостью, хорошей факторной структурой, надежностью и валидностью. С учетом редкости подобного инструментария данная методика была выбрана для адаптации в русскоязычной культуре.

Цель и задачи исследования

Целью нашего исследования стала разработка русскоязычной версии опросника региональной идентичности с анализом ее факторной структуры, надежности и валидности. В ходе анализа валидности проверялись гипотезы о том, что показатели региональной идентичности:

- 1) имеют высокую корреляцию с другими шкалами, измеряющими этот же конструкт (конвергентная валидность),
- 2) существенно коррелируют с показателями общероссийской и гражданской идентичности ввиду наличия иерархических отношений между ними,
- 3) связаны с демографическими характеристиками: возрастом, стажем проживания в данном регионе, местом рождения,
- 4) связаны с интересом к жизни своего региона и представленностью в круге общения лиц из разных регионов и стран.

Подтверждение последних трех гипотез может рассматриваться в качестве аргументов в пользу конструктивной валидности шкалы региональной идентичности. Для оценки прагматической валидности методики рассматривались данные о различиях в региональной идентичности жителей разных регионов Российской Федерации.

Выборка и процедура исследования

Выборка

Сбор данных проводился в форме бланкового ($N=508$) и онлайн-опроса ($N=519$) в течение апреля-июня 2020 г. В бланковом опросе приняли участие студенты вузов пяти российских регионов (Алтайский, Пермский, Приморский край, Республики Башкортостан и Крым). Средний возраст участников составил 22,5 года, стандартное отклонение $SD=8$, доля женщин 67%. В онлайн-опросе приняли участие жители восьми регионов России (Алтайский и Красноярский

край, Москва, Московская, Новосибирская, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург), средний возраст респондентов составил 33.7 лет, $SD = 14$, доля женщин 78 %. Большая часть объединенной выборки (85 %) указала в качестве своей национальности «русский/ая», остальные отнесли себя к другим национальностям (татарам, башкирам, украинцам и др.).

Процедура сбора данных была реализована авторами статьи с помощью коллег¹ из вузов разных регионов страны (они проводили опрос как в бланковой форме, так и онлайн, рассылая персональные приглашения к участию коллегам, студентам и знакомым). Кроме того, в опросе приняли участие добровольцы (менее 10 % выборки), откликнувшиеся на предложение поучаствовать в исследовании, распространявшееся нами на личных страницах и в соответствующих тематических группах в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники»). Участие в опросе было добровольным, оплата не предусматривалась, обратная связь о результатах не предоставлялась. Кроме факта проживания в отобранных регионах, ограничений и квот при формировании выборки не использовалось. Выбор регионов объясняется стремлением обеспечить хотя бы минимальную репрезентативность в отношении макрорегиональной структуры: опрос проводился на территориях Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного макрорегионов.

Хотя подобную выборку нельзя признать репрезентативной по отношению к совокупности всех жителей России, этот факт не снижает достоверности выводов, так как они не требуют точной оценки параметров генеральной совокупности. При этом достаточно большой объем и разнородный состав выборки позволяют успешно контролировать влияние различных социально-демографических факторов (пол, возраст, образование, место проживания, место рождения) на результаты измерения региональной идентичности с помощью предложенной методики.

Методики

В ходе разработки русскоязычной версии «Шкалы региональной идентичности» [Asún, Zúñiga, Morales, 2018] двумя специалистами в области социальной психологии и лингвистики на основе испанского и английского текстов был составлен текст утверждений на русском языке, выявленные расхождения в переводах были обсуждены и сформулирован итоговый вариант (см. текст утверждений в табл. 1). Методика предъявлялась с инструкцией: «Пожалуйста, укажите степень своего согласия или несогласия с приведенными утверждениями (1 — совершенно не согласен, 2 — скорее не согласен, 3 — нечто среднее, 4 — скорее согласен, 5 — полностью согласен)». Все утверждения за исключением одного (№ 3) являются прямыми, для подсчета итоговых показателей по шкалам рассчитывались средние значения для пунктов, входящих в шкалу. Данные о факторной структуре, надежности и валидности шкал приведены ниже в разделе «Результаты».

Диагностика социальной идентичности как идентификации с различными группами проводилась с помощью шкалы идентификации с человечеством С. Макфарленда [McFarland, Webb, Brown, 2012] в адаптации Т. А. Нестика [Нестик,

¹ Авторы выражают признательность за участие в этой работе И. В. Аношкину, М. Г. Вершининой, Д. А. Ичкинеевой, Л. А. Ласице, Н. В. Михайлюковой, Т. Е. Петровой, И. Л. Телегиной, Т. Н. Тарковской, Е. Н. Татарашвили, Н. И. Юртайкиной.

Журавлев, 2018]. В исходном варианте она позволяет оценить выраженность идентификации с тремя разными по объему группами: ближайшим окружением, гражданами своей страны и человечеством. В нашем исследовании методика была незначительно модифицирована таким образом, что вместо идентификации с ближайшим окружением оценивалась идентификация с жителями своего региона. В такой форме методика позволила получить оценку региональной, общероссийской и общечеловеческой идентичности. В состав методики входят девять заданий, в каждом из которых требуется в ответ на различные вопросы оценить степень своей идентификации с тремя указанными выше группами. В нашем исследовании были получены хорошие показатели надежности (здесь и далее приводятся значения коэффициента α Кронбаха): 0,89 для региональной; 0,88 для российской и 0,88 для общечеловеческой идентичности.

Для диагностики гражданской идентичности использовалась методика С. Роккас [Roccas, Klar, Liviatan, 2006] в адаптации О. А. Сычева и И. Н. Протасовой [Сычев, Протасова, 2020], которая включает две тесно связанные между собой шкалы — преданность и прославление. Первая содержит утверждения, оценивающие выраженность чувства принадлежности, преданности, привязанности к своей стране и народу (пример: «Я беззаветно предан своему народу»). Вторая включает пункты, выявляющие не критичное, преувеличенно позитивное отношение к своему народу, стране и ее лидерам, а также нетерпимость к критике своей страны (пример: «В сравнении с другими наш народ гораздо нравственнее»). Надежность шкал преданности и прославления составила 0,85 и 0,87 соответственно.

Включенная в батарею методик анкета содержала вопросы о демографических характеристиках участников исследования (пол, возраст, национальность, место рождения — этот регион или другой, длительность проживания в этом регионе и в других). Кроме того, анкета включала вопросы относительно степени интереса к новостям в своем регионе, России и мире (оценка от 1 — «совершенно не интересуюсь», до 5 — «очень интересуюсь») и круге общения (люди из своего региона, из других регионов России, из разных стран мира) в мессенджерах и социальных сетях (от 1 — «их нет» до 5 — «большинство»).

В ходе количественного анализа полученных результатов проводился explorаторный факторный анализ (ЭФА) методом «Минимальных остатков» с облическим вращением «облимин», конфирматорный факторный анализ (КФА) с использованием робастного алгоритма максимального правдоподобия (MLR), а также применялись методы анализа описательных статистик, корреляционного и сравнительного анализа. КФА проводился в программе Mplus 8, для остальных процедур анализа использовалась программная среда вычислений R.

Результаты и их обсуждение

Для предварительного анализа структуры шкалы региональной идентичности был проведен ЭФА. О пригодности данных для ЭФА свидетельствуют значения критерия Бартлетта ($\chi^2(136) = 10270,72$, $p < 0,001$) и Кайзера-Мейера-Олкина (КМО = 0,95). На основе результатов параллельного анализа было выделено четыре фактора (см. табл. 1), объясняющих 59% дисперсии. Коэффициенты корреляции между выделенными факторами лежат в пределах от 0,64 до 0,76.

Таблица 1. **Факторные нагрузки заданий шкалы региональной идентичности**

	Факторные нагрузки			
	1	2	3	4
1) Я горжусь тем, что моя жизнь связана с этим регионом	0,27	0,13	0,04	0,52
2) Я чувствую себя частью этого региона	0,26	0,13	0,00	0,50
3) Я бы хотел(а) в ближайшее время переехать в другой регион	0,05	-0,08	0,03	-0,57
4) Если бы по какой-то причине мне пришлось уехать из этого региона, я бы обязательно постарался(ась) когда-нибудь сюда вернуться	0,00	0,00	0,12	0,61
5) Когда я уезжаю отсюда надолго, то начинаю скучать по местной природе и климату, будто этот регион стал частью меня	-0,04	0,01	0,54	0,37
6) Если во время общения в семье, с друзьями или знакомыми кто-либо скажет что-то неприятное о природных особенностях этого региона, я, скорее всего, расстроюсь	0,05	0,20	0,58	-0,09
7) Я чувствую сильную связь с природой этого региона	0,06	0,05	0,79	-0,02
8) Я думаю, что этот регион — самый красивый в стране	0,20	-0,02	0,50	0,13
9) Я чувствую себя частью истории этого региона	0,53	0,01	0,23	0,10
10) Сохранять историческое наследие этого региона — большая честь	0,63	-0,03	0,19	-0,05
11) Я принадлежу к этому региону и к этой культуре — со всеми их достоинствами и недостатками	0,82	-0,02	-0,01	0,08
12) В какой-то степени я есть отражение культуры этого региона	0,72	0,13	-0,05	-0,05
13) Я горжусь тем, что живу в регионе со своими самобытными традициями, обычаями и фольклором	0,57	0,17	0,07	0,06
14) Я чувствую некую глубинную связь с людьми, живущими в этом регионе	0,26	0,46	0,05	0,10
15) Когда я слышу что-то хорошее о местных жителях, то воспринимаю это как личный комплимент	0,01	0,80	0,03	-0,01
16) Когда я говорю о людях, живущих в этом регионе, то часто использую местоимение «мы» вместо «они»	0,01	0,77	0,01	-0,03
17) Мне было бы приятно, если бы меня характеризовали как типичного представителя этого региона	0,02	0,53	0,10	0,26
Собственные значения	3,23	2,47	2,24	2,02
Доля объясняемой дисперсии	0,19	0,15	0,13	0,12

Примечание. Жирным шрифтом выделены нагрузки, превышающие по модулю 0,4.

Первый и второй факторы образованы пунктами, которые в оригинальной версии входили в фактор «Идентификация с культурой региона». Представляется не случайным, что в нашем исследовании этот фактор разделился на два, поскольку второй фактор объединяет пункты, общим содержанием которых является не столько идентификация с культурой, сколько с людьми, живущими в этом регионе. При этом первый фактор, действительно, может быть интерпретирован как идентификация с культурой региона. Третий и четвертый факторы, выделенные в ходе ЭФА, полностью соответствуют факторам «Идентификация с территорией» и «Чувство принадлежности региону», выделенным в оригинальной версии опросника.

Далее с помощью КФА были проверены четыре альтернативные модели методики:

- 1) однофакторная;
- 2) соответствующая оригиналу трехфакторная модель с коррелирующими факторами, в которой утверждения № 9—17 образуют один фактор, а два других фактора полностью соответствуют факторам 3 и 4, выделенным в ходе ЭФА;
- 3) основанная на результатах ЭФА четырехфакторная модель с коррелирующими факторами, отличающаяся от предыдущей тем, что утверждения № 9—17 образуют два фактора, а не один;
- 4) иерархическая модель с четырьмя факторами первого уровня (соответствующими результатам ЭФА) и одним фактором второго уровня.

Показатели соответствия перечисленных моделей данным, а также результаты их сравнения друг с другом (по порядку, каждая последующая сравнивается с предыдущей) приведены в таблице 2. Эти результаты свидетельствуют, что соответствие однофакторной модели данным нельзя признать удовлетворительным, в то время как трехфакторная модель, соответствующая оригинальной версии опросника, демонстрирует близкие к приемлемым значения индексов соответствия, при этом она статистически значимо превосходит однофакторную. В то же время четырехфакторная модель показывает более высокие показатели соответствия данным и статистически значимо превосходит трехфакторную.

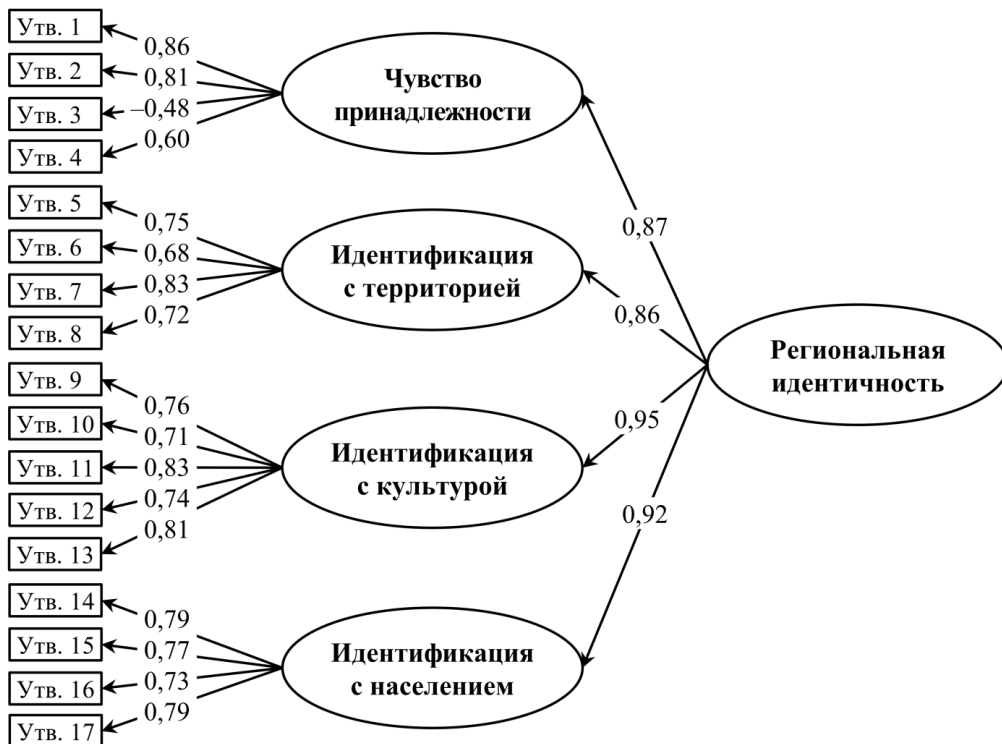
Таблица 2. Результаты оценки и сравнения альтернативных моделей шкалы региональной идентичности

Модель	χ^2	<i>df</i>	<i>p</i>	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	SCF	$\Delta\chi^2$ (скоп.)	Δdf	<i>p</i>
1. Однофакторная	1137,63	119	0,001	0,870	0,851	0,091	0,052	1,28	—	—	—
2. Трехфакторная	719,19	116	0,001	0,923	0,910	0,071	0,041	1,27	325,40	3	0,001
3. Четырехфакторная	594,82	113	0,001	0,938	0,926	0,064	0,038	1,26	107,91	3	0,001
4. Четырехфакторная иерархическая	599,22	115	0,001	0,938	0,927	0,064	0,038	1,26	4,66	2	0,097

Примечание: CFI — сравнительный индекс согласия, TLI — индекс согласия Такера-Льюиса, RMSEA — среднеквадратическая ошибка аппроксимации, SRMR — стандартизованный среднеквадратический остаток, SCF — поправочный коэффициент для сравнения величин χ^2 при использовании метода робастного максимального правдоподобия (MLR).

Иерархическая четырехфакторная модель (рис. 1) не показывает статистически значимого превосходства над четырехфакторной моделью с коррелирующими факторами при равной величине индексов согласия. Однако она оценивается как предпочтительная ввиду лучшего соответствия теоретическим представлениям о том, что региональная идентичность является единым конструктом, и по этой причине рассматривается нами в качестве основной модели опросника. Поскольку результаты анализа структуры русскоязычной версии свидетельствуют о наличии в его структуре четырех хорошо интерпретируемых факторов, в ходе последующего анализа использовались показатели соответствующих выявленным факторам четырех шкал.

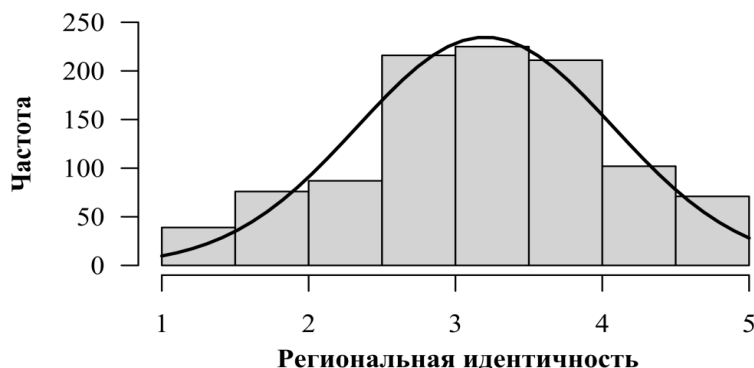
Рис. 1. Четырехфакторная иерархическая модель факторной структуры шкалы региональной идентичности (все приведенные факторные нагрузки статистически значимы при $p < 0,001$, остатки опущены для упрощения рисунка)



Таким образом, хотя русскоязычный текст методики полностью соответствует оригиналу, результаты анализа факторной структуры несколько отличаются, уточняя результаты, полученные авторами оригинальной версии [Asún, Zúñiga, Morales, 2018]. В частности, наилучшим образом соответствует данным не трех-, а четырехфакторная структура, в которой фактор идентификации с культурой региона распадается на два — идентификации с культурой и населением региона. Последние два фактора показывают наибольшие факторные нагрузки на общий фактор второго уровня, что можно интерпретировать как свидетельство их ведущей роли в структуре региональной идентичности.

Оценка надежности опросника в целом и его отдельных шкал с помощью коэффициента α Кронбаха позволяет сделать вывод о высокой надежности общего показателя и отдельных шкал (табл. 3). Средние значения по всем шкалам и общему показателю (от 3,08 до 3,35), близкие к центру пятибалльной шкалы, вместе с отрицательными и небольшими по величине значениями коэффициента асимметрии (не более 0,3 по модулю) указывают на приблизительно симметричное распределение (см. рис. 2).

Рис. 2. Распределение частот (гистограмма) для общего показателя по шкале региональной идентичности



Для анализа валидности предложенной версии опросника региональной идентичности был проведен корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице 3. Конвергентную валидность опросника подтверждают корреляции его шкал с показателем региональной идентичности по методике С. Макфарленда: для шкалы идентификации с населением региона и общим показателем региональной идентичности величина корреляций составила не менее 0,70, что свидетельствует о тождественности измеряемых конструкторов. Для трех оставшихся шкал, измеряющих идентификацию с культурой, территорией и чувство принадлежности региону, корреляции с региональной идентичностью по методике С. Макфарленда несколько ниже: от 0,49 до 0,64 (все при $p < 0,001$).

Таблица 3. Корреляции показателей шкалы региональной идентичности друг с другом и другими переменными

Шкалы и показатели	N	Шкала региональной идентичности	Чувство принадлежности	Идентификация с территорией	Идентификация с культурой	Идентификация с населением
<i>Шкала региональной идентичности Р. Асуна и др.</i>						
Шкала региональной идентичности	1027	—	0,82***	0,86***	0,91***	0,88***
Чувство принадлежности	1027	0,82***	—	0,63***	0,64***	0,63***
Идентификация с территорией	1027	0,86***	0,63***	—	0,71***	0,66***
Идентификация с культурой	1027	0,91***	0,64***	0,71***	—	0,76***
Идентификация с населением	1027	0,88***	0,63***	0,66***	0,76***	—
<i>Шкала идентификации с человечеством С. Макфарленда</i>						
Региональная идентичность	1023	0,70***	0,49***	0,57***	0,64***	0,71***
Российская идентичность	1023	0,48***	0,26***	0,39***	0,48***	0,51***
Общечеловеческая идентичность	1023	0,20***	0	0,18***	0,24***	0,25***
<i>Опросник гражданской идентичности С. Роккас</i>						
Гордость своей страной	1017	0,63***	0,47***	0,54***	0,59***	0,59***
Прославление своей страны	1017	0,48***	0,37***	0,42***	0,42***	0,44***

Шкалы и показатели	N	Шкала региональной идентичности	Чувство принадлежности	Идентификация с территорией	Идентификация с культурой	Идентификация с населением
<i>Анкетные данные</i>						
Интерес к событиям в своем регионе	1025	0,41***	0,31***	0,36***	0,40***	0,35***
Интерес к событиям в России	1025	0,28***	0,17***	0,23***	0,28***	0,28***
Интерес к событиям в мире	1025	0,09**	-0,02	0,09**	0,12***	0,12***
Круг общения из своего региона	1022	0,08*	0,08**	0,03	0,09**	0,06
Круг общения из других регионов	1022	0,02	-0,05	0	0,05	0,05
Круг общения из разных стран мира	1022	0,05	-0,02	0,02	0,09**	0,06
<i>Социально-демографические характеристики</i>						
Стаж проживания в этом регионе	637	0,37***	0,26***	0,32***	0,38***	0,35***
Стаж проживания в другом регионе	527	-0,07	-0,01	-0,05	-0,11*	-0,08
Возраст	1023	0,28***	0,20***	0,26***	0,25***	0,27***
<i>Описательная статистика по шкалам</i>						
Среднее	1027	3,20	3,35	3,11	3,26	3,08
Стд. откл.	1027	0,87	0,94	1,05	0,99	1,04
Асимметрия	1027	-0,24	-0,25	-0,20	-0,30	-0,17
Экссесс	1027	-0,33	-0,44	-0,68	-0,41	-0,66
Надежность (α Кронбаха)	1027	0,94	0,78	0,83	0,88	0,86

Примечания. Значимость коэффициентов: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

В пользу конструктивной валидности свидетельствуют также существенные корреляции с показателями общероссийской идентичности, а также с гордостью своей страной и ее прославлением. Стаж проживания в этом регионе у лиц, проживавших ранее за его пределами, также показывает существенную прямую связь с региональной идентичностью. Региональная идентичность сильнее коррелирует с интересом к событиям в своем регионе, слабее — с интересом к событиям в России и показывает наименьшую связь с интересом к событиям в мире. Также имеются слабые корреляции региональной идентичности с числом людей из своего региона, попадающих в круг общения, в то время как число людей из других регионов и стран практически не связано с региональной идентичностью.

О том, что региональная идентичность выше у лиц старшего возраста, свидетельствует умеренная корреляция между этими переменными (табл. 3). Различий по общему показателю региональной идентичности между мужчинами и женщинами не обнаружилось (критерий Манна-Уитни $U = 107467$, $Z(U) = 0,91$, p — незначим). Лица, имеющие общее среднее образование или ниже, демонстрируют меньший уровень региональной идентичности, чем лица со средним профессиональным или высшим образованием (Критерий Краскела-Уоллиса $\chi^2(2) = 32,79$, $p < 0,001$). Наибольшую региональную идентичность демонстрируют лица, родившиеся в данном регионе, наименьшую — в другом регионе страны, в то время как у людей,

родившихся в другой стране, уровень региональной идентичности оказался средним (Критерий Краскела-Уоллиса $\chi^2(2) = 22,58, p < 0,001$).

Сравнение выборок, проходивших опрос в бланковой и онлайн форме, показало наличие статистически значимых различий по возрасту и показателям идентичности (табл. 4). Наиболее существенными оказались различия по возрасту — это является закономерным следствием того, что расширение выборки путем онлайн-опроса преследовало целью увеличение репрезентативности за счет расширения вариации по социально-демографическим характеристикам.

Таблица 4. Сравнение выборок, проходивших опрос в бланковом и онлайн формате с помощью критериев Стьюдента и Манна-Уитни

	Формат опроса		t (1025)	P	U-Манна-Уитни	Z(U)	p
	Бланковый (N = 508)	Онлайн (N = 519)					
Шкала региональной идентичности	3,12	3,28	3,04	0,01	119608,5	2,57	0,05
Чувство принадлежности	3,31	3,38	1,19	незн.	127209	0,97	незн.
Идентификация с территорией	3,03	3,19	2,48	0,05	120217	2,45	0,05
Идентификация с культурой	3,17	3,35	2,85	0,01	119272	2,60	0,01
Идентификация с населением	2,95	3,20	3,94	0,001	113735,5	3,77	0,001
Региональная идентичность	3,25	3,26	0,25	незн.	130341	0,10	незн.
Российская идентичность	3,15	3,33	3,81	0,001	113811	3,60	0,001
Общечеловеческая идентичность	2,85	3,06	4,13	0,001	112947,5	3,78	0,001
Гордость своей страной	3,35	3,53	3,04	0,01	114600,5	3,24	0,01
Прославление своей страны	2,50	2,68	3,18	0,01	114073	3,25	0,01
Возраст	22,55	33,69	15,57	0,001	62500	14,56	0,001

С учетом показанной выше существенной связи индикаторов идентичности с возрастом можно предположить, что различия между выборками обусловлены именно им, а не форматом опроса. Это предположение подтверждается результатами сравнения выборок с помощью ковариационного анализа при контроле возраста — статистически значимыми остаются лишь различия по двум показателям методики С. Макфарленда. Переменные по шкале региональной идентичности при контроле возраста не показывают зависимости от формы проведения опроса, так что использование объединенной выборки для анализа ее результатов не угрожает достоверности выводов.

Для оценки прагматической валидности шкалы региональной идентичности была проанализирована связь региона проживания с показателями по шкале. Поскольку выборки из разных регионов существенно различаются по ряду важных параметров (возрасту и доле лиц, родившихся вне данного региона), вместо непосредственного сравнения средних значений была построена общая линейная

модель зависимости региональной идентичности от региона проживания и указанных контролируемых факторов. Предварительная оценка ряда аналогичных линейных моделей с включением других факторов (пола, уровня образования, длительности проживания в данном регионе и в других регионах) показала отсутствие их статистически значимого вклада, поэтому в итоговой модели они не учитывались. Полученная модель (см. табл. 5) объясняет 15,3% дисперсии региональной идентичности и характеризуется высоким уровнем статистической значимости: $F(12,975) = 14,7, p < 0,001$.

Таблица 5. **Общая линейная модель зависимости региональной идентичности от региона проживания, возраста и места рождения**

Фактор/Категория	Коэффициент β	Станд. ошибка β	t	p
Свободный член	-0,60	0,12	-5,00	<0,001
Возраст	0,02	0,00	8,19	<0,001
<i>Место рождения</i>				
Другой регион России	-0,46	0,08	-5,89	<0,001
Другая страна	-0,30	0,13	-2,36	0,019
<i>Регион проживания</i>				
Новосибирская область	-0,39	0,17	-2,35	0,020
Пермский край	-0,18	0,12	-1,44	0,150
Оренбургская область	-0,16	0,14	-1,14	0,250
Алтайский край	0,12	0,13	0,91	0,370
Приморский край	0,15	0,14	1,09	0,280
Республика Крым	0,17	0,14	1,23	0,220
Красноярский край	0,17	0,15	1,14	0,260
Республика Башкортостан	0,20	0,14	1,43	0,150
Санкт-Петербург	0,47	0,21	2,23	0,030

Примечания: для удобства интерпретации результатов зависимая переменная (региональная идентичность) была стандартизирована, регионы упорядочены по величине коэффициента β . Референтная категория фактора «Место рождения» — «Данный регион», референтная категория фактора «Регион проживания» — «Москва или Московская область».

Представленные в таблице 5 результаты свидетельствуют о высокой статистической значимости вклада возраста и места рождения. В среднем увеличение возраста на один год приводит к росту показателя по шкале региональной идентичности на 0,02 стандартных отклонения, что при значительной возрастной разнице может иметь весьма существенные последствия. Также довольно значительным оказывается вклад места рождения: у лиц, родившихся в другом регионе России уровень региональной идентичности ниже, чем у тех, кто родился в данном регионе почти на 0,5 стандартных отклонения. Вклад фактора «Регион проживания» в региональную идентичность также достаточно существенный, при этом наибольшие ее показатели отмечаются в Санкт-Петербурге, а наименьшие — в Новосибирской области. При этом в Санкт-Петербурге региональная идентичность почти на 0,5 стандартного отклонения выше, чем в Москве и Московской области (выбранной

в качестве референтной категории), в то время как в Новосибирской области — примерно на 0,4 стандартных отклонения ниже. Отклонения уровня региональной идентичности от референтной категории в других регионах России не показывают статистической значимости.

Заключение

Несмотря на актуальность исследования региональной идентичности в связи с ее вероятными последствиями для миграционного поведения, вопросы о структуре региональной идентичности и методах ее диагностики в отечественной науке остаются недостаточно изученными. Для восполнения этого пробела нами была разработана и апробирована русскоязычная версия опросника региональной идентичности, основанная на методике, предложенной чилийскими социальными психологами [Asún, Zúñiga, Morales, 2018].

Результаты проведенного исследования позволили уточнить представления о структуре региональной идентичности. В частности, на основе факторного анализа было выделено не три, как в оригинальной версии [там же], а четыре шкалы: чувство принадлежности к региону, идентификация с территорией, идентификация с культурой, идентификация с населением региона. Эти шкалы, представляющие разные аспекты региональной идентичности, довольно тесно коррелируют между собой, так что наиболее точной структурной моделью методики оказывается иерархическая модель, в которой все они образуют единый фактор.

Предложенный инструмент демонстрирует возможность дифференцированной оценки разных аспектов региональной идентичности, не сводя ее лишь к отношению к физическому объекту, территории. В итоге «регион» есть выражение социальных отношений с людьми — с разными группами, его населяющими. В этом смысле «регион» можно считать реальным, эмпирическим эквивалентом искусственных групп SCT и SIT [Tajfel, 1969; Turner et al., 1987]. Следовательно, полученные нами результаты подтверждают основанные на указанных теориях ожидания относительно формирования социальной идентичности в естественных условиях. В то же время особенностью структуры региональной идентичности является тот факт, что она органично включает в себя переживания связи с природой региона, его историей и культурой, что подтверждается результатами нашего и ряда прошлых исследований [Bernardo, Palma-Oliveira, 2016; Cinnirella, 1998; Santana, Carrasco, Estrada, 2013].

Высокая конвергентная валидность шкал предложенной методики подтверждается результатами анализа их связи с показателем региональной идентичности по методике С. Макфарленда, причем наибольшую корреляцию показала шкала идентификации с населением. Этот факт, с одной стороны, подтверждает центральную роль в структуре региональной идентичности идентификации с группой — населением региона. С другой стороны, это может быть следствием более узкого содержания шкалы С. Макфарленда [McFarland et al., 2012], ориентированной на измерение социальной идентичности как идентификации с различными социальными группами: в этом случае, естественно, в содержании шкалы не представлены такие важные аспекты региональной идентичности как природа, история и культура региона. С учетом высокой факторной нагрузки шкалы иден-

тификации с населением на общий фактор и высокой конвергентной валидности, ее можно рекомендовать к использованию для экспресс-оценки региональной идентичности вместо всей методики в ситуациях, когда использование последней невозможно.

Выявленные в данном исследовании корреляции с общероссийской и гражданской идентичностью, а также с идентификацией с человечеством хорошо соответствуют данным прошлых исследований [Asún, Zúñiga, 2013; Hooghe, Stiers, 2020], подтверждая общность различных уровней в иерархической структуре социальной идентичности. Несмотря на удаленность друг от друга в иерархии региональной (локальной) и общечеловеческой (глобальной) идентичности, результаты свидетельствуют о наличии прямой, хотя и довольно слабой связи между ними, подтверждая выводы других исследователей (см., например, [Hooghe, Stiers, 2020]).

О конструктивной валидности шкал региональной идентичности свидетельствуют их умеренные ожидаемые связи с возрастом, стажем проживания в регионе и местом рождения, интересом к региональным событиям. Как и в исследовании авторов методики [Asún, Zúñiga, Morales, 2018], региональная идентичность тем выше, чем больше стаж проживания в регионе — она выше у тех, кто родился в своем регионе, чем у приезжих. Высокая региональная идентичность ожидаемо сочетается с выраженным интересом к жизни региона.

Ограничения исследования связаны с процедурой формирования выборки, не обеспечивающей полноты и репрезентативности данных из разных регионов России. Следовательно, представленные выводы о различиях региональной идентичности по регионам необходимо рассматривать как предварительные. Проверка, дополнение и уточнение результатов об уровне региональной идентичности в разных регионах нашей страны, а также анализ ее связи с культурными и географическими факторами составляет перспективу данного исследования.

Представленные данные о различиях в уровне региональной идентичности между разными территориями России демонстрируют полезность предложенной методики для анализа региональных особенностей идентичности их населения. Возможности практического применения методики связаны с оценкой и анализом последствий для идентичности различных мер региональной политики, а также анализом этнокультурных особенностей жителей разных регионов.

Список литературы (References)

Агадуллина Е. Р., Ловаков А. В. Модель измерения ингрупповой идентификации: проверка на российской выборке // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 4. С. 143—157.

Agadullina E. R., Lovakov A. V. (2013) Measurement Model of In-group Identification: Validation in Russian Samples. *Psychology. Journal of the Higher School of Economics*. Vol. 10. No. 4. P. 143—157. (In Russ.)

Нестик Т. А., Журавлев А. Л. Психология глобальных рисков. М.: Институт психологии РАН, 2018.

Nestik T. A., Zhuravlev A. L. (2018) *Psychology of Global Risks*. Moscow: Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences. (In Russ.)

Сычев О. А., Протасова И. Н. Опросник гражданской идентичности // Актуальные вопросы общей и юридической психологии: образование, право и социальные практики: материалы II Международной научно-практической конференции / под ред. Е. С. Аничкина, А. А. Васильева, Д. В. Каширского, Н. В. Сабельниковой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. P. 148—154.

Sychev O. A., Protasova I. N. (2020) The Civil Identity Questionnaire. In: Anichkin E. S., Vasilev A. A., Kashirskii D. V., Sabelnikova N. V. (eds.) *Actual Issues in Law Psychology: Education, Law and Social Practice: Proceedings of the II International Conference*. Barnaul: Publ. Altay State University. P. 148—154. (In Russ.)

Asún R., Zúñiga C. (2013) National Identity and Regional Identities in Today's Chile: Complementarity or Conflict? *Estudios de Psicología*. Vol. 34. No. 1. P. 95—100. <https://doi.org/10.1174/021093913805403183>.

Asún R., Zúñiga C., Morales J.-F. (2018) Design and Validation of the Revised Regional Identity Scale (RIS-2) / Diseño y Validación de la Escala de Identidad Regional Revisada (RIS-2). *International Journal of Social Psychology*. Vol. 33. No. 2. P. 357—389. <https://doi.org/10.1080/02134748.2018.1439691>.

Bernardo F., Palma-Oliveira J.-M. (2016) Urban Neighbourhoods and Intergroup Relations: The Importance of Place Identity. *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 45. P. 239—251. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.010>.

Billig M. (1985) Prejudice, Categorization and Particularization: From a Perceptual to a Rhetorical Approach. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 15. No. 1. P. 79—103. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2420150107>.

Bonaiuto M., Alves S. (2012) Residential Places and Neighbourhoods: Toward Healthy Life, Social Integration, and Reputable Residence. In: Clayton S. D. (ed.) *The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology*. New York: Oxford University Press. P. 221—247.

Cinnirella M. (1998) Exploring Temporal Aspects of Social Identity: The Concept of Possible Social Identities. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 28. No. 2. P. 227—248. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0992\(199803/04\)28:2<227::AID-EJSP866>3.0.CO;2-X](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0992(199803/04)28:2<227::AID-EJSP866>3.0.CO;2-X).

Clowes E. W., Erbslöh G., Kokobobo A. (eds.) (2018) *Russia's Regional Identities: The Power of the Provinces*. New York, NY: Routledge.

Gaertner L., Insko C. A. (2000) Intergroup Discrimination in the Minimal Group Paradigm: Categorization, Reciprocation, or Fear? *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 79. No. 1. P. 77—94. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.1.77>.

Haslam S. A., McGarty C., Oakes P. J., Turner J. C. (1993) Social Comparative Context and Illusory Correlation: Testing between Ingroup Bias and Social Identity Models of Stereotype Formation. *Australian Journal of Psychology*. 1993. Vol. 45. No. 2. P. 97—101. <https://doi.org/10.1080/00049539308259125>.

Haslam S. A., Oakes P. J., Turner J. C., McGarty C. (1995) Social Categorization and Group Homogeneity: Changes in the Perceived Applicability of Stereotype Content as a Function of Comparative Context and Trait Favourableness. *The British Journal of Social Psychology*. Vol. 34. No. 2. P. 139—160. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1995.tb01054.x>.

Hogg M. A. (2000) Subjective Uncertainty Reduction through Self-Categorization: A Motivational Theory of Social Identity Processes. *European Review of Social Psychology*. Vol. 11. No. 1. P. 223—255. <https://doi.org/10.1080/14792772043000040>.

Hooghe M., Stiers D. (2020) Regional Identity and Support for Restrictive Attitudes on Immigration. Evidence from a Household Population Survey in Ghent (Belgium). *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 44. No. 4. P. 1—20. <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1782962>.

Jessop B., Brenner N., Jones M. (2008) Theorizing Sociospatial Relations. *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 26. No. 3. P. 389—401. <https://doi.org/10.1068/d9107>.

Knight D. B. (1982) Identity and Territory: Geographical Perspectives on Nationalism and Regionalism. *Annals of the Association of American Geographers*. Vol. 72. No. 4. P. 514—531. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1982.tb01842.x>.

Lodewijkx H. F. M., Wildschut T., Syroit J. E. E. M., Visser L., Rabbie J. M. (1999) Competition between Individuals and Groups: Do Incentives Matter?: A Group Adaptiveness Perspective. *Small Group Research*. Vol. 30. No. 4. P. 387—404. <https://doi.org/10.1177/104649649903000401>.

McFarland S., Webb M., Brown D. (2012) All Humanity is My Ingroup: A Measure and Studies of Identification with all Humanity. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 103. No. 5. P. 830—853. <https://doi.org/10.1037/a0028724>.

McGarty C., Turner J. C., Oakes P. J., Haslam S. A. (1993) The Creation of Uncertainty in the Influence Process: The Roles of Stimulus Information and Disagreement with Similar Others. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 23. No. 1. P. 17—38. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2420230103>.

Oakes P. J., Haslam S. A., Morrison B., Grace D. (1995) Becoming an In-Group: Reexamining the Impact of Familiarity on Perceptions of Group Homogeneity. *Social Psychology Quarterly*. Vol. 58. No. 1. P. 52—60. <https://doi.org/10.2307/2787143>.

Paasi A. (2010) Regions Are Social Constructs, But Who or What 'Constructs' Them? Agency in Question. *Environment and Planning A*. Vol. 42. No. 10. P. 2296—2301. <https://doi.org/10.1068/a42232>.

Paasi A. (2011) The Region, Identity, and Power. *Procedia — Social and Behavioral Sciences*. Vol. 14. P. 9—16. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.011>.

Paasi A., Metzger J. (2017) Foregrounding the Region. *Regional Studies*. Vol. 51. No. 1. P. 19—30. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1239818>.

- Prokkola E.-K., Zimmerbauer K., Jakola F. (2015) Performance of Regional Identity in the Implementation of European Cross-Border Initiatives. *European Urban and Regional Studies*. Vol. 22. No. 1. P. 104—117. <https://doi.org/10.1177/0969776412465629>.
- Rabbie J. M., Horwitz M. (1988) Categories Versus Groups as Explanatory Concepts in Intergroup Relations. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 18. No. 2. P. 117—123. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2420180204>.
- Rabbie J. M., Lodewijckx H. F. (1994) Conflict and Aggression: An Individual-Group Continuum. *Advances in Group Processes*. Vol. 11. P. 139—174.
- Roccas S., Klar Y., Liviatan I. (2006) The Paradox of Group-Based Guilt: Modes of National Identification, Conflict Vehemence, and Reactions to the In-Group's Moral Violations. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 91. No. 4. P. 698—711. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.4.698>.
- Royle E. (1998) Introduction, Regions and Identities. In: Royle E. (ed.) *Issues of Regional Identity: In Honour of John Marshall*. Manchester: Manchester University Press. P. 1—13.
- Sagan R., Sitek S., Szajnowska-Wysocka A. (2020) The Impact of Globalisation on Regional Identity: The Example of Silesian Identity. *Bulletin of Geography. Socio-economic Series*. Vol. 48. P. 83—111. <https://doi.org/10.2478/bog-2020-0015>.
- Santana D., Carrasco H., Estrada C. (2013) Regional Ecological Identity: The Role of the Surrounding Environment in the Construction of Patagonian Identity. *Estudios de Psicología*. Vol. 34. No. 1. P. 83—88. <https://doi.org/10.1174/021093913805403101>.
- Smith-Peter S. (2017) *Imagining Russian Regions: Subnational Identity and Civil Society in Nineteenth-Century Russia*. Leiden; Boston: Brill.
- Tajfel H. (1969) Cognitive Aspects of Prejudice. *Journal of Biosocial Science*. Vol. 1. No. S1. P. 173—191. <https://doi.org/10.1017/S0021932000023336>.
- Tajfel H. (1974) Social Identity and Intergroup Behavior. *Social Science Information*. Vol. 13. No. 2. P. 65—93. <https://doi.org/10.1177/053901847401300204>.
- Tajfel H., Billig M. (1974) Familiarity and Categorization in Intergroup Behavior. *Journal of Experimental Social Psychology*. Vol. 10. No. 2. P. 159—170. [https://doi.org/10.1016/0022-1031\(74\)90064-X](https://doi.org/10.1016/0022-1031(74)90064-X).
- Tajfel H., Billig M. G., Bundy R. P., Flament C. (1971) Social Categorization and Intergroup Behavior. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 1. No. 2. P. 149—178. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2420010202>.
- Tajfel H., Turner J. C. (1986) The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In: Austin W. G., Worchel S. (eds.) *Psychology of Intergroup Relations*. Chicago, IL: Nelson-Hall. P. 7—24.
- Turner J. C. (1975) Social Comparison and Social Identity: Some Prospects for Intergroup Behavior. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 5. No. 1. P. 1—34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ejsp.2420050102>.

Turner J. C., Brown R. J., Tajfel H. (1979) Social Comparison and Group Interest in Ingroup Favoritism. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 9. No. 2. P. 187—204. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ejsp.2420090207>.

Turner J. C., Hogg M. A., Oakes P. J., Reicher S. D., Wetherell M. S. (1987) *Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.

Turner J. C. (1985) Social Categorization and Self-Concept: A Social Cognitive Theory of Group Behavior. In: Lawler E. J. (ed.) *Advances in Group Process*. Greenwich, CT: JAI Press. P. 77—121.

Turner J. C., Oakes P. J. (1989) Self-Categorization Theory and Social Influence. In: Paulus P. B. (ed.) *Psychology of Group Influence*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. P. 233—275.

Vermeulen W. R. J., Roy D., Quax R. (2019) Modelling the Influence of Regional Identity on Human Migration. *Urban Science*. Vol. 3. No. 3. P. 78—93. <https://doi.org/10.3390/urbansci3030078>.

Zúñiga C., Asún R. (2004) Design and Validation of an Regional Identity Scale. *International Journal of Social Psychology*. Vol. 19. No. 1. P. 35—49. <https://doi.org/10.1174/021347404322726544>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1795](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1795)



И. Ю. Кисленко

ЮЖНАЯ ТЕОРИЯ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СОЦИОЛОГИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАПАДНОГО КАНОНА?

Правильная ссылка на статью:

Кисленко И. Ю. Южная теория: существует ли социология за пределами западного канона? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 226—244. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1795>.

For citation:

Kislenko I. Y. (2022) Southern Theory: Does Sociology Exist Outside the Western Canon? *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 226–244. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1795>. (In Russ.)

ЮЖНАЯ ТЕОРИЯ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СОЦИОЛОГИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАПАДНОГО КАНОНА?

*КИСЛЕНКО Иван Юрьевич — стажер-исследователь, Центр фундаментальной социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: ivankislenko1994@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8884-8609>*

Аннотация. Эта работа ставит своей целью познакомить читателя с южной теорией в социологии — идеей, представленной австралийским социологом Р. Коннелл и развитой в ряде последующих публикаций. Возникнув на глобальном Севере, социология долгое время основывалась на позициях северного универсализма, утверждавшего наличие «одной социологии для одного мира». С течением времени социологический дискурс глобального Юга расширился и начал предъявлять свои права на автономное воспроизводство социологических практик в оппозиции «северной теории». В работе рассмотрена проблема признания южной теории, с которой неизбежно сталкиваются все идеи, которые можно отождествить с заявленным понятием. В публикациях часто поднимается вопрос о том, каким образом могут быть оценены идеологические оппоненты Севера — южные теории. Эта проблема анализируется сквозь призму вопросов о признании научной деятельности. Текст статьи включает обзор как тех работ, которые в качестве «южных» промаркированы Р. Коннелл, так и других, которые сами позиционируют себя в этом направлении. В статье предложено ознакомиться с основными ходами,

SOUTHERN THEORY: DOES SOCIOLOGY EXIST OUTSIDE THE WESTERN CANON?

*Ivan Yu. KISLENKO¹ — Research Assistant, Center for Fundamental Sociology
E-MAIL: ivankislenko1994@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8884-8609>*

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. This work is intended to familiarize the reader with the southern theory in sociology, the idea presented by Australian sociologist Raewyn Connell and developed in a number of publications. Having emerged in the global North, sociology for a long time was based on the positions of northern universalism, which asserted the existence of “one sociology for one world”. During the time, the sociological discourse of the global South expanded and began to act, claiming the autonomous reproduction of sociological practices in opposition to the “northern theory”. The paper also examines the problem of recognition of the southern theory, which inevitably emerges with all ideas that can be identified with the declared concept. Publications often research the issue of how the ideological opponent of the North — southern theories — could be assessed. This problem is considered in the text through the prism of issues of recognition of scientific activity. The text of the article consists of an overview of those works that Connell herself labels as southern and those publications that fall under this label themselves. With the help of the moves used in the southern theory, the paper offers to analyze a number of texts, which construct the program of the declared idea. This article also provides

использующимися в южной теории, а также с рядом авторов, выстраивающих программу заявленной идеи. Кроме того, приводится критический анализ свойственных южной теории характеристик. Выделяются три пункта для критики: обида на социологический Север, монополизация права на критику северного универсализма и слабое обоснование влияния колониально-имперских устремлений европейских стран на формирование социологии как науки.

Ключевые слова: южная теория, глобальная социология, эпистемологии Юга, глобальный Юг, subaltern (субалтерн) studies, деколонизация социологии

a critical analysis of the key characteristics of southern theory. Three points for criticism are defined: resentment against the sociological North, monopolization of the right to criticism of the northern universalism, and the dubious validity of the influence of the colonial-imperial aspirations of the countries, where sociology was formed as a science.

Keywords: southern theory, global sociology, epistemologies of the South, global South, subaltern studies, decolonizing sociology

Введение. Социологический канон и северная теория

Большинство социологов согласятся с утверждением, что социология как наука родилась на глобальном Севере, а процесс ее институционализации как научной дисциплины был запущен в Европе и США. Традиционно считается, что основные принципы социологической науки были заложены во времена Э. Дюркгейма и М. Вебера — в первую очередь ими самими. Тем не менее находятся и те, кто ставит под сомнение факт евроамериканского происхождения дисциплины или утверждают, что такое положение вещей обусловлено систематическим игнорированием незападного дискурса. Это означает, что социологическому сообществу предлагается обратить свой взор на глобальный Юг, принять во внимание социологии постколониальных стран и даже признать их особенный статус.

Существует социологический глобальный Север, в котором сложилось консенсусное видение истории социологии, отстаивающее право на вековую социологическую классику. Ему противостоит глобальный Юг, который не желает мириться с существующим положением дел и претендует на свою собственную повестку, порой включающую довольно радикальные проекты. В самом простом виде двум этим лагерям атрибутируются понятия северной и южной теории [Connell, 2006, 2007a, 2007b; De Souza Santos, 2007, 2015, 2018].

Эта работа носит обзорный характер и ставит целью познакомить читателя с южной теорией или точнее — с южными теориями. Здесь кроется важное различие. Термином, используемым в единственном числе, можно обозначить некий альтернативный северному способ социологического теоретизирования. Он пропускает через призму южной перспективы традиционные для социологии направления исследований — неравенство, образование, религию, науку и другие.

Это возможность посмотреть на известные исследовательские проблемы со стороны глобального Юга, взгляд которого отличается от северного понимания этих вопросов. Термин во множественном числе будет означать совокупность идей, пришедших в социологию из южного дискурса.

Текст работы состоит из нескольких частей. Сначала предлагается рассмотреть проблемы, связанные с оформлением классического социологического канона. Здесь южная теория апеллирует к колониальному контексту формирования дисциплины. Затем будет затронут вопрос признания легитимности «южных идей» со стороны социологического сообщества. Кроме того, будут приведены основные примеры деятельности южных социологов из традиционно «несоциологических» регионов. Статья завершается анализом типичных пунктов критики, которые возникают в качестве ответа на большие теоретические притязания южной социологии.

Прежде чем касаться обзора разнообразных вариаций южных теорий, следует обратиться к вопросу формирования социологического канона. Здесь существует два взаимосвязанных сюжета. Первый относится к критике формирования пула авторов, которых традиционно считают классиками в университетах по всему миру. Аргументация этой критики опирается на выявление колониально-империалистического контекста генезиса классической социологии. Подобный подход активно развивается австралийским социологом Р. Коннелл¹, чьи идеи положены в основу этого текста [Connell, 1997, 2007a]. Автор получила известность в социологическом мире главным образом благодаря своим работам в области гендерной социологии [Connell, 2005, 2013]. Тем не менее, она также пользуется популярностью как автор южной теории [Connell, 2007a]. По этой причине, многие подходы, изложенные ниже, тесно переплетены с заявленной темой, а некоторые напрямую отсылают к примерам из ее книги «Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science» [Connell, 2007a].

Второй сюжет связан с похожим ходом, но основанным на критике игнорирования незападного (несеверного) дискурса в вопросе оформления социологической классики [Alatas, 2014; Alatas, 1979]. Авторы чаще апеллируют к тому обстоятельству, что европейский контекст оформления дисциплины был во многом незаслуженно возвышен и следует иметь в виду другие части света, а также учитывать их заинтересованность в развитии вопросов социологического характера. Эта линия критики станет довольно устойчивой, фигурируя в современных дискуссиях. Она оказывается одним из главных сюжетов глобальной социологии.

Слово «южный» применительно к канону, к теории и в целом к социологии имеет дополнительные коннотации за пределами географического, экономического и даже эпистемологического понимания. Среди прочих, наиболее широкой трактовкой будет следующая: «термин „южный“ используется не для того, чтобы именовать ограниченное количество государств или обществ, а для того, чтобы подчеркнуть отношения — власти, исключения, гегемонии <...> между интеллектуалами и институтами в метрополиях и на периферии мира» [Connell, 2007a: VIII—IX].

¹ Англоязычное написание: Raewyn Connell или R. W. Connell. Некоторые ранние работы подписаны Robert Connell.

Центральная идея заключается в том, что и классическое, и современное состояние социологии оформилось не только усилиями северян, но и во многом благодаря Югу. Здесь особую роль играет тот факт, что социология появилась именно в странах, воспроизводивших колониальную политику по всему миру: «Идеи свободы, прав и независимости были неоднократно планомерно и жестоко ограничены действиями североатлантических государств по всему миру в отношении колонизированных» (цит. работы Р. Гуа [Guha, 1989] по [Connell, 2007a: 16]). Апофеозом подобной политики стала Берлинская конференция 1884—1885 гг., вошедшая в историю как «драка за Африку»².

Отдельная тема для рассмотрения — канон социологической науки и процесс его оформления. Очевидно, что он был разным, меняется до сих пор и, по всей видимости, еще не раз будет пересмотрен. Например, Л. Уорд в конце XIX века в книге «Dynamic Sociology» упоминает список людей, которые могут считаться внесшими вклад в развитие социологии (цит. работы Л. Уорда [Ward, 1897] по [Connell, 2007a]). В этом списке отсутствуют такие люди как К. Маркс и М. Вебер. Если отсутствие последнего можно списать на то, что на момент написания работы Л. Уорда некоторые труды М. Вебера еще не были опубликованы, то невключение К. Маркса лишь подтверждает факт изменчивости канона. Это демонстрирует, что социологи на раннем этапе развития дисциплины не имели такого же четкого представления о своих корнях как сейчас: «Ф. Гиддингс [1896] <...> опубликовал „Принципы социологии“ и назвал отцом-основателем дисциплины А. Смита. В. Бранфорд [1904] рассказывает об „основателях социологии“, называя центральной фигурой — Кондорсе» [Connell, 2007a: 4]. В классической монографии Р. Парка и Э. Берджесса «Введение в науку социологию» отсутствуют К. Маркс и В. Парето, а М. Вебер представлен единственной работой [там же: 5].

Тем не менее в самом общем виде определить канон можно — по крайней мере, на данный момент времени. Р. Коннелл в ранних работах очерчивает круг классиков, состоящих из «отцов-основателей» — М. Вебера, К. Маркса и Э. Дюркгейма. Более 20 лет спустя она также уверенно констатирует: «Канонизация этого трио была произведена между 30-ми и 60-ми годами XX века в США» [Connell, 2019: 353]. Она отмечает, что чаще всего к ним добавляются О. Конт, Г. Спенсер и Г. Зиммель, а также факультативные авторы, «члены второй команды» — Ф. Теннис, Ф. Энгельс, В. Парето, У. Самнер, Ч. Кули и Дж. Г. Мид [Connell, 1997: 1511]. Вопросы, связанные с критикой классического канона социологии, Р. Коннелл начинает поднимать уже в конце XX века. Примерно с того же времени появляются идеи, отсылающие к «империалистским корням» социальной науки, в основе которых лежит колониальное прошлое многих стран, где социология оформилась как академическая дисциплина [там же].

Другой момент касается языкового разнообразия. В настоящее время общепризнанный язык социологии — английский³. Тем не менее многие классические

² Наиболее жестокое последствие этой конференции — колониальное присутствие в регионе Бельгии. Колонисты вели де-факто политику расовой сегрегации и повсеместного насилия над коренным населением. Западный мир об этом узнает из публикаций прогрессивных журналистов, одним из которых был Роберт Парк — в будущем одна из ключевых фигур Чикагской школы социологии [Connell, 2007a].

³ Более подробно вопрос о вариативности социологических практик в разных частях света, включая проблему теоретизирования на национальном языке можно обнаружить в дискуссии, развернувшейся между М. Буравым и П. Штомпкой [Burawoy, 2011; Sztompka, 2011].

работы написаны на немецком и французском языках. Работа по переводу на английский и формированию корпуса классических текстов велась активным образом между 30-ми и 50-ми годами XX века, что не в последнюю очередь совпадает с оформлением «иконостаса» западных классиков [Connell, 2007a]. Любопытный момент этого конструирования и «канонизации» заключается в том, что наследующие классикам авторы сыграли существенную роль в данном процессе. Работы по схожим темам неизбежно привлекали дополнительное внимание аудитории к более ранним персонам, которые, конечно, были известны и до этого.

Наиболее заметные изменения связаны с фигурой К. Маркса, который первоначально, в момент оформления канона, не вошел в список отцов-основателей. Такое положение изменилось с радикализацией студентов в метрополиях по всему миру в 1960-х годах вместе с развитием полноценного общесоциологического кризиса. Например, идеи «радикальной социологии», основывались на трудах самого К. Маркса и разного рода его последователей [там же]. С этого момента игнорировать фигуру немецкого автора в контексте нарастающего количества протестов по всему миру стало сложно. Профессиональная социология начинает включать в свои учебные курсы подобные идеи, чтобы не отставать от течения времени. К 1970-м годам «миф о социологической троице» — М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Маркс — полностью сформируется и будет закреплен последующими авторами [там же]. Р. Коннелл коротко резюмирует свою идею: «Классический канон в социологии был создан, главным образом, в Соединенных Штатах, как часть усилий по восстановлению дисциплины после краха первого европейско-американского проекта социологии» [там же: 24]. Северная теория повторяет те контуры социологии, которые мы знаем и которые раз за разом воспроизводятся в преподавании и исследованиях на глобальном Севере. Набор заявленных отцов-основателей соответствует конвенциональному убеждению северных социологов о том, что социология — это их «изобретение». Южная теория противостоит таким устремлениям и прямо указывает на то, что игнорирование других частей света самым пагубным образом сказалось и все еще сказывается на многообразии идей в социологии⁴ [Connell, 1997; Alatas, Sinha, 2017; Alatas, 2014].

Вопрос признания

Между Севером и Югом существует еще один момент, который создает дополнительное напряжение в дискуссии. Речь идет о вопросе признания южных идей как соответствующих основным принципам социологии. В публикациях подобный вопрос поднимался неоднократно, хотя и в несколько другом контексте: «Признание со стороны коллег есть базовая форма внешнего вознаграждения в науке, все прочие внешние награды, такие как денежный доход от научной деятельности, продвижение к вершинам научной иерархии и расширение доступа к человеческому и материальному научному капиталу, являются производными от нее» (цит. высказывание Р. Метрона [1993: 271] по [Губа, 2015: 135])

Социологи глобального Юга в неравном противостоянии с «северянами» борются, в первую очередь, за признание западноцентричности социологии, их вклада

⁴ Подробно идею об ибн Халдуне (1332—1406) как о человеке, который первым начал интересоваться вопросами, связанными с социологией, активно развивают С. Ф. Алатас и В. Синха [Alatas, Sinha, 2017].

в науку, их права на национальные социологии и коренные (*indigenous*) концепты [Amin, 1989; Akiwowo, 1999; Patel, 2020]. Именно признание сталкивает условный «Север» и «Юг» на поле битвы: «Социология — это боевое искусство⁵, а не интеллектуальный инструмент для избранных. Социология нужна людям, чтобы осознать растущее неравенство и давать отпор <...>» [Carles, 2007].

Другим важным моментом выступает борьба за ресурсы. Признания невозможно добиться без этого элемента. В условиях противоборства двух разных точек зрения на первый план выходят именно ресурсы — контроль журналов, институциональных механизмов, контроль права на проведение и определение темы различного рода конференций, форумов и конгрессов и самой социологической повестки.

В подобном контексте особый интерес представляют идеи П. Бурдьё⁶ в области социологии науки и производства социологического знания. Так, он декларирует, что к «научным революциям способны лишь те, кому не удалось пройти нормальную научную социализацию»⁷. «Научная социализация» — это именно то, к чему стремятся социологи, чьи южные идеи так усердно критикуются сторонниками северного универсализма. В таком специфичном поле как наука, довольно обыденным считается положение дел, когда держатели научного порядка, используя свое положение, стремятся навязать этот самый порядок своим конкурентам⁸.

Французский социолог представляет структуру научного поля как то, что «определяется в каждый данный момент состоянием соотношения сил между участниками борьбы, агентами или институциями, то есть структурой распределения специфического капитала как результата предшествующей борьбы, который объективирован в институциях и диспозициях и который регулирует стратегии и объективные шансы различных агентов или институций в борьбе нынешней»⁹. Социология как наука сформировалась в лоне европейской культуры, и борьба между «позициями» заключалась в противоборстве различных идей ее амбассадоров. Не имея полноценной возможности участвовать в этой борьбе, социологи глобального Юга вступили в нее по историческим меркам относительно недавно: «Юг бросает перчатку Северу, требуя признать специальные интересы, лежащие вне нашего универсализма» [Буравой, 2009: 14]. Современное состояние дисциплины сформировалось именно как результат предшествующих диспозиций, где в ее институционализации роль южан минимальна и именно Север устанавливал правила игры. В результате такого исторического нюанса одни получили право «легитимно [то есть полномочно и авторитетно] говорить и действовать от имени науки», а другие «лишь периодически посягают на эту монополию»¹⁰.

Учитывая заявленный контекст, важно рассмотреть вопрос о праве на открытие. П. Бурдьё пишет об этом в контексте любого рядового акта изобретения:

⁵ «*Sociology as a Martial Art*» — документальный фильм о французском социологе Пьере Бурдьё, снятый режиссером Пьером Карлесом [Carles, 2007]. Позже М. Буравой обыгрывает это название в своей статье «*Sociology as a Combat Sport*» [Burawoy, 2014].

⁶ М. Буравой называет его главным публичным социологом позднего XX века [Буравой, 2009].

⁷ Бурдьё П. Поле науки // Bourdieu.name. URL: <http://bourdieu.name/content/pole-nauki> (дата обращения: 24.02.2022).

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

«Капитал авторитета, приобретаемый благодаря сделанному открытию, становится монополией того, кто сделал это открытие первым, или, по крайней мере, первым сообщил о нем и обеспечил его признание»¹¹. Этот самый акт открытия можно укрупнить в исторических масштабах и примерить на довольно длительный процесс создания социологической науки. Институционализация и оформление социологии произошло в евроамериканском контексте. Доминирующие социологические идеи предлагались европейцами и американцами с позиций универсальности социологического знания.

Первое упоминание самого понятия «социология» принадлежит европейцам, первые кафедры социологии появились в США и Европе. Таким образом, произошел тот самый акт открытия, способствующий монополии того, кто это открытие сделал. В данном случае это правило распространяется на все пространство науки и принципа универсализма: «Доминирующими становятся те, кому удалось навязать такое определение науки, согласно которому наиболее полноценное занятие наукой состоит в том, чтобы *иметь, быть и делать то, что они имеют, чем они являются, или что они делают* [курсив автора этой статьи]»¹². Любопытно, что, пытаясь развенчать миф о социологии как европейском изобретении, глобальный Юг указывает на отсутствие внимания к постколониальному миру в историческом разрезе, что заставляет авторов искать альтернативные версии возникновения социологии (см., например, [Alatas, 2014]).

П. Бурдьё очень точно отмечает, что только сами ученые, которых увлекает одна и та же «игра», играющие по определенным правилам, обладают ресурсами, чтобы оценить достоинства работы. При этом обращение к «внешнему» авторитету, безусловно являющееся центральной идеей в большинстве южных теорий, неизбежно ведет к компрометации в глазах самого авторитета и прослеживается в отношении сторонников универсализма по отношению к южанам¹³.

Все меняется, когда географическая и эпистемологическая привязка Север — Юг модифицируется, когда кто-то, обладающий ресурсами, авторитетом и тем самым правом легитимно действовать от имени науки, нарушает *status quo* и выступает на стороне тех, кто пытается эту монополию разрушить. Считается, что М. Буравой — наиболее известный пример такой рокировки. Он выступает фактически с позиций Юга и обладает всеми ресурсами, которые традиционно имеет социолог-северянин. Тем не менее история знает другие примеры. Речь идет о таких крупных фигурах как И. Валлерстайн и Р. Коннелл [Wallerstein, 1996; Connell, 2007a]. При этом Р. Коннелл сама себя охотно идентифицирует в качестве социолога глобального Юга несмотря на то, что Австралия обычно считается Севером.

Р. Коннелл заверяет читателя, что этот континент зачастую исключен из разделения Север — Юг. Если взглянуть на визуализацию этого деления — на линию Брандта на карте мира, то бросается в глаза тот факт, что она «петляет» для того, чтобы захватить в северный мир Австралию и Новую Зеландию. При этом позиция австралийского социолога чаще соответствует утверждению, что Австралия

¹¹ Бурдьё П. Поле науки // Bourdieu.name. URL: <http://bourdieu.name/content/pole-nauki> (дата обращения: 24.02.2022).

¹² Там же.

¹³ Там же.

именно Юг, так как испытала на себе похожие механизмы, выделяемые в рамках неокOLONИализма и теории зависимого развития. Эта страна не самый типичный случай, но чаще всего в публикациях все же маркируется в качестве Севера. Такое положение оформилось благодаря периоду, когда Север и Юг определялись через экономические показатели [Brandt, Al-Hamad, Botero Montoya, 1980]. Очевидно, в этой плоскости Австралия опережает Юг по многим факторам и конвенционально соответствует Северу. Такую позицию Р. Коннелл не принимает и четко определяет: я — южный социолог, Австралия — Юг.

Terra Australis Nondum Cognita¹⁴

Северная теория долгое время смотрела в сторону Юга с точки зрения поиска данных для своих исследований. Северный социолог, будучи «колонизатором в пробковом шлеме», периодически выбирался в экспедицию для сбора необходимой информации. Это способствовало развитию разнообразных методов эмпирического исследования. Можно считать, что уже хотя бы поэтому вклад Юга не может быть проигнорирован. Наиболее понятный классический пример — М. Мид и ее экспедиции в Полинезию.

Ключевым текстом южной теории как обоснования нового способа социологического теоретизирования стала одноименная книга Р. Коннелл [Connell, 2007a]. Это программный текст, декларирующий основные причины оформления дихотомии Север — Юг в социальной теории и принципы того, как следует вести дискуссию на эту тему. Многие ходы этой статьи напрямую отсылают к работе австралийского социолога. Естественно, что с момента декларации идеи прошло достаточное количество времени для появления других подходов, связанных с южной теорией. Эта часть текста есть некий сплав обзора южных идей из разных источников с вполне понятным доминированием идей Р. Коннелл.

«Моя „Южная Теория“ показывает скрытые геополитические предубеждения [assumptions] в северной социальной теории и рассматривает широкий спектр мощной социальной мысли из колониального и постколониального мира»: такой результат достигается благодаря представлению мало известных социологических идей из традиционно «несоциологических» регионов Африки, Азии и Южной Америки [Connell, 2014: 211]. Книга знакомит читателя с малоизвестными ранее идеями и именами, пришедшими со стороны глобального Юга. Такая работа предполагает определенную долю погружения в локальный социологический контекст, в состояние местной науки, знание истории и языков региона. Р. Коннелл отдает себе отчет о существующих ограничениях, встающих на ее пути. Поэтому ни о какой системности в представлении южных идей речи не идет. Напротив, заявленные для рассмотрения работы выбраны сугубо субъективно. Одни тексты появляются, потому что написаны на английском языке, другие — потому, что Р. Коннелл больше знакома с местным контекстом. Хорошей иллюстрацией последнего факта становится обращение автора к исламскому миру через иранских мыслителей и отказ от подобного хода в сторону арабских стран или Юго-

¹⁴ «Еще неизведанная южная земля» — термин времен эпохи Великих географических открытий. В широком смысле обозначал еще не открытые земли в Южном полушарии. Это также обозначение гипотетически существующего там материка. *Terra Australis* иногда используется как обозначение Австралии.

Восточной Азии, хотя именно там существует большой спектр работ, который релевантен полю южной теории.

Локальные идеи хорошо известны местным социологическим сообществам. У них могут быть свои собственные классики, практики ведения исследований и дискуссий, которые хорошо институционализированы и активно воспроизводятся местными социологами. Наиболее известный пример — африканский народ йоруба. Идея об исключительности их культуры красной нитью прошла через работы А. Акивово [Akiwowo, 1986, 1999] и П. Хоутонджи [Hountondji, 1983]. Они базируются на культурном бэкграунде региона, развивая концепцию, где особое место занимает возможность «другого взгляда» на социологию, обусловленное формированием мышления, основанного на мифах, поэзии и языке народа. Помимо *Yoruba studies*, то есть изучения йорубской культуры антропологами, культурологами и другими исследователями, существует также философия йоруба, основывающаяся на уникальности собственных традиций. Может показаться, что подобная идея носит довольно спорный характер, однако она отлично институционализирована: существуют специальные журналы, в нигерийских университетах преподаются учебные курсы, посвященные этой проблематике, есть ассоциация изучения йоруба, проводятся тематические конференции. Йорубская культура является важной частью академической жизни социальных наук в регионе Западной Африки (особенно в Нигерии и Бенине).

Пожалуй, Африка — это регион, наиболее недоступный в плане локальных социологических идей для международного академического сообщества. Основными причинами выступают низкая представленность местных авторов в интернациональном пространстве и малое количество работ на английском языке. Социологические сообщества Африки часто глубоко завязаны на малораспространенных языках, которых в регионе насчитывается огромное количество. Р. Коннелл открывает возможность изучить разнообразие африканских идей, основанных на философии йоруба и банту. На XX век в Африке приходится не только факт деколонизации континента, но и настоящий интеллектуальный ренессанс. Появляется огромное количество движений panafricanists-марксистов, сторонников негритюда, критикующих колониализм, не желающих мириться с неоколониализмом и призывающих обратить внимание на локальные традиции и культуру [Rodney, Davis, 2018; Fanon, 2007; Césaire, 2001; Nkrumah, 1965]

В контексте политики колониализма неизбежно возникает Новый Свет — одно из основных направлений для многих колониальных держав прошлого. По этой причине существуют работы, которые само употребление слова «Америка» рассматривают как достаточное основание полагать распространение европейского влияния на четвертый мир¹⁵ [Mignolo, 2009].

В южной теории важен вопрос зависимого развития. Долгое время подобные механизмы на себе испытывала Латинская Америка, где и появились наиболее влиятельные теоретики в этой области (например, [Cardoso, Faletto, 1979; Cardoso, 1977]). С целью уменьшения зависимости от западных товаров и диверсификации экспорта, в рамках доктрины Экономической комиссии ООН для Латинской Америки возникла идея «импортозамещающей индустриализации» [Connell, 2007a].

¹⁵ Автор понимает под этим термином коренные народы Америки, Австралии, Новой Зеландии и т. д.

Отдельного упоминания заслуживает группа ученых, которые провозгласили себя как *Subaltern Studies Group*. Ее участники занимаются исследованиями постколониальных вопросов в Южной Азии, откуда почти все они родом. В состав этого объединения входят, например, Р. Гуха, Г. Бхадра, Д. Арнольд и Г. Пракаш, известные периодической серией публикацией «*Writings on South Asian History and Society*»¹⁶ [Guha, 1989].

Фундаментальным трудом в рамках группы считается книга Д. Чакробарти о провинциализации Европы [Chakrobarty, 2000], где он утверждает, что Европа — это не просто географический термин, но также и место, где продуцируются академические стандарты и базовые принципы социальных наук. Провинциализация Европы заключается в том, чтобы «указать» этой части света на ее истинное положение среди других таких же равноправных в научном плане миров [там же]. Представители направления исходят из тезиса о конструировании «истории снизу», имея в виду историю не великих лидеров, а простых людей (*people's history*) [Zinn, Arnov, 2015].

Огромный потенциал в плане социологического теоретизирования скрывается не только в заявленных регионах, но и в месте, которое по праву считается одной из колыбелей цивилизации — на Востоке. На исторической прямой Восток долгое время был в авангарде точных наук. Имена известных восточных математиков и геометров известны далеко за пределами мест их рождения, чего нельзя сказать о социальных науках. По крайней мере, так можно заявить, если получать образование на глобальном Севере.

Р. Коннелл избирает для рассмотрения в качестве представителя восточного мира Иран — выбор совершенно неочевидный. Эта страна интересует ее в первую очередь в контексте Исламской революции. Тут возникает фигура А. Шариати, который пытался произвести синтез идей левого толка с шиизмом, распространенным в этом регионе, с целью построения общества на справедливых религиозных принципах и борьбы с разного рода угнетением [Shariati, 1979].

Еще одна интересная персона — радикальный критик евроцентризма Дж. Але-Ахмад. Он является автором известного радикального термина «вестоксикация» (*westoxication*): «Если мы хотим следовать за Западом, нацией должен руководить тот, кто легко ведом, неискренен, беспринципен, не имеет корней и не принадлежит этой земле» (цит. работа Дж. Але-Ахмада [Al-e Ahmad, 1982] по [Connell, 2007a: 121]). В связи со спецификой идей, повлиявших на Исламскую революцию, авторы высказываются весьма радикально. При том, что сама Р. Коннелл отмечает, что, например, в работе Дж. Але-Ахмада отсутствует какая-либо выстроенная аргументация, присутствует сбивчивость, неточность и фрагментарность в повествовании [Connell, 2007a].

Восток не мог быть исключен из дебатов международного характера и породил идею ориентализма. Следует воспользоваться интерпретацией Б. Тернера и определить, что ориентализм может быть рассмотрен как тип мышления, основанный на различении между «западным» (*occidental*) и восточным (*oriental*) [Turner, 1989: 630]. В общем виде ориентализм также может быть отождествлен с совокуп-

¹⁶ Здесь же появляется имя Гаятри Спивак, известной своей работой «*Can the Subaltern Speak?*» [Spivak, 1988]. Спивак считается одной из ключевых фигур в *postcolonial studies* в целом.

ностью западных образовательных учреждений, фокусирующиеся на изучении общества и культуры Востока. В широком смысле — это все, что так или иначе связано с Востоком [Said, 2006: 112].

Ключевыми работами в области ориентализма следует признать ряд публикаций, связанных с именем Э. Саида [Said, 1978, 2006]. Центральная идея, изложенная в одноименной книге во многом связана с вопросом различения понятий «east» и «oriental», отождествляемых с Востоком [Said, 1978]. Ориентализм претендует на некоторую интеллектуальную независимость, открыто критикует западные колониальные устремления и их апологию. «Восточное» (*oriental*) является сконструированным институционализированным западным атлантическим знанием, при этом «Восток — часть материальной цивилизации культуры Запада» [Said, 2006: 119]. Идеи, развитые рядом авторов в области постколониальных исследований, не касаются прямо вопросов южной теории в социологии, но не требуются сложных теоретических операций, чтобы перенести их тезисы на поле социологической науки.

Критические замечания к проекту южной теории

Южные теории — ярлык, который навешивается на подходы, рожденные в противовес идеям северного универсализма в социологии. Такие подходы никак не могут избавиться от родовой травмы — противопоставления Северу. Они с самого начала артикулируются «от противного», то есть выступают против уже существующего социологического порядка и вероятно не способны независимо существовать без болезненной связи с Севером.

Большой вопрос состоит в том, способны ли подобные теории предложить свою собственную позитивную повестку без наличия северного идеологического оппонента. Действительно, подобным идеям требуется постоянная апелляция к внешнему раздражителю, который выступает объектом для критики по самым разнообразным основаниям. Если представить, что в один момент южная теория останется без идеологического противника, то вся ее повестка в перспективе может сойти на нет.

Эта часть текста статьи предлагает читателю критически посмотреть на проект южной теории. Следует сконцентрироваться на рассмотрении трех главных аспектов: обида на социологический Север, монополия на контроль критического дискурса по отношению к северному универсализму, а также слабо концептуализированная идея о формировании социологического канона в колониальном контексте. Двигаясь от первого пункта к последнему, можно охватить весь континуум критических замечаний, предлагаемых к рассмотрению.

Обида на социологический Север является наиболее понятным аспектом для критики. При всех сложностях вопроса признания, описанных в одноименном разделе статьи, этот сюжет возникает повсеместно. Годы колониальной политики стран глобального Севера в южных регионах планеты не могли не повлиять на формирование негативного восприятия этого исторического этапа в коллективной памяти жителей южных территорий, что неизбежно переносится на все сферы жизни, и наука не становится исключением. Южные университеты долгое время следовали правилам, установленным метрополиями. Многие позиции в универ-

ситетских центрах Юга были с самого начала закреплены за колонистами. Даже лидирующее положение западных социологических центров, а также их научная деятельность теперь становятся предметом дискуссии с притязанием на реализацию альтернативных практик: «мы отправляемся в Беркли для повышения квалификации, приглашаем профессора Йельского университета, чтобы он выступил с докладом, преподаем по американским учебникам, изучаем теорию прямоком из Парижа и пытаемся опубликовать наши статьи в журнале *Nature* или *American Economic Review*» [Connell, 2017: 7]. Академическая обида на Север периодически появляется в публикациях, связанных с южной теорией, порой оборачиваясь радикальными суждениями об альтернативной истории социологии [Alatas, 2014].

В работах южан можно встретить идею о том, что если бы не колониальное доминирование европейских стран в прошлом, то социологии Юга *были бы такими же успешными* как северная социология. Это утверждение демонстрирует устремление не быть альтернативно-оригинальными, не предлагать свою собственную повестку, а показывает внутреннее желание найти некое оправдание своей социологической неуспешности. Более точно раскрывает эту мысль И. Валлерстайн — известный сторонник социологического разнообразия. Он отмечает, что сила критиков евроцентризма в социологии не в том, чтобы обвинить оппонентов в своих неоколониальных проблемах, а в том, чтобы быть уникальными самим по себе [Wallerstein, 1996: 103]. Именно перспектива быть уникальной самой по себе оказывается крайней границей для южной теории. Сетования на колониальное прошлое лежат в русле лучших традиций северной социологии и лишь воспроизводят ее убеждения, которые по замыслу авторов идеи должны критиковаться южанами, а не имплицитно поддерживаться ими в публикациях. Такое положение дел неизбежно приводит к следующему критическому замечанию.

Серьезным препятствием для входа южной теории в общий социологический дом становится монополизация критической повестки, ориентированной на Север. Здесь следует обратиться к любопытному примеру, который красноречиво описывает проблему концентрации права на критику в одних руках. Очевидно, что северные или южные идеи совершенно необязательно географически локализованы на Севере или на Юге. Северные практики теоретизирования, будучи доминирующими, воспроизводятся повсеместно, включая крупные социологические центры южного полушария. Р. Коннелл называет подобное положение дел не иначе как «поистине впечатляющим», давая этим фактам эмоциональную оценку [Connell, 2007a: 140].

В своей книге Р. Коннелл приводит в пример работу по глобализационным процессам одного чилийского автора и обрушивается на него с критикой, обвиняя в том, что он ссылается на корпус текстов современного западного канона (Э. Гидденс, Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр, Р. Даррендорф), «использует статистику ООН в той же манере, как это делают европейцы» и пишет работу с точки зрения обобщенной западной культуры [там же]. Этот красноречивый пример показывает, что критика Севера — это абсолютная монополия южан и если выходец глобального Юга желает использовать северные способы теоретизирования, то он только в силу этого становится изгоем в южном дискурсе. Здесь южная теория вступает

в конфликт с самой собой. Если монополия Севера на производство знания навредила социологии Юга, то монополия на критику Севера со стороны южан никак не может быть оценена по-другому, так как это примеры одного порядка. Подобная монополизация не добавляет социологической силы идее, так как она фактически упирается ровно в ту же проблему, что и желает приписать своим оппонентам.

Еще один момент для критического разбора — колониально-империалистический статус стран, в которых оформилась социология как академическая дисциплина. Вопрос генезиса социологического канона и его связи с колониальным прошлым стран, оказавших влияние на его становление, является по меньшей мере спорным.

Так, Р. Коллинз выразил сомнение по поводу связи между империалистическими устремлениями стран, в которых социология зародилась, и формированием самой дисциплины. Отмечая, что такой ход может работать, например, для Британии, он не соглашается «примерить» его на Францию и особенно на Германию. Причина кроется в возвышении колониальных амбиций первой лишь после 1880-х годов и в малых заморских владениях второй в принципе [Collins, 1997]. Несмотря на очевидную колониальную историю Британии, ее сложно отнести к странам, где социология развивалась активнее прочих, — здесь на первое место выходят Франция и Германия. При этом раннее поколение французских интеллектуалов, вроде О. Конта и А. Сен-Симона, не попадает в период возвышения колониальных устремлений французской метрополии, что частично верно лишь для поколения Э. Дюркгейма [там же].

Р. Коллинз критично относится к представленным аргументам австралийского социолога: «Если отбросить риторический пафос, Коннелл никогда не отвечает на главный вопрос: почему классическая теория является классической?» [там же: 1558]. Американский социолог не находит ответа на этот вопрос, так как Р. Коннелл, по его мнению, лишь сводит всю проблему к осуждению, что возвращает нас к пункту о социологической обиде на Север. Аргументы о черпаниии данных и информации классиками на глобальном Юге разбиваются о простой факт: «Поколения основателей французских социологов писали гораздо больше о трансформации собственного общества, чем о разности европейской метрополии и колонизированного Другого» [там же: 1559]. Это же верно и для других стран, сыгравших важную роль в становлении социологии.

Греховное происхождение северной социологии в глазах южан не должно отменять предъявляемых любой науке стандартов качества. Сам по себе факт ее евроцентричности зачастую рассматривается в качестве недостаточного основания для критики. Если социологии как науке было суждено родиться в Европе и развиваться усилиями носителей европейской культуры при игнорировании других частей света, то это никак не влияет на ее качество. Положение «угнетенного» или «коренного» не дает никаких преимуществ социологу в плане признания его идей [Sztompka, 2011]. Такой статус не должен становиться ключевым в вопросе, важным должно быть лишь качество самих исследований [там же].

При этом сторонники северного универсализма указывают на то, что идеи южан могут приниматься социологическим сообществом при условии их соответствия самым общим принципам построения научного знания. Это подтверждается

литературой по вопросу, где тезис о первородном грехе социологии традиционно считается наиболее слабым [там же].

Заключение

Описать в удобоваримом виде разнообразие социологических идей Юга в отдельной статье практически невозможно. Можно представить избранные идеи, которые следует считать влиятельными. Это способствует возникновению представления, что, якобы, подобные задачи следует оставить местным социологическим сообществам или специалистам, имеющим возможность читать первоисточники на языке оригинала, погружаться в необходимый контекст. Тем не менее южная теория имеет довольно существенное влияние на социологов по всему миру. Это совершенно не удивительно — когда крупные теоретики отдают дань истории и ключевым фигурам социологий глобального Юга, то это не может не импонировать местным сообществам.

Южная теория в лице Р. Коннелл и других авторов заявила серьезную и амбициозную цель: «предложить новый путь для социальной теории, что поможет социальным наукам служить демократическим целям в мировом масштабе» [Pease, 2009: 84]. Тем не менее, нужно признать, что эта цель слишком абстрактна и не имеет никаких конкретных критериев, по которым можно было бы судить о ее успехе. В самом радикальном из прочтений южная теория может претендовать на замену теории северной. Такое видение следует считать довольно натянутым, поскольку даже самые радикальные южане выступают в первую очередь за мирное сосуществование и возможность реализовать социологические практики самостоятельно, используя собственные концепты для решения собственных проблем.

Критика такого положения дел концентрируется на том, что подобные концепты оказываются чаще всего языковыми эквивалентами уже существующих общепринятых социологических понятий и не несут в себе никакой новизны [Sztompka, 2011]. Тем не менее социологический Юг — это сюжет, построенный на «разнообразии» идей, а не на «единстве» социологического знания, предполагающего замену одного северного порядка на порядок южный. Текст статьи призывает посмотреть, в первую очередь, на изобилие идей в разных частях планеты и не стремится солидаризироваться с радикальным социологическим дискурсом, предполагающим чуть ли не альтернативную южную историю социологии.

Вместе с тем невозможно отрицать, что идея Р. Коннелл основана на огромном количестве исторических материалов, текстов ученых, изучении архивов, а также на базе активных обсуждений с самими южными социологами. Очевидно, чтобы разобраться в вопросе нужно иметь представление как о хорошо известных читателю линиях мысли, так и о традициях, известных лишь ограниченному кругу посвященных.

Р. Коннелл провела огромную работу по систематизации и представила идею, которая спровоцировала широкую и оправданную дискуссию в академических кругах. Несмотря на то, что ее имя именно в южной теории считается наиболее влиятельным, существуют и другие авторы, ставящие во главу угла схожие идеи.

Южная теория повлияла на социологический Север. Монолитное строение северной социологии начинает давать трещину под давлением южного дискурса.

В высоких кабинетах и на мероприятиях международного уровня самым серьезным образом обсуждается проблема евроцентризма социальных наук. Южная теория заглядывает за социологический горизонт — за альтернативный дискурс социальных наук. Ведущие социологи последнее время все чаще рефлексировать современную академическую конъюнктуру в социологии, задавая перспективу исследований в этом поле [Hanafi, 2020; Go, 2020; Patel, 2020; Bhambra et al., 2020].

Несмотря на восходящий тренд интереса к глобальному Югу в контексте современной социологической мысли, южная теория активно критикуется социологическим сообществом. Замечания фокусируются вокруг обиды на социологический Север и сетований на южную неуспешность. Кроме того, поднимается вопрос монополии на производство критики северного универсализма, а также сомнительности указания на колониальное происхождение социологии. Эта работа предлагает не только ознакомиться с южной теорией как таковой, но и приглашает к дискуссии о целесообразности реализации ее практик и перспективах самой идеи в будущем через критическую рефлексию ее некоторых положений.

Можно спорить о том, какая социология «правильная» — северная или южная, приводить аргументы за, против и обвинять южан в покушении на традиции, в радикализме и слабости позиции. Тем не менее сложно отрицать, что мы привыкли штудировать одни и те же тексты, одних и тех же авторов из вполне конкретных социологических регионов, при этом абсолютно ничего не зная о том, как дисциплина развивалась и развивается в других частях света. Даже оставив на время критику южной идеи, в сухом остатке этих рассуждений окажется факт, что в одном отдельно взятом направлении можно обнаружить широкий пласт свежего, малоизученного, и как минимум интересного материала. Из южной теории можно почерпнуть малоизвестные идеи, которые имеют большое влияние и изучаются в одном ряду с классическими работами. Южная теория интересна разнообразием взглядов, существующих в дисциплине. Любой историк социологии обнаружит в этой области ряд разнообразных и неожиданных примеров. Другой интерес представляет возможность, используя идеи южной теории, сопоставить развитие социологии и ее исторические преобразования в разных частях света. Уже хотя бы в этом состоит интерес к идеям, изложенным в рамках южного социологического дискурса.

Именно такие минимальные задачи могут привлечь массового социологического читателя. Если вникнуть в вопрос притязаний южной теории на более серьезную роль, то за ним вскроется обширная история дискуссии. Углубляться в изучение всех исторических перипетий или нет, каждый должен решить самостоятельно.

Список литературы (References)

Буравой М. Комментарий: за глобальную социологию низших слоев? // Социологические исследования. 2009. № 4. С. 14—20.

Burawoy M. (2009) Rejoinder: For a Subaltern Global Sociology? *Sociological Studies*. No. 4. P. 14—20. (In Russ.)

Губа К. «Merton College»: от концептуализации к эмпирической программе социологии науки // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. 18. № 2. С. 130—145.

Guba K. (2015) “Merton College”: From Conceptualization to Empirical Program of Sociology of Sciences. *Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 18. No. 2. P. 130—145. (In Russ.)

Мертон Р. К. Эффект Матфея в науке, II: накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности // THESIS. 1993. № 3. С. 256—276.

Merton R. K. (1993) The Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. *THESIS*. No. 3. P. 256—276. (In Russ.)

Akiwowo A. A. (1986) Contributions to the Sociology of Knowledge from an African Oral Poetry. *International Sociology*. Vol. 1. No. 4. P. 343—358. <https://doi.org/10.1177/026858098600100401>.

Akiwowo A. (1999) Indigenous Sociologies: Extending the Scope of the Argument. *International Sociology*. Vol. 14. No. 2. P. 115—138. <https://doi.org/10.1177/0268580999014002001>.

Alatas S. F. (2014) *Applying Ibn Khaldūn: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology*. New York, NY: Routledge.

Alatas S. F., Sinha V. (2017) *Sociological Theory Beyond the Canon*. London: Palgrave Macmillan UK.

Alatas S. H. (1979) Towards an Asian Social Science Tradition. *New Quest*. Vol. 17. P. 265—269.

Al-E Ahmad J. (1982) *Weststruckness = Gharbzadegi*. Lexington, KY: Mazda Publishers.

Amin S. (1989) *Eurocentrism*. New York, NY: New York Monthly Review Press.

Brandt W., Al-Hamad A. Y., Botero Montoya R. (1980) *North South: A Programme for Survival*. Cambridge, MA: MIT Press.

Bhambra G., Medien K., Tilley L. (2020) Theory for a Global Age: From Nativism to Neoliberalism and Beyond. *Current Sociology*. Vol. 68. No. 2. P. 137—148. <https://doi.org/10.1177/0011392119886864>.

Burawoy M. (2011) The Last Positivist. *Contemporary Sociology*. Vol. 40. No. 4. P. 396—404. <https://doi.org/10.1177/0094306111412512a>.

Burawoy M. (2014) Introduction: Sociology as a Combat Sport. *Current Sociology*. Vol. 62. No. 2. P. 140—155. <https://doi.org/10.1177/0011392113514713>.

Cardoso F. (1977) The Consumption of Dependency Theory in the United States. *Latin American Research Review*. Vol. 12. No. 3. P. 7—24.

Cardoso F. H., Faletto E. (1979) *Dependency and Development in Latin America*. Los Angeles, CA: University of California Press.

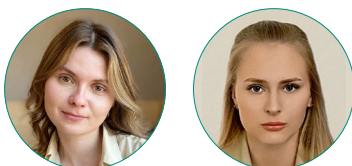
Carles P. (2007) *La Sociologie Est un Sport de Combat: Pierre Bourdieu*. Montpellier: C-P Productions; Paris: VF Films.

Césaire A. (2001) *Discourse on Colonialism*. New York, NY: Monthly Review Press.

- Chakrabarty D. (2000) *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Collins R. (1997) A Sociological Guilt Trip: Comment on Connell. *American Journal of Sociology*. Vol. 102. No. 6. P. 1558—1564.
- Connell R. W. (1997) Why Is Classical Theory Classical? *American Journal of Sociology*. Vol. 102. No. 6. P. 1511—1557. <https://doi.org/10.1086/231125>.
- Connell R. W. (2005) *Masculinities*. Cambridge: Polity Press.
- Connell R. W. (2006) Northern Theory: The Political Geography of General Social Theory. *Theory and Society*. Vol. 35. No. 2. P. 237—264. <https://doi.org/10.1007/s11186-006-9004-y>.
- Connell R. W. (2007a) *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Cambridge; Malden, MA: Polity.
- Connell R. W. (2007b) The Northern Theory of Globalization. *Sociological Theory*. Vol. 25. No. 4. P. 368—385. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2007.00314.x>.
- Connell R. W. (2013) *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Connell R. W. (2014) Using Southern Theory: Decolonizing Social Thought in Theory, Research and Application. *Planning Theory*. Vol. 13. No. 2. P. 210—223. <https://doi.org/10.1177/1473095213499216>.
- Connell R. W. (2017) Southern Theory and World Universities. *Higher Education Research & Development*. Vol. 36. No. 1. P. 4—15. <https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1252311>.
- Connell R. W. (2019). Canons and Colonies: The Global Trajectory of Sociology. *Estudos Históricos* (Rio de Janeiro). Vol. 32. No. 67. P. 349—367. <https://doi.org/10.1590/s2178-14942019000200002>.
- De Sousa Santos B. (ed.) (2007) *Another Knowledge is Possible: Beyond Northern Epistemologies*. London; New York: Verso.
- De Sousa Santos B. (2015) *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. New York, NY: Routledge Taylor & Frances Group.
- De Sousa Santos B. (2018) *The End of the Cognitive Empire: The Coming of Age of Epistemologies of the South*. Durham: Duke University Press.
- Fanon F. (2007) *The Wretched of the Earth*. New York, NY: Grove Atlantic.
- Go J. (2020) Race, Empire, and Epistemic Exclusion: Or the Structures of Sociological Thought. *Sociological Theory*. Vol. 38. No. 2. P. 79—100. <https://doi.org/10.1177/0735275120926213>.
- Guha R. (1989) *Writings on South Asian History and Society: Subaltern Studies VI*. Delhi; New York: Oxford University Press.

- Hanafi S. (2020) Global Sociology Revisited: Toward New Directions. *Current Sociology*. Vol. 68. No. 1. P. 3—21. <https://doi.org/10.1177/0011392119869051>.
- Hountondji P. J. (1983) African Philosophy: Myth and Reality. London: Hutchinson.
- Mignolo W. D. (2009) The Idea of Latin America. Malden, MA; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing.
- Nkrumah K. (1965) Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism. London: Panaf.
- Patel S. (2020) Sociology's Encounter with the Decolonial: The Problematique of Indigenous VS That of Coloniality, Extraversion and Colonial Modernity. *Current Sociology*. Vol. 69. No. 3. P. 372—388. <https://doi.org/10.1177/0011392120931143>.
- Peace R. (2009) Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science — by R. Connell. *New Zealand Geographer*. Vol. 65. No. 1. P. 84—85.
- Rodney W., Davis A. Y. (2018) How Europe Underdeveloped Africa. London, New York: Verso.
- Shariati A. (1979) On the Sociology of Islam. Berkeley, CA: Mizan Press.
- Sztompka P. (2011) Another Sociological Utopia. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*. Vol. 40. No. 4. P. 388—396. <https://doi.org/10.1177/0094306111412512>.
- Said E. (1978) Orientalism. London: Pantheon Books.
- Said E. (2006) Introduction to Orientalism. In: Morra J., Smith M. (eds.) *Visual Culture: Experiences in Visual Culture*. Vol. 4. Taylor & Francis. P. 119—125
- Spivak G. C. (1988) Can the Subaltern Speak? In: Nelson C., Grossberg L. (eds.) *Marxism and the Interpretation of Culture*. University of Illinois Press: Urbana. P. 271—313.
- Turner B. S. (1989) From Orientalism to Global Sociology. *Sociology*. Vol. 23. No. 4. P. 629—638. <https://doi.org/10.1177/0038038589023004007>.
- Wallerstein I. (1997) Eurocentrism and its Avatars: The Dilemmas of Social Science. *Sociological Bulletin*. Vol. 46. No. 1. P. 21—39. <https://doi.org/10.1177/0038022919970102>.
- Ward L. F. (1897) Dynamic Sociology: Or Applied Social Science, as Based Upon Statical and Less Complex Sciences. New York, NY: D. Appleton and Company.
- Zinn H., Arnove A. (2015) A People's History of the United States. New York, NY: Harper Perennial.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1957](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1957)



Л. В. Шантырева, К. С. Тюленева

ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ СЕЛЕБРИТИ В КОММУНИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ О ВИЧ

Правильная ссылка на статью:

Шантырева Л. В., Тюленева К. С. Факторы восприятия селебрити в коммуникации по вопросам здоровья о ВИЧ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 245—262. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1957>.

For citation:

Shantyreva L. V., Tyuleneva K. S. (2022) Factors of Celebrity Perception in Health Communication About HIV. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 245–262. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1957>. (In Russ.)

ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ СЕЛЕБРИТИ В КОММУНИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ О ВИЧ

ШАНТЫРЕВА Любовь Викторовна — Преподаватель, Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, Департамент интегрированных коммуникаций, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: lshantyreva@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3852-1763>

ТЮЛЕНЕВА Кристина Сергеевна — Студентка, Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, Реклама и связи с общественностью, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: kristina.tyuleneva.00@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3605-0336>

Аннотация. В центре внимания статьи находятся особенности использования образов знаменитостей в коммуникации по вопросам здоровья — значимом инструменте, способствующем предотвращению заболеваний, повышению осведомленности и ответственности при принятии решений о поддержании своего физиологического состояния. Как образ знаменитости влияет на эффективность коммуникации? Какие черты, личные и профессиональные, имеют наибольшее значение? Концептуальная основа исследования выстраивается вокруг понятий доверия и сенситивности, а также роли образа в восприятии. Статья основывается на анализе коммуникации, построенной на участии селебрити и направленной на информирование о ВИЧ-инфекции. Эмпирически статья опирается на материалы

FACTORS OF CELEBRITY PERCEPTION IN HEALTH COMMUNICATION ABOUT HIV

Lyubov V. SHANTYREVA¹ — Lecturer, Faculty of Communications, Media and Design, Department of Integrated Communications

E-MAIL: lshantyreva@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3852-1763>

Krisina S. TUYLENEVA¹ — Student, Faculty of Communication, Media and Design, Advertising and Public Relations

E-MAIL: kristina.tyuleneva.00@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3605-0336>

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. The article focuses on the specifics of using celebrity images in health communication, a significant tool that helps prevent diseases, increase awareness and responsibility when making decisions about maintaining one's physiological state. How does the image of a celebrity influence the effectiveness of communication? What traits, personal and professional, matter the most? The study builds on the concepts of trust and sensitivity, as well as the role of the image in perception. The authors analyze communications involving celebrities and aimed at informing about HIV infection. Empirically, the study bases on materials from focus group discussions using stimulus materials (6 groups, 36 participants aged 18–25 years, films about HIV with celebrity participation). An analysis of this data shows that the presence of a celebrity image in com-

фокус-групповых обсуждений с использованием стимульных материалов (6 групп, 36 участников в возрасте 18—25 лет, показаны фильмы о ВИЧ с участием селебрити). Анализ полученных данных свидетельствует, что наличие образа знаменитости в коммуникации по вопросам здоровья повышает эффективность восприятия: увеличивает заинтересованность в тематике сообщения, влияет на запоминаемость информации, в то время как отсутствие селебрити в стимульном материале аналогичной тематики имеет обратный эффект. Показано, что внешний вид и половая принадлежность знаменитости не оцениваются в качестве значимых факторов подобной коммуникации, а харизма, личный опыт и экспертность способны оказать положительное воздействие на восприятие информации.

Ключевые слова: селебрити, знаменитости, коммуникации, коммуникации по вопросам здоровья, ВИЧ

Благодарность. Материал подготовлен в рамках гранта Факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Селебрити и платформы».

munication on health issues increases the efficiency of perception: it amplifies interest in the topic of the message, affects the memorability of information, while the absence of celebrity in stimulus material on a similar topic has the opposite effect. The study shows that the appearance and gender of a celebrity are not evaluated as significant factors of such communication, while charisma, personal experience, and expertise can have a positive impact on the perception of information.

Keywords: celebrities, communications, health communications, HIV

Acknowledgments. The article was prepared as part of a grant «Celebrities and Platforms» funded at the Faculty of Communications, Media, and Design of the HSE University.

Включение знаменитостей в коммуникацию является важным элементом построения кампаний, направленных на информирование аудиторий в вопросах здоровья, изменение поведения и улучшение качества жизни. За достижениями селебрити следят, им доверяют, на них хотят быть похожими. Однако, несмотря на длительную традицию становления феномена селебрити, существуют разногласия относительно эффективности такой коммуникации, особенно в сферах сенситивного характера, таких как вопросы здоровья. С одной стороны, аудитория доверяет информации, когда включенная в ее коммуникацию знаменитость обладает должной квалификацией и соответствует атрибутам объекта коммуникации. С другой — присутствие эффекта ореола, из-за которого личные характеристики

селебрити переносятся на то, о чем они говорят, может препятствовать восприятию информации — особенно если знаменитость в своих поступках за пределами коммуникации не соответствует транслируемому сообщению¹.

Среди причин, придающих важность и привлекающих внимание к действиям и идеям селебрити, можно назвать ценность материала, общественный интерес, возможность наблюдать за знаменитостью, задающей информационный фон. Поддерживая ту или иную идею, селебрити выделяют ее среди других, маркируя особым образом и помогая своей аудитории принять решение о необходимом выборе.

В вопросах медицинской информации, восприятие которой требует особенно внимательного отношения, потребитель, как правило, находится в поле разнообразных точек зрения, которые могут противоречить друг другу. Появление в этом пространстве селебрити, мнение которых важно и значимо для аудитории, способно сказаться на восприятии информации и побудить принять то или иное решение или усвоить новую информацию в отношении здоровья.

В фокусе рассмотрения представленной статьи находятся коммуникации селебрити с аудиторией о ВИЧ, донесение информации о котором осложняется стигматизацией и стереотипизацией темы. В своей работе авторы отвечают на вопрос о том, каковы факторы восприятия селебрити в коммуникации на эту тему. Исследование основывается на анализе материалов фокус-групп, позволяющем выявить различия в понимании событий и явлений определенными группами лиц. Их сценарий был выстроен таким образом, чтобы определить осведомленность о ВИЧ, особенности восприятия селебрити в подобной коммуникации, а также факторы, определяющие построение этого процесса.

1. Особенности построения коммуникации по вопросам здоровья

Принятие решений в медицинской сфере определяется как подход, ориентированный на пациента, при котором основанная на фактических данных информация помогает совершить выбор в свете принятых пациентом ценностных установок. Этот тип принятия решений также называют предпочтением или выбором предпочтения: в медицинских вопросах часто не существует одного лучшего варианта, но доступные опции можно ранжировать в соответствии с личными ценностями и интересами лица, принимающего решение [Sheridan et al., 2004].

Стратегии укрепления здоровья направлены на то, чтобы подтолкнуть реципиента к здоровому образу жизни или к прекращению нездорового. Исследования в этой области предлагают способы представления информации таким образом, чтобы желаемое поведение становилось более вероятным [Prochaska, DiClemente, 1983]. Такие методы, как фреймирование или направление аудитории, сознательно используются для повышения эффективности в этой сфере [Updegraff, Rothman, 2013]. Эффективность подобной коммуникации определяется как изменения установок и поведения аудитории. Несмотря на то, что поведенческие сдвиги считаются наиболее приоритетным результатом, немалое значение отдается и соци-

¹ Текст подготовлен на основании курсового исследования К.С. Тюленевой «Роль образа знаменитости в продвижении здорового образа жизни».

альному фактору — изменению норм и установок, способствующих снятию стигмы и повышению осведомленности о заболевании [Odine, 2013].

Процесс восприятия сообщения в коммуникации по теме здоровья может быть рассмотрен через модель кодирования и декодирования информации, включающую в себя два этапа: анализ и интерпретация коммуникации (декодирование), формирование сообщения и его донесение до аудитории (кодирование). Теория С. Холла объясняет восприятие как сложный и зачастую непредсказуемый процесс, в котором эффективность донесения информации во многом зависит от уже имеющихся у аудитории установок и опыта. Чем более четко и структурировано сформировано коммуникационное сообщение, тем больше вероятность, что аудитория воспримет его, то есть выберет доминирующий способ восприятия, согласно которому идея воспринимается именно в том виде, в котором ее сконструировал отправитель [Hall, 2003].

В случае, если сообщение в коммуникации здоровья исходит от селебрити, процесс его восприятия может быть рассмотрен через призму теории социального научения А. Бандуры, в которой эффективность восприятия коммуникации конструируется через моделирование, наблюдение и имитацию [Бандура, 2000]. Через эти составляющие аудитория перенимает элементы поведения значимого другого, обучаясь в процессе наблюдения за ним. Селебрити при этом выступают в качестве ролевой модели, поведение и идеи которой перенимает аудитория в процессе ознакомления с коммуникационным сообщением. Для понимания процесса важна также и теория социального влияния Г. Кельмана, описывающая принятие потребителем опыта селебрити через идентификацию — изменение отношения и поведения под воздействием того, кем восхищаются, что помогает принять новую информацию, изменить устоявшиеся взгляды и привычки [Kelman, 1958].

2. Построение коммуникации о ВИЧ-инфекции

Эффективная коммуникационная стратегия — критический компонент в мировой практике предотвращения распространения ВИЧ. Такие стратегии рекомендуется выстраивать с учетом географического и культурного контекста — так, чтобы полученная за счет этого гибкость положительно сказалась на результате кампании [Obregon, 2000].

С того момента, как ВИЧ и СПИД вошли в информационную повестку, возникло множество социально-психологических теорий и моделей поведения, описывающих процесс коммуникации в этой области. Они варьируются от универсальных подходов, согласно которым процессы коммуникации могут быть описаны через схожие закономерности, без учета особенностей включенных в них компонентов, до интегрированных подходов, рассматривающих индивидуально каждый случай; при этом вопрос выбора наиболее подходящей модели остается дискуссионным.

Специальное внимание в литературе уделяется созданию, имплементации и оценке коммуникационных программ о ВИЧ, основанных на культурных различиях [Airhihenbuwa et al., 1992]. Роль культурного контекста зачастую ставится под сомнение: он рассматривается как малозначимый элемент коммуникации, несмотря на существование ряда исследований, утверждающих обратное [Michal-

Johnson, Bowen, 1992; Airhihenbuwa, Webster, 2004; Parker, 2001]. В контексте коммуникации о ВИЧ дискуссионным остается и вопрос о том, должны ли различаться кампании, направленные на повышение осведомленности и изменение поведения. Поскольку последние оказываются более эффективными в профилактике ВИЧ, при построении коммуникационной стратегии представляется необходимым принимать во внимание особенности межличностного взаимодействия на индивидуальном и групповом уровнях [Noar et al., 2009].

Одновременно с этим в литературе можно найти консенсус относительно некоторых принципов построения коммуникации; среди них можно назвать проведение формативных исследований целевой аудитории, использование теоретических концепций в качестве основы коммуникации, сегментацию аудитории на значимые подгруппы, создание ориентированных на них сообщений [Maibach, Kreps, Bonaguro, 1993; Palmgreen, Noar, Zimmerman, 2009].

3. Знаменитости в коммуникации здоровья

Представляя из себя частный пример области, в которой действия индивидов предопределяются их поведенческими установками, коммуникация в сфере здоровья может быть рассмотрена через ряд факторов, влияющих на принятие решения индивидом. Одним из них становится личный пример селебрита. Примером этой закономерности является эффект Джейд Гуди — известной британской бизнесвумен, медийной персоны, у которой был диагностирован рак груди. Транслируя свой опыт в медиа, Джейд привлекла внимание к проблеме и побудила аудиторию задуматься о собственном здоровье, повлияв на увеличение обращений и постановку своевременных диагнозов. Активное освещение события в сми с участием селебрита увеличивает количество пациентов, готовых последовать их примеру [Casey et al., 2013; Charman, 2001]. Таким образом, личный опыт селебрита может служить мотивационным фактором изменения поведения лояльной аудитории.

Среди других значимых параметров, определяющих влияние селебрита, можно назвать компетентность и доверие, от которых зависит эффективность коммуникации («модель достоверности источника») [Goldsmith, Lafferty, Newell, 2000]. Более того, коммуникация оказывается более успешной, когда образ и опыт знаменитости соответствуют атрибутам продукта [Hoffman, Tan, 2015]. Значимой составляющей такого взаимодействия также выступает эффекта ореола, или гало-эффекта, когда преобладающая черта индивида искажает общее восприятие: успех в одной области переносится и на другие [Leuthesser, Kohli, Harich, 1995].

Исследования из сферы нейронаук подтверждают эти положения: показано, что одобрение знаменитостей активирует области мозга, участвующие в создании позитивных ассоциаций, создании доверия и кодировании воспоминаний [Rolls, Grabenhorst, 2008]. Люди также склонны следовать за знаменитостями, если их совет соответствует собственным представлениям об идеальном «я» («я»-концепция), где несоответствие, как правило, вызывает когнитивный диссонанс, который потребители впоследствии пытаются избежать или снизить [Festinger, 1957]. В модели абсорбции и аддикции (поглощения и зависимости) описывается, как аудитория с низкой самооценкой может «прикрепляться» к знаменитости —

отсутствие точного самоощущения заставляет людей стремиться к формированию идентичности через прикрепление к более сильной идентичности селебрити и становиться зависимым от нее [Reeves, Baker, Truluck, 2012].

Одно из устоявшихся мнений в вопросе воздействия селебрити на аудиторию заключается в том, что на формирование процесса восприятия коммуникационного сообщения влияют внешние характеристики источника. Это подтверждается рядом исследований [Hassin, Trope, 2000; Sams, 2002; Reis et al., 1982]. То, какое впечатление производит внешность человека, часто имеет влияние на дальнейшее поведение индивида [Willis, Todorov, 2006]. Влияние внешности на восприятие сообщения также было подтверждено экспериментально [ibid.]. Согласно гипотезе «чтения с лиц», личная информация, считанная с лица, может использоваться в процессе интерпретации другой доступной информации, что влияет на впечатления, суждения и решения [Hassin, Trope, 2000]. Исследования показывают, что привлекательных людей в большинстве случаев оценивают более позитивно; кроме того, привлекательность может оказывать влияние на построение более близких отношений, что часто связано с культурной средой, популярной культурой и воспитанием [Reis et al., 1982].

Таким образом, важными факторами, обеспечивающими влияние селебрити в процессе коммуникации по вопросам здоровья, является личный опыт в транслируемой теме, внешние характеристики селебрити, доверие аудитории и компетентность в освещаемой проблематике.

4. Обсуждение ВИЧ-инфекции как сенситивной темы в России

Коммуникации в целях предотвращения рискованного поведения, снижения вреда, являются частой практикой при профилактике распространения заболеваний, передаваемых половым путем, в частности ВИЧ. В России на момент написания настоящей работы данная тема приобрела особую популярность в связи с выходом ролика популярного блогера, Юрия Дудя, обсуждение фильма которого дошло до высших уровней государственного аппарата.

На момент возникновения этой дискуссии ВИЧ в России являлся стигматизированной темой. Существующие в отношении этого заболевания стереотипы зачастую не позволяли больным получать должную помощь и пользоваться многими социальными правами, иметь доступ к социальным лифтам: стигматизация самой темы вызывала также стигматизацию ВИЧ-инфицированных [Nicolai et al., 2010]; ВИЧ фреймировался как заболевание, связанное с употреблением наркотиков, работой в сфере секс-услуг, гомосексуальностью.

С начала 2010-х годов эти стереотипы постепенно преобразовывались: появились фонды и центры, предлагающие бесплатное прохождение тестов, занимающиеся информированием о проблеме; материалы СМИ и открытое обсуждение этой темы в кругах селебрити также способствовали формированию нового взгляда. Переломным в этой дискуссии можно считать созданный Юрием Дудем фильм, набравший более 20 млн просмотров и повлиявший не только на изменение дискурса, но и на отношение к проблеме, о чем свидетельствует увеличившееся в несколько раз количество купленных тестов, звонков в анонимные консультационные кабинеты. В связи с тем, какой эффект оказал этот фильм на поведение

аудитории, он был выбран в качестве одного из визуальных стимулов для проведения данного исследования.

Характеризуясь неоднозначностью восприятия, обусловленной недостатком информации, большим количеством домыслов и предубеждений, стереотипизацией, тема ВИЧ является относится к чувствительной сфере. Следуя подходу Дж. Ахлувалия и соавторов, мы определяем чувствительность как сложное и многогранное понятие, состоящее из поверхностной и глубинной структур [Ahluwalia et al., 1999]. На первом уровне находятся общие черты, через которые можно описать феномен и достичь целевой аудитории: каналы и способы коммуникации, особенности построения сообщения. Второй уровень подразумевает культурные, социальные, исторические и психологические факторы, определяющие восприятие сообщения. Другими словами, если чувствительность «поверхностного уровня» определяет те формы, которые понятны аудитории, то «глубинный уровень» задает их понимание, убеждения и ценности, которые сопутствуют этому процессу. С учетом этого чувствительные темы — это те области коммуникации по вопросам здоровья, которые могут быть восприняты неоднозначно общностью, на которую они ориентированы.

5. Дизайн исследования

Исходя из теоретических предпосылок, в качестве метода сбора данных исследования были выбраны фокус-группы. Данный метод в контексте исследуемой темы позволяет понять глубинные смыслы, которые респонденты вкладывают в участие селебрити в процесс коммуникации по вопросам здоровья, а также генерировать взаимодействие в реальной социальной ситуации.

В исследовании приняли участие 36 человек в рамках 6 фокус-групп, отобранные при помощи скринера, отсекающего участников, которые не готовы общаться о здоровье и ВИЧ, обсуждать свое отношение к исследуемым явлениям. В число информантов вошли студенты университетов Москвы в возрасте от 18 до 25 лет, заинтересованные в теме исследования. Выбор молодежной аудитории обусловлен актуальностью разработки коммуникационных решений для этой группы: раннее информирование о проблеме, согласно результатам существующих работ, способно или исключить потенциальный риск, или качественно снизить его негативное воздействие.

Дискуссии в фокус-группах проводились в онлайн-формате, средняя длительность сессии составила 55 минут. Предметом обсуждения стали три визуальных стимула, каждый из которых обсуждался в двух группах: фильм *Utopia show*², фильм блогера Юрия Дудя³ о ВИЧ-инфекции, фильм без участия знаменитостей⁴. Материалы были отобраны исходя из различия между собой по двум основным параметрам: наличию/отсутствию блогера в кадре и манере подачи материала. Первый из выбранных материалов — это аналитическое информационное видео,

² ВИЧ/СПИД = ЗАГОВОР? // Utopia Show. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NbVuM2GH7fY> (дата обращения: 14.07.2020).

³ ВИЧ в России // вДудь. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=GTRAEpIlGZo> (дата обращения: 14.07.2020).

⁴ Информационный ролик о ВИЧ для подростков // Kerch.FM. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ZwS9x3gBMSY> (дата обращения: 14.07.2020).

преимущественно с участием автора, второй — логически структурированное сюжетное повествование, раскрывающее тему ВИЧ с разных сторон, включающее в себя разнообразие мнений по этому вопросу, третий — информационное видео без участия блогера. При распределении материалов по фокус-группам учитывался фактор неизвестности стимула для всех участников дискуссии.

Первый блок дискуссии был ориентирован на знакомство с участниками, снятие группового напряжения, составление социодемографического портрета участников группы. Последующие два блока были посвящены обсуждению привычек респондентов в сфере здоровья: их осведомленности по базовым медицинским вопросам и потреблению информации в этой сфере, поведению в вопросах здоровья, осведомленности о ВИЧ. Третий, основной блок дискуссии строился вокруг восприятия представленных визуальных стимулов, обсуждения включения значимости в подобную коммуникацию, вариантов того, каким образом она должна быть построена.

5. Результаты работы

Особенности восприятия визуальных стимулов

Первым визуальным стимулом для обсуждения стал ролик Utopia Show, блогера Евгения Попадинца, основной темой материалов которого выступает популярная наука, оформленная в яркие и динамичные анимационные видео.

Респонденты отметили, что визуальный стимул был информативным, особенно в контексте того, что осведомленность по данной тематике была не у всех участников: *«Узнали много новой полезной информации, которая развеяла мифы о диагнозах ВИЧ и СПИД»* (ФГ 3).

Двое респондентов подчеркнули, что особенно важным является тот факт, что развенчивается известный миф с иглами, которые якобы специально помещают в сидения в кинотеатрах. Все участники сделали акцент на том, что после просмотра ролика им захотелось больше уделять внимания своему здоровью, а также аккуратнее выбирать себе половых партнеров. Однако несколько участников раскритиковали форму подачи: *«жутко бомбило с композиции ролика»* (ФГ 1), — подразумевая, что некоторые сцены из видео были для них отталкивающими.

Большая часть респондентов не знала о существовании такого YouTube канала, как Utopia Show, однако в обсуждении отмечалось, что автор роликов хорошо подходит на роль человека, который должен освещать острые социальные проблемы, а также проблему здоровья, обосновывая это тем, что *«он имеет харизму и может в увлекательной, а главное, легкой в восприятии форме — благодаря понятной и доступной подаче — осветить важные социальные темы, в особенности затронуть тему здоровья»* (ФГ 3).

Следующий визуальный материал, предоставленный группам — фильм Юрия Дудя. Некоторые участники высказали противоречивые мнения по поводу фильма: *«Не понравился из-за большого количества воды», «Не понравилось, что ролик сильно „растянули“», «Фильм не впечатлил, очень много воды. Лично меня он еще не впечатлил, так как я все знала до этого, моя мама врач», «Не особо зацепил. На два часа растянули уж очень много. Вижу различные приемы манипуляции, как он пытается вызвать сопереживание у людей»* (ФГ 4).

Несмотря на это, респонденты добавили, что в фильме есть моменты, которые им понравились: *«Во-первых, Дудю удалось на простых, живых примерах продемонстрировать, что ВИЧ — это не приговор»* (ФГ 4). Респонденты отметили, что до просмотра фильма они испытывали опасение от контакта с ВИЧ-инфицированными людьми, но после изменили свое мнение. Некоторые респонденты признались, что *«не знали некоторых моментов до просмотра предложенного фильма»* (ФГ 4) и переосмысли личный опыт в контексте полученной информации.

Многие из участников обращались к личному опыту и пересматривали его, при этом эмоции от этого процесса не всегда были положительны. До просмотра ролика часть респондентов были уверены в том, что ВИЧ и СПИД — это синонимы, однако после сообщили, что получили *«необходимые и очень нужные знания в данной области»* (ФГ 5). Некоторые участники обратили внимание на внешность автора: *«башка квадратная, отталкивающая внешность»*, — что, однако, по их мнению, *«никак не мешало просмотру и восприятию фильма»* (ФГ 5). Другие отзывались положительно, обосновывая это тем, что он *«профессионален, харизматичен, увлекателен как ведущий»*. *«Он занимается этим не ради денег, а из-за большого интереса»* (ФГ 5), и это располагает аудиторию — с этим высказыванием согласились почти все участники.

По оценкам участников, больше всего в фильме им запомнился Антон Красовский (журналист, ранее публично заявивший о своем ВИЧ-положительном статусе): *«Меня выбесил Красовский после первого просмотра этого фильма — был на агрессии. Второй раз его агрессию восприняла по-другому. Я его уважаю, что он смело заявляет о том, что он ВИЧ-инфицированный, да и к тому же гей»*; *«Мне очень понравился Красовский, он открытый гей в России, и он медийный — это комбо!»* (ФГ 5). Участники фокус-групп указали на то, что испытывают уважение к этому человеку за его смелость и открытость, а также для них важнейшим фактором является личный опыт селебрити. Кроме того, респонденты уточнили, что коммуникация по вопросам здоровья — интимная и серьезная тема, о ней должен говорить человек, имеющий определенный бэкграунд, что вызывает доверие со стороны получателя сообщения.

Практически у всех участников, просмотревших фильм Юрия Дудя, присутствовал стереотип, что ВИЧ и СПИД — болезнь гомосексуальных людей, людей, задействованных в проституции, употребляющих наркотики. Большая часть респондентов признались, что были недостаточно осведомлены в этой области или получили ложные знания от родственников или в результате некорректного информирования в школе.

Участники фокус-группового интервью обратили внимание на форму подачи материала и отметили, что для них она была увлекательной. При просмотре каждый из участников испытывал *«сильные чувства, которые наталкивали на серьезные размышления»* (ФГ 4, 5), что стало возможным в результате объединения повествования с интервью. Респонденты заявили, что испытали страх, задумались над тем, не могли ли они заразиться ранее, признались, что стали больше думать о своем здоровье. Таким образом, фильм Юрия Дудя смог донести до респондентов информацию по теме дискуссии и шире — о коммуникации по вопросам здоровья: после просмотра фильма часть респондентов сдала тест на ВИЧ.

Третий визуальный материал для обсуждения — ролик без участия селебрити. В проведенных дискуссиях больше половины участников отметили, что ролик очень скучный по содержательной части, более того, из-за анимационной формы подачи материала визуальная составляющая сильно отвлекает от темы: *«Первые пять минут я вникала только в то, как они монтировали сам ролик, все эти бумажки, смысловая часть ушла на второй план»* (ФГ 2).

Участники обратили внимание, что данный формат показался слишком несерьезным, детским, хотелось скорее перемотать или же закончить просмотр: *«Запомнились скомканые бумажки. Новой информации я не услышала, смотрела на то, как сделали прикольно анимацию», «Слишком в развлекательной манере фильм представлен, не возникает серьезности»* (ФГ 6).

Включенные в эти фокус-группы студенты сошлись во мнении, что просмотренный материал не вызвал у них отклика, желания обсудить увиденное более подробно или задуматься после просмотра о своем здоровье. Стоит отметить, что почти все участники групп, смотревшие ролик без участия селебрити, приводили в пример качественного освещения проблемы фильм Юрия Дудя. Часть респондентов после обсуждения информации, связанной с ВИЧ, но не соотносящейся с просмотренным роликом, отметила, что дискуссия заставила их задуматься о своем здоровье. Таким образом, ролики без участия селебрити могут быть не эффективны сами по себе, но служат хорошей основой для последующей дискуссии по теме и информирования о проблеме.

Данные демонстрируют, что использование знаменитостей в коммуникации по вопросам здоровья становится эффективным инструментом донесения сообщения до аудитории: при условии доступной подачи материала и верно подобранной формы коммуникации селебрити способны не только проинформировать о проблеме, но и изменить отношение к ней. В процессе социального влияния они формируют новые привычки у аудитории, заставляют изменить свои взгляды и пересмотреть имеющийся опыт.

Осведомленность о ВИЧ

Общей тенденцией, объединяющей участников всех фокус-групп, можно назвать фрагментарную осведомленность о теме дискуссии. Данная проблематика была знакома респондентам по урокам в школе, но ей уделялось недостаточно внимания: *«Мне кажется, это был восьмой класс. К нам приходили врачи и рассказывали про половое созревание и, может быть, что-то в двух словах о проблеме ВИЧ и СПИД»*. Часть участников отметили, что *«даже если что-то показывали, рассказывали об этой проблеме, то только для галочки»* (ФГ 1).

По словам респондентов, во времена их обучения в школе данной тематике либо не уделялось время, либо это делали «для галочки». Отметим, что эта фраза, емко характеризующая положение вещей, прозвучала в каждой из фокус-групп. У некоторых участников *«устраивали классный час раз в год, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом»* (ФГ 3, 5). Однако, как они отметили, это можно считать скорее исключением из общего правила: *«Возможно, уделяли должное внимание данной проблеме только потому, что я из достаточно престижной школы нашего города. Я училась в гимназии»*.

Остальные ребята обучались в общеобразовательных школах. Больше тема здоровья не затрагивалась» (ФГ 5).

Участники одной из фокус-групп показали высокий уровень базового представления о проблеме, полученный каждым из участников во время обучения в школе. Несколько человек отметили схожую форму подачи материалов по данной проблеме — в школах показывали видеоролики. При этом все материалы, которые они смотрели, имели в основном запугивающий характер, представляя заболевание во фрейме потери, с большим количеством сцен, неприятных для просмотра: «Показывали страшные, запугивающие фильмы в седьмых и восьмых классах» (ФГ 4). Только у одного из участников данная тема освещалась в игровой форме в виде викторины.

Несмотря на то, что внимания теме заболевания уделялось немало, как отметили сами респонденты, эффект от запугивающих роликов оказался незначительным, тезисы, представляемые в роликах, не запомнились. Информации в роликах было мало, никакие стереотипы, сформировавшиеся у участников, не были разрушены. Единственный участник, получавший информацию в игровой форме, на момент проведения фокус-группы и до просмотра фильма Дудя была хорошо осведомлена о проблеме. Другие аспекты темы здоровья, по словам респондентов, не затрагивалась в школах или же обсуждение носило фрагментарный характер.

Рассматривая восприятие информации участниками фокус-групп через модель С. Холла, мы можем проследить расхождение в процессе кодирования и декодирования информации: отправитель, формируя коммуникационное сообщение, не понимает запроса аудитории, и потому передает его в формате, который не считывается или считывается неверно. Восприятие происходит по пути оппозиционного прочтения — аудитория отвергает предполагаемое создателем содержание, создает свое собственное, эффективность коммуникации при этом слабая.

Осведомленность аудитории в области здоровья и ее связь с восприятием образа знаменитости

При формировании состава фокус-групп в рамках полевой части исследования все участники были разделены на три категории в зависимости от их осведомленности в вопросах здоровья и озабоченности ими; это группы участников, (1) возводящих здоровый образ жизни в жизненный культ, (2) частичных адептов здорового образа жизни (3) и проявляющих слабый интерес к вопросам здоровья. Представители разных групп были случайным образом распределены по всем фокус-группам. Дальнейший анализ показал, что отношение участников к образу селебрити может варьироваться в зависимости от того, насколько он сам привержен здоровому образу жизни.

Группа 1: ЗОЖ как жизненный культ

Представители этой группы регулярно занимаются спортом, правильно питаются, не имеют «вредных привычек». Этот тип респондентов ответственно подходит к вопросам здоровья: систематически проходит медосмотры, сдает необходимые для проверки своего состояния анализы. Участники фокус-групп этого типа отмечали, что в коммуникации по вопросам здоровья склонны доверять

преимущественно себе или людям, имеющим медицинское образование. Для них неважно, насколько человек популярен или знаменит, а компетентность, логика аргументации, умение выражать свои мысли и подкреплять их мнениями экспертов становятся решающими в контексте принятия решения о доверии селебрити.

Группа 2: Частичные адепты ЗОЖ

Для представителей этой группы здоровье не играет главную роль в жизни, но в случае необходимости, например при появлении симптомов заболевания, они начинают заботиться о себе. Главные проблемы людей такого типа — «слабая сила воли». Они изъявляют желание начать правильно питаться, заниматься спортом и использовать в повседневной жизни «полезные практики», но для них это становится невозможным, респонденты ссылаются на нехватку времени, сил, физического здоровья. Как правило, люди этого типа и в вопросах, касающихся вредных привычек, чаще всего задумываются об отказе от них только в случае крайней необходимости. Для таких людей важна степень популярности медийной личности, которая говорит о здоровье: чем известнее человек, тем больше доверия к нему. Однако ни внешность, ни манеры, ни какие-либо еще черты для них не имеют значения; главное, чтобы не было расхождений между сообщением и образом знаменитости — для них важно, чтобы человек, который говорит о здоровье, и сам был привержен этой идеологии. Респонденты этого типа не стеснялись говорить открыто на чувствительные темы, именно этот тип участников смог описать свои практики по предотвращению ВИЧ и оценить риски заболевания у себя.

Группа 3: Проявляющие слабый интерес к вопросам здоровья

Представители этой группы в меру следят за здоровьем, забота о нем входит в их планы и привычки, однако они не зациклены на нем: могут не заметить начало течения заболевания и в целом не склонны к ипохондрии. Участники этого типа не стремятся к соблюдению всех постулатов здорового образа жизни, однако у них есть одна-две привычки, которым они привержены. Как правило, это люди, которые стремятся хорошо выглядеть, занимаются спортом с этой целью, для них типично следование нестрогим периодическим диетам. Для этого типа респондентов в коммуникации по вопросам здоровья важна искренность и наличие реальной истории у знаменитости: причина, по которой селебрити говорит на эту тему. Если тема, которую селебрити затрагивают, чувствительная, они склонны прислушиваться к человеку, который сам столкнулся с проблемой и делится этим с окружающими.

Несмотря на описанные различия, есть одно общее качество, которое важно для каждой группы: селебрити должны быть харизматичны. Под «харизмой» респонденты подразумевали: «хорошую подачу», «умение в легкой, доступной, а также увлекательной форме преподнести материал», «приятный голос и актерское мастерство», «умение повести людей за собой». Слово «харизма» прозвучало в каждой группе минимум у двух-трех людей, остальные или поддерживали идею, или не противостояли ей.

Каждой группе было предложено назвать селебрити, за которыми они наблюдают и которым доверяют. Респонденты, отметившие важность рационального

объяснения феноменов и явлений (группа 1), называли такие медийные лица, как Ян Топлес (блогер, главной тематикой канала которого является популярная наука), Доктор Белоконь (блогер, освещающий темы здоровья), Антон Красовский: «Я слежу за гинекологом из Украины — Доктор Белоконь. У нее доказательная медицина, интересно пишет, не занудно»; «Доверяю Красовскому, слежу за ним, так как [он] дает всему критическую оценку, вижу логику в том, что он говорит».

Яна Топлеса не раз приводила в пример каждая из групп; он, как и Красовский, — это личность, которая, по мнению респондентов, отлично подошла бы на роль рассказывающего о здоровье. Кроме того, участники всех шести фокус-групп называли Юрия Дудя («зачем нужен кто-то еще, если уже есть он»); респонденты считают, что этот блогер популярен, рационален, харизматичен — то есть сочетает в себе все важные для коммуникации качества. Респонденты первой группы считают, что селебрити, которых они называли, наделены такими чертами, как: «умение выражать свои мысли структурировано и логично», «адекватность», «умение дать правильную критическую оценку».

Участники, слабо заботящиеся о своем здоровье (группа 2), не сразу смогли выделить каких-то селебрити, однако в ходе развития дискуссии были названы следующие имена: Юрий Дудь, Джиган, Оксана Самойлова. Обосновывая свой выбор, участники отмечали, что на данный момент эти персоны «в тренде», «о них в последнее время много пишут», «они у всех „на слуху“». Преобладающим фактором для выбора персоны является ее популярность, медийность — чем выше эти показатели, тем больше доверия испытывают представители второй группы участников.

Наконец, респонденты, слабо интересующиеся вопросами здоровья (группа 3), отметили, что в вопросе доверия селебрити им не важны пол, возраст, степень узнаваемости — главное, чтобы это был именно тот, кто сам столкнулся с обсуждаемой проблемой. Именно поэтому участники третьей группы отметили, что таким героем для них является Антон Красовский, открыто дискутирующий на сложные темы и имеющий в них личный опыт; они отмечали, что именно он мог бы быть на месте Юрия Дудя в качестве автора фильма о ВИЧ.

Респонденты всех групп высказали мысль, что негативное отношение к знаменитости не может вызвать неприятие к теме, так как образ звезды не переносится предмет разговора. Один из участников высказал противоположное мнение: «Негативное отношение к знаменитости может вызвать неприятие темы, люди элементарно не станут смотреть ролики с участием человека, который их отторгает по разным причинам», — объясняя это тем, что сам он никогда не посмотрит ролик, если на него будет наложена музыка, которую он не любит, даже если музыка будет фоновая, а картинка не будет связана с ней по смыслу. Однако большинство участников сошлись во мнении, что личные негативные оценки знаменитости не будут сказываться на понимании значимости вопроса, который она затрагивает.

Схожим для респондентов всех групп стало мнение о том, что участие знаменитости будет эффективным в продвижении здоровых практик: «Конечно! Мне кажется, это супер важно. Я верю, что главная миссия знаменитых людей, которые имеют свою аудиторию и влияние на нее, — пропагандировать здоровье, освещать проблему заболевания ВИЧ и СПИД, иначе нет смысла в этих знаменитостях.

Знаменитость должна доносить определенные месседжи, которые прямо или косвенно касаются всех».

Таким образом, в процессе проведения исследования удалось выделить характеристики, которыми должны обладать селебрیتی для построения эффективной коммуникации в сфере здоровья:

- квалификация — обладание необходимыми профессиональными качествами в тематической сфере или достаточное владение теоретическими основами;
- харизма — понятие, в которое респонденты вкладывают многочисленные смыслы (форма подачи материала, приятный голос и актерское мастерство, доступность изложения);
- личный опыт — переживание селебрیتی схожей ситуации;
- популярность — наличие у селебрیتی обширной аудитории.

6. Выводы

Включение селебрیتی в коммуникацию становится важным инструментом донесения сообщения до аудитории, в частности, в сфере информирования о ВИЧ. Понимание характеристик, которыми должна обладать знаменитость, позволяет сформулировать сообщение наиболее эффективно — не просто информировать аудиторию, но и влиять на взгляды и установки. Наличие востребованных аудиторией характеристик в образе селебрیتی также положительно сказывается на запоминаемости основного посыла коммуникационного сообщения и его деталей. Селебрیتی в процессе такой коммуникации становятся культурно специфицированным источником, информация от которого надежнее воспринимается адресатами.

Большая часть участников проведенного в рамках настоящей работы фокус-группового исследования до просмотра роликов, информирующих о ВИЧ, не оценивала риски заболевания как реальные для себя, имея стереотипы, что заболеванию подвержены только специфические группы. Однако после просмотра фильмов со знаменитостями респонденты не только пересмотрели свои взгляды, но и приступили к действиям (сдали тесты на ВИЧ). Таким образом, коммуникация, включающая селебрیتی, становится эффективным способом информирования о ВИЧ, имеющим ряд преимуществ: доступная подача материала, высокая запоминаемость информации, способность мотивировать к изменению привычек и поведения.

Отличной была реакция тех, кто просматривал ролик без участия селебрیتی. Участники не проявляли заинтересованности, хуже запоминали информацию, комментируя форму, а не содержание ролика, и отмечая, что начали задумываться о теме ВИЧ и в целом своего здоровья только после обсуждения на фокус-группе.

Миссия знаменитости — рассказывать о важном: при этом ни внешность, ни пол не влияют на способность знаменитости доносить информацию в сфере здоровья, в то время как харизма, популярность, квалификация и наличие опыта в теме влияют на восприятие материала.

Важными в процессе построения коммуникации в сфере здоровья на тему ВИЧ становятся формат и содержание коммуникации: затянутые ролики, содержащие отталкивающие кадры или преподносящие тему в контексте стигмы, не только

не способствуют запоминаемости материала, но оказывают обратный эффект — вызывают желание забыть увиденное.

Перспективным направлением будущих работ в этой сфере может стать тестирование полученных выводов в отношении других сфер коммуникации по вопросам здоровья, проверка эффективности сообщений с учетом определенных факторов относительно их источников, а также исследования особенностей восприятия селебрити в коммуникации о ВИЧ в других аудиториях.

Список литературы (References)

Бандура А. Теория социального научения. СПб.: Евразия, 2000.

Bandura A. (2000) Theory of Social Learning. Saint Petersburg: Eurasia. (In Russ.)

Ahluwalia J., Baranowski T., Braithwaite R., Resnicow K. (1999) Cultural Sensitivity in Public Health: Defined and Demystified. *Ethnicity and Disease* Vol. 9. P. 10—21. URL: https://www.researchgate.net/profile/Tom-Baranowski/publication/12944384_Cultural_Sensitivity_in_Public_Health_Defined_and_Demystified/links/56829dee-08aebccc4e0dfe5d/Cultural-Sensitivity-in-Public-Health-Defined-and-Demystified.pdf (accessed: 24.12.2021).

Airhihenbuwa C., DiClemente R. J., Wingood G. M., Lowe A. (1992). HIV/AIDS Education and Prevention among African-Americans: A Focus on Culture. *AIDS Education and Prevention*. Vol. 3. No. 4. P. 267—276.

Airhihenbuwa C. O., Webster J. D. (2004). Culture and African Contexts of HIV/AIDS Prevention, Care and Support. *Sahara-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS*. Vol. 1. No.1. P. 4—13.

Casey G. M., Morris B., Burnell M., Parberry A., Singh, N., Rosenthal A. N. (2013) Celebrities and Screening: A Measurable Impact on High-Grade Cervical Neoplasia Diagnosis from the “Jade Goody Effect” in the UK. *British Journal of Cancer*. Vol. 109. No. 5. P. 1192—1197. <https://doi.org/10.1038/bjc.2013.444>.

Chapman S. (2001) Paid Celebrity Endorsement in Health Promotion: A Case Study from Australia. *Health Promotion International*. Vol. 16. No.4. P. 333—338.

Festinger L. (1957) A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

Goldsmith R. E., Lafferty B. A., Newell S. J. (2000) The Impact of Corporate Credibility and Celebrity Credibility on Consumer Reaction to Advertisements and Brands. *Journal of Advertising*. Vol. 29. No. 3. P. 43—54. <https://doi.org/10.1080/00913367.2000.10673616>.

Hall S. (2003) Encoding/Decoding. In: Hall S., Hobson D., Lowe A., Willis P. (eds.) *Culture, Media, Language*. London, UK: Routledge. P. 127—137. <https://doi.org/10.4324/9780203381182>.

Hassin R., Trope Y. (2000) Facing Faces: Studies on the Cognitive Aspects of Physiognomy. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 78. No. 5. P. 837—852.

Hoffman S. J., Tan C. (2015) Biological, Psychological and Social Processes That Explain Celebrities' Influence on Patients' Health-Related Behaviors. *Archives of Public Health*. Vol. 73. No. 1. <https://doi.org/10.1186/2049-3258-73-3>.

Kelman H. C. (1958) Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 2. No. 1. P. 51—60. <https://doi.org/10.1177%2F002200275800200106>.

Leuthesser L., Kohli C., Harich K. (1995) Brand Equity: The Halo Effect Measure. *European Journal of Marketing*. Vol. 29 No. 4. P. 57—66. <https://doi.org/10.1108/03090569510086657>.

Maibach E. W., Kreps G. L., Bonaguro E. W. (1993) Developing Strategic Communication Campaigns for HIV/AIDS Prevention. In: Ratzan S. C. (ed.) *AIDS: Effective Health Communication for the 90s*. Washington, DC: Taylor & Francis. P. 15—35.

Michal-Johnson P., Bowen S. P. (1992) The Place of Culture in HIV Education. In: T. Edgar, M. A. Fitzpatrick, V. S. Freimuth (eds.) *AIDS: A Communication Perspective*. Lawrence, KS: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. P. 147—172.

Noar S. M., Palmgreen P., Chabot M., Dobransky N., Zimmerman R. S. (2009) A 10-Year Systematic Review of HIV/Aids Mass Communication Campaigns: Have We Made Progress? *Journal of Health Communication*. Vol. 14. No. 1. P. 15—42. <https://doi.org/10.1080/10810730802592239>.

Nicolai, L. M., Toussova O. V., Verevokhin S. V., Barbour R., Heimer R., Kozlov A. P. (2010) High HIV Prevalence, Suboptimal HIV Testing, and Low Knowledge of HIV-Positive Serostatus among Injection Drug Users in St. Petersburg, Russia. *AIDS and Behavior*. Vol. 14. No. 4. P. 932—941. <https://doi.org/10.1007/s10461-008-9469-y>.

Obregon C. O. A. R. (2000). A Critical Assessment of Theories/Models Used in Health Communication for HIV/Aids. *Journal of Health Communication*. Vol. 5. No. 1. P. 5—15. <https://doi.org/10.1080/10810730050019528>.

Odine M. (2013) Effective Communication for HIV/AIDS in Africa. *The International Journal of Communication and Health*. No. 1. URL: <http://communicationandhealth.ro/upload/number5/MAURICE-ODINE.pdf> (accessed: 13.12.2021).

Palmgreen P., Noar S. M., Zimmerman R. S. (2009) Mass Media Campaigns as a Tool for HIV Prevention. In: Edgar T., Noar S. M., Freimuth V. S. (eds.) *Communication Perspectives on HIV/AIDS for the 21st Century*. P. 251—283.

Parker R. (2001) Sexuality, Culture, and Power in HIV/AIDS Research. *Annual Review of Anthropology*. Vol. 30. No. 1. P. 163—179. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.30.1.163>.

Prochaska J. O., DiClemente C. C. (1983) Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. Vol. 51. No. 3. P. 390—395. <https://doi.org/10.1037//0022-006X.51.3.390>.

Reeves, R. A., Baker G. A., Truluck C. S. (2012) Celebrity Worship, Materialism, Compulsive Buying, and the Empty Self. *Psychology & Marketing*. Vol. 29. No. 9. P. 674—679. <https://doi.org/10.1002/mar.20553>.

Reis H. T., Wheeler L., Spiegel N., Kernis M. H., Nezek J., Perri M. (1982) Physical Attractiveness in Social Interaction: II. Why Does Appearance Affect Social Experience? *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 43. No. 5. P. 979—996. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.38.4.604>.

Rolls E. T., Grabenhorst F. (2008) The Orbitofrontal Cortex and Beyond: From Affect to Decision-Making. *Progress in Neurobiology*. Vol. 86. No. 3. P. 216—244. <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2008.09.001>.

Sams W. M. (2002) Physician Appearance Is a Matter of Trust and Responsibility. *Archives of Dermatology*. Vol. 138. No. 4. P. 518. <https://doi.org/10.1001/archderm.138.4.518>.

Sheridan S. L., Harris R. P., Woolf S. H. (2004) Shared Decision Making about Screening and Chemoprevention. *American Journal of Preventive Medicine*. Vol. 26. No. 1. P. 56—66. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2003.09.011>.

Updegraff J. A., Rothman A. J. (2013) Health Message Framing: Moderators, Mediators, and Mysteries. *Social and Personality Psychology Compass*. Vol. 7. No. 9. P. 668—679. <https://doi.org/10.1111/spc3.12056>.

Willis J., Todorov A. (2006) First Impressions: Making up Your Mind after 100 MS Exposure to a Face. *Psychological Science*. Vol. 17. No. 7. P. 592—598. <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9280.2006.01750.x>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1928](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1928)



Е. Ю. Ганьшина

КАКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОКОЛЕНИЕ Z СЧИТАЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ: ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ

Правильная ссылка на статью:

Ганьшина Е. Ю. Какие методы работы с организационными изменениями поколение Z считает наиболее эффективными: взгляд на перспективу // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 263—281. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1928>.

For citation:

Ganshina E. Y. (2022) What Gen Z Thinks Are the Most Impactful in Organizational Change Management: Current Practice and Perspective. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 263–281. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1928>. (In Russ.)

КАКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОКОЛЕНИЕ Z СЧИТАЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ: ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ

*ГАНЬШИНА Елена Юрьевна — кандидат экономических наук, старший преподаватель, Департамент менеджмента и инноваций, факультет «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия
E-MAIL: e.ganshina@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0162-6545>*

Аннотация. Динамическое регулирование властных иерархий в организациях происходит параллельно с выходом на рынок молодых работников, относящихся к так называемому поколению Z. От того, какие базовые представления существуют у данного поколения, во многом зависит успех организационных трансформаций и внедрения инноваций — как технологических, так и управленческих. В данной работе исследуются взгляды представителей поколения Z в возрасте от 18 до 21 года о том, какие стратегии работы с организационными изменениями они считают наиболее эффективными. Это дает возможность не только провести анализ текущих воззрений молодежи на управленческие подходы к внедрению инноваций, но и спрогнозировать, какие стратегии будут приносить максимальный эффект в будущем. Результаты исследования могут быть полезны в первую очередь тем компаниям, которые стремятся сохранить конкурентоспособность в изменчивой внешней среде и заинтересованы получить максимально полную поддержку своих организационных изменений у представителей молодого поколения работников.

WHAT GEN Z THINKS ARE THE MOST IMPACTFUL IN ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT: CURRENT PRACTICE AND PERSPECTIVE

*Elena Yu. GANSHINA¹ — Cand. Sci. (Econ.), Senior Lecturer, Department of Management and Innovation at the Higher School of Management
E-MAIL: e.ganshina@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0162-6545>*

¹ Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract. Transformations of traditional management systems in a competitive environment require the implementation of appropriate strategies for managing organizational change. The dynamic regulation of power hierarchies in organizations occurs in parallel with the entry of new employees, representing so-called generation Z, into the labor market. The success of such organizational transformations, both technological and managerial, largely depends on the basic attitudes of this generation. This research examines the attitudes of Generation Z, aged 18–21, towards the most efficient strategies of organizational change. Along with describing existing attitudes, the author suggests possible strategies for optimizing profits from organizational innovation in the future. The results of the study can be useful to the companies that seek to remain competitive in a changing external environment and are interested in obtaining the fullest possible support for their organizational changes from representatives of the younger generation of employees.

Ключевые слова: управление изменениями, сопротивление изменениям, выбор стратегии изменений, поколение Z

Keywords: change management, resistance to change, change strategies, Generation Z

Введение

В связи с развитием технологий современные организационные изменения в значительной степени мотивированы внешними инновациями и глобализацией рынков товаров и услуг. Влияние социальных сетей, адаптация бизнеса к мобильным устройствам, переход от массового производства ко все большей кастомизации за счет внедрения 3D-технологий производят революцию в бизнесе, а результатом этих явлений является повсеместное изменение бизнес-среды.

В этой связи проблема выбора стратегических альтернатив в контексте организационных изменений становится максимально актуальной, так как позволяет организации сохранить конкурентоспособность на рынке. Организации, которые быстрее всего адаптируются, создают себе конкурентное преимущество, а компании, отказывающиеся меняться, остаются позади [Appelbaum et al., 2016].

Американский экономист Питер Друкер считал, что «время турбулентности — опасное время, но самая большая его опасность — это искушение отрицать реальность» [Drucker, 2012: X (Preface)]. Если условия существования компании в силу прихода новых технологий меняются, то и сама компания должна меняться в соответствии с ними, научиться привыкать к изменениям. Следовательно, способность управлять организационными изменениями и адаптироваться к ним является важной способностью, необходимой на рабочем месте сегодня.

При этом надо учитывать, что крупные и оперативно проводимые организационные изменения чрезвычайно трудны. Во времена массового стандартизированного производства конкурентная борьба шла за поддержание максимальной стабильности, и это означало по сути отсутствие изменений. Каждый работник должен был четко выполнять возложенные на него функции, по возможности с наименьшей затратой времени и сил. То есть структура, культура и распорядки организации со стойким «отпечатком» прошлого стремятся к стабильности и сопротивляются радикальным изменениям, которые данной стабильности угрожают [Marquis, Tilcsik, 2013].

Согласно исследованиям, только 25 % проектов, связанных с организационными изменениями, успешны в долгосрочной перспективе¹, то есть в трех из четырех случаях не достигаются заявленные цели и преимущества реализуемой стратегии трансформации.

Одним из главных факторов, препятствующих внедрению новшеств, является естественная склонность людей к неприятию неопределенности. Представление о том, что делать следует именно таким образом, потому что «мы всегда так поступали», преодолеть особенно трудно [Marshak, 2005]. Более того, часто изменения в компании начинают внедряться, когда компания уже испытывает финансовые потери, то есть когда отсутствие реформ и снижение конкурентоспособности стали отражаться

¹ Lipman V. New Study Explores Why Change Management Fails — And How To (Perhaps) Succeed // Forbes. 2013. September 4. <https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2013/09/04/new-study-explores-why-change-management-fails-and-how-to-perhaps-succeed/?sh=797675e07137> (accessed: 21.02.2022).

на текущие показатели компании. В данном случае для менеджера или руководителя сложно рассматривать себя как ключевую причину проблемы, поэтому процесс подготовки к изменениям должен быть последовательным, начиная с текущих базовых представлений и компетенций каждого сотрудника [Bennett, Bush, 2013].

Согласно опросу McKinsey, 63% руководителей считают, что в ближайшие пять лет крупным работодателям придется переобучить или заменить более четверти сотрудников из-за устаревших профессиональных компетенций². В McKinsey считают, что к 2030 г. от 10 до 800 млн рабочих мест могут быть автоматизированы. Это меняет требования к ключевым компетенциям сотрудников как в частном, так и в государственном секторе. Список новых компетенций, которые потребуются сотрудникам компаний в будущем для успешного инновационного развития, были составлены Всемирным экономическим форумом на основании проведенного опроса руководителей ведущих международных компаний и представлены на рисунке 1. Наиболее важным навыком станет способность ориентироваться в быстро меняющихся условиях внешней среды. Топ-3 ключевых новых компетенций, которые будут востребованы в будущем: креативность, эмоциональный интеллект (EQ) и гибкость мышления. При этом такие компетенции, как управление персоналом, координация действий с коллегами и третьими сторонами, ориентированность на качество обслуживания и умение вести переговоры, постепенно теряют свою важность.

Рис. 1. Компетенции, необходимые для инновационного развития³



ИСТОЧНИК: Всемирный экономический форум

² Инновации в России — неисчерпаемый источник роста // Pro. 2018. URL: <https://pro.rbc.ru/news/5c88d45e9a7947890377485e> (accessed: 22.02.2022).

³ Источник: там же.

Все больше руководителей хотят видеть инициативу снизу, чтобы сотрудники предлагали решения проблем бизнеса. Согласно этому подходу, только в случае распределенного управления организация будет оставаться в достаточной степени гибкой, чтобы не терять конкурентоспособность в условиях изменений. В таких компаниях должна отсутствовать четкая иерархия: вместо руководителей работают лидеры команд — коучи. Ключевое отличие коуча от руководителя заключается в том, что он помогает работникам принимать решения самостоятельно, а не раздает приказы и не указывает, как это принято в случае с классическим пониманием руководителя.

Практические кейсы российских компаний по переходу к распределенному управлению показывают, что, несмотря на ряд положительных результатов, этот путь удастся пройти только там, где достигается определенный уровень корпоративной культуры, люди достаточно созрели для проявления индивидуальной инициативы, а также есть ярко выраженный лидер, способный взять на себя роль коуча. В офисах Сбербанка, переведенных в качестве эксперимента на распределенное управление, сменилось за первые два года почти 80 % персонала: кому-то новые условия показались некомфортными, не все ожидания оправдались, возникли конфликты из-за распределения ролей⁴. Схожая ситуация и в новом проекте корпорации «Открытие» — банке для предпринимателей «Точка». Не все были готовы принять изменения в системе управления: порядка 20 % управленцев новый подход не оценили и ушли⁵.

Кто же тогда должен работать в организации будущего, в условиях распределенной системы управления? Наиболее очевидный ответ — представители нового, молодого поколения. То есть одним из путей преодоления сопротивления новым управленческим подходам может быть «омоложение» персонала компании. На предпочтения компаний принимать молодых специалистов указывают и рост количества открываемых стажировок, и рост вакансий с ограничением до 30 лет. Хотя в России на законодательном уровне запрещено отказывать по причине возраста, исследование Superjob показывает, что 45 % российских компаний при найме на работу отдают предпочтение претендентам моложе 30 лет. Причем полученные данные не зависят от размера компании. Еще более впечатляют результаты опроса соискателей: почти половина (49 %) считает, что преимущество получают люди до 30 лет⁶.

Молодой человек, как часто полагают компании, более склонен к проявлению личной инициативы и самостоятельности, чем работник, образ мыслей которого сложился в прежней, более структурированной среде. Молодое поколение, а в данном случае мы говорим о представителях поколения Z⁷, выросло в новой парадигме компьютерных игр и виртуальной реальности. Скорее всего, оно долж-

⁴ Бирюзовый след // Harvard Business Review. 26.02.2019. URL: <https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/792137/> (дата обращения: 21.02.2022).

⁵ Бизнес «бирюзового» управления // РБК. № 1 83 (2439). 04.10.2016. URL: <https://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/05/57f372fd9a7947679082f802/> (дата обращения: 21.02.2022).

⁶ Только 7 % работодателей не обращают внимания на возраст соискателя // SuperJob. 20.10.2014. URL: <https://www.superjob.ru/research/articles/111652/tolko-7/> (дата обращения: 19.02.2022).

⁷ Термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1995 по 2010 г.

но быть более ориентировано на принятие новых техник в управлении, требующих от сотрудников личной инициативности и самоорганизации. Это предположение требует изучения представлений о том, как менеджмент компаний должен руководить сотрудниками поколения Z в контексте и в соотношении с задачами современных компаний по внедрению новшеств.

Хотя по вопросам работы с изменениями и увеличения гибкости организационной системы опубликовано много статей, пока нет исследования о том, какие стратегии по преодолению сопротивления изменениям предпочитают представители поколения Z. В данной работе мы попытались ответить на данный вопрос.

Мы ставили цель выявить предпочтения молодой аудитории, которая в перспективе пяти ближайших лет станет основной базой пополнения штата молодых квалифицированных кадров российских компаний. Намереваясь получить объективные данные о том, какие методы работы с изменениями поколение Z считает наиболее результативными, мы решали следующие задачи:

1. Выявить контекстное соотношение между наиболее вероятными причинами сопротивления изменениям и стратегиями их нивелирования с целью проведения дальнейшего анализа.

2. Проанализировать представления о наиболее эффективных стратегиях взаимодействия между руководством и сотрудниками и описать связь между представлениями о наиболее эффективных стратегиях взаимодействия и причинами сопротивления изменениям.

3. На основании полученных результатов о перспективных и неперспективных стратегиях взаимодействия в восприятии целевой аудитории представить предварительные рекомендации, какие методы работы с персоналом могут быть наиболее перспективными.

Актуальность исследования связана с тем, что если изменения вступают в противоречие с базовыми представлениями работников, то любая новая система управления, не вписывающаяся в эти представления, может встретить сильное сопротивление, а внедрение нововведений будет крайне затруднено. Таким образом, объектом исследования выступают базовые представления поколения Z о том, как руководство должно взаимодействовать с сотрудниками, а предметом — восприятие стратегий работы с изменениями в зависимости от различных причин сопротивления. Полученные результаты призваны помочь руководителям комплексно планировать процесс внедрения нововведений, предугадывать реакцию на них молодых работников, выработать план профилактических мероприятий по предупреждению негативного противодействия.

Обзор литературы

Фредерик Лалу в книге «Открывая организации будущего» [Лалу, 2016] изучил ранее существовавшие и современные компании по всему миру и пришел к выводу, что эпоха интернета ускорила появление новой картины мира, в которой предусмотрено распределенное управление вместо нисходящей иерархии. По мнению Лалу, «теперь многие ощущают, что нынешний метод управления себя практически исчерпал. Мы все более разочаровываемся в работе и устройстве современных организаций. Многочисленные опросы неизменно свидетельствуют:

для тех, кто трудится у подножия пирамиды, работа чаще сопряжена с гнетущим страхом и унылой рутинной, нежели с жадной творчеством и осмысленностью» [ibid.: 7]. Лалу выявляет новые методы работы, внутренние процессы и культуру, в значительной мере согласующиеся с характеристиками следующей ступени развития организации, где требуются сотрудники не исполнительные, а креативные. Для этого необходима перестройка не только существующих моделей ведения бизнеса, но и управленческих подходов, которые в научной литературе получили название «управление изменениями». Наиболее часто встречающееся в западной практике определение управления изменениями — это «применение структурированного процесса и набора инструментов для управления изменениями со стороны людей для достижения желаемого бизнес-результата» [An Introduction to Change Management, 2021: 7].

В процессе трансформации изменения касаются как самой организации, так и команд или индивидов в рамках этой организации. Управление изменениями имеет целью разработку стратегии некоего структурного перехода из текущего состояния в желаемое таким образом, чтобы добиться максимального принятия и поддержки изменений на всех уровнях организации. Поэтому на этапе внедрения изменений ключевую роль играют базовые представления сотрудников. Если группа придерживается какого-то базового представления, то поведение, основанное на других представлениях, будет казаться группе непонятным истораживающим [Hofstede, 1994.] Базовые представления определяют, какая должна быть реакция на происходящее в организации и каков алгоритм действий руководства. Большинство исследователей сходятся во мнении, что, определив преобладающие в коллективе базовые представления, легче спрогнозировать его реакцию на предстоящие изменения. С точки зрения наук о поведении, сопротивление изменениям представляет собой естественное проявление различных психологических установок, то есть готовности к определенному поведению в конкретной ситуации, согласно которым группы и отдельные индивиды взаимодействуют друг с другом [Ансофф, 2009].

Основу научной концепции работы с изменениями заложил Джон Коттер, сформулировавший четыре основные причины, по которым люди им сопротивляются: а) узкособственнический интерес, б) непонимание и недостаток доверия, в) иная оценка ситуации и г) недостаточная готовность к изменениям [Kotter, 2012]. В дальнейшем эти четыре основных блока причин детализировались, дополняя первоначальную классификацию Коттера. М. Хиггс и Д. Роулэнд анализировали, связано ли поведение руководства с исходными предпосылками различных подходов к изменениям, и пришли к выводу, что главная причина многих проблем изменений — отсутствие доверия у сотрудников к руководству [Higgs, Rowland, 2005]. Другие исследователи больше внимания уделяли укоренившимся стандартам отношений и поведения сотрудников, таким как давление со стороны коллег, усталость от изменений, инертность сложных организационных систем [Litchenstein, 1996], подверженность различным страхам, связанным с потерей места работы, привычных связей и контактов, страхом перед новым и неизвестным [Athota, 2021]. В то же время исследователи показывают, что сопротивление изменениям не всегда связано непосредственно с несоответствием квалификации персонала

для применения тех или иных нововведений. Например, для своих личных целей работники готовы применять технические новинки, но активно сопротивляются внедрению тех же самых технологий в профессиональную деятельность, которая воспринимается как набор рутинных практик [Колыгина, Капуза, 2020].

Проанализировав многочисленные причины сопротивления изменениям, указанным в научной литературе, мы объединили их в перечень из 12 основных, наиболее часто встречающихся источников сопротивления, соотнеся их с первоначальной классификацией Коттера (см. табл. 1).

Первоначально Дж. Коттер и Л. Шлезингер, соавтор Коттера в более ранних работах, предложили пять стратегий для разных управленческих ситуаций при работе с изменениями. Это: а) образование, б) посредничество, в) переговоры, г) вовлечение и д) принуждение [Schlesinger, Kotter, 1979]]. Следуя за логикой Коттера и более поздних авторов [Burnes, 2011; Sammut-Bonnici, Wensley, 2002], мы в своей работе также объединили направления работы с изменениями в пять блоков, каждый из которых предполагает определенную стратегию взаимодействия с целевой аудиторией (см. табл. 2).

Таблица 1. **Источники сопротивления организационным изменениям**

Источники сопротивления по Коттеру	Источники сопротивления в более поздних исследованиях
Узкособственнический интерес	<ul style="list-style-type: none"> — Опасения потери рабочего места. — Опасения потерять привычные социальные контакты. — Сопротивление передаче полномочий.
Непонимание и недостаток доверия	<ul style="list-style-type: none"> — Низкая степень доверия управленцам, предлагающим план изменений. — Страх перед новым и неизвестным (неприятие неопределенности). — Предыдущий неудачный опыт проведения изменений.
Иная оценка ситуации	<ul style="list-style-type: none"> — Возможность существования скрытых (неформальных) источников информации. — Давление со стороны коллег. — Усталость от изменений.
Недостаточная готовность к изменениям	<ul style="list-style-type: none"> — Несоответствие квалификации сотрудника новым требованиям. — Инертность сложных организационных систем. — Сопротивление навязанному мнению внешних консультантов.

Таблица 2. **Стратегии работы по преодолению сопротивления организационным изменениям**

Стратегии по Коттеру	Стратегии в более поздних исследованиях
Стратегия «Посредничество»	Информационные (корпоративные СМИ, электронные сообщения, интранет)
Стратегия «Образование»	Коммуникационные (корпоративные мероприятия, тимбилдинг, тренинги и прочие образовательные и командообразующие мероприятия)
Стратегия «Переговоры»	Организационные (личные беседы, собрания, стратегические сессии, нацеленные на рациональные методы убеждения сотрудников в необходимости проведения преобразований)

Стратегии по Коттеру	Стратегии в более поздних исследованиях
Стратегия «Принуждение»	Директивные (приказы, регламенты, всевозможные властные указания, в основе которых лежит принуждение к выполнению за счет использования административной силы и влияния)
Стратегия «Вовлечение»	Игровые (за счет использования бейджей, уровней, бонусов, мгновенной обратной связи, виртуальной валюты, заданий и квестов, ролей и легенд — эти методы нацелены на эмоциональное вовлечение сотрудников в процесс изменения)

Ряд направлений работы с персоналом, таких как корпоративные информационные источники, тимбилдинги, директивные указания, очевидны и уже давно применяются в управленческой практике, другие же, например игровые (геймификация), появились относительно недавно. По мнению ряда авторов, серьезное игровое движение развивается столь активно именно для того, чтобы ответить на вызовы настоящего момента [Tettegah, Noble, 2016]. С теоретической точки зрения геймифицировать можно любую задачу, процесс или контекст, ведь ключевая цель данной формы взаимодействия — «повысить вовлеченность пользователей» [Muntean, 2011: 323]. Потребность нашей внутренней жизни действовать осмысленно, но при этом с должным уровнем воодушевления, могут объяснить использование и успех игровых техник как в бизнес-практике, так и в вопросах мотивации. Вовлеченность пользователей, участие, общение, взаимодействие, признание, продвижение и продажи являются ключевыми словами в отношении влияния геймификации на бизнес-среду [Vanou, 2017]. Поэтому, расширяя классификацию Коттера по стратегиям работы с изменениями, мы включили именно игровые технологии как детализацию коттеровской стратегии «Вовлечение».

Организации вводят такие новые методы управления персоналом, как геймификация, сталкиваясь с межпоколенческими проблемами, готовясь принять на рабочем месте новое поколение. Возрастная группа Z в большинстве исследований воспринимается как отдельное поколение из-за его связи с современными технологиями. Это поколение называется «цифровым», или «поколением Facebook», а также глобальным поколением. Сегодня это студенты университетов, но вскоре они станут ведущей рабочей силой [Mladkova, 2017]. Первая попытка соотнести ожидания, убеждения и отношение представителей поколения Z с задачами работодателя была предпринята в 2020 г. В данном исследовании используется интерпретативный подход для понимания субъективных мнений, мыслей и разговоров респондентов с целью изучить ожидания поколения Z, чтобы оптимизировать программу адаптации при приеме на работу [Chillakuri, 2020]. Автор отмечает, что различия между поколениями естественны и организациям приходится с этим мириться. Специалисты по персоналу должны помнить, что это также возможность пересмотреть, перепроектировать и скорректировать свои программы адаптации в соответствии с требованиями новых сотрудников. Выводы данного исследования во многом созвучны с результатами проведенного в 2017 г. опроса McKinsey, выявившего четыре основные отличительные характеристики поколения Z [Francis, Hoefel, 2018]:

- это поколение ориентировано на поиск истины;
- оно ценит свободное самовыражение и избегает устоявшихся стандартов, клише;
- верит в эффективность диалога для того, чтобы решать конфликты и улучшать мир;
- принимает решения и взаимодействует с организациями на основе аналитики и прагматизма.

Наше же исследование не опровергает, но дополняет и расширяет полученные ранее результаты о воззрениях и убеждениях представителей поколения Z с учетом специфики российской аудитории.

Методология

Стратегия анализа

Получив на основании изучения и систематизации научной литературы перечень наиболее часто встречающихся опасений сотрудников при проведении изменений в организации, а также наиболее распространенных практик при работе с этими опасениями, мы смогли составить анкету-матрицу для проведения опроса в рамках методологии интерпретирующего структурного моделирования (Total Interpretive Structural modeling, TISM). Данный методологический подход позволяет обеспечить интерпретацию как прямых, так и значимых транзитивных связей в взаимозависимых явлениях — опасений работников и стратегий по их преодолению. Пошаговая методология проиллюстрирована на рисунке 2.

Рис.2. Методология TISM, используемая для выявления и анализа эффективных стратегий работы по преодолению сопротивления изменениям



Анкета-матрица представляет собой соответствие основных стратегий преодоления сопротивления при работе с организационными изменениями с наиболее часто встречающимися опасениями работников в связи с проведением изменений, где выявленные ранее причины сопротивления организационным изменениям (см. табл. 1) располагаются по вертикали матрицы (строки), а стратегии работы по преодолению сопротивления изменениям (см. табл. 2) — по горизонтали (столбцы) (см. табл. 3).

Таблица 3. **Форма анкеты-матрицы**

№ п. п.	Причины сопротивлений/ методы решения	Методы работы с изменениями				
		Информационные (корпоративные СМИ, электронные сообщения, интранет)	Коммуникационные (корпоративные мероприятия, тимбилдинг, тренинги)	Организационные (личные беседы, собрания, стратегические сессии)	Директивные (приказы, регламенты)	Игровые (бэйджи, уровни, бонусы, мгновенная обратная связь, виртуальная валюта, задания и квесты, роли, легенда)
1	Низкая степень доверия управленцам, предлагающим план изменений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Возможность существования скрытых (неформальных) источников информации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страх перед новым и неизвестным (неприятие неопределенности)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Давление со стороны коллег	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Усталость от изменений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предыдущий неудачный опыт проведения изменений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сопротивление передаче полномочий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Инертность сложных организационных систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Сопротивление навязанному мнению внешних консультантов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Несоответствие квалификации сотрудника новым требованиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Опасения потери рабочего места	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Опасения потерять привычные социальные контакты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рейтинг:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Респонденты должны были соотнести стратегии (какие из них эффективные либо неэффективные) при работе с каждым из видов опасений. Они ранжировали вес каждой стратегии от 1 до 5 по отношению к эффективности снятия каждого конкретного опасения — источника сопротивления изменениям, где 5 — стратегия работает наиболее эффективно, 1 — наименее эффективно.

По итогам ранжирования по каждой строке получалось частное от итоговой суммы по столбцу к количеству строк. Средний результат позволяет получить четкое представление, какие стратегии респонденты считают наиболее эффективными при работе с различными вариантами опасений, а какие представляются им неэффективными. Таким образом, были получены данные о мнении респондентов по наиболее предпочтительным стратегиям работы с изменениями в российских компаниях.

Выборка

Исследование было проведено среди студентов 2000—2003 годов рождения, 1—3 курсов очной формы обучения экономического профиля, преимущественно Финансового университета при Правительстве РФ: специальность «экономика и бизнес», «менеджмент», «социальные коммуникации и реклама», «налогообложение и аудит». Предложение поучаствовать в опросе размещалось в закрытых студенческих сообществах в мессенджерах Telegram и WhatsUp, а также в социальных сетях («ВКонтакте»), рассылалось на семинарских занятиях для студентов очной формы обучения.

Учитывая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, взаимодействие с респондентами осуществлялось дистанционно, сбор анкет — по электронной почте. Откликнувшимся респондентам предоставлялся опросный лист с матрицей опроса в Excel, в дальнейшем полученные от каждого студента данные были агрегированы в единую базу. Опрос проводился в течение 2020/2021 учебного года. В анкетировании в общей сложности принял участие 331 человек — девушки и молодые люди примерно в равном гендерном соотношении

Опрос проводился в Москве, при этом порядка 2/3 респондентов приехали из разных регионов России, так как у студентов есть возможность проживания в общежитии. Стоит отметить, что ограничениями для участия в опросе являлись возраст и социальное положение — студент, так как данная аудитория может рассматриваться как наиболее перспективная база для пополнения рядов квалифицированных специалистов — «белых воротничков», а ее представители в перспективе трех-четырех лет массово выйдут на рынок труда.

Результаты

Предпочтения тех или иных стратегий работы с изменениями могут быть связаны не только с базовыми представлениями непосредственно о том, как должны проходить нововведения в организации, но и отражают более глубинные мировоззренческие представления о том, как, на каком базисе строится человеческое взаимодействие. Например, информационные, организационные и директивные методы работы с изменениями можно отнести к рациональным методам воздействия, к ним тяготеют те люди, кто в большей степени склонен к рациональному восприятию мира, а коммуникационные и игровые методы относятся к эмоциональным методам воздействия, так как задействуют в первую очередь мотивационные факторы принадлежности, азарта и эмоциональной включенности в общее дело.

Полученные результаты (см. табл. 4) выявили, что наибольшее предпочтение среди вариантов работы с изменениями респонденты отдают самой рациональ-

ной из всех стратегий, а именно организационной работе в виде личных бесед руководителя с работником, общих собраний работников, на которых руководство доносит суть и смысл предстоящих изменений, стратегических сессий, где сотрудники могут принять участие в выработке долгосрочных решений и планов.

Таблица 4. **Агрегированный результат опроса**

№ п. п.	Причины сопротивления/ методы решения	Методы работы с изменениями				
		Информационные (корпоративные СМИ, электронные сообщения, интранет)	Коммуникационные (корпоративные меро- приятия, тимбилдинг, тренинги)	Организационные (лич- ные беседы, собрания, стратегические сессии)	Директивные (приказы, регламенты)	Игровые (бэйджи, уров- ни, бонусы, мгновенная обратная связь, вирту- альная валюта, задания и квесты, роли, легенда)
1	Низкая степень доверия управленцам, предлагающим план изменений	2,50	3,43	4,24	2,10	3,21
2	Возможность существования скрытых (неформальных) источников информации	3,21	3,13	3,44	3,27	2,10
3	Страх перед новым и неизвестным (неприятие неопределенности)	2,66	3,65	3,41	2,07	3,09
4	Давление со стороны коллег	2,26	3,90	3,81	2,52	2,84
5	Усталость от изменений	2,37	3,46	3,22	1,94	3,93
6	Предыдущий неудачный опыт проведения изменений	2,38	3,71	3,74	2,45	2,79
7	Сопротивление передаче полномочий	2,87	2,91	3,00	4,39	1,99
8	Инертность сложных организационных систем	3,01	3,26	3,31	2,27	2,71
9	Сопротивление навязанному мнению внешних консультантов	2,88	3,06	3,57	2,36	2,57
10	Несоответствие квалификации сотрудника новым требованиям	2,50	3,47	3,49	2,84	2,54
11	Опасения потери рабочего места	2,32	3,54	3,54	3,39	2,25
12	Опасения потерять привычные социальные контакты	2,41	3,79	3,63	1,69	3,85
Рейтинг:		2,62	3,44	3,53	2,61	2,82

В целом рейтинг стратегий по эффективности выглядит следующим образом: на первом месте организационные методы работы с изменениями, предполагающие обмен рациональными аргументами убеждения в пользу проведения изменений, на втором, совсем с небольшим отрывом в 0,09 пункта — корпоративные мероприятия, тимбилдинги, тренинги, то есть взаимодействие, направленное в первую очередь на командообразование, а не на поощрение индивидуальной инициативы, и лишь на третьем месте — игровые технологии, делающие основной акцент на личный вклад и индивидуальные достижения.

На четвертом месте располагаются информационные методы взаимодействия, связанные с максимально широким информированием работников о сути проводимых изменений. И достаточно ожидаемо замыкают пятерку директивные подходы, то есть проведение изменений сверху вниз путем жестких указаний и контроля.

При этом у директивных действий очень высокий рейтинг (4,39 балла) при работе с сопротивлением передаче полномочий. То есть респонденты считают, что методы убеждения при лишении работника административного веса и влияния работать не будут, следовательно, должны проводиться в рамках неукоснительного исполнения вышестоящего приказа. Согласно этому же параметру, у игровых технологий, наоборот, наиболее низкий рейтинг (1,99 балла), то есть передача полномочий в результате открытой конкуренции не вызывает у аудитории никакого доверия.

Наиболее высокий рейтинг (4,24 балла) у организационных стратегий при работе с низкой степенью доверия управленцам, предлагающим план изменений: респонденты считают, что доверие можно и нужно повышать только путем личных коммуникаций и убеждения.

Опрошенные студенты полагают, что если работники переживают организационные изменения уже достаточно продолжительное время и устали от них, то наилучшим методом проведения изменений будут приказы, а добавление элементов игры может исправить ситуацию. Директивные стратегии также не работают при опасении работника потерять привычные социальные связи.

Полученные нами результаты в определенной степени соотносятся с данными, полученными в ходе опроса McKinsey. Учитывая, что эти исследования выполнены на разных выборках и с использованием разных методов сбора данных, можно провести косвенные параллели, избегая прямого сравнения, а именно:

— Если McKinsey говорили о поиске истины в ее идеалистичном восприятии справедливости, то российская аудитория в большей степени показывает запрос на прозрачность и понятность как отношений с работодателем, так и задач, которые работодатель ставит перед сотрудником.

— В обоих исследованиях аудитория верит в эффективность диалога при решении конфликтных ситуаций, но российская аудитория допускает, что при определенных ситуациях допускаются директивные методы воздействия, например, при явном конфликте интересов, таком как перераспределение полномочий между сотрудниками.

— Российское поколение Z также тяготеет к рациональному восприятию мира на основе аналитического подхода и прагматизма, но индивидуально самовыражению предпочитает командную работу, так как считает ее более эффективной.

Выводы

Полученные по результатам опроса данные демонстрируют, что представители поколения Z тяготеют к рациональным методам взаимодействия. В работе показано, что молодое поколение в наибольшей степени ориентировано на рациональность управления и на совместную работу. Респонденты убеждены, что такая форма взаимодействия в ходе встреч, обсуждений, стратегических сессий, где приводятся аргументированные мнения за и против изменений, — это и есть наиболее эффективная стратегия внедрения организационных инноваций. Исследование показывает, что у российского поколения Z существует потребность и, соответственно, запрос на: а) честный разговор, б) рациональность убеждения, в) полноту и достоверность информации, г) совместную выработку решений. Важно отметить, что стратегии, основанные на индивидуальной инициативе, прямой конкуренции, значимости личных достижений — все то, что отличает игровые техники и в научной литературе часто ассоциируется с поколением Z как носителем «цифровой» культуры, не вызывает у респондентов очевидной, явной поддержки, как это можно было бы предполагать изначально.

И результаты нашего опроса, и управленческая практика компаний (об опыте перехода на разделенное управление мы говорили выше) показывают, что мотивировать людей стать более вовлеченными только директивными методами неэффективно. Но и внедрение управленческих подходов, когда люди ориентируются только на индивидуальную инициативу и минимизируют влияние руководства, не отвечает базовым представлениям молодых людей о том, как должно строиться взаимодействие в организации. Молодые люди в большей степени полагаются на командную работу, нежели ориентируются на стремления к индивидуальным достижениям. Прямое проявление властных полномочий и жесткое руководство не воспринимаются однозначно негативно, более того — при определенных обстоятельствах рассматриваются как достаточно эффективная стратегия внедрения решений.

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что российские представители поколения Z аудитория черпают знания об организационной жизни не только из цифровой среды, социальных сетей и интернета, но также ориентируется на практический опыт родителей, которые в большинстве своем являются представителями поколения X и их профессиональный опыт формировался в эпоху коллективизма, рационального восприятия мира и директивного управления. Предположение, что в России степень межпоколенческого конфликта не столь остра, как в других странах, может лечь в основу будущего исследования. Сейчас же, согласно базовым представлениям российского поколения Z, организации должны действовать как сложные иерархичные системы с распределенными полномочиями.

Понимание предпочтений данной целевой аудитории может помочь компаниям разработать более четкую стратегию повышения управляемости при внедрении любых изменений, как производственных, так и управленческих. Если определенные методы внутриорганизационного взаимодействия получают поддержку работников, они не вызовут отторжение, а значит, и организационные изменения могут проходить с более низким процентом увольняющего персонала.

Результаты данного исследования не могут быть распространены на все российское поколение Z в силу определенных методологических упрощений, в том числе стихийного метода отбора респондентов. Кроме того, в выборку попали студенты, имеющие нулевой опыт работы в организациях, и можно предположить, что их оценки будут претерпевать определенную трансформацию, как только они выйдут на рынок труда. Однако, по мнению автора, данная работа может расширить понимание базовых представлений российской молодежи об эффективных формах взаимодействия работника и работодателя, привлечет внимание научного сообщества к более полному изучению предпочтений выходящего в ближайшей перспективе на рынок труда поколения Z и послужит отправной точкой для дальнейших исследований по этой проблематике.

Список литературы (References)

Ансофф И. Стратегическое управление. СПб.: Питер, 2009.

Ansoff I. (2009) *Strategic Management*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.)

Колыгина Д. И., Капуза А. В. Сопротивление переменам среди учителей начальной школы как фактор использования ими ИКТ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 424—444. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.810>.

Kolygina D. I., Kapuza A. V. (2020) Primary School Teachers' Resistance to Change as a Factor Behind Their Use of ICT. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 424—444. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.810>. (In Russ.)

Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.

Laloux F. (2016) *Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness*. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber. (In Russ.)

An Introduction to Change Management. (2021) Prosci Inc. <https://www.prosci.com/change-management> (accessed: 22.02.2022).

Appelbaum S. H., Calcagno R., Magarelli S. M., Saliba M. (2016) A Relationship between Corporate Sustainability and Organizational Change (Part One). *Industrial and Commercial Training*. Vol. 48. No. 1. P. 16—23. <https://doi.org/10.1108/ICT-07-2014-0045>.

Athota V. S. (2021) Lessons from Failures. In: *Mind over Matter and Artificial Intelligence*. Singapore: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0482-9_5.

Banou C. (2017) *Re-Inventing the Book: Challenges from the Past for the Publishing Industry*. Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/C2015-0-04339-8>.

Bennett J. L., Bush M. W. (2013) *Coaching for Change*. New York, NY: Routledge.

Burnes B. (2011) Why Does Change Fail, and What Can We Do About It? *Journal of Change Management Reframing Leadership and Organizational Practice*. Vol. 11. No. 4. P. 445—450.

- Chillakuri B. (2020) Understanding Generation Z Expectations for Effective Onboarding. *Journal of Organizational Change Management*. Vol. 33. No. 7. P. 1277—1296.
- Drucker, P. (2012). *Managing in Turbulent Times*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Francis T., Hoefel F. (2018) 'True Gen': Generation Z and Its Implications for Companies. McKinsey&Company. <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies> (accessed: 22.02.2022).
- Higgs M., Rowland D. (2005) All Changes Great and Small: Exploring Approaches to Change and Its Leadership. *Journal of Change Management Reframing Leadership and Organizational Practice*. Vo. 5. No. 2. P. 121—151.
- Hofstede G. (1994) *Uncommon Sense about Organizations: Cases, Studies and Field Observations*. London: Sage.
- Kotter J. P. (2012) *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press.
- Litchenstein B. M. (1996) Evolution or Transformation: A Critique and Alternative to Punctuated Equilibrium. In: Moore D. (ed.) *Academy of Management Best Paper Proceedings*. Vancouver: Academy of Management. P. 291—295.
- Marquis C., Tilcsik A. (2013) Imprinting: Toward A Multilevel Theory. In: *Academy of Management Annals*. New York: Academy of Management. P. 195—245.
- Marshak R. J. (2005) Contemporary Challenges to the Philosophy and Practice of Organization Development. In: Bradford D. L., Burke W. W. (eds.) *Reinventing Organization Development: New Approaches to Change in Organizations*. San Francisco: Pfeiffer. P. 19—42.
- Mladkova L. (2017) Generation Z in the Literature. In: *Proceedings of the 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) Prague, Czech Republic*. P. 255—261.
- Muntean M., Cabău L. (2011) *Business Intelligence Approach in a Business Performance Context*. Austrian Computer Society. Band 280.
- Sammut-Bonnici R., Wensley R. (2002) Darwinism, Probability and Complexity: Market-Based Organisational Transformation and Change Explained through the Theories of Evolution. *International Journal of Management Reviews*. Vol. 4. No. 3. P. 291—315.
- Schlesinger, L A., Kotter J. P. (1979) Choosing Strategies for Change. *Harvard Business Review* 57. No. 2. March–April. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=45328>.
- Tettegah Sh. Y., Noble S. U. (eds.) (2016) *Emotions, Technology, and Design. A volume in Emotions and Technology*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2014-0-00787-3>.

Приложение

Инструкция по заполнению анкеты

Проанализируйте, насколько, по Вашему мнению, будут эффективно работать стратегии проведения изменений (указаны в столбцах 3—7) для снятия различных видов причин сопротивления изменениям (указаны в строках 3—14). Построчно проранжируйте все стратегии по шкале от 1 до 5 по степени эффективности при работе с каждым из видов опасений: оценка 5 означает, что данная стратегия, по Вашему мнению, работает наиболее эффективно, а оценка 1 — что наименее эффективно. В каждой строке должно быть пять цифр от 1 до 5, цифры повторяться не могут.

У Вас должно получиться 60 пар соответствий, то есть 60 оценок (см. табл. примера).

Таблица. **Форма опроса**

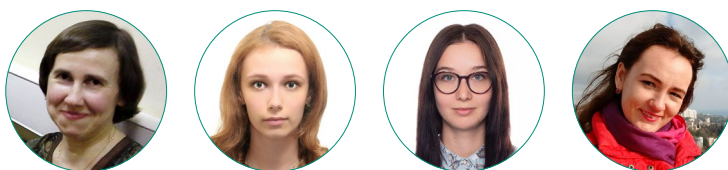
№ п. п.	Причины сопротивлений/ методы решения	Методы работы с изменениями				
		Информационные (корпоративные СМИ, электронные сообщения, интранет)	Коммуникационные (корпоративные мероприятия, тимбилдинг, тренинги)	Организационные (личные беседы, собрания, стратегические сессии)	Директивные (приказы, регламенты)	Игровые (бэйджи, уровни, бонусы, мгновенная обратная связь, виртуальная валюта, задания и квесты, роли, легенда)
1	Низкая степень доверия управленцам, предлагающим план изменений	2	5	4	1	3
2	Возможность существования скрытых (неформальных) источников информации	2	5	4	1	3
3	Страх перед новым и неизвестным (неприятие неопределенности)	4	2	5	1	3
4	Давление со стороны коллег	2	5	3	1	4
5	Усталость от изменений	1	5	4	2	3
6	Предыдущий неудачный опыт проведения изменений	4	3	5	1	2
7	Сопротивление передаче полномочий	2	4	5	3	1

8	Инертность сложных организационных систем	5	3	4	1	2
9	Сопrotивление навязанному мнению внешних консультантов	3	4	5	1	2
10	Несоответствие квалификации сотрудника новым требованиям	4	2	5	1	3
11	Опасения потери рабочего места	3	4	5	1	2
12	Опасения потерять привычные социальные контакты	3	5	4	1	2
Рейтинг:		=СУММ(С3:С14)/12	=СУММ(Д3:Д14)/12	=СУММ(Е3:Е14)/12	=СУММ(Ф3:Ф14)/12	=СУММ(Г3:Г14)/12

Обработка результатов

Обработка результата Вашего анализа считается автоматически в нижней строчке формы опроса. Стратегия, набравшая наибольшее значение, является, по Вашему мнению, наиболее эффективной при работе со всеми 12 причинами сопротивления изменениям.

DOI: 10.14515/monitoring.2022.1.1933



Н. А. Хоркина, В. М. Гритчина, Э. А. Садыкова, М. В. Лопатина

СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТКАЗУ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК?

Правильная ссылка на статью:

Хоркина Н. А., Гритчина В. М., Садыкова Э. А., Лопатина М. В. Способствует ли физическая активность молодежи отказу от вредных привычек? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 282—306. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1933>.

For citation:

Khorkina N. A., Gritchina V. M., Sadykova E. A., Lopatina M. V. (2022) Does Physical Activity in Youth Contribute to Quitting Bad Habits? *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 282–306. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1933>. (In Russ.)

СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТКАЗУ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК?

ХОРКИНА Наталья Алексеевна — кандидат педагогических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: khorkina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9838-8554>

ГРИТЧИНА Валерия Михайловна — магистр экономики, независимый исследователь, Москва, Россия
E-MAIL: lera090797@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8370-115X>

САДЫКОВА Эндже Альбертовна — аспирант 1-го года обучения, факультет экономических наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: endzhdamin@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5819-187X>

ЛОПАТИНА Марина Валерьевна — младший научный сотрудник, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: lopatina.marina@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0686-9538>

Аннотация. В центре внимания статьи — оценка воздействия физической активности на потребление алкогольных и табачных изделий в группе молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Эмпирический анализ основан на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) за период 2013—2019 гг. Панельная выборка включала 9914 наблюдений

DOES PHYSICAL ACTIVITY IN YOUTH CONTRIBUTE TO QUITTING BAD HABITS?

Natalia A. KHORKINA¹ — Cand. Sci. (Education), Associate Professor
E-MAIL: khorkina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9838-8554>

Valeria M. GRITCHINA² — Master of Science (Economics), Independent Researcher
E-MAIL: lera090797@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8370-115X>

Endzhe A. SADYKOVA¹ — PhD Student, Faculty of Economic Sciences
E-MAIL: endzhdamin@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5819-187X>

Marina V. LOPATINA¹ — Junior Research Fellow
E-MAIL: lopatina.marina@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0686-9538>

¹ HSE University, Moscow, Russia

² Moscow, Russia

Abstract. The article's focus is to assess the impact of physical activity on alcohol and tobacco consumption among young Russians aged 18 to 24. The Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-HSE) data for the period 2013-2019 years was used to conduct the empirical analysis. The panel sample included 9 914 observations (4 726 men and 5 188 women). The econometric analysis found that physically active men, as ex-

(4726 мужчин и 5188 женщин). В результате эконометрического анализа установлено, что физически активные мужчины, как и предполагалось, более склонны вести здоровый образ жизни: вероятность курения и потребления алкоголя для них меньше по сравнению с теми, кто не уделяет внимание занятиям физкультурой и спортом. В то же время предположение о том, что молодые женщины, занимающиеся физическими упражнениями, менее подвержены вредным привычкам, не подтвердилось: была выявлена положительная корреляция между занятиями физической активностью данной группы респондентов и вероятностью потребления ими спиртных напитков, а также между интенсивностью занятий физическими упражнениями и вероятностью курения. Результаты проведенного исследования могут быть полезны при разработке мер государственной политики по стимулированию молодых россиян к активизации образа жизни и отказу от вредных привычек.

Ключевые слова: физическая активность, интенсивность физической активности, вероятность потребления алкоголя, вероятность курения, молодежь, РМЭЗ НИУ ВШЭ

Благодарность. Исследование поддержано Факультетом экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в рамках работы авторов в Исследовательской рабочей группе по оценке результативности государственных социальных программ и отдельных мер социальной политики в 2020—2021 гг.

pected, are more likely to lead a healthy lifestyle: they are less likely to smoke and consume alcohol compared to those who do not do exercises or sports. At the same time, the assumption that young women engaged in physical activity are less susceptible to unhealthy habits was not confirmed: a positive correlation was found between the physical activity of this group of respondents and their probability of drinking alcohol, as well as between the intensity of physical activity and the probability of smoking. The results of this study can help develop public policy measures to encourage young Russians to be more physically active and give up unhealthy habits.

Keywords: physical activity, intensity of physical activity, probability of alcohol consumption, probability of smoking, young people, RLMS-HSE

Acknowledgments. The study was supported by the Faculty of Economic Sciences of the HSE University as part of the authors' work in the Research Working Group to evaluate the effectiveness of state social programs and individual social policy measures in 2020–2021.

Введение

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к росту доли физически активной молодежи, значение данного показателя в России остается пока еще ниже уровня развитых стран [Kolosnitsyna et al., 2020]. Тревогу вызывает широкая распространенность вредных привычек среди молодого поколения [WHO, 2018]. Малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление алкоголя и курение — существенные факторы риска для психического и физического здоровья людей [Mewton et al., 2020; WHO, 2010b; WHO, 2018]. Общеизвестно, что основные поведенческие привычки человека, в том числе связанные с его образом жизни, формируются в молодом возрасте. При этом привычки к здоровому образу жизни (ЗОЖ), заложенные с юных лет, могут позволить в дальнейшем избежать ряд проблем со здоровьем, спровоцированных низкой физической активностью и нездоровым поведением [Liu et al., 2012; Sawyer et al., 2012].

Последние годы характеризуются повышенным вниманием российского правительства к вопросам формирования здорового образа жизни среди населения нашей страны. Принят ряд основополагающих документов, направленных на увеличение доли россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, а также на снижение распространенности вредных привычек, в том числе среди молодого поколения¹.

С целью повышения результативности мероприятий по стимулированию здорового образа жизни в молодом возрасте, как отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), важно понять, какие факторы влияют на нездоровое поведение, есть ли взаимосвязь между характеристиками образа жизни и на какие из выявленных факторов может воздействовать государство [McDaid et al., 2014].

На фоне достаточного количества зарубежных работ, анализирующих взаимосвязь между различными показателями образа жизни молодых жителей разных стран [Baumert et al., 1998; Elder et al., 2000; Dunn, 2014; Dunn, Wang, 2003; Halldorsson et al., 2014; Melnick et al., 2001], исследования, затрагивающие данную проблематику применительно к российскому населению, пока еще довольно редки [Засимова, Колосницына, 2011; Хоркина и др., 2018; Kolosnitsyna et al., 2020].

Цель данного исследования — проанализировать взаимосвязь между физической активностью молодых россиян в возрасте 18—24 года и такими составляющими их образа жизни, как курение и потребление алкоголя.

Физическая активность и вредные привычки в молодом возрасте: обзор литературы

Взаимосвязь физической активности и распространенности вредных привычек среди молодых жителей разных стран анализируется в исследованиях многих ученых. При этом полученные результаты неоднозначны. Так, в работах, посвященных анализу различных аспектов теории запланированного поведения, сообщается

¹ Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, утвержденная приказом № 8 Министерства здравоохранения РФ от 15.01.2020 г.; Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (в рамках реализации национального проекта «Демография» 2019—2024 гг.) и др.

об обратной зависимости между занятиями физическими упражнениями и вредными привычками независимо от возраста [Ajzen, 1985; 1991]. К выводу об отрицательной взаимосвязи между занятиями спортом и потреблением алкоголя приходят также авторы ряда других исследований, анализирующих особенности образа жизни молодого населения [Halldorsson et al., 2014; Hellandsjø Bu et al., 2002; Thorlindsson, Vilhjalmsson, 1991]. Полученный результат авторы, как правило, объясняют тем, что, занимаясь спортом, молодые люди стараются придерживаться здорового образа жизни, который ассоциируется с отказом от вредных привычек. В то же время некоторые ученые сообщают, что занятия спортом могут привести к росту потребления алкоголя. В частности, отмечается рост вероятности потребления алкоголя в молодежной среде при увеличении продолжительности и интенсивности спортивных занятий [Buscemi et. al., 2011]. Это, по мнению авторов, может быть обусловлено, например, влиянием на образ жизни социальной среды, поощряющей употребление алкогольных напитков совместно с поддержанием хорошей физической формы. Существуют также исследования, в которых не обнаруживается значимая связь между показателями физической активности и потреблением алкоголя среди молодежи [Davies, Foxall, 2011; Mays, Thompson, 2009].

Анализ научных работ свидетельствует о неоднозначной взаимосвязи между физической активностью и такой вредной привычкой, как курение. Во многих работах было показано, что занимающиеся спортом молодые люди курят реже по сравнению с менее физически активными ровесниками [Baumert et al., 1998; Elder et al., 2000; Dunn, 2014; Dunn, Wang, 2003; Melnick et. al., 2001]. Данный факт, по мнению авторов [Dunn, 2014; Melnick et. al., 2001], может быть связан с большей осведомленностью физически активной молодежи о пользе занятий физкультурой и спортом для здоровья, информацию о которой они получают не только самостоятельно, но и от спортивных инструкторов, тренеров и медицинских работников. Однако в ряде исследований был выявлен рост потребления некурительных табачных изделий среди молодого населения, уделяющего внимание занятиям физическими упражнениями [Dunn, Wang, 2003; Melnick et al., 2001; Castrucci et al., 2004]. Полученный результат, по мнению ученых [Dunn, Wang, 2003], может объясняться, в частности, тем, что физически активные молодые люди, заботясь о своем здоровье, переключаются на другие виды табака, не оказывающие серьезного воздействия на дыхательную систему и наносящие меньший вред состоянию здоровья.

Распространенность занятий физической активностью и вредных привычек среди молодых жителей России

Анализ взаимосвязи между физической активностью и вредными привычками (курением и потреблением алкоголя) основан на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)² за период с 2013 г. по 2019 г. Анализируемая выборка включала молодых респондентов обоих полов в возрасте от 18 до 24 лет (4726 юношей и 5188 девушек).

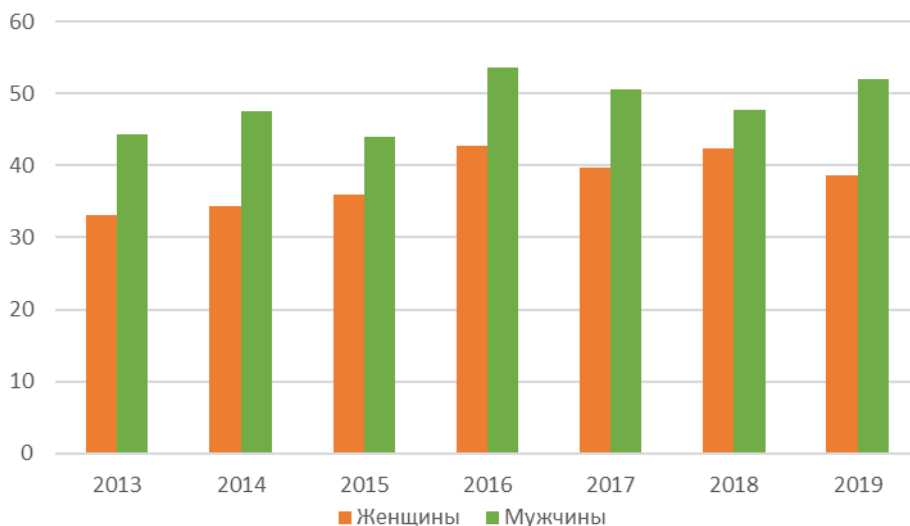
² Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) — серия ежегодных общенациональных репрезентативных опросов на базе вероятностной стратифицированной многоступенчатой территориальной выборки. URL: <https://www.hse.ru/rlms/> (дата обращения: 10.09.2021).

Данный возрастной диапазон был выбран для анализа с учетом классификации ООН, согласно которой к группе молодого населения принято относить индивидов в возрасте от 15 до 24 лет³, а также с учетом того обстоятельства, что 18 лет — законодательно установленный минимальный возраст, с которого в России разрешается покупать алкогольные напитки и табачные изделия⁴.

Чтобы определить склонность респондента к занятиям физической активностью, анализировался его ответ на следующий вопрос опросника RLMS HSE: «Сейчас я перечислю разные виды физической активности, а Вы скажите мне, пожалуйста, какими из них Вы занимались в течение последних 12 месяцев по меньшей мере 12 раз». Возможные варианты ответа: бег трусцой, катание на коньках, лыжах; упражнения на тренажерах; прогулочная ходьба и пр. При этом если выбирался хотя бы один из предложенных вариантов ответа, то считалось, что индивид занимается физической активностью.

Динамика доли молодых россиян, уделяющих внимание занятиям физической активностью, представлена на рисунке 1. Согласно полученным данным, в 2019 г. по сравнению с 2013 г. значение данного показателя возросло в 1,2 раза как для мужчин, так и для женщин, а максимальное значение показателя для обеих гендерных групп наблюдалось в 2016 г. Из данных рисунка 1 также видно, что доля физически активных мужчин в период с 2013 по 2019 г. стабильно превышала значение аналогичного показателя для женщин.

Рис. 1. Доля мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет, занимающихся физической активностью, % от общей численности мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет, 2013—2019 гг.



³ Доклад Генерального секретаря ООН на 36 сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 1981 г. № А/36/215. URL: <https://undocs.org/ru/A/36/215> (дата обращения: 15.05.2021).

⁴ Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/8506> (дата обращения: 20.04.2020); Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/36838> (дата обращения: 20.04.2020).

Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок RLMS HSE за соответствующие годы.

Для получения информации о распространенности вредных привычек среди молодого поколения нашей страны анализировались ответы на следующие вопросы анкеты RLMS HSE:

- Вы употребляете хотя бы иногда алкогольные напитки, включая пиво?
- Вы курите в настоящее время?

Рисунки 2 и 3 демонстрируют, как в России менялся удельный вес численности молодых россиян, употребляющих алкогольные и табачные изделия, в общей численности молодежи в возрасте 18—24 года. Как видно из представленных данных, значение этих показателей как для мужчин, так и для женщин изменялось волнообразно на протяжении рассматриваемого периода, но в целом можно заметить позитивную тенденцию к снижению распространенности вредных привычек среди молодого населения нашей страны.

В то же время следует отметить достаточно высокую распространенность вредных привычек среди молодых россиян: в 2019 г. около 28 % молодых респондентов сообщили о потреблении спиртных напитков, а 18 % указали на потребление табачных изделий. Вызывает обеспокоенность и низкая физическая активность молодежи: в 2019 г. около 55 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не уделяли внимания занятиям физкультурой и спортом.

Рис. 2. Доля мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет, употребляющих алкогольные напитки, % от общей численности мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет, 2013—2019 гг.



Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок RLMS HSE за соответствующие годы.

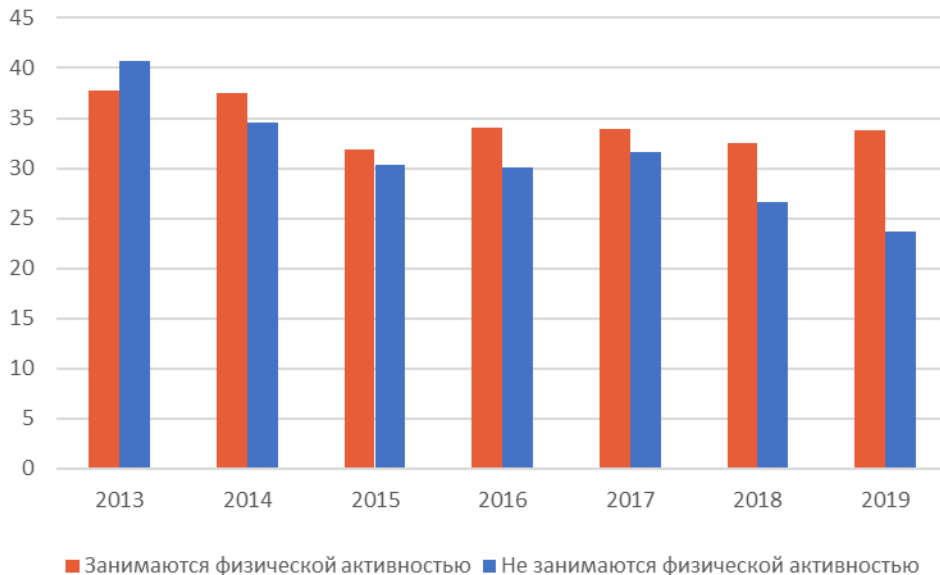
Рис. 3. Доля курящих мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет, % от общей численности мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет, 2013—2019 гг.



Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок RLMS HSE за соответствующие годы.

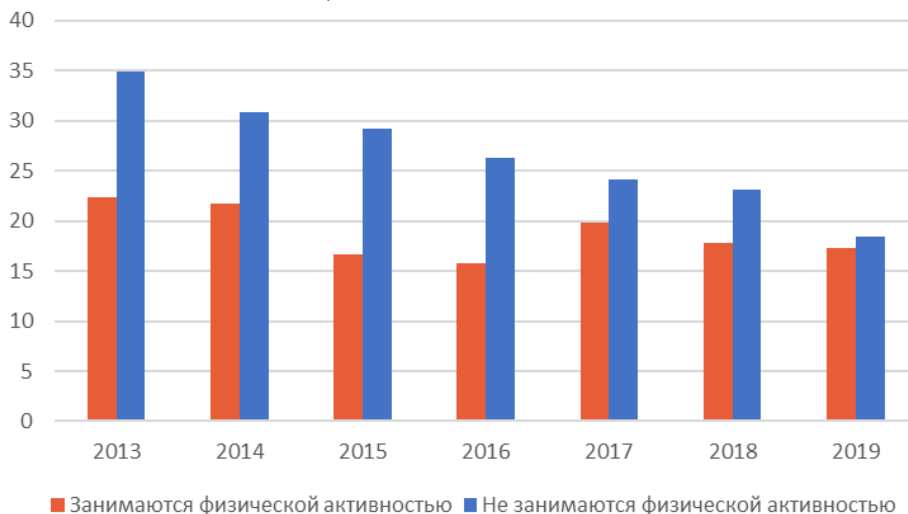
Проанализируем данные о распространенности вредных привычек среди молодых жителей России в зависимости от занятий физической активностью (см. рис. 4 и 5).

Рис. 4. Доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, употребляющей алкоголь, в зависимости от занятий физической активностью, % от общей численности молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в зависимости от занятий физической активностью, 2013—2019 гг.



Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок RLMS HSE за соответствующие годы.

Рис. 5. Доля курильщиков в возрасте от 18 до 24 лет в зависимости от занятий физической активностью, % от общей численности молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в зависимости от занятий физической активностью, 2013—2019 гг.



Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок RLMS HSE за соответствующие годы.

Согласно полученным результатам, однозначной взаимосвязи между склонностью к занятиям физической активностью и потреблением алкоголя среди молодежи не прослеживается (см. рис. 4). В то же время распространенность курения ниже среди молодого населения, занимающегося физкультурой и спортом по сравнению с физически неактивными респондентами (см. рис. 5). Исходя из представленных на рисунках 4 и 5 данных и информации об акцизных ставках на алкоголь и сигареты за период 2013—2019 гг.,⁵ можно также заключить, что динамика изменения доли физически неактивных молодых людей, потребляющих алкогольные напитки и табачные изделия, в целом отрицательно коррелирует с динамикой изменения акцизов на данные товары, которые неоднократно повышались на протяжении рассматриваемого периода. Выявленная тенденция может быть вызвана, в частности, тем обстоятельством, что наибольшую долю среди молодых россиян, не уделяющих внимание занятиям физкультурой и спортом, в отличие от их физически активных ровесников, согласно оценкам [Хоркина и др., 2018; Kolosnitsyna et al., 2020], составляют лица с невысокими доходами, наиболее чувствительные к увеличению цен на алкоголь и сигареты в результате роста акцизов [Choi, 2016; Mao et al., 2005].

Взаимосвязь физической активности и вредных привычек среди молодых россиян: эконометрический анализ

Полагаясь на результаты предыдущих исследований, мы предположили, что молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет, занимающиеся физкультурой и спортом, менее подвержены таким вредным привычкам, как курение и потребление

⁵ Налоговый кодекс Российской Федерации (Статья 193). URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102067058> (дата обращения: 15.06.2021).

алкоголя. В итоге нами были сформулированы следующие гипотезы в отношении данной группы респондентов:

Н1: занятия физической активностью уменьшают вероятность того, что человек, потребляющий алкогольные напитки, употреблял их в последние 30 дней при прочих равных условиях (вероятность краткосрочного потребления);

Н2: занятия физической активностью уменьшают вероятность того, что человек будет потреблять алкогольные напитки в дальнейшем при прочих равных условиях;

Н3: увеличение интенсивности занятий физической активностью сокращает вероятность того, что человек будет потреблять алкогольные напитки в дальнейшем при прочих равных условиях;

Н4: занятия физической активностью уменьшают вероятность того, что человек будет курить в дальнейшем при прочих равных условиях;

Н5: увеличение интенсивности занятий физической активностью сокращает вероятность того, что человек будет курить в дальнейшем при прочих равных условиях.

Для проверки названных гипотез на основе данных RLMS HSE была сформирована панельная выборка за период с 2013 по 2019 г.

Зависимыми переменными выступали:

1) *потребление алкоголя (хотя бы иногда)*: переменная равна 1, если респондент хотя бы иногда употребляет алкогольные напитки, и 0 — в противном случае;

2) *потребление алкоголя в течение последних 30 дней для потребляющих алкоголь*: переменная, которая принимает значение 1, если индивид употреблял какие-либо спиртные напитки за последние 30 дней, 0 — иначе. Отметим, что в данном случае учитывалось потребление алкогольных напитков только тех респондентов, которые отметили, что, хотя бы иногда потребляют алкоголь;

3) *курение*: переменная, равная 1, если индивид курит в настоящее время, 0 — в противном случае. При этом для тех респондентов, которые отметили, что курят в настоящий момент, но не курили в последние 7 дней, значение данного показателя полагалось равным 0.

В целях нашего исследования в качестве *объясняющих факторов* были выбраны две переменные:

1) *занятия физической активностью (занятия ФА)*: переменная, принимающая значение 1, если индивид занимался каким-либо видом физической активности (бег трусцой, катание на коньках, лыжах; использование тренажеров; прогулка; ходьба и пр.) в течение последних 12 месяцев по меньшей мере 12 раз и 0 — в противном случае (т. е. в случае, когда индивид не выбирал ни один из предложенных видов физической активности);

2) *интенсивность занятий физической активностью (ИФА)*: переменная, определяемая через общее число часов в месяц, которые респондент тратит на различные виды физической активности, и рассчитанная следующим образом:

$$\sum_i \frac{\text{количество занятий в месяц} * \text{длительность занятия (мин)}}{60},$$

где i — один из видов физической активности.

Информация о длительности занятий физической активностью анализировалась только для тех индивидов, которые занимались хотя бы одним видом физической активности.

Основываясь на результатах предыдущих исследований в отношении различных аспектов образа жизни молодых жителей разных стран [Засимова, Колосницина, 2011; Cutler, Lleras-Muney, 2010; Dunn, 2005; Dunn, Wang, 2003; Livingstone, Room, 2009], мы включили в анализ следующие *контрольные переменные*: возраст, место проживания, состояние здоровья, регулярность питания, образование, среднедушевой доход домохозяйства (логарифм), статус занятости и семейный статус, а также индекс потребительских цен на алкогольные напитки и табачные изделия. Описательные статистики используемых переменных представлены в приложениях 1 и 2.

Проверка гипотез H1-H5 осуществлялась с использованием панельной логистической регрессии со случайным индивидуальным эффектом, позволяющей оценить вероятность потребления алкоголя и курения. В модели были включены фиктивные переменные, соответствующие году наблюдения, позволяющие учесть ненаблюдаемые временные эффекты. Во избежание внутрикластерной корреляции и территориальной гетероскедастичности в моделях рассчитывались робастные ошибки. Были проведены соответствующие оценки отдельно для мужчин и женщин. Целесообразность оценивания моделей отдельно по гендерным группам подтверждена тестами максимального правдоподобия. Корреляционные матрицы анализируемых переменных показали отсутствие выраженной мультиколлинеарности. Построенные модели оказались значимыми на глобальном уровне как для мужчин, так и для женщин. Результаты оценивания моделей приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Влияние ФА и ИФА на вероятность потребления алкоголя молодежью в возрасте от 18 до 24 лет

Переменные	Вероятность потребления алкоголя		Вероятность потребления алкоголя в течение 30 дней (для потребляющих алкоголь)		Вероятность потребления алкоголя	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Занятия ФА: занимается	-0,030	0,513***	-0,170*	0,411**		
	(0,106)	(0,145)	(0,123)	(0,155)		
ИФА					0,003	0,007
					(0,004)	(0,006)
Возраст	2,084***	1,587**	1,238	-0,329	1,853*	0,114
	(0,778)	(0,637)	(0,799)	(0,764)	(1,200)	(1,056)
Возраст в квадрате	-0,041**	-0,033**	-0,024	0,010	-0,036	-0,001
	(0,018)	(0,015)	(0,019)	(0,018)	(0,028)	(0,025)

Переменные	Вероятность потребления алкоголя		Вероятность потребления алкоголя в течение 30 дней (для потребляющих алкоголь)		Вероятность потребления алкоголя	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Место проживания: столицы — базовая категория						
региональный центр	0,381	0,008	-0,267	-0,138	0,587**	0,134
	(0,263)	(0,258)	(0,256)	(0,193)	(0,258)	(0,313)
город (кроме столиц и регионального центра)	-0,059	-0,305	-0,084	-0,157	0,257	-0,522
	(0,323)	(0,369)	(0,356)	(0,262)	(0,408)	(0,517)
село	-0,551	-1,127***	-0,439*	-0,429*	-0,007	-0,684*
	(0,391)	(0,407)	(0,235)	(0,211)	(0,423)	(0,405)
Состояние здоровья: совсем плохое или плохое — базовая категория						
среднее, не хорошее, но и не плохое	0,785	0,533	0,505	0,428	0,809	1,264***
	(0,576)	(0,337)	(0,709)	(0,456)	(0,924)	(0,448)
очень хорошее или хорошее	0,720	0,131	0,547	0,207	0,747	0,949***
	(0,579)	(0,289)	(0,707)	(0,443)	(0,896)	(0,460)
Регулярность питания: скорее нет или нет — базовая категория						
скорее да, чем нет	-0,255	-0,258	-0,512***	-0,226	-0,293*	0,116
	(0,161)	(0,202)	(0,191)	(0,242)	(0,198)	(0,286)
да	-0,126	-0,274	-0,092	0,079	-0,138	0,065
	(0,185)	(0,187)	(0,228)	(0,164)	(0,273)	(0,265)
Образование: без аттестата о среднем образовании — базовая категория						
оконченное среднее или среднее профессиональное образование	-0,391*	-0,556**	-0,099	-0,507**	-0,586**	-0,455
	(0,220)	(0,243)	(0,219)	(0,259)	(0,309)	(0,355)
законченный техникум или неоконченное высшее образование	-0,216	-0,560**	-0,261	-0,527**	-0,106	-0,235
	(0,238)	(0,230)	(0,243)	(0,214)	(0,329)	(0,393)
оконченное высшее образование (в том числе научная степень)	-1,058***	-0,858***	-0,999***	-0,839***	-0,811**	-0,763*
	(0,313)	(0,301)	(0,379)	(0,290)	(0,451)	(0,495)
Статус занятости: работает	0,317*	0,859***	0,059	0,729***	0,225	1,169***
	(0,186)	(0,152)	(0,176)	(0,153)	(0,245)	(0,184)
Логарифм среднедушевого дохода домохозяйства	0,531***	0,587***	0,698***	0,531***	0,771***	0,726***
	(0,191)	(0,142)	(0,162)	(0,128)	(0,302)	(0,232)

Переменные	Вероятность потребления алкоголя		Вероятность потребления алкоголя в течение 30 дней (для потребляющих алкоголь)		Вероятность потребления алкоголя	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Семейный статус: состоит в зарегистрированном или гражданском браке	0,973***	0,158	0,502**	-0,134	1,363***	0,401**
	(0,219)	(0,149)	(0,205)	(0,123)	(0,279)	(0,224)
ИПЦ на алкоголь	-1,532***	-0,727	-0,751*	-0,433	-1,089**	0,125
	(0,415)	(0,438)	(0,428)	(0,404)	(0,582)	(0,458)
Константа	-29,79***	-24,06***	-19,78**	-2,002	-30,47***	-11,99
	(8,2320)	(6,223)	(8,995)	(7,666)	(12,421)	(10,971)
Количество наблюдений	3879	4235	2276	2289	1836	1598

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

В скобках приведены стандартные ошибки.

Таблица 2. Влияние ФА и ИФА на вероятность потребления табачной продукции молодежью в возрасте от 18 до 24 лет

Переменные	Вероятность курения		Вероятность курения	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Занятия ФА: занимается	-1,166***	-0,239		
	(0,197)	(0,286)		
ИФА			-0,005	0,026***
			(0,006)	(0,007)
Возраст	6,126***	5,312***	8,522***	6,409***
	(1,299)	(1,443)	(2,147)	(2,130)
Возраст в квадрате	-0,132***	-0,116***	-0,191***	-0,144***
	(0,030)	(0,034)	(0,051)	(0,049)
Место проживания: столицы — базовая категория				
региональный центр	-0,269	-1,044**	-0,502	-1,949***
	(0,356)	(0,493)	(0,453)	(0,661)
город (кроме столиц и регионального центра)	-0,162	-1,314**	-0,432	-1,755**
	(0,472)	(0,581)	(0,621)	(0,752)
село	-0,136	-1,901**	0,385	-3,094*
	(0,714)	(0,840)	(0,719)	(1,778)
Состояние здоровья: совсем плохое или плохое — базовая категория				
среднее, не хорошее, но и не плохое	0,737	-0,358	-1,430	0,335
	(0,970)	(0,679)	(0,977)	(1,302)
очень хорошее или хорошее	1,11	-1,407*	-0,776	-1,245
	(0,952)	(0,750)	(0,940)	(1,454)

Переменные	Вероятность курения		Вероятность курения	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Регулярность питания: скорее нет или нет — базовая категория				
скорее да, чем нет	0,292	-0,789***	0,251	-0,601
	(0,236)	(0,243)	(0,390)	(0,382)
да	0,302	-0,428**	0,303	-0,214
	(0,267)	(0,196)	(0,399)	(0,363)
Образование: без аттестата о среднем образовании — базовая категория				
оконченное сред- нее или среднее профессиональное образование	-0,873***	-1,489***	-0,966*	-1,983***
	(0,267)	(0,433)	(0,477)	(0,677)
законченный техникум или неоконченное выс- шее образование	-1,108***	-2,157***	-0,906*	-2,186**
	(0,342)	(0,526)	(0,549)	(0,854)
оконченное высшее образование (в том числе научная степень)	-2,123***	-3,710***	-2,494***	-4,748***
	(0,501)	(0,609)	(0,562)	(0,997)
Статус занятости: работает	0,736***	0,668**	0,655**	1,033**
	(0,294)	(0,269)	(0,326)	(0,505)
Логарифм среднедушево- го дохода домохозяйства	-0,239	0,135	-0,001	0,308
	(0,291)	(0,291)	(0,416)	(0,471)
Семейный статус: состоит в зарегистриро- ванном или гражданском браке	0,827**	0,268	1,579**	1,070**
	(0,372)	(0,218)	(0,695)	(0,468)
ИПЦ на табачные изделия	-1,499***	-0,042	-0,697*	-0,184
	(0,305)	(0,300)	(0,420)	(0,503)
Константа	-66,99***	-62,15***	-94,47***	-75,28***
	(13,71)	(16,79)	(21,92)	(24,73)
Количество наблюдений	3873	4229	1834	1595

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

В скобках приведены стандартные ошибки.

Анализ результатов регрессионного моделирования позволил сделать следующие выводы в отношении выдвинутых гипотез.

При оценке влияния занятий ФА на вероятность потребления алкоголя (гипотезы Н1-Н2) было установлено, что занятия ФА, как и предполагалось, уменьшают вероятность краткосрочного потребления алкоголя (в последние 30 дней для потребляющих алкоголь) при прочих равных условиях, но только для молодых мужчин (см. табл. 1). В то время как для молодых женщин занятия ФА увеличивают вероятность как краткосрочного потребления алкогольных напитков, так и их потребления в дальнейшем.

Гипотеза Н3 о влиянии интенсивности занятий ФА на вероятность потребления алкоголя не подтвердилась: согласно полученным результатам, более интенсивные занятия ФА в целом не способствуют снижению вероятности потребления алкоголя молодежью: переменная «ИФА» незначима в моделях для каждой из гендерных групп (см. табл. 1).

Результаты проверки гипотезы Н4 о влиянии занятий ФА на вероятность курения свидетельствуют, что занятия ФА, как и было предположено, уменьшают вероятность курения для молодых мужчин при прочих равных условиях, но не способствуют снижению вероятности курения для молодых женщин: соответствующая переменная «занятия ФА» для женщин незначима, хотя коэффициент при ней имеет отрицательный знак (см. табл. 2).

Оценка влияния ИФА на вероятность курения (гипотеза Н5) показала, что более интенсивные занятия ФА повышают вероятность курения для молодых женщин при прочих равных условиях, но не оказывают значимого влияния на вероятность курения для молодых мужчин (см. табл. 2).

Кроме того, были выявлены определенные закономерности в отношении контролируемых переменных (см. табл. 1 и 2). В частности, установлено, что для молодых респондентов обоих полов до достижения определенного возраста растет как вероятность потребления алкоголя (примерно до 24 лет для девушек и 23 лет для юношей), так и вероятность курения (до 23 лет для обеих гендерных групп), после чего значение данных показателей начинает уменьшаться; более высокий уровень образования отрицательно коррелирует с вероятностью потребления алкоголя и табака, а наличие работы повышает вероятность курения и потребления алкоголя как для молодых мужчин, так и для женщин; вероятность потребления спиртных напитков для респондентов обоих полов положительно связана с уровнем дохода, в то время как корреляции вероятности курения с доходом не установлено; повышение ИПЦ как на табачные изделия, так и на алкоголь значимо связано с более низкой вероятностью курения и потребления спиртных напитков соответственно (только для мужчин).

Обсуждение результатов

В работе на основе данных RLMS HSE за 2013—2019 гг. был проведен анализ взаимосвязи физической активности молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет и таких вредных привычек, как курение и потребление алкоголя.

Гипотезы об обратной корреляции между показателями ФА (занятиями ФА и интенсивностью ФА) молодых россиян и вероятностью потребления ими спиртных и табачных изделий подтверждены частично. Как и предполагалось, мужчины, занимающиеся физкультурой и спортом, более склонны вести здоровый образ жизни в целом: вероятность курения и потребления алкогольных напитков у физически активных мужчин меньше по сравнению с теми, кто не уделяет внимание занятиям физическими упражнениями. Полученный для юношей результат согласуется с рядом зарубежных исследований, сообщающих об отрицательной взаимосвязи между занятиями физической активностью и распространенностью вредных привычек: потреблением алкоголя [Halldorsson et al., 2014; Higgins et al., 2003; Thorlindsson, Vilhjalmsson, 1991] и курением [Baumert et al., 1998; Elder et

al., 2000; Dunn, 2014; Dunn, Wang, 2003; Melnick et al., 2001]. Противоречивая на первый взгляд положительная корреляция между показателями физической активности и вредными привычками российских девушек выявляется также у молодых жительниц разных стран: как для алкоголя [Buscemi et al., 2011; Dunn, Wang, 2003], так и для курения [Seo et al., 2014; Verkooyen et al., 2008]. Данный результат, по мнению некоторых авторов [French et al., 2009; Verkooyen et al., 2008], может объясняться, например, гендерной спецификой в занятиях физическими упражнениями. Действительно, как показал наш анализ, российские девушки чаще, чем юноши, отдают предпочтение таким групповым видам физической активности, как аэробика, шейпинг, йога, танцы, а также прогулочной ходьбе (в том числе с друзьями), после которых часть из них продолжают общение в кафе, барах, клубах, потребляя за компанию алкогольные напитки⁶. Кроме того, приверженность курению для физически активных девушек, более интенсивно занимающихся спортивными упражнениями, в том числе с целью снижения веса, может быть вызвана положительной корреляцией между потреблением табачных изделий и массой тела, которая отмечается в отдельных исследованиях [Fulkerson, French, 2003; Molarius, 1997; Shimokata et al., 1989].

Обнаруженный в работе характер влияния контрольных переменных на вредные привычки молодых россиян во многом согласуется с выводами авторов других исследований, выполненных как на российских [Засимова, Колосницына, 2011], так и на зарубежных данных [Dunn, 2005; Cutler, Lleras-Muney, 2010; Livingstone, Room, 2009].

Ограничения исследования

Наше исследование имеет ряд ограничений.

Во-первых, авторы эмпирических работ, анализирующие особенности курения и потребления алкоголя в молодежной среде, указывают на важность учета в исследовании такого фактора, как социальное окружение (в том числе частота и характер социальных контактов), и отмечают, что распространенность вредных привычек среди родственников, друзей, коллег, соседей может быть значимым фактором потребления спиртных напитков и табачных изделий молодыми людьми [Buscemi et al., 2011; Ho et al., 2010]. Некоторые исследователи дополнительно учитывают личностные качества индивида, характеризующие его психоэмоциональное состояние, справедливо полагая их возможную взаимосвязь с вероятностью курения и потребления алкоголя [Hockenberry et al., 2011; Pedrelli et al., 2016]. Однако отсутствие необходимой информации в базе данных RLMS HSE не позволило включить в наше исследование соответствующие контрольные переменные. В то же время следует отметить, что используемая нами в анализе панельная логистическая регрессия со случайным индивидуальным эффектом опирается на структуру панельных данных, что в некоторой степени позволяет решить проблему ненаблюдаемых индивидуальных различий: индивидуальные

⁶ Заметим, что большинство данных о видах занятий физкультурой и спортом, представленных в базе данных RLMS HSE, объединены по группам: 1) бег трусцой, катание на коньках, лыжах; 2) танцы, аэробика, шейпинг, йога; 3) баскетбол, волейбол, футбол, хоккей и пр., что не позволило проанализировать взаимосвязь между склонностью индивида к занятиям конкретным видом физической активности и потреблением алкогольных и табачных изделий.

эффекты улавливают определенные особенности индивидов, которые способны наравне с другими факторами определять различия в потреблении алкоголя и табака, не выявляющиеся контрольными переменными.

Во-вторых, в ряде исследований, выполненных на основе анализа опросных данных молодых жителей зарубежных стран, сообщается о возможной взаимной корреляции таких вредных привычек, как курение и потребление алкоголя по отношению друг к другу [Myers, Kelly, 2006; Weitzman et al., 2005]. Оценка данной взаимосвязи применительно к вредным привычкам молодого населения нашей страны должна стать предметом отдельного исследования.

Кроме того, проведенный нами регрессионный анализ выявил определенную корреляцию между самооценкой здоровья молодых женщин и вероятностью потребления ими спиртных напитков. Между тем склонность к чрезмерному потреблению алкоголя, в свою очередь, может стать одним из факторов, способных вызвать различные проблемы со здоровьем [WHO, 2018]. Поэтому полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии значимой связи между данными показателями, для оценки направления которой необходимы дополнительные исследования.

Выводы для государственной политики

Неоднозначная взаимосвязь между показателями физической активности российской молодежи и вредными привычками, выявленная в ходе эмпирического анализа, свидетельствует о целесообразности реализации как *узкоспециализированных программ*, направленных на конкретные составляющие здорового образа жизни среди молодежи (стимулирование физической активности, отказ от вредных привычек), так и *комплексных программ*, направленных на развитие нескольких компонентов здорового поведения одновременно. Учитывая формирование привычек в молодом возрасте, к числу *комплексных мер* можно отнести, в частности, информирование школьников об отрицательных последствиях нездоровых привычек и позитивном воздействии физической активности на здоровье путем включения уроков здорового образа жизни в школьные учебные планы; просветительские рекламные кампании, направленные на молодежную аудиторию, разъясняющие пользу различных компонентов ЗОЖ для человека и общества и формирующие негативное отношение к вредным привычкам; проведение акций по пропаганде здорового образа жизни (конкурсов, Дней здоровья и т. п.); мониторинг употребления вредных веществ среди подростков и молодежи, в том числе среди тех из них, кто регулярно занимается спортивными упражнениями.

Установленная в работе отрицательная корреляция между показателями физической активности юношей и вероятностью курения и потребления алкоголя свидетельствует о том, что мероприятия, направленные на повышение физической активности молодежи, могут также способствовать снижению доли молодых мужчин, потребляющих спиртные напитки и табачные изделия. Для *стимулирования молодых людей к занятиям физкультурой и спортом* государство может задействовать ряд инструментов, активно используемых в зарубежной практике, но пока не получивших широкое распространение в нашей стране: грантовая поддержка

некоммерческих и общественных организаций, реализующих специальные программы, направленные на активизацию образа жизни молодого поколения; разработка национальных программ и руководств по физической активности для молодежи; рекламирование активного образа жизни в СМИ (в том числе в интернете, социальных сетях), вариативность содержания занятий физкультурой в учебных заведениях с учетом возрастных особенностей и предпочтений учащихся, состояния здоровья и пр. [Хоркина и др., 2018; Kolosnitsyna et al., 2020].

Наши оценки также показали, что вероятность потребления алкогольных и табачных изделий имеет обратную U-образной зависимостью от возраста с пиком примерно между 23 и 24 годами. Это означает, что *законодательное повышение минимального возраста для продажи алкоголя и сигарет* могло бы снизить долю молодых россиян, потребляющих крепкие напитки и табачные изделия. Эффективность данного инструмента подтверждается зарубежными исследованиями. Так, повышение минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 20 лет в Литве позволило значительно сократить уровень общей смертности в возрастной группе от 18 до 19 лет [Tran et al., 2021].

Выявленная для молодых мужчин отрицательная зависимость вероятности потребления алкоголя и табака от ИПЦ на данные товары свидетельствует о том, что *повышение акцизов на спиртные напитки и сигареты пропорционально ИПЦ* может стать действенным инструментом, способствующим снижению распространенности вредных привычек среди молодежи. Предыдущие исследования также подчеркивают важность этой меры применительно к молодому населению, указывая на то, что представители данной возрастной группы наиболее чувствительны к изменению цен на аддиктивные блага, к которым принято относить алкоголь и сигареты [Becker et al., 1991].

В ходе исследования было установлено, что вероятность курения и потребления алкоголя значимо отрицательно связана с ростом уровня образования. Для формирования негативного отношения к вредным привычкам среди детей и подростков целесообразно уже на первых ступенях общего образования информировать учащихся об отрицательных последствиях нездоровых привычек путем *включения уроков здорового образа жизни в учебные планы начальной и средней школы*. Анализ отдельных региональных инициатив показал, что их реализация может быть осуществлена без значительных финансовых затрат, но с высокой степенью результативности [Хоркина, 2012].

Одним из факторов, положительно коррелирующим с вероятностью курения и потребления алкоголя, согласно нашим оценкам, является наличие работы. Снижению распространенности вредных привычек среди работающей молодежи могли бы способствовать *корпоративные программы по укреплению здоровья*, которые эксперты ВОЗ выделяют в качестве важного инструмента политики формирования здорового образа жизни [WHO, 2010a]. К сожалению, не многие работодатели готовы инвестировать в проекты, отдача от которых проявится лишь спустя довольно длительное время. Поэтому необходимы специальные механизмы их государственного стимулирования. Одним из них могло бы стать введение налоговых льгот предприятиям, финансирующим программы по поддержке здорового образа жизни сотрудников. Кроме того, необходимо усилить контроль

за соблюдением действующих законодательных ограничений в отношении курения и потребления алкоголя на рабочих местах.

Целенаправленная деятельность со стороны государства по стимулированию здорового образа жизни молодых россиян с учетом обнаруженных в работе закономерностей может способствовать повышению мотивации молодежи к занятиям физическими упражнениями и отказу от курения и потребления спиртных напитков, что в итоге окажет позитивное воздействие на здоровье и качество жизни жителей нашей страны и принесет ощутимые выгоды обществу в целом.

Таким образом, полученные в ходе эмпирического анализа выводы позволили выделить ряд инструментов государственной политики, способных стимулировать молодежь к занятиям физической активностью и снижению потребления алкоголя и табака. Будущие исследования могут быть направлены на количественную оценку реализуемых мероприятий, включая анализ воздействия программ по активизации образа жизни на распространенность вредных привычек среди молодого населения.

Список литературы (References)

Засимова Л. С., Колосницына М. Г. Формирование здорового образа жизни у российской молодежи: возможности и ограничения государственной политики (по материалам выборочных исследований) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. № 4. С. 116—129.

Zasimova L. S., Kolosnitsyna M. G. (2011) Creation of the Healthy Lifestyle for Russian Young People: Possibilities and Limitations of the State Policy (from the Materials of the Optional Analysis). *Public Administration Issues*. No. 4. P. 116—129. (In Russ.)

Хоркина Н. А., Лопатина М. В., Костина Ю. В. Физическая активность российской молодежи и возможности государственной политики // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 2. С. 177—200.

Khorkina N. A., Lopatina M. V., Kostina Y. V. (2018) Russian Youth Physical Activity and Public Policy. *Public Administration Issues*. No. 2. P. 177—200. (In Russ.)

Хоркина Н. А. Формирование здорового образа жизни: опыт российских регионов // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 6. С. 50—56.

Khorkina N. A. (2012) Creation of the Healthy Lifestyle: the Experience of the Russian Regions. *Regional Economics: Theory and Practice*. No. 6. P. 50—56. (In Russ.)

Ajzen I. (1985) From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In: Kuhl J., Beckmann J. (eds) *Action Control. SSSP Springer Series in Social Psychology*. Springer, Berlin, Heidelberg. P. 11—39. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2.

Ajzen I. (1991) The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. No. 2. P. 179—211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).

Baumert P. W. Jr., Henderson J. M., Thompson N. J. (1998) Health Risk Behaviors of Adolescent Participants in Organized Sports. *Journal of Adolescent Health*. Vol. 22. No. 6. P. 460—465. [https://doi.org/10.1016/S1054-139X\(97\)00242-5](https://doi.org/10.1016/S1054-139X(97)00242-5).

Becker G. S., Grossman M., Murphy K. M. (1991) Rational Addiction and the Effect of Price on Consumption. *The American Economic Review*. Vol. 81. No. 2. P. 237—241.

Buscemi J., Martens M. P., Murphy J. G., Yurasek A. M., Smith A. E. (2011) Moderators of the Relationship Between Physical Activity and Alcohol Consumption in College Students. *Journal of American College Health*. Vol. 59. No. 6. P. 503—509. <https://doi.org/10.1080/07448481.2010.518326>.

Castrucci B. C., Gerlach K. K., Kaufman N. J., Orleans C. T. (2004) Tobacco Use and Cessation Behavior among Adolescents Participating in Organized Sports. *American Journal of Health Behavior*. Vol. 28. No. 1. P. 63—71. <https://doi.org/10.5993/AJHB.28.1.7>.

Cutler D., Lleras-Muney A. (2010) Understanding Differences in Health Behaviors by Education. *Journal of Health Economics*. Vol. 29. No. 1. P. 1—28. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2009.10.003>.

Choi S. E. (2016) Are lower income smokers more price sensitive? The Evidence from Korean Cigarette Tax Increases. *Tobacco Control*. Vol. 25. No. 2. P. 141—146. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-051680>.

Davies J. D., Foxall G. R. (2011) Involvement in Sport and Intention to Consume Alcohol: An Exploratory Study of UK Adolescents. *Journal of Applied Social Psychology*. Vol. 41. No. 9. P. 2284—2311. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2011.00806.x>.

Dunn M. S. (2014) Association between Physical Activity and Substance Use Behaviors among High School Students Participating in the 2009 Youth Risk Behavior Survey. *Psychological Reports*. Vol. 114. No. 3. P. 675—685. <https://doi.org/10.2466/18.06.PR0.114k28w7>.

Dunn M. S., Wang M. Q. (2003) Effects of Physical Activity on Substance Use Among College Students. *American Journal of Health Studies*. Vol. 18. No. 2. P. 126—132.

Dunn M. S. (2005). The Relationship between Religiosity, Employment, and Political Beliefs on Substance Use among High School Seniors. *Journal of Alcohol and Drug Education* Vol. 49. No. 1. P. 73—88.

Elder C., Leaver-Dunn D., Wang M. Q., Nagy S., Green L. (2000) Organized Group Activity as a Protective Factor Against Adolescent Substance Use. *American Journal of Health Behavior*. Vol. 24. No. 2. P. 108—113. <https://doi.org/10.5993/AJHB.24.2.3>.

French M., Popovici I., Maclean J. (2009) Do Alcohol Consumers Exercise More? Findings from a National Survey. *American Journal of Health Promotion*. Vol. 24. No. 1. P. 2—10. <https://doi.org/10.4278/ajhp.0801104>.

Fulkerson J. A., French S. A. (2003) Cigarette Smoking for Weight Loss or Control among Adolescents: Gender and Racial/Ethnic Differences. *Journal of Adolescent Health*. Vol. 32. No.4. P. 306—313. [https://doi.org/10.1016/s1054-139x\(02\)00566-9](https://doi.org/10.1016/s1054-139x(02)00566-9).

Halldorsson V., Thorlindsson T., Sigfusdottir I. D. (2014) Adolescent Sport Participation and Alcohol Use: The Importance of Sport Organization and the Wider Social Context.

International Review for the Sociology of Sport. Vol. 49. No. 3—4. P. 311—330. <https://doi.org/10.1177/1012690213507718>.

Hellandsjø Bu E. T., Watten R. G., Foxcroft D. R., Ingebrigtsen J. E., Relling G. (2002) Teenage Alcohol and Intoxication Debut: the Impact of Family Socialization Factors, Living Area, and Participation in Organized Sports. *Alcohol and Alcoholism*. Vol. 37. No. 1. P. 74—80. <https://doi.org/10.1093/alcalc/37.1.74>.

Higgins J. W., Gaul C., Gibbons S. et al. (2003) Factors Influencing Physical Activity Levels Among Canadian Youth *Canadian Journal of Public Health*. Vol. 94. No. 1. P. 45—51. <https://doi.org/10.1007/BF03405052>.

Hockenberry J., Timmons E., Vander Weg M. (2011) Adolescent Mental Health as a Risk Factor for Adolescent Smoking Onset. *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics*. Vol. 2. P. 27—35. <https://doi.org/10.2147/AHMT.S11573>.

Ho M. G., Ma S., Chai W., Xia W., Yang G., Novotny T. E. (2010) Smoking Among Rural and Urban Young Women in China. *Tobacco control*, Vol. 19. No. 1. P. 13—18. <http://doi.org/10.1136/tc.2009.030981>.

Kolosnitsyna M. G., Khorkina N. A., Lopatina M. V. (2020) Factors Affecting Youth Physical Activities: Evidence from Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 578—601. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.1578>.

Livingston M., Room R. (2009) Variations by Age and Sex in Alcohol-Related Problematic Behavior per Drinking Volume and Heavier Drinking Occasion. *Drug and Alcohol Dependence*. Vol. 101. No. 3. P. 169—175. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2008.12.014>.

Liu K., Daviglius M. L., Loria C. M., Colangelo L. A., Spring B., Molle A. C., Lloyd-Jones D. M. (2012) Healthy Lifestyle through Young Adulthood and the Presence of Low Cardiovascular Disease Risk Profile in Middle Age: the Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults (CARDIA) study. *Circulation*. Vol. 125. No. 8. P. 996—1004. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.060681>.

Mays D., Thompson N. J. (2009) Alcohol-Related Risk Behaviors and Sports Participation among Adolescents: An Analysis of 2005 Youth Risk Behavior Survey Data. *Journal of Adolescent Health*. Vol. 44. No. 1. P. 87—89. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.06.011>.

McDaid D., Oliver F., Merkur Sh. (2014) What do We Know about the Strengths and Weakness of Different Policy Mechanisms to Influence Health Behaviour in the Population? *World Health Organization. Regional Office for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies*. URL: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/151958> (accessed: 10.01.2021).

Melnick M. J., Miller K. E., Sabo D. F., Farrell M. P., Barnes G. M. (2001) Tobacco Use among High School Athletes and Nonathletes: Results of the 1997 Youth Risk Behavior Survey. *Adolescence*. Vol. 36. No. 144. P. 727—747.

Mewton L., Lees B., Rao R. (2020) Lifetime Perspective on Alcohol and Brain Health. *BMJ*. Vol. 371: m4691. <https://doi.org/10.1136/bmj.m4691>.

Molarius A, Seidell J. C, Kuulasmaa K., Dobson A. J., Sans S. (1997) Smoking and Relative Body Weight: an International Perspective from the WHO MONICA Project. *Journal of Epidemiology & Community Health*. Vol. 51. No. 3. P. 252—260. <http://dx.doi.org/10.1136/jech.51.3.252>.

Myers M. G., Kelly J. F. (2006). Cigarette Smoking Among Adolescents with Alcohol and Other Drug Use Problems. *Alcohol Research & Health*. Vol. 29. No. 3. P. 221—227.

Pedrelli P., Shapero B., Archibald A., Dale Ch. (2016) Alcohol use and Depression During Adolescence and Young Adulthood: a Summary and Interpretation of Mixed Findings. *Current Addiction Reports*. Vol. 3, No. 1. P. 91—97. <https://doi.org/10.1007/s40429-016-0084-0>.

Sawyer S. M., Afifi R. A., Bearinger L. H., Blakemore S. J., Dick B., Ezeh A. C., Patton G. C. (2012) Adolescence: A Foundation for Future Health. *Lancet*. 2012. Vol. 379. No. 9826. P. 1630—1640. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60072-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60072-5).

Seo D. C., Torabi M. R., Chin M. K., Lee C. G., Kim N., Huang S. F., Chen C. K., Mok M. M. C., Wong P., Chia M., Park B. H. (2014) Physical Activity, Body Mass Index, Alcohol Consumption and Cigarette Smoking among East Asian College Students. *Health Education Journal*. Vol. 73. No. 4. P. 453—465. <https://doi.org/10.1177/0017896913485744>.

Shimokata H., Muller D. C., Andres R. (1989) Studies in the Distribution of Body Fat. III. Effects of Cigarette Smoking. *JAMA*. Vol. 261. No. 8. P. 1169—1173. <https://doi.org/10.1001/jama.1989.03420080089037>.

Thorlindsson T., Vilhjalmsson R. (1991) Factors Related to Cigarette Smoking and Alcohol Use among Adolescent. *Adolescence*. Vol. 26. No. 102. P. 399—418.

Tran A., Jiang H., Lange S., Livingston M., Manthey J., Neufeld M., Room R., Štelemėkas M., Telksnys T., Petkevičienė J., Radišauskas R., Rehm J. (2021) The Impact of Increasing the Minimum Legal Drinking Age to 20 Years in Lithuania on All-cause Mortality — an Interrupted Time-series Analysis. *medRxiv2021.04.07.21255080*. <https://doi.org/10.1101/2021.04.07.21255080>.

Verkooijen K. T, Nielsen G. A., Kremers S. P. (2008) The Association between Leisure Time Physical Activity and Smoking in Adolescence: an Examination of Potential Mediating and Moderating Factors. *International Journal of Behavioral Medicine*. Vol. 15. No. 2. P. 157—163. <https://doi.org/10.1080/10705500801929833>.

Weitzman E. R, Chen Y., Subramanian S. V. (2005) Youth Smoking Risk and Community Patterns of Alcohol Availability and Control: A National Multilevel Study. *Journal of Epidemiology & Community Health*. Vol. 59. P. 1065—1071. <http://doi.org/10.1136/jech.2005.033183>.

WHO (2010a) Healthy Workplaces: A Model for Action: for Employers, Workers, Policymakers and Practitioners. Geneva: World Health Organization. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789289103267>.

[who.int/occupational_health/publications/healthy_workplaces_model.pdf?ua=1](https://www.who.int/occupational_health/publications/healthy_workplaces_model.pdf?ua=1)
(accessed: 12.06.2021).

WHO (2010b) Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: *World Health Organization*. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979> (accessed: 10.01.2021).

WHO (2018) Global Status Report on Alcohol and Health 2018. Geneva: *World Health Organization*. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639> (accessed: 10.01.2021).

Приложение 1. Описательные статистики для переменных из регрессионных моделей потребления алкоголя

Переменная	Число наблюдений	Среднее значение	Стандартное отклонение	Min	Max
Занятия физической активностью (1 — да, 0 — нет)	8114	0,42	0,5	0	1
Интенсивность занятий физической активностью (часы в месяц)	3434	22,5	23,2	0,33	264
Потребление алкоголя (1 — да, 0 — нет)	8114	0,35	0,48	0	1
Потребление алкоголя среди потреблявших его в последние 30 дней (1 — да, 0 — нет)	4565	0,62	0,49	0	1
Пол (1 — женский, 0 — мужской)	8114	0,4	0,5	0	1
Возраст (полных лет)	8114	21,19	2,02	18	24
Место проживания (1 — столицы (Москва и Санкт-Петербург), 2 — региональный центр (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 3 — город (кроме столиц и регионального центра), 4 — село)	8114	2,74	1,01	1	4
Состояние здоровья (1 — совсем плохое или плохое, 2 — среднее, не хорошее, но и не плохое, 3 — очень хорошее или хорошее)	8114	2,67	0,5	1	3
Регулярность питания (1 — скорее нет или нет, 2 — скорее да, чем нет, 3 — да)	8114	2,18	0,84	1	3
Образование (1 — без аттестата о среднем образовании, 2 — оконченное среднее или среднее профессиональное образование, 3 — законченный техникум или неоконченное высшее образование, 4 — оконченное высшее образование (в том числе научная степень))	8114	2,44	0,94	1	4
Статус занятости (1 — работает, 0 — нет)	8114	0,47	0,5	0	1
Среднедушевой доход домохозяйства, индексированный к 2013 году согласно ИПЦ* (логарифм)	8114	9,35	0,61	6,03	12,42
Семейный статус (1 — состоит в браке (зарегистрированном или гражданском), 0 — нет)	8114	0,3	0,46	0	1
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на алкоголь, приведенный к 2013 году*	—	1,33	0,24	1	1,6

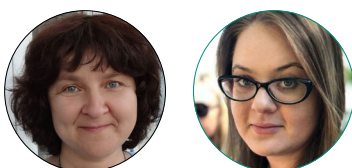
*Рассчитано авторами по данным Росстата: <https://rosstat.gov.ru/price>.

Приложение 2. Описательные статистики переменных из регрессионных моделей потребления табачной продукции

Переменная	Число наблюдений	Среднее значение	Стандартное отклонение	Min	Max
Занятия физической активностью (1 — да, 0 — нет)	8102	0,42	0,5	0	1
Интенсивность занятий физической активностью (часы в месяц)	3434	22,47	23,2	0,33	264
Курение (1 — да, 0 — нет)	8102	0,25	0,44	0	1
Пол (1 — женский, 0 — мужской)	8102	0,48	0,5	0	1
Возраст (полных лет)	8102	21,16	2,02	18	24
Место проживания (1 — столицы (Москва и Санкт-Петербург), 2 — региональный центр (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 3 — город (кроме столиц и регионального центра), 4 — село)	8102	2,74	1	1	4
Состояние здоровья (1 — совсем плохое или плохое, 2 — среднее, не хорошее, но и не плохое, 3 — очень хорошее или хорошее)	8102	2,67	0,5	1	3
Регулярность питания (1 — скорее нет или нет, 2 — скорее да, чем нет, 3 — да)	8102	2,18	0,83	1	3
Уровень образования (1 — без аттестата о среднем образовании, 2 — оконченное среднее или среднее профессиональное образование, 3 — законченный техникум или неоконченное высшее образование, 4 — оконченное высшее образование (в том числе научная степень))	8102	2,44	0,94	1	4
Статус занятости (1 — есть работа, 0 — нет)	8102	0,47	0,5	0	1
Среднедушевой доход домохозяйства, индексированный к 2013 году согласно ИПЦ* (логарифм)	8102	9,35	0,61	6,03	12,42
Семейный статус (1 — состоит в браке (зарегистрированном или гражданском), 0 — нет)	8102	0,47	0,5	0	1
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на табачные изделия, приведенный к 2013 году*	—	1,63	0,45	1	2,27

*Рассчитано авторами по данным Росстата: <https://rosstat.gov.ru/price>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1869](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1869)



Я. М. Рощина, Е. Д. Куфлина

ТИПЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА РОССИЯН И ИХ ДЕТЕРМИНАНТЫ

Правильная ссылка на статью:

Рощина Я. М., Куфлина Е. Д. Типы социального капитала россиян и их детерминанты // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 307—327. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1869>.

For citation:

Roshchina Y. M., Kuflina E. D. (2022) Types and Determinants of the Russians' Social Capital. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 307–327. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1869>. (In Russ.)

ТИПЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА РОССИЯН И ИХ ДЕТЕРМИНАНТЫ

РОЩИНА Яна Михайловна — кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Центр Лонгитюдных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: yroshchina@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-7479-4681>

КУФЛИНА Екатерина Дмитриевна — начальник отдела исследований промышленных товаров, GFK Rus, Москва, Россия
E-MAIL: katekuf@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Аннотация. Несмотря на растущий интерес к изучению социального капитала в России и за рубежом, подходы к его измерению до сих пор вызывают споры. Наиболее сложной выглядит задача построения обобщенных показателей, отражающих объем социального капитала в целом и его отдельных видов. В то же время для оценки отдачи от социального капитала необходимо уметь корректно его измерять. Целью исследования является разработка методологии измерения различных видов социального капитала индивида, а также ее применение для анализа дифференциации социального капитала россиян и ее факторов. Мы используем данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2016 г., так как в анкету этой волны был добавлен блок вопросов о включенности индивида в социальные сети. Факторный анализ выделил пять латентных переменных, соответствующих разным видам социального капитала: 1) емкость онлайн-сети, 2) возможность опереться на помощь со стороны, 3) плотность

TYPES AND DETERMINANTS OF THE RUSSIANS' SOCIAL CAPITAL

Yana M. ROSHCHINA¹ — Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Leading Researcher, Centre for Longitudinal Studies
E-MAIL: yroshchina@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-7479-4681>

Ekaterina D. KUFLINA² — Head of the Department of Industrial Goods Research
E-MAIL: katekuf@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

¹ HSE University, Moscow, Russia

² GFK Rus, Moscow, Russia

Abstract. Despite the growing interest in the study of social capital in Russia and abroad, approaches to its measurement are still cause controversial. The task of constructing the generalized indicators that measure the volume of the social capital in general or its different types looks the most difficult. At the same time, to estimate the return on social capital, it is necessary to measure it correctly. The aim of this research is to develop a methodology for measuring various types of individual social capital, as well as its application to analyze the differentiation of the social capital of Russians and its factors. The authors use data of the Russia Longitudinal Monitoring Survey of the HSE University (RLMS HSE) for 2016, since a block of questions about the individual's involvement in social networks was added to the questionnaire of this wave. Factor analysis identified five latent variables corresponding to different types of social capital: 1) the capacity of online network, 2) the ability to rely on the outside help,

общения с друзьями, 4) включенность в жизнь церкви и 5) плотность общения с родственниками, живущими отдельно. К «закрытому» социальному капиталу можно отнести третий и пятый виды, а к «открытому» — первый. Четвертый вид может интерпретироваться как «скрепляющий» СК, а второй — как «потенциальные» социальные ресурсы. Полученные переменные использовались в качестве зависимых в регрессионных моделях. Анализ показал, что пол, возраст, образование, место жительства и рождения, семейное положение, наличие детей, религиозность и конфессия имеют значимый эффект, сила и направленность которого различаются для отдельных видов социального капитала. Методом кластерного анализа была построена типология социального капитала, охватывающая четыре класса респондентов: 1) низкий уровень всех видов социального капитала; 2) высокий уровень открытого и умеренный уровень связывающего социального капитала; 3) высокий уровень скрепляющего социального капитала; 4) высокий уровень открытого и связывающего социального капитала.

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, социальные сети, закрытый социальный капитал, открытый социальный капитал, скрепляющий социальный капитал

Благодарность. Исследование выполнено при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, проект «Мониторинг социально-экономического положения российских домохозяйств и поведение россиян в условиях развития цифрового общества».

3) the density of communication with friends, 4) involvement in church activity, and 5) the density of communication with relatives, living separately. The third and fifth of the mentioned types might be attributed to “bonding” social capital, and the first one — to “bridging” capital. The second type represents the “potential” social capital. The fourth type can be attributed to the “binding” social capital. The resulting variables were used as dependent variables in regression models. The analysis showed that gender, age, education, place of residence and birth, marital status, presence of children, religiosity, and confession have significant effect in the models. The strength and direction of these effects differ for certain types of the social capital. Using the cluster analysis method, the authors built a typology of social capital, covering four classes of respondents, namely those characterized by: 1) a low level of all types of the social capital; 2) high level of bridging and the moderate level of the bonding social capitals; 3) a high level of the binding social capital; 4) high level of the bonding and bridging social capitals.

Keywords: social capital, trust, types of the social capital, social networks, bonding social capital, bridging social capital, binding social capital

Acknowledgments. The research leading to these results has received funding from the Basic Research Program at the HSE University, Project “Monitoring socio-economic behavior of Russian households and population in the developing digital society”.

Введение

В последние годы социальный капитал (далее — СК) как теоретический конструкт и объект для исследований представляет собой одно из самых востребованных направлений в социологии, это подтверждается большим количеством публикаций. Подобный интерес к данному концепту может быть объяснен существенным потенциалом объяснительной силы и возможностей для его анализа. Так как мы говорим о капитале, ресурсе, то можем ожидать, что обладание им повышает шансы на более высокие доходы, возможности трудоустройства, принятие эффективных решений, занятие высокой должности, субъективный социальный статус, что было подтверждено в ряде исследований [Behtoui, 2007; Boase et al., 2006; Lancee, 2012; Leeves, 2014; Salnikova, 2019].

Слабым местом в эмпирических исследованиях социального капитала является методическая составляющая, иными словами — способы и возможности измерения социального капитала. Наиболее сложной выглядит задача построения обобщенных показателей, измеряющих объем социального капитала в целом либо отдельных его видов. Кроме того, сравнительно редко предпринимались попытки выявить факторы дифференциации социального капитала индивидов, особенно в России, что позволило бы лучше понимать различия в структуре имеющихся ресурсов. Данная работа призвана восполнить, хотя бы частично, этот пробел.

Понятие социального капитала и его виды

Экономисты уже давно расширили понятие капитала, связывая его не только с материальными носителями (земля, деньги, предприятия и т. д.), но и с индивидами (человеческий капитал, капитал здоровья и т. д.), а социологи предложили такие его виды, как культурный, символический и социальный капитал. Н. Лин определяет СК как «ресурсы, укорененные в социальные сети», через которые этот капитал можно мобилизовать [Lin, 2008]. Особенностью социального капитала является его воплощение в отдельных людях и их отношениях [Радаев, 2002]. Обзору различных определений социального капитала и его видов посвящено немало исследований (см., например, [Аксотак, 2009; Paldam, 2000; Демкив, 2004] и другие). Так как нас интересует СК индивидов (а не сообществ и социальных групп), мы сфокусируемся на методах его измерения на микроуровне.

Многие исследователи придерживаются концепции СК как общественного блага, в которое люди могут делать инвестиции и получать отдачу [Coleman, 1988; Бурдые, 2002; Baker, 1990; Lin, 1999; Portes, 1998]. На микроуровне он является специфическим ресурсом, связанным с включенностью индивида в социальные сети, которые лишь дают возможность для его накопления. Хотя между исследователями существуют определенные разногласия в том, как измерять СК и какие характеристики в него включать, тем не менее можно выделить несколько его разновидностей, некоторые из которых мы будем использовать в нашем эмпирическом исследовании. Р. Патнэм выделил семь измерений СК: социальное доверие, политическое участие, гражданское участие, участие в религиозных организациях, коммуникации на рабочем месте, неформальные социальные связи, альтруизм (включающий филантропию и волонтерство) [Putnam, 2001]. Одной из наиболее популярных является идея разделения СК на «закрытый» (bonding), приносящий

выгоду группе в ущерб обществу, и «открытый, или возводящий мосты» (bridging), в который включаются связи, выгодные всему обществу [Putnam, 1995]. Близка к этой классификация социальных связей М. Грановеттера: сильные (с близкими друзьями и родственниками) и слабые (со знакомыми и т. д.) [Грановеттер, 2002]. Однако Н. Лин, вслед за другими исследователями, отмечает, что связывает и соединяет людей не СК, а социальные сети, при этом он предлагает разделять цели мобилизации СК на инструментальные (связанные с выгодой) и экспрессивные (связанные с чувством солидарности). Такая цель приводит к возникновению еще одного подвида закрытого СК — «скрепляющего» (binding) СК, с общими переживаниями и взаимной поддержкой [Lin, 2008].

Важной представляется также идея разделять СК на доступный (accessed), или потенциальный, который характеризуется объединением ресурсов в данной сети (то есть емкостью), и мобилизованный (mobilized), который уже был использован в конкретной ситуации (например, при поиске работы) [Lin, 2008; 2010].

Факторы, влияющие на объем СК индивидов

По какой причине разные люди обладают различным (по структуре и объему) социальным капиталом? Это связано с идеей о том, как делаются инвестиции в СК. Аналогично тому, как люди тратят время и деньги, чтобы накопить свой человеческий капитал путем получения образования, индивиды могут вкладываться в выстраивание социальных сетей вокруг себя, а также конвертировать другие виды капитала в СК. Кроме того, рост социального капитала может быть результатом положительного внешнего эффекта, например, от получения образования, занятости, проживания в районе с развитой местной общиной и т. д. Люди приобретают новые социальные онлайн-связи, вступая в брак, общаясь с родителями друзей своих детей. С развитием социальных сетей появилась возможность общаться и обмениваться мнением с большим количеством их участников, с кем индивид может быть даже не знаком лично. С другой стороны, с возрастом включенность человека в социальные связи может снижаться — как за счет его меньшей активности, так и за счет исчезновения из них его друзей. Нужно учитывать также то, что объем СК зависит не только от самого человека, но и от развития социальных институтов в его стране и на местном уровне. В различных исследованиях делались попытки выявить факторы, влияющие на СК как на макро-, так и на микроуровне.

В исследовании на макроуровне К. Бьорнсков на данных Всемирного исследования ценностей (WVS) строит индексы СК для отдельных стран (зависимая переменная), а в качестве детерминант в регрессии использует следующие макропеременные: неравенство в доходах, этническая гомогенность, религиозность и конфессия, посткоммунистические страны, ВВП, развитие демократических институтов, доля занятого населения в трудоспособном возрасте, логарифм численности населения, экономическая открытость (объем торговли в % от ВВП), монархия и др. [Bjørnskov, 2007]. Однако для нас более важны исследования на микроуровне.

В обзоре Дж. Бойсжоли и соавторов отмечено и теоретически обосновано влияние ряда факторов на доступ к социальному капиталу. Это такие детерминанты, как раса или этничность (афроамериканцы в США имели более низкий СК); рождение

в другом месте, чем место проживания (негативное влияние); структура семьи (одиноким матери имели ниже СК, семьи с маленькими детьми и с большим количеством детей — выше); семейный доход (однако он может быть скорее зависящим от СК); ограничения по здоровью (более высокий СК); пол и возраст (молодые чаще получают помощь, а пожилые — ее оказывают); статус занятости человека и главы семьи; кто глава семьи (женщины чаще получают поддержку, чем мужчины); географическая мобильность семьи (негативное влияние); проживание в бедном районе (позитивное или негативное влияние на разные виды СК) [Boisjoly, Duncan, Hofferth, 1995]. Основным методом анализа, как правило, является регрессионное моделирование. В связи с тем, что в разных исследованиях используются разные виды СК, далее мы выстроим логику изложения в соответствии с различными зависимыми переменными, которые были использованы в публикациях.

В регрессии на данных The Panel Study of Income Dynamics (PSID¹), единица — домохозяйство, в качестве зависимой переменной использовались потенциальные социальные ресурсы (возможность помощи временем и деньгами). В оценке модели выявлены позитивные значимые детерминанты: проживание в бедном районе; большой возраст главы семьи; доходы (в черных семьях); ограничения по здоровью у главы семьи (только на помощь от друзей); проживание семьи там, где вырос один из взрослых (только для белых семей). Незначимыми оказались переменные характеристики количества занятых и количества детей. Хотя непосредственное влияние расы не было обнаружено, исследовался перекрестный эффект расы, доходов и образования. Оказалось, что черные семьи с высшим образованием главы семьи в большей степени лишены помощи друзей, а белые — наоборот [Boisjoly, Duncan, Hofferth, 1995].

В исследовании Дж. Дуркина на данных General Social Survey (GSS²) тестировались регрессионные модели, где зависимыми переменными выступали возможности получения помощи в шести потенциальных случаях (помощь по дому, помощь при болезни, необходимость занять деньги, необходимость обсудить проблему в своих отношениях с партнером, в случае депрессии и при необходимости совета об изменениях в жизни) от членов семьи, друзей, соседей, коллег, людей, которым заплатили, или кого-то еще. В качестве независимых переменных были использованы обобщенное доверие и разные виды социальных связей (количество групп участия, друзей, родных, частота контактов и т. д.). Автор показал, что доверие и включенность в группы не объясняют различий в доступе к социальным ресурсам, а частота контакта с членами семьи и друзьями повышает вероятность доступа. В качестве контрольных переменных в моделях использовались пол, семейное положение, раса, доход, заработная плата, образование, опыт работы, конфессия, а также агрегированные характеристики округа: доля сельских жителей, доля черных, родившихся в этом месте, доля незанятых, а также численность населения в месте проживания и стоимость жилья [Durkin, 2000].

В ряде работ на микроуровне исследовались факторы, влияющие на доверие как вид СК. Р. Патнэм полагал, что существует эффект возраста, поскольку для

¹ The Panel Study of Income Dynamics. URL: <https://psidonline.isr.umich.edu/>.

² The General Social Survey. URL: <https://gss.norc.org/>.

молодых характерен более низкий уровень доверия. Важную роль в падении уровня СК в Америке он отводил увеличению времени просмотра телевизора [Putnam, 2001]. В исследовании Р. Костаса и М. Румелиоту на данных по одному из островов Греции в качестве факторов социального доверия рассматривались пол и возраст (влияние не обнаружено), уровень образования и доходов (позитивное влияние) [Kostas, Roumeliotou, 2009]. В исследовании Я. Рощиной на российской выборке были выявлены пять групп людей с разным уровнем доверия другим людям, государству и бизнесу. Между группами обнаружены значимые различия по полу, возрасту, доходу, месту жительства, занятости и национальности. В частности, высокий уровень межличностного и институционального доверия более характерен для людей старшего возраста, с низким образованием, проживающих в сельской местности. Было сделано заключение, что «доверие к бизнесу на фоне недоверия к государству выше у людей более высокого социального статуса (образования, доходов, занятости), более молодых и живущих в крупных городах. Прямо противоположное можно сказать о тех, кто доверяет государству и не доверяет бизнесу» [Рощина, 2014: 175].

Регрессионное многоуровневое моделирование на данных General Social Survey (GSS) в США с зависимой переменной — количество типов организаций, в которых участвует индивид (прокси для инвестиций в социальный капитал), выявило значимый фиксированный эффект таких дихотомических переменных на групповом уровне, как штат, округ, раса, религия, а также их перекрестные эффекты [Glaeser, Laibson, Sacerdote, 2002], однако их влияние недостаточно хорошо объясняло различия в социальном капитале (до 90 % индивидуальных вариаций в СК оставались необъясненными). С увеличением возраста СК сначала растет, а затем снижается. Обнаружено положительное влияние уровня образования и таких агрегированных переменных, как среднее количество контактов для места работы, среднее участие в группах среди коллег (peer group), логарифм дохода, раса (чернокожие), мужской пол.

Для зависимой переменной «ресурсы социальной сети», оцененной методом генерирования позиций в Швеции, А. Бехтуи выявил следующие позитивно влияющие факторы: высшее образование, опыт работы, наличие супруга (супруги), участие в добровольных организациях. Негативное влияние было обнаружено для места рождения, отличного от места жительства. Пол, наличие детей до 18 лет и участие в профсоюзах оказались незначимы [Behtoui, 2007].

Чанг Сундул, Цой Хеджи и Ли София Сынюн на данных для Кореи измеряли разные показатели СК: частоту участия в различных совместных событиях на микро- и макроуровнях, доверие, а также участие в социальных сетях. Их анализ показал, что в социальное участие меньше вовлечены женщины, люди с низким уровнем образования и низким доходом [Chung, Choi, Lee, 2014].

В связи с распространением интернета и социальных сетей в ряде работ тестировалось влияние и этих параметров. Д. Уильямс показал, что время, проведенное в интернете, отрицательно влияет на офлайн-закрытый и открытый СК, а на оба виде онлайн-закрытый — положительно [Williams, 2007]. В то же время в исследовании Б. Невес использование интернета оказывало позитивный эффект на СК офлайн и никак не влияло на СК онлайн. Это может объясняться гибкостью

границ между этими видами капитала [Neves, 2012]. Закрытый и скрепляющий СК также оказались положительно зависящим от использования социальной сети Facebook [Ellison, Steinfield, Lampe, 2007; Steinfield, Ellison, Lampe, 2008; Ellison et al., 2010; Brandtzaeg et al., 2010].

На российских данных были реализованы несколько исследований, посвященных измерению и динамике СК [Алмакаева, Волченко, 2018; Лебедева, Татарко, 2010], а также оценка объема СК различных групп населения [Красилова, 2007]. Однако насколько нам известно, детерминанты СК на основе регрессионного анализа выявлялись только для его отдельных видов, в частности доверия [Натхов, 2011 и др.].

Цель исследования и гипотезы

Целью настоящего исследования является разработка методологии измерения различных видов социального капитала индивида (обобщенных индексов), а также использование этой методологии для оценки дифференциации СК россиян и ее факторов.

В работе проверяются следующие гипотезы:

1) Индивиды облают несколькими видами СК, объемы которых не зависят друг от друга.

2) Существует несколько групп респондентов, различающихся между собой различной структурой (объемом разных видов) СК.

3) Значимыми детерминантами объема СК являются пол, возраст, образование, место жительства и место рождения, семейное положение, наличие детей и их возраст, здоровье, религиозность и конфессия, однако их влияние на объем разных видов СК будет различным.

Эмпирическая база

Мы измеряем различные аспекты социального капитала на основании данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики (РМЭЗ НИУ ВШЭ)³. Некоторые вопросы, связанные с социальным капиталом индивида (типы социальных онлайн-сетей, частота посещения церковных мероприятий⁴, а также вопрос о доверии и наличии чувства одиночества⁵) были частью анкеты в течение ряда лет. Однако мы использовали данные только за 2016 г., так как в инструмент этой волны входил специальный блок вопросов⁶, измеряющих включенность индивида в социальные сети: онлайн-овые и офлайн-овые социальные сети (частота и плотность), социальные ресурсы (возможность помощи, измеренная методом сходным с «генератором ресурсов»).

³ Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (сайты обследования RLMS-HSE: <http://www.cpc.unc.edu/projects/rllms> и <http://www.hse.ru/rllms>).

⁴ Разработанные при участии Я. М. Рощиной.

⁵ Разработаны П. Козыревой и М. Косолаповым.

⁶ Разработанный Я. Рощиной при участии П. Козыревой и М. Косолапова.

Важно указать и на ограничения настоящего исследования. Поскольку в данных 2016 г. отсутствовал ряд вопросов (об общении членов семьи; о членстве в различных НКО, волонтерстве и благотворительности, доверии политическим институтам, гражданской активности и др.), мы можем проанализировать лишь некоторые виды социального капитала. В частности, в фокусе нашего исследования будет потенциальный СК, но не мобилизованный. Однако, как и Н. Лин, мы предполагаем, что характеристики социальной сети (в частности, широта и теснота связей) коррелируют с возможностью мобилизовать ресурсы в случае необходимости [Lin, 2008].

Методы анализа данных

Индексы измерения СК

На основе вопросов анкеты мы выбрали 17 переменных, измеряющих разные аспекты социального капитала (см. табл. 1 в приложении⁷): количество посещаемых социальных сетей; длительность пользования социальной сетью; частота посещения социальной сети (которой пользуются чаще всего); количество друзей в социальных сетях; мнение, что большинству людей можно доверять; наличие чувства одиночества (дихотомическая); наличие родственников, живущих отдельно (дихотомическая); частота общения с родственниками, живущими отдельно; количество близких друзей; частота общения с друзьями; частота посещения религиозных мероприятий; мнение, что религия дает дружбу, поддержку других верующих (дихотомическая); возможности помощи от родственников, друзей; возможности помощи от соседей, знакомых; возможности помощи от коллег; возможности помощи от соцсетей; возможности помощи от организаций и других людей. Для вопросов о возможности помощи от разных элементов социальной сети положительные ответы (при проблемах со здоровьем, совет в сложной жизненной ситуации, занять небольшую сумму денег) были суммированы и нормированы к шкале от 0 до 1.

Для построения обобщенных индексов СК на этих переменных была реализована модель факторного анализа с вращением Варимакс, позволившая выделить пять латентных факторов, которые могут быть интерпретированы как разные виды социального капитала.

Типология структуры СК

Типология построена методом двухэтапного кластерного анализа на тех же исходных переменных. Для измерения расстояния использовался метод максимального правдоподобия, для критерия кластеризации — Байесовский критерий Шварца.

Факторы дифференциации СК

Полученные в результате факторного анализа количественные переменные, измеряющие разные виды СК, были использованы как зависимые переменные в регрессионных моделях. В качестве независимых применялись следующие пере-

⁷ Приложение к статье доступно по адресу: <https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=10347&hash=16491fa529b9c730bfcd9b19af42e583>.

менные: пол, возраст, здоровье, образование, занятость, семейное положение, наличие детей до 18 лет, число человек в семье, религиозность и конфессия, национальность, родился ли респондент в данном населенном пункте, использование интернета, наличие в семье людей с ограниченными возможностями (инвалидов), уровень урбанизации (логарифм численности населения), уровень доходов региона (средние значения приведены в табл. 8 приложения). Мы сознательно не включали переменные индивидуального или семейного дохода, так как понятие «капитал» предполагает экономическую отдачу, а не влияние материального положения.

Результаты эмпирического анализа

*Социальные онлайн-сети*⁸

Включенность в социальные сети — один из важнейших показателей СК. В современном обществе поле взаимодействия между людьми разделено на две части — «офлайн» и «онлайн», и каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Начиная с 2012 г. в исследовании РМЭЗ НИУ ВШЭ задаются вопросы об использовании интернета за 12 месяцев, а также о включенности респондента в социальные онлайн-сети. Доля пользователей сетей среди населения России в возрасте 14+ за 2012—2016 гг. выросла с 38% до 50%, при этом в 2016 г. среди них почти три четверти пользовались «ВКонтакте», более двух третей — «Одноклассниками», 16% — Facebook (то есть люди пользуются несколькими сетями). Популярные в свое время LiveJournal и Twitter практически потеряли свое влияние. Выше всего охват социальными сетями среди группы 14—25 лет — 81%, чуть ниже в возрасте 26—40 лет — 70%. Более склонны к общению в сетях горожане, женщины и люди с высшим образованием. Только 4% посещают социальные сети менее года, чуть менее половины — от двух до пяти лет, треть — в течение шести-девяти лет. Большинство (65%) посещают их почти каждый день, и еще четверть — один-два раза в неделю. По количеству друзей (не считая подписчиков) распределение довольно равномерное: 15% имеют менее 10, столько же — 11—20, примерно пятая часть в каждой категории — по 21—50, 51—100, или 101—200 друзей. Более 200 друзей имеют примерно 11% пользователей. При этом количество друзей уменьшается с возрастом.

Доверие как измерение социального капитала

В РМЭЗ НИУ ВШЭ для измерения обобщенного доверия используется вопрос: «Считаете ли Вы, что... 1) Большинству людей можно доверять 2) Или что в отношениях с людьми всегда надо быть осторожным 3) И то, и другое, в зависимости от человека, условий?» В течение 2012—2016 гг. этот уровень остается примерно одинаковым (выбравших первый вариант — от 16% до 18%, второй — от 46% до 42%), но в 2016 г. немного снизилась доля тех, кто выбрал второй вариант, по сравнению с 2012 г. (за счет увеличения доли считающих доверие зависящим от контекста). Меньше доверяют окружающим сельские жители, женщины, люди старшего возраста, более образованные.

⁸ Подробнее описательную статистику переменных можно найти в работе [Куфлина, Рощина, 2018].

Религиозная вовлеченность как вид социального капитала

Помимо социальных онлайн-сетей, важной формой поддержки и участия могут быть сообщества единомышленников, в частности верующих. В РМЭЗ НИУ ВШЭ в 2016 г. были добавлены вопросы о частоте посещения религиозных мероприятий и ощущении поддержки от других верующих. Среди всех опрошенных от 14 лет только 6 % ходят в церковь несколько раз в месяц, еще 36 % — раз в месяц и реже, а 32 % — не чаще одного раза в год (верующими себя считают 74 % всех опрошенных). Предположительно, включенными в социальные сети единоверцев можно считать только первую группу, то есть примерно каждого двадцатого. Вероятность посещения религиозных мероприятий несколько раз в месяц выше среди людей старшего возраста, женщин и сельских жителей. Среди верующих на вопрос «Могли бы Вы сказать, что религия дает Вам дружбу, поддержку других верующих?» дали положительный ответ менее трети, но их доля выше среди женщин, людей старше 60 лет и горожан.

Общение с друзьями и родственниками

В 2016 г. РМЭЗ НИУ ВШЭ содержал вопросы о частоте и плотности контактов с друзьями и родственниками, а также о возможностях при необходимости получить помощь в трудной ситуации (купить лекарство в случае болезни, дать совет, одолжить денег). У 98 % респондентов есть родственники, живущие отдельно, и 29 % опрошенных общаются с ними практически каждый день (включая встречи, переписку по электронной почте, разговоры по телефону или Skype). Такая же доля опрошенных сообщили об общении раз в неделю, примерно четверть — несколько раз в месяц, остальные — еще реже. Чаще вступают в контакты с родственниками женщины, люди с высшим образованием, горожане. У каждого пятого респондента нет близких друзей, у каждого третьего — один или два близких друга. От трех до пяти друзей имеют 20 %, от шести до девяти — 4,2 %, десять и больше — 9,1 %, а 6 % затруднились назвать количество. Распределение по частоте общения близко к общению с родственниками, но несколько ниже доля общающихся почти каждый день (напомним, что речь идет в том числе и о дистанционном общении). Больше друзей и частота общения с ними у молодежи. Чувство одиночества может также выступать косвенным показателем низкого уровня СК. Половина респондентов заявили, что никогда не чувствуют себя одинокими, а еще треть — что редко. Часто или всегда испытывают чувство одиночества 12 %. Эта доля выше среди пожилых и женщин, а также людей с высшим образованием.

Потенциальные социальные ресурсы

Потенциальные социальные ресурсы — важная составляющая социального капитала [Saraceno, Olagnero, Torrioni, 2005; Красилова, 2007]. В РМЭЗ НИУ ВШЭ мы спрашивали, от кого респонденты могли бы получить помощь при проблемах со здоровьем (купить лекарство и т. д.), совет в сложной жизненной ситуации и занять небольшую сумму денег. Почти никто из опрошенных (1 %) не сказал, что ни у кого бы не мог получить такую поддержку, но немалая доля ответили, что в случае сложностей опирались бы лишь на собственные силы: в первом случае (здоровье) — 2 %, во втором (совет) — 3,7 %, в третьем (финансы) — 10,5 %. Больше

всего в таких случаях люди готовы рассчитывать на семейные связи, и в меньшей степени — на дружеские. Так, в случае необходимости купить лекарство 84 % обратились бы к родственникам в своем домохозяйстве, 72 % — к родственникам, живущим отдельно, 56 % — к друзьям. При потребности в совете соответствующие цифры составили 78 %, 75 % и 64 %, а при нужде в деньгах — 61 %, 66 % и 51 %. На сетевую поддержку онлайн готова опираться в основном молодежь, но все равно в меньшей степени, чем на близких родственников и друзей. Возрастные группы 26—40 и 41—60 лет скорее рассчитывают на друзей, а также знакомых и коллег. А вот люди пенсионного возраста скорее могут просить помощи от родственников, живущих отдельно. Среди них также выше, чем в других группах, доля тех, кто сказал, что мог бы опираться на помощь соседей, церкви и общественных организаций. В целом можно отметить, что потенциальные социальные ресурсы выше у тех, кому 26—40 лет, и у людей с высшим образованием.

Измерение объема разных видов социального капитала

Задача измерения общего объема социального капитала индивида выглядит гораздо более сложной, чем человеческого капитала, который обычно косвенно оценивается на основе данных об уровне образования и опыта работы. Во-первых, теоретики признают наличие нескольких видов социального капитала, поэтому у разных людей может быть разное их соотношение, то есть структура личного СК. Во-вторых, даже измерение отдельного вида СК сопряжено с трудностями в том случае, если респонденту задается несколько вопросов с целью построить какой-либо обобщенный показатель, поскольку можно использовать разные методики. В-третьих, используемые показатели скорее говорят о характеристиках сети и о потенциальном СК, а не о мобилизованном СК. На основе имеющихся в РМЭЗ НИУ ВШЭ вопросов мы отберем 17 вопросов, описанных выше (см. табл. 1 в приложении). Для построения обобщенных индексов СК была реализована модель факторного анализа, позволившая выделить пять латентных факторов, объясняющих 53 % дисперсии. Они могут быть интерпретированы как разные виды социального капитала: емкость онлайн-сети, потенциальные социальные ресурсы (возможная поддержка), плотность общения с друзьями, включенность в жизнь церкви и плотность общения с родственниками, живущими отдельно (см. табл. 2 в приложении).

Таким образом, мы получили два вида не коррелирующих между собой «сильных связей» (общение с друзьями и общение с родственниками, живущими отдельно), которые служат индикаторами «закрытого» (bonding) СК. К скорее «слабым» связям можно отнести прежде всего онлайн-соцсети (включающие обычно как сильные, так и слабые связи, однако в случае широкой сети вторых, как правило, больше), которым соответствует потенциальный «открытый» (bridging) СК. Что касается включенности в жизнь церкви, то в исследованиях этот аспект чаще относят к закрытому, или даже «скрепляющему» (binding) СК, так как в церкви люди обычно находят не столько инструментальную (то есть связанную с выгодой), сколько экспрессивную (то есть связанную с чувством солидарности) поддержку [Lin, 2008]. Наконец, потенциальные социальные ресурсы — стоящее особняком измерение, которое показывает возможности поддержки как на основе сильных

связей (друзья и родственники), так и слабых (коллеги и онлайн-сети). Однако это измерение СК является наиболее важным, так как показывает не просто характеристики сетей, но и возможности мобилизации ресурсов в случае необходимости [Lin, 2008].

Типы структуры СК

На основе двухэтапного кластерного анализа для исходных переменных было выделено четыре группы людей, различающихся структурой социального капитала (см. табл. 3 в приложении). Для полученных кластеров мы рассчитали средние значения выделенных ранее факторов, которые можно интерпретировать как разные виды СК (см. табл. 4 в приложении), и рассмотрели различия в некоторых социально-демографических характеристиках (см. табл. 5 в приложении).

Первый тип (37 % выборки) обладает самым низким уровнем всех видов СК. Входящие в него люди практически не включены в онлайн-сети, у них мало близких друзей, они неверующие или редко посещают церковь, 46,8 % считают, что в отношениях с людьми надо быть осторожными. В этой группе выше всего доля людей старше 60 лет (35,7 %) и ниже всего доля людей с высшим образованием (22,2 %), более трети проживают в сельской местности.

Второй тип (27 % выборки) — это люди с высоким открытым СК (высокое среднее значение первого фактора) и умеренным закрытым СК (третий и пятый факторы имеют значение выше среднего по всей совокупности). Они наиболее включены в социальные онлайн-сети (по длительности, частоте и количеству сетей), хотя у них меньше и друзей в сети, и близких друзей, чем в четвертой группе. Эти люди часто общаются с друзьями и родственниками и могут рассчитывать на их поддержку, хотя обладают относительно невысоким персональным доверием. Их, как и первую группу, характеризует высокая доля неверующих и не рассчитывающих на поддержку религиозной общины. Это самая молодая группа (более 75 % — моложе 40 лет) и с самым высоким уровнем образования.

Третий тип (27 % выборки) — это люди, в наибольшей степени включенные в церковную общину, атеисты здесь не представлены. 73,2 % считают, что религия дает им дружбу и поддержку других верующих, 16 % посещают религиозные мероприятия несколько раз в месяц, а еще 48 % — раз в месяц. У них совсем мало близких друзей, и они общаются с ними реже, чем вторая и четвертая группы, и в меньшей степени могут рассчитывать на их помощь. В этой группе, как и в первой, много людей старшего возраста (31,7 % — старше 60 лет, 31,2 % — от 40 до 60 лет), но выше доля женщин (67,2 %). С некоторой долей условности можно считать, что эти люди обладают скрепляющим СК (согласно определению Н. Лина, его характеризует экспрессивная цель, в данном случае выраженная как дружба и поддержка других верующих) и низким уровнем открытого СК.

Наконец, самый редкий, четвертый тип (8 % выборки) обладает высоким уровнем как открытого, так и закрытого СК (см. табл. 4 в приложении), в первую очередь в связи с широким кругом друзей. Они так же активно посещают церковь, как и третья группа, и даже имеют большую вероятность получить помощь от церкви и общественных организаций, однако это скорее инструментальная помощь, так как среди них только 38,2 % ответили, что находят в церкви единомышленников.

В этой группе больше всего людей среднего возраста (64% — от 26 до 60 лет), 66,9% женщин, 31,4% имеют высшее образование. Но самое главное, что включенность как в сильные, так и в слабые связи позволяет им иметь самый высокий уровень потенциальных социальных ресурсов, то есть возможность помощи из разных источников в случае необходимости.

Факторы дифференциации объема разных видов СК

Для выявления детерминант разных видов СК были оценены десять регрессионных моделей, где зависимыми переменными выступали пять латентных переменных, соответствующих разным видам СК. Для каждой зависимой переменной были оценены две модели: в первую входили конфессии (см. табл. 6 в приложении), а во вторую — национальности (см. табл. 7 в приложении). Включение в одну и ту же модель и конфессии, и национальности оказалось затруднительно в силу высокой мультиколлинеарности. Кроме того, в итоговый вариант моделей вошел только возраст (без возраста в квадрате), так как хотя «возраст в квадрате» был значим, его экстремум находился в отрицательной части шкалы возраста. Иными словами, зависимость от возраста не является квадратичной, но нелинейность присутствует. С точки зрения качества модели, наилучший скорректированный коэффициент детерминации R^2 обнаруживается в модели для онлайн-соцсетей (самое сильное влияние — пользование интернетом, что неудивительно), а наихудший — в модели для потенциальных социальных ресурсов (потенциальной помощи).

Сравнение моделей показывает, что независимые переменные оказывают различное влияние на объем разных видов СК, причем в наибольшей степени «похожи» детерминанты плотности сетей друзей и родственников, то есть закрытого («bonding») СК. В то же время два вида открытого («bridging») СК — онлайн-сети и сети религиозных организаций — находятся как бы в «противофазе», в ряде случаев у одних и тех же переменных в одной модели положительные коэффициенты, а во второй — отрицательные. Наконец, особняком стоит модель детерминант «социальных ресурсов» — она имеет наименьшую предсказательную силу и наименьшее число значимых коэффициентов.

Рассмотрим теперь влияние отдельных независимых переменных. Почти одинаковое негативное влияние на все виды СК (кроме друзей) имеет мужской пол, то есть мужчины вовлечены в сети (кроме дружеских) в меньшей степени, чем женщины. У молодых людей выше объем и «связывающего» (дружья и родственники), «слабого» (онлайн-сети) социального капитала. Напротив, для людей старшего возраста значение этих видов СК падает, и на смену приходит другой тип связей — прежде всего основанных на религиозной общине. Одновременно возрастают и «потенциальные социальные ресурсы», хотя это скорее связано с опорой в том числе на церковь или соседей, а также родственников, живущих отдельно, чем на друзей и членов семьи. Люди с хорошим здоровьем обладают более тесными связями с друзьями, но меньше включены в «слабые» связи (церковь и сети онлайн). Вероятно, плохое здоровье заставляет людей искать поддержку в религии, а также препятствует офлайн-контактам. Достаточно характерно влияние семейного положения: по сравнению с официальным браком все осталь-

ные возможные статусы влияют положительно на включенность в онлайн-сети и церковь и отрицательно — в круги друзей и родственников, живущих отдельно. Это говорит о том, что люди, состоящие в браке, в большей степени ориентируются на «сильные» связи, а остальные — на «слабые». В семьях с большим количеством взрослых (не считая респондента и его/ее партнера/партнерши) выше СК, связанный с друзьями, онлайн-сетями, а также и возможности потенциальной помощи. Опора на родственников, живущих отдельно, наоборот, ниже (видимо, в силу большого внутрисемейного СК). Количество несовершеннолетних в семье (не считая респондента) позитивно влияет на дружеские связи (вероятно, часть из них завязывается с родителями друзей детей) и отрицательно — на онлайн-связи (возможно, из-за недостатка времени у их родителей). Наличие в семье инвалидов позитивно влияет на включенность в онлайн-сети и отрицательно — в дружеские, что, вероятно, связано с трудностями офлайн-встреч. В то же время не наблюдается позитивного влияния на связь с церковью и потенциальную помощь, как предполагалось в исследовании Дж. Нахапиета. Проживание в бедном регионе также не влияет на потенциальные социальные ресурсы и негативно влияет на включенность в жизнь церкви, что также противоречит его гипотезе [Nahapiet, 2011]. Таким образом, люди, наиболее нуждающиеся в поддержке (бедные и семьи с инвалидами), ее лишены.

Высшее образование является позитивным фактором включенности в онлайн-сети и доступа к социальным ресурсам (с меньшей значимостью). Доступность потенциальной помощи повышают наличие среднего профессионального образования и работы (это понятно, так как есть возможность обратиться к коллегам). Занятые люди, напротив, меньше включены в «слабые» сети — онлайн и церковные. Эти связи до некоторой степени могут выступать альтернативой общению с коллегами: для молодежи — в интернете, а для пожилых — в церкви.

Использование интернета повышает все виды СК, за исключением вовлеченности в церковь. То есть сегодня интернет скорее способствует общению с друзьями и родственниками, а также получению потенциальной помощи, чем препятствует, как это предполагалось на заре его развития. Кроме того, социальные онлайн-сети и дружеские («сильные») сети не исключают друг друга (так как соответствующие им факторы не скоррелированы).

Что касается неверующих, то они, очевидно, реже или совсем не включены в церковную жизнь; а также слабее связаны с друзьями и родственниками, живущими отдельно (при контроле возраста). По сравнению с православными (не включая переменные этничности) мусульмане больше вовлечены в жизнь церкви и дружеские связи и меньше — в общение с родственниками, живущими отдельно, и в онлайн-сети. Представители других религий тоже имеют более высокий объем СК, связанного с церковью, а также потенциальные социальные ресурсы. По сравнению с русскими все остальные этнические группы (кроме малочисленных народов Поволжья и Севера) сильнее включены в жизнь церкви. Татары и башкиры, помимо этого — в родственные и дружеские связи, представители Северного Кавказа — в дружеские. Напротив, меньше русских общаются в соцсетях народы Северного Кавказа, малочисленные народы Поволжья и Севера, а также прочие неевропейские народы.

Наконец, чем больше человек живет в данном населенном пункте, тем выше его включенность в дружеские сети и тем ниже — в онлайн-сети и связи с родственниками, живущими отдельно. То есть, скорее всего, человек в большей степени связан сетями по месту жительства, а недавний переезд способствует общению с родными и друзьями посредством интернета. Чем больше населенный пункт, тем выше СК онлайн и тем меньше связи с друзьями и родственниками.

Выводы

В результате нашего исследования, как мы и предполагали в первой гипотезе, подтвердилось, что социальный капитал носит многокомпонентный характер, то есть его нельзя свести к одному измерению. Это подтверждает идеи Р. Патнэма, [Putnam, 1995], М. Грановеттера [Грановеттер, 2002] и Н. Лина [Lin, 2008]. При этом использование факторного анализа для конструирования векторов — измерителей потенциального СК подтвердило свою эффективность: было выявлено пять латентных факторов, которые могут быть интерпретированы как разные виды социального капитала: емкость онлайн-сети, потенциальные социальные ресурсы (возможная поддержка), плотность общения с друзьями, включенность в жизнь церкви и плотность общения с родственниками, живущими отдельно. Обнаруженные нами виды социального капитала возможно отнести к двум видам: закрытому (общение с друзьями и родственниками) и открытому (плотность социальной сети) СК. Участие в жизни церкви включает характеристики как первого, так и второго, и даже в некоторой степени скрепляющего СК — в том случае, если верующие ищут не инструментальную, а экспрессивную поддержку. Кроме того, отдельным видом можно считать потенциальные социальные ресурсы, которые индивид может мобилизовать в случае необходимости, они аккумулируют и открытый, и закрытый СК [Lin, 2008; 2010].

Мы ожидали, что население России можно разделить на группы, различающиеся структурой имеющегося у них социального капитала. Эта вторая гипотеза была подтверждена, выявлены четыре кластера индивидов: 1) низкий уровень всех видов СК; 2) высокий уровень открытого СК и умеренный уровень закрытого СК; 3) скрепляющий СК; 4) высокий уровень открытого и закрытого СК. Однако социально-демографические различия между группами оказались не слишком велики.

Регрессионный анализ подтвердил нашу третью гипотезу о влиянии пола, возраста, образования, места жительства и рождения, семейного положения, наличия детей, религиозности и конфессии. Все переменные имеют значимый эффект в моделях, причем сила и направленность эффектов различаются для разных видов социального капитала, что соответствует результатам, полученным другими исследователями для разных стран [Boisjoly, Duncan, Hofferth, 1995; Durkin, 2000; Behtoui, 2007; Kostas, Roumeliotou, 2009; Chung, Choi, Lee, 2014].

Как и в исследовании А. Н. Красиловой [Красилова, 2007], оказалось, что лучшими возможностями для инвестиций в потенциальный социальный капитал обладают люди молодого возраста. В то же время, в отличие от ее результатов, мы обнаружили, что размер населенного пункта положительно влияет на емкость социальной онлайн-сети, но отрицательно — на плотность общения с друзьями и родственниками.

В России, как и в других странах Европы, потенциальные социальные ресурсы в первую очередь включают поддержку семьи и родственников, и в несколько меньшей степени — близких друзей [Saraceno, Olagnero, Torrioni, 2005]. На помощь в онлайн-сетях могут рассчитывать только молодые люди, но и среди них она уступает поддержке от родных и близких друзей. Молодые россияне имеют более высокий уровень и открытого, и закрытого СК, за исключением потенциальной помощи и поддержки церкви, что противоречит идее Р. Патнэма об эффекте возраста, который мы упоминали выше [Putnam, 2001]. Примечательно, что наличие высшего образования у жителей России значимо позитивно влияет только на емкость социальной онлайн-сети, а среднего профессионального — на потенциальные социальные ресурсы, что противоречит результатам других исследований [Boisjoly, Duncan, Hofferth, 1995; Behtoui, 2007; Nahapiet, 2011].

В России у женщин выше объем социального капитала, чем у мужчин, как и во многих других странах [Behtoui, 2007; Chung, Choi, Lee, 2014]. Влияние брачного статуса варьируется в зависимости от вида СК, а количество детей в семье негативно влияет на слабые онлайн-связи и положительно — на сильные (общение с друзьями). Это отличается от некоторых ранее полученных результатов [Behtoui, 2007].

Наличие в семье инвалидов и проживание в бедном регионе не влияют на возможность получения помощи; люди из таких регионов также реже включены в жизнь церкви, что не соответствует фактам о других странах [Nahapiet, 2011]. В то же время в России верующие в большей степени, чем атеисты, могут рассчитывать на поддержку, причем не только со стороны церкви, но и со стороны друзей и родственников. У мусульман при этом опора на друзей и церковь выше, чем у православных. В целом это соответствует выводам, сделанным на данных США [Glaeser, Laibson, Sacerdote, 2002].

Мы полагаем, что разработанная нами методика измерения разных видов социального капитала на основе метода факторного анализа, а также периодическое включение в некоторые волны РМЭЗ НИУ ВШЭ блока соответствующих вопросов, позволит в будущем существенно продвинуться в выяснении места и роли СК в жизни россиян. Важной задачей является прежде всего оценка эффекта социального капитала на поиск работы, должностной рост, заработок, а также, возможно, рождение детей, заключение брака и другие виды экономического поведения. К некоторым из них мы собираемся обратиться в своих будущих исследованиях.

Список литературы (References)

Алмакаева А., Волченко О. Динамика социального капитала в России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 273—292. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.13>.

Almakaeva A., Volchenko O. (2018) Dynamics of the Social Capital in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*. No. 4. P. 273—292. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.13>. (In Russ.)

Бурдые П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60—74.

Bourdieu P. (2002) Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. *Economic Sociology*. Vol. 3. No. 5. P. 60—74. (In Russ.)

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 31—50.

Granovetter M. (2002) Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *Economic Sociology*. Vol. 3. No. 3. P. 31—50. (In Russ.)

Демкив О. Социальный капитал: теоретические основания исследования и операциональные параметры // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 4. С. 99—111.

Demkiv O. (2004) Social Capital: Theoretical Basis of a Research and Operational Parameters. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*. No. 4. P. 99—111. (In Russ.)

Красилова А. Н. Социальный капитал как инструмент анализа неравенства в российском обществе // Мир России. Социология. Этнология. 2007. Т. 16. № 4. С. 160—180.

Krasilova A. N. (2007) The Social Capital as the Tool of the Analysis of Inequality in the Russian Society. *Universe of Russia. Sociology. Ethnology*. Vol. 16. No. 4. P. 160—180. (In Russ.)

Куфлина Е., Рощина Я. Дифференциация социального капитала россиян и ее факторы // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) / под. ред. П. Козыревой. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. № 8. С. 113—135. <https://www.doi.org/10.17323/978-5-7598-1825-0>.

Kufflina E., Roshchina Y. (2018) Differentiation of the social capital of Russians and its factors. *Bulletin of the Russian Longitudinal Monitoring Survey — Higher School of Economics, RLMS-HSE*. Moscow: Higher School of Economics Publishing House. No. 8. P. 113—135. <https://www.doi.org/10.17323/978-5-7598-1825-0>. (In Russ.)

Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Ценности и социальный капитал как основа социально-экономического развития // Журнал институциональных исследований. 2010. Т. 2. № 1. С. 17—34.

Lebedeva N.M, Tatarko A. N. (2010) Values and Social Capital as the Basis of Social and Economic Development. *Journal of Institutional Studies*. Vol. 2. No. 1. P. 17—34. (In Russ.)

Натхов Т. В. Образование и доверие в России. Эмпирический анализ // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 3. С. 353—373.

Nathov T. V. (2011) Education and Trust in Russia. Empirical Analysis. *Economic Journal of Higher School of Economics*. Vol. 15. No. 3. P. 353—373. (In Russ.)

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20—32.

Radaev V. V. (2012) The Concept of Capital, Its Forms and Conversion. *Economic Sociology*. Vol. 3. No. 4. P. 20—32. (In Russ.)

Рощина Я. Россия до и после политического кризиса 2011—2012 гг.: факторы спроса на демократические институты // Вестник Российского мониторинга эко-

номического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) / под ред. П. Козыревой. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. № 4. С. 166—179.

Roshchina Y. (2014) Russia Before and After a Political Crisis of 2011—2012: Factors of Demand for Democratic Institutes. *Bulletin of the Russian Longitudinal Monitoring Survey — Higher School of Economics, RLMS-HSE*. Moscow: Higher School of Economics Publishing House. No. 4: P. 166—179. (In Russ.)

Akçomak S. (2009) Bridges in Social Capital: A Review of the Definitions and the Social Capital of Social Capital Researchers (Working Paper Series No. 002). Maastrich: United Nations University—Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology. URL: http://www.merit.unu.edu/publications/working-papers/?year_id=2009 (accessed: 12.02.2022).

Baker W. E. (1990) Market Networks and Corporate Behavior. *American Journal of Sociology*. Vol. 96. No. 3. P. 589—625. <https://www.doi.org/10.1086/229573>.

Behtoui A. (2007) The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden. *European Societies*. Vol. 9. No. 3. P. 383—407. <https://www.doi.org/10.1080/14616690701314093>.

Bjørnskov C. (2007) Determinants of Generalized Trust: A Cross-country Comparison. *Public Choice*. Vol. 130. No. 1—2. P. 1—21. <https://www.doi.org/10.1007/s11127-006-9069-1>.

Boase J., Horrigan J., Rainie L., Wellman B. (2006) The Strength of Internet Ties. Washington, D.C.: Pew Internet and American Life Project.

Boisjoly J., Duncan G. J., Hofferth S. (1995) Access to Social Capital. *Journal of Family Issues*. Vol. 16. No. 5. P. 609—631. <https://www.doi.org/10.1177/019251395016005006>.

Brandtzaeg P. B., Heim J., Kaare B. H. (2010) Bridging and Bonding in Social Network Sites — Investigating Family-Based Capital. *International Journal of Web Based Communities*. Vol. 6. No. 3. P. 231—253. <https://www.doi.org/10.1504/IJWBC.2010.033750>.

Chung Soondool, Choi Hyeji, Lee Sophia Seung-yoon. (2014) Measuring Social Capital in the Republic of Korea with Mixed Methods: Application of Factor Analysis and Fuzzy-Set Ideal Type Approach. *Social Indicators Research*. Vol. 117. No. 1. P. 45—64. <https://www.doi.org/10.1007/s11205-013-0341-8>

Coleman J. S. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*. Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. P. S95—S120. <https://www.doi.org/10.1086/228943>.

Durkin J. T. (2000) *Measuring Social Capital and its Economic Impact*. Chicago: Harris Graduate School of Public Policy Studies University of Chicago. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/15e0/ef15f03a184b9c52f60cd7cdfffae46c64a1.pdf> (accessed 12.02.2022).

- Ellison N. B., Steinfield C., Lampe C. (2007) The Benefits of Facebook “Friends:” Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 12. No. 4. P. 1143—1168. <https://www.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x>.
- Ellison N., Lampe C., Steinfield C., Vitak J. (2010) With a Little Help From my Friends: How Social Network Sites Affect Social Capital Processes. In: *A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites*. Taylor & Francis. P. 124—145.
- Glaeser E. L., Laibson D., Sacerdote B. (2002) An Economic Approach to Social Capital. *The Economic Journal*. Vol. 112. No. 483. P. F437—F458. <https://www.doi.org/10.1111/1468-0297.00078>.
- Leeves G. D. (2014) Increasing Returns to Education and the Impact on Social Capital. *Education Economics*. Vol. 22. No. 5. P. 449—470. <https://doi.org/10.1080/09645292.2012.660133>.
- Kostas R., Roumeliotou M. (2009) Social Trust in Local Communities and Its Demographic, Socioeconomic Predictors: The Case of Kalloni, Lesvos, Greece. *International Journal of Criminology and Sociological Theory*. Vol. 2. No. 1. P. 230—250.
- Lancee B. (2012) The Economic Returns of Bonding and Bridging Social Capital for Immigrant Men in Germany. *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 35. No. 4. P. 664—683. <https://www.doi.org/10.1080/01419870.2011.591405>.
- Lin N. (1999) Building a Network Theory of Social Capital. *Connections*. Vol. 22. No. 1. P. 28—51.
- Lin N. (2001) *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lin N. (2008) A Network Theory of Social Capital. In: Castiglione D., van Deth J. (eds.) *The Handbook of Social Capital*. Oxford, New York: Oxford University Press. P. 50—69.
- Lin N. (2010) Social Capital: Theory and Research. *The Senshu Social Capital Review*. No. 1. URL: <https://www.senshu-u.ac.jp/scapital/english/pub.html> (accessed: 12.02.2022).
- Nahapiet J. (2011) A Social Perspective: Exploring the Links between Human Capital and Social Capital. In: Burton-Jones A., Spender J.-C. (eds.) *The Oxford Handbook of Human Capital*. Oxford: Oxford University Press. <https://www.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199532162.003.0003>.
- Neves B. A. B. (2012) Social Capital and Internet Usage: A study in Lisbon. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. Tese de Doutoramento em Ciências Sociais na especialidade de Sociologia. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Social-capital-and-internet-usage%3A-a-study-in-Neves/087bcd1200be98588173904e768dc3162963b792> (accessed: 12.02.2022).
- Paldam M. (2000) Social Capital: One or Many? Definition and Measurement. *Journal of Economic Surveys*. Vol. 14. No. 5. P. 629—653. <https://www.doi.org/10.1111/1467-6419.00127>.

Portes A. (1998) Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. No. 1. P. 1—24. <https://www.doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1>.

Putnam R. D. (1995) Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democrac*. Vol. 6. No. 1. P. 65—78. <https://www.doi.org/10.1353/jod.1995.0002>.

Putnam R. D. (2001) *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York, NY: Touchstone Books by Simon & Schuster.

Saraceno C., Olagnero M., Torrioni P. (2005) First European Quality of Life Survey: Families, work and social networks. Luxembourg: Office for Official Publ. of the European Communities. URL: https://www.researchgate.net/publication/281746681_First_European_Quality_of_Life_Survey_Families_work_and_social_networks (accessed: 12.02.2022).

Salnikova D. (2019) Factors of Subjective Household Economic Well-Being in Transition Countries: Friends or Institutions in Need? *International Journal of Sociology and Social Policy*. Vol. 39. No. 9/10. P. 695—718. <https://www.doi.org/10.1108/IJSSP-02-2019-0040>.

Steinfeld C., Ellison N. B., Lampe C. (2008) Social Capital, Self-esteem, and Use of Online Social Network Sites: A Longitudinal Analysis. *Journal of Applied Developmental Psychology*. Vol. 29. No. 6. P. 434—445. <https://www.doi.org/10.1016/j.appdev.2008.07.002>.

Williams D. (2007) The Impact of Time Online: Social Capital and Cyberbalkanization. *Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society*. Vol. 10. No. 3. P. 398—406. <https://www.doi.org/10.1089/cpb.2006.9939>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1729](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1729)



Л. Р. Низамова

МНОГОЯЗЫЧИЕ И «ТРЕТЬИ» ЯЗЫКИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Правильная ссылка на статью:

Низамова Л. Р. Многоязычие и «третьи» языки в массовом сознании жителей Республики Татарстан // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 328—347. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1729>.

For citation:

Nizamova L. R. (2022) Multilingualism and “Third” Languages in the Mass Consciousness of Residents of the Republic of Tatarstan. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 328–347. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1729>. (In Russ.)

МНОГОЯЗЫЧИЕ И «ТРЕТЬИ» ЯЗЫКИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НИЗАМОВА Лилия Равильевна — кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры общей и этнической социологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

E-MAIL: lnizamov@kpfu.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5439-0636>

Аннотация. Усиливающаяся мультилингвальность сообществ и индивидов в условиях взаимного влияния разнонаправленных векторов глобализации и локализации актуализирует оценку состояния и перспектив воспроизводства культурного и языкового плюрализма в российском социуме. Необходимость аккомодации дилемм моно- и многоязычия в обществе начала XXI столетия привлекает внимание к поликультурному Поволжью: как и некоторые другие макрорегионы страны, оно отличается соседством национальностей, владеющих русским языком и изучающих иностранные языки, в большей или меньшей степени приверженных своему родному языку и использующих язык соседей в повседневной жизни. В статье внимание сосредоточено на Республике Татарстан, где ценность и практики русско-татарского двуязычия как формы мультилингвизма глубоко укоренены. Вместе с тем, Татарстан — это не только бикультурная татарско-русская, но и поликультурная территория, где признаются и поддерживаются языки других местных народов. На основе массового репрезентативного опроса жителей республики с выборкой 2000

MULTILINGUALISM AND “THIRD” LANGUAGES IN THE MASS CONSCIOUSNESS OF THE RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

*Liliya R. NIZAMOVA*¹ — *Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of General and Ethnic Sociology*

E-MAIL: lnizamov@kpfu.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5439-0636>

¹ Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. In the context of the mutual influence of multidirectional vectors of globalization and localization, the growing multilinguality of communities and individuals actualizes the assessment of the state and prospects for the reproduction of cultural and linguistic pluralism in Russian society. The need to accommodate the dilemmas of mono- and multilingualism in society at the beginning of the 21st century draws attention to the multicultural Volga region. Like some other macro-regions of the country, it is characterized by the neighborhood of nationalities who speak Russian and study foreign languages, who are more or less committed to their native language and use neighbors' language in everyday life. The article focuses on the Republic of Tatarstan, where the value and practices of Russian-Tatar bilingualism as a form of multilingualism are deeply rooted. At the same time, Tatarstan is a bicultural Tatar-Russian and a multicultural territory where the languages of other local peoples are recognized and supported. Based on a representative survey of the inhabitants of the republic with a sample of 2 000 respondents and a series of focus groups to discuss the language situation in the region and the country, the

респондентов и серии фокус-групповых обсуждений языковой ситуации в регионе и стране раскрываются установки жителей (представителей двух наиболее многочисленных этнических групп — русских и татар, а также разных типов поселений) в отношении многоязычия, права и обязанности изучать родные языки в школе в условиях нового этапа языковой политики в стране. Разноречивость и определенная поляризованность оценок в отношении многоязычия и «третьих» местных языков конкретизируется данными фокус-групп среди русских, татар и удмуртов г. Казань и сельской местности. Показаны устойчивые репертуары поддержки и критики многоязычия, обоснования нейтральных и сложносоставных позиций жителей по языковому вопросу.

Ключевые слова: многоязычие, полилингвизм, языковая политика, Татарстан, двуязычие, языки малочисленных национальностей

attitudes of the inhabitants (representatives of the two largest ethnic groups — Russians and Tatars, as well as different types of settlements) regarding multilingualism, rights, and obligations to study native languages at school in the context of a new stage of language policy in the country. Controversy and a certain polarization of assessments about multilingualism and “third” local languages are concretized by focus groups’ data among Russians, Tatars, and Udmurts in Kazan and rural areas. The article shows stable repertoires of support and criticism of multilingualism, the substantiation of the neutral and complex positions on the language issue.

Keywords: multilingualism, plurilingualism, language policy, Tatarstan, bilingualism, languages of minority nationalities

Введение

Статистические данные об этническом составе населения, а также публичная риторика свидетельствуют, что не только страна в целом, но и большинство регионов Российской Федерации представляют собой полиэтнические сообщества, что требует учета этноязыковой гетерогенности в управленческих решениях и социальной практике. Вместе с тем восприятие политики культурного плюрализма на федеральном уровне, задающее основные направления региональной политики, претерпело эволюцию во времени. С одной стороны, в сохранении этнокультурной самобытности народов и языкового многообразия усматривается один из ключевых ориентиров стратегии государственной национальной политики Российской Федерации¹, а с другой — приоритетным считается усиление общегражданского самосознания россиян, скрепляемого русским языком в статусе государственного языка и русскоязычной культурой.

Степень культурного разнообразия на территории страны варьируется. Пример Татарстана интересен тем, что республика часто позиционируется не только как

¹ Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703. URL: <http://docs.cntd.ru/document/551832267> (дата обращения: 22.02.2022).

бикультурная татарско-русская, но и как поликультурная, то есть поощряющая сохранение более широкого культурного многообразия территории, на которой проживают местные финно-угорские, тюркские, славянские народы, даже если они относительно немногочисленны. Политическая и культурная элиты региона способствуют формированию бренда республики и ее столицы города Казань как места слияния Востока и Запада, христианского и мусульманского миров, перекрестья культур и языков многих автохтонных народов Волго-Уралья (чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и др.) наряду с реализацией интересов титульной национальности [Макарова, 2018]. Как на рубеже 1990-х — 2000-х гг. Татарстан был одним из «локомотивов» федерализма в стране, так в последнее десятилетие он более других способствует продвижению мультикультурных ценностей в поддержку исторической многонациональности и языкового многообразия России.

Цель статьи состоит в установлении характера восприятия многоязычия и полилингвизма жителями преимущественно бикультурной Республики Татарстан с преобладающим татарским и русским населением в контексте изменений федеральной языковой политики последних лет. В работе дается оценка феномена многоязычия, т.е. использования и взаимодействия нескольких языков, в зарубежном и российском научном дискурсах; показаны количественные закономерности восприятия языковых прав и интересов носителей малочисленных языков, отношение к школьному учебному предмету «Родной язык» и распространенность установок на языковое многообразие в массовом сознании на основе репрезентативного опроса 2000 жителей Татарстана 18 лет и старше, проведенного в июле 2018 г. Массовый опрос проводился по месту жительства респондентов с применением квотной выборки, представляющей население Татарстана по полу, этничности, возрасту, образованию и территории проживания — г. Казань, другие большие и малые города (Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Лениногорск, Чистополь, Заинск, Азнакаево, Нурлат, Бавлы, Арск, Кукмор), села 14 районов республики. Квоты рассчитаны на основе официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. Выборка включала 1057 татар, 813 русских и 130 представителей других национальностей. В Казани было опрошено 666 чел., в других городах Татарстана — 848, в сельских поселениях — 486 респондентов. Полевые работы также включали 8 фокус-групп, которые состоялись в период с декабря 2016 по июнь 2018 гг., продолжительностью не менее двух часов; их них 5 — в Казани и 3 — в сельской местности. Общее количество участников — 71 человек. В региональной столице проведены обсуждения с русской и татарской молодежью (соответственно 10 и 7 участников), русскими и татарами старшего возраста (8 и 9 участников) и смешанной по возрасту группой удмуртов (7 участников). Фокусированные обсуждения языковой тематики так же охватили жителей татарского, русского и удмуртского сельских поселений (соответственно 10, 11 и 9 чел.). При рекрутировании этничность выступала ключевым объединяющим признаком, при этом обеспечивалось представительство по возрасту, полу, образованию, роду занятий, профессии и специальности татарстанцев с учетом особенностей типа поселения. На основе данных фокус-групповых обсуждений раскрываются устойчивые риторические приемы обоснования позитивных, ней-

тральных, негативных и сложносоставных оценок многоязычия татарами, русскими и удмуртами, проживающими в Республике Татарстан².

Проблематика многоязычия в зарубежном и отечественном дискурсах

В последние годы изучение многоязычия стало относительно новой областью исследований прикладной лингвистики, нейро-, психо— и социолингвистики, теории образования, исследований языковой политики, при этом отмечается немаловажное значение социологии, политической науки и экономической теории в оценке проблем языкового плюрализма. Многоязычие часто рассматривается с позиций влияния на когнитивное развитие и коммуникационные навыки личности и в сравнении с монолингвальными практиками овладения языками. Широко признается факт, что подавляющее большинство детей повсеместно социализируются в условиях мультилингвальности, а усиливающиеся миграции делают многокультурную среду все более привычной [Unsworth, 2013; Grin, Vaillancourt 1997: 48]. При этом было бы неверным связывать многоязычие исключительно с новейшей историей — эпохой постиндустриализма, цифровых медиа и глобальных миграций; это давно известное и историческое явление [Герасимов, 2017: 108], проявлявшееся и на социальном, и индивидуальном уровнях, которое, тем не менее, приобрело в современных условиях беспрецедентный характер и стало социальной ценностью [Senoz, 2013].

Наиболее распространенной формой многоязычия считается билингвизм, поэтому его все чаще рассматривают как особое явление, а многоязычие связывается с освоением и использованием трех и более языков. Вместе с тем, распространена и точка зрения, включающая двуязычие в число проявлений многоязычности [Goral, Conner, 2013: 128]. Исследователи проводят различие между «многоязычием», то есть применением нескольких языков в социуме, и «плюрилингвизмом», понимаемым как способность индивида использовать языковой репертуар, охватывающий разнообразие языков [Senoz, 2013]. Многоязычность социума создает условия для развития полилингвальной личности, но не исключает и воспроизводства индивидуального монолингвизма. Значительное число авторов отмечают преимущества билингвов или позитивные эффекты двуязычности в изучении третьего языка, связывая это с более разнообразными учебными стратегиями, позитивной мотивацией и более широким лингвистическим репертуаром билингвов [Senoz, 2013a]. Психологи отмечают, что многоязычие влияет на свойства личности и сопряжено с большей открытостью человека, терпимостью к неопределенности, высоким уровнем когнитивной эмпатии [Dewaele, Li Wei, 2013]. Многоязычие имеет множество форм и вариантов, охватывает практики изучения иностранного языка, общенационального языка, языка регионального или местного сообщества в качестве третьего гражданами, меньшинствами или мигрантами. Оно не сводится к случаям свободного владения несколькими языками, но охватывает также частичное овладение ими [Dewaele, Li Wei, 2013].

² Исследование выполнено при поддержке Фонда Фольксваген в рамках трилатерального проекта Гиссенского университета им. Юстуса Либига (Германия), Казанского (Приволжского) федерального университета (Россия) и Национальной академии наук Украины «Bi- and multilingualism between conflict intensification and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language politics and contact situations in post-Soviet Ukraine and Russia». Рабочая группа социологов К(П)ФУ: Л. Р. Низамова, А. Н. Нурутдинова, А. М. Гараева.

В российском социогуманитарном знании многоязычие так же осмысливается во множественных контекстах. Чаще всего отечественные исследователи обращаются к оценке зарубежного опыта многоязычия, который имеет обширную географию и охватывает такие страны, как Индия, Швейцария, Испания, Финляндия, Германия, Алжир, Израиль, Бразилия, Казахстан, государства африканского континента [Картушина, 2018; Петрова, 2020; Шабалина, 2015]. Использование многих языков связывается с наличием меньшинств, мигрантов, этнически-смешанных семей, реже — с ростом национализма. Отдельное внимание уделяется многоязычию как устойчивой стратегии языковой политики и формированию плюрилингвальных компетенций в системе образования Европейского Союза [Коротова, Поляков, 2015].

Значительный пласт исследований в России — это работы по педагогике, психологии и лингвистике, посвященные осмыслению формирования языковых компетенций и навыков в многокультурной среде, обучения грамматике и культуре письменной речи (особенно русского языка и/или иностранного языка), интеллектуального и духовно-нравственного развития учащихся, специфики учебных стратегий и подготовки учителя в условиях многоязычия [Аитов, Чжоу, Туржанова, 2019; Барышников, Вартанов, 2018]. Нередко отечественные лингвисты обращаются к многоязычию в литературном творчестве [Львова, Холтер, 2019], а историки — к условиям и факторам его воспроизводства в тот или иной конкретно-исторический период [Вашари, 2017]. Сосуществование нескольких языков рассматривается как феномен межкультурного взаимодействия в пространстве глобального и локального. Многоязычие и мультикультурализм в глобальном масштабе, предполагающие сохранение международного статуса русского языка в многополярном мире, получают весомую поддержку не только политиков, но и интеллектуалов как «дело государственной важности»³ [Швыдкой, 2015] и вопрос национальной безопасности [Соколовский, 2016].

В общероссийском масштабе приоритетным в последние десятилетия является овладение русским языком всеми гражданами многонациональной страны, что способствует воспроизводству и даже усилению языкового сдвига, заложенного в XX столетии в Советском Союзе. Кроме того, утверждение рыночных механизмов в постсоветскую эпоху способствовало распространению крупных языков и уменьшению языкового разнообразия [Алпатов, 2015]. Многоязычие оказывается более зримым в исторической ретроспективе, чем в условиях начала XXI столетия и прогнозах на будущее. В современной России многоязычие, как правило, связывается с региональными и локальными сообществами и уровнями власти и обычно упоминается в отношении республик Северного Кавказа (особенно Дагестана) [Шахбанова, 2011; Межидова, 2018], а также регионов Севера и Сибири — территорий проживания коренных малочисленных народов и статистически малочисленных национальностей. В целом многоязычие на территории Российской Федерации не подвергается сомнению, но растет обеспокоенность тем, что языки малочисленных народов не обеспечены достаточными мерами их защиты [Алпатов, 2015: 8].

³ Швыдкой М. Великий язык великого народа // Российская газета. 2015. 11 ноября. URL: <https://rg.ru/2015/11/11/shvydkoy.html> (дата обращения: 22.02.2022).

На Северном Кавказе многоязычие проявляется как в историческом соседстве автохтонных языков территории, так и в языковом репертуаре местных национальностей, владеющих не только родным языком и языками соседствующих кавказских народов, но и русским языком [Добрушина, 2008]. При этом отмечается преобладание русского языка во многих сферах жизнедеятельности дагестанских этносов [Шахбанова, 2011], свидетельствующее о тенденции перехода от локального многоязычия к многоязычию, предполагающему знание русского языка и ведущего к утрате значимости местных языков [Добрушина, 2011]. Помимо Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока многоязычие характерно и для Поволжья. При этом, «каждый из этих макрорегионов обладает спецификой в отношении спектра языковых ситуаций и должен анализироваться отдельно» [Соколовский, 2016: 54]. К сожалению, приволжский макрорегион в ракурсе языкового многообразия мало изучается в последние годы. Данная статья вносит свой вклад в осмысление темы, преследуя цель исследования многоязычия и «малых» языков в одной из поволжских национальных республик — Татарстане.

Вопрос о том, насколько типичен или уникален пример Татарстана может быть раскрыт в компаративном международном или межрегиональном исследовании, при этом заметно варьируют социально-политические системы координат оценивания и, соответственно, итоговые заключения. Имеющиеся сопоставительные проекты посвящены скорее постсоветской динамике функционирования татарского языка [Gorenburg, 2005], а не воспроизводству многоязычия в регионе и стране. В сравнительной перспективе с учетом ключевых вех истории России и эффектов советской политики национальностей представляется оправданным сравнение Татарстана прежде всего с соседними республиками Поволжья, в которых русский язык и языки титульных национальностей в 1990-е годы обрели высокий политико-правовой статус, при этом на территории проживают представители «третьих» по численности национальностей. Например, в Татарстане они составляют около 7 %, в Чувашии — 5 %, в Удмуртии — 10 %, в Башкортостане — 34 %⁴. Словосочетание «третий язык» следует понимать как условное, не предполагающее ранжирования и призванное отразить фактическое многоязычие российских регионов, то есть применение в них более одного и даже двух языков. Если в Республиках Мордовия и Марий Эл будут подразумеваться «четвертые» языки помимо русского и, соответственно, эрзянского и мокшанского или языков горных и луговых мари, то в российских областях с преобладанием русского населения — все иные («вторые») языки российских народов, что стало особенно актуально в связи с введением в 2017 г. в школах нового учебного предмета «Родной язык». Показатели использования и трансмиссии татарского языка в Татарстане благоприятнее, чем воспроизводство титульных языков в соседних республиках, а население уже почти 30 лет живет в условиях законодательно установленного и поощряемого двуязычия. На фоне Чувашской и Удмуртской республик Татарстан демонстрирует заметно более активную позицию в сохранении титульного языка, продвижении двуязычия и признании других «малых» языков. При этом, в отличие

⁴ Всероссийская перепись населения-2010. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-07.pdf (дата обращения: 18.05.2021).

от Башкортостана, «третьи языки» в Татарстане, будучи статистически малочисленными, не являются источником потенциальной конфликтности, обнаружившей себя в преддверии состоявшейся в 2021 году общенациональной переписи населения. Общей для всех национальных республик является озабоченность будущим малочисленных местных языков, независимо от того имеют они особый политико-правовой статус или таковой отсутствует.

Если официальная риторика и содержание политического дискурса в Татарстане хорошо отражены в научной литературе [Ерофеев, Низамова, 2001; Габдрахманова, Макарова, 2014], то восприятие многокультурности и многоязычия его населением, разными демографическими сегментами регионального сообщества еще не были предметом специального и эмпирически доказательного изучения. Русско-татарское двуязычие можно рассматривать как разновидность многокультурности, но в данной статье внимание фокусируется на более широкой перспективе признания культур малочисленных в республике национальностей, представляющих преимущественно автохтонные народы Волго-Вятского региона и титульные национальности соседствующих с Татарстаном республик.

Исследование дву- и многоязычия при поддержке Фонда Фольксваген охватило темы полилингвизма и многокультурности, изучения родных языков в общеобразовательных школах, в качестве которых с 2017 г. могут выступать все языки народов России. Как и массовый опрос населения Татарстана, фокус-групповые обсуждения (8 единиц) включали помимо вопросов русско-татарского двуязычия, темы изучения и использования многих языков, многокультурности и политики мультикультурализма в России. Кроме того, соответствие эмпирической базы поставленным в статье целям было обеспечено тем, что наряду с фокус-группами с участием русских и татар, в программу были включены два обсуждения с удмуртами, проживающими в городской и сельской местностях, а также рассмотрением темы «малых» («третьих») языков в частном и публичном пространстве регионального сообщества. Обращение к теме статистически малочисленных языков, среди которых есть несколько принадлежащих к группе финно-угорских народов, дополняет картину славянско-тюркского соседства в регионе.

Языки малочисленных в Татарстане национальностей в результатах массового опроса: нечеткость и разноречивость общественных установок

Тема обязательности или добровольности изучения других языков помимо общенационального и иностранного стала одной из центральных в публичной дискуссии 2017—2018 гг. и выражала разноречивость мнений этнических групп о месте татарского языка в школах Татарстана. Позиция татарского большинства в республике по вопросу не была монолитной. Данные проведенного опроса свидетельствуют о том, что для подавляющей части татар (84 %) важно, чтобы их дети говорили на родном языке; 78 % считают обязательным изучение в средней школе татарского языка как отдельной дисциплины, почти две трети (65 %) поддерживают обязательное изучение в равных объемах с русским языком. Вместе с тем достаточно широко востребован и принцип добровольности: более половины татар с разной степенью уверенности поддержали суждение: «Изучение татарского языка должно быть по добровольному выбору (факультативом)», реализация

которого позволяла снизить накал дискуссий и учесть интересы представителей других национальностей и русскоязычного сообщества. Хотя почти две трети татар считают, что языковая ситуация в республике обеспечивает возможности удовлетворения интересов татароязычного населения, около 30 % думают иначе, выразив более или менее уверенное согласие с утверждением о существовании конфликта на языковой почве.

Тема изучения других языков имела не меньшее значение и в определении будущности других языков народов РФ. Для выявления мнений простых татарстанцев массовый опрос включал ряд вопросов для измерения распространенности установок на языковое многообразие. Респондентам был задан вопрос: «Должны ли представители малочисленных национальностей Татарстана (чуваши, мордва, мари, удмурты и другие) в обязательном порядке изучать свой родной язык?» Полученные данные выявили заметное расхождение во мнениях и признаки их поляризации как внутри этнических сообществ, так и между двумя основными этническими группами республики и среди жителей разных типов поселений. В интерпретации результатов следует учитывать, что подавляющее большинство участников опроса высказывались о языке, который не является для них родным. 17 % респондентов ответили на вопрос утвердительно, еще почти 24 % так же были склонны поддержать обязательное изучение родного языка малочисленными этническими группами (в сумме — 41 %). Однако почти такая же доля жителей республики придерживалась противоположного мнения: почти каждый четвертый (24 %) высказал уверенное «нет», еще 16 % склонны согласиться с этим. Вопрос оказался трудным для части опрошенных — почти каждый пятый затруднился с ответом.

Среди считающих себя русскими наиболее частым был отрицательный ответ — 48 % более или менее уверенно отвергли обязательное изучение родного языка малочисленными национальностями, а около трети (31 %) сочли это должным. Распределение мнений среди татар оказалось «зеркальным»: 48 % татар с разной степенью уверенности настаивали на овладении родными языками меньшинствами в Татарстане, против этого выступили 35 %. Аналогично поляризованным оказалось соотношение мнений жителей городов и сел в Татарстане: большинство сельчан (58 %) было склонно считать обязательным изучение чувашами, марийцами, удмуртами и мордвой их родных языков, а горожане, особенно в г. Казань, массово разделяли противоположную точку зрения (44 %—47 %); сторонников освоения малочисленных языков их носителями среди них — около трети (36—34 %). Имелись и примечательные поколенческие контрасты: респонденты в возрасте 55 лет и старше на 9 % чаще, чем молодежь в возрасте 18—30 лет, давали уверенный положительный ответ, тогда как молодые люди чаще отрицали обязанность меньшинств изучать свой родной язык.

Языковая ситуация в Татарстане второй половины 2017 — начала 2018 гг., сложившаяся после отмены обязательного изучения татарского языка в общеобразовательных школах с русским языком обучения и увеличения объемов русского языка до общероссийских показателей, актуализировала роль семьи как субъекта языковой трансмиссии и социализации. В официальном дискурсе республики активно утверждалась идея, что значимым институтом, ответственным

за сохранение языков меньшинств, должна быть семья⁵. В связи с этим было важным уточнить, в какой мере жители республики связывают изучение языков малочисленных народов именно с формальными институтами образования. Вопрос был задан в формулировке: «Сейчас языки малочисленных национальностей (чувашей, мордвы, мари, удмуртов и другие) изучаются в Татарстане в местах их компактного проживания, в основном в сельской местности. Следует ли предоставить возможность осваивать малые языки школьникам повсеместно и в городах, обеспечивая их учебниками и учительскими кадрами за государственный счет?» Почти 40% респондентов ответили «да», и это наиболее распространенная точка зрения; тем не менее, почти каждый четвертый (24%) высказал противоположное мнение. Кроме того, на себя обращает внимание очень высокая доля затруднившихся с ответом (36%), что может быть объяснено не только сложностью вопроса, но и слабой актуализацией этой темы в информационном пространстве региона и страны. Позиция неопределенности оказалась почти такой же распространенной, как и уверенность в необходимости обеспечить как на селе, так в городе изучение «малых» языков в школах. Распределение ответов среди русских и татар было схожим, однако татары чуть чаще, чем русские высказывались за повсеместное и с поддержкой государства освоение «малых» языков, а среди русских доля затруднившихся с ответом оказалась наибольшей (38%), и это был самый распространенный ответ.

Сельские жители чаще, чем горожане соглашались с необходимостью расширения возможностей учить языки малочисленных национальностей повсеместно и при поддержке государства. Во всех типах поселений утвердительный ответ был преобладающим, но если на селе его разделяли 49% опрошенных, то в Казани — 35%, причем для казанцев этот вопрос оказался довольно трудным: 39% не смогли дать на него ответ. Как и в выборке по Татарстану в целом, в городах, включая региональную столицу, каждый четвертый негативно воспринял идею расширения возможностей для «малых» языков в городской среде за государственный счет.

Одним из источников затруднений является вопрос о «втором языке» малочисленных этнических групп в Татарстане (после общенационального русского языка и не считая иностранного языка, место которого в учебных планах не оспаривается). Возникает дилемма изучения татарского языка как государственного в республике (наряду с русским языком) или освоения родного «малого» языка. Массовая поддержка изучения родных языков объясняет полученные распределения ответов на вопрос: «Вы одобряете или не одобряете введение в 2017/2018 гг. нового учебного предмета „Родной язык“, позволяющего родителям по их письменному заявлению выбрать для изучения один из родных языков (русский, татарский, чувашский, удмуртский или другие)?» Наиболее представительной (68%) стала позиция одобрения введения нового учебного предмета: 41% выразили ее с уверенностью, еще почти 27% так же были склонны поддержать. Доля несогласных составила около 17%, еще 15% затруднились с ответом. Хотя в обеих этнических группах Татарстана позитивные мнения преобладали, русские охотнее, чем

⁵ Рустам Минниханов: Если в семьях не говорят на родном языке, то и дети не будут его знать // Республика Татарстан. 2018. 12 декабря. URL: <https://rt-online.ru/rustam-minnihanov-esli-v-semyah-ne-govoryat-na-rodnom-yazyke-to-i-deti-ne-budut-ego-znat/> (дата обращения: 25.02.2022).

татары, высказывали одобрение новым федеральным решениям по обучению языкам (74% в отличие от 64% среди татар). При этом негативные оценки среди татар встречались более, чем в 2 раза чаще, чем среди русских. В городской местности и особенно в Казани одобряющих новый учебный предмет было больше, чем на селе: в региональной столице поощрительно высказались 73% респондентов, а в сельской местности с преобладанием татароязычного населения — 61%.

Введение осенью 2017 г. учебного предмета «Родной язык» получило одобрение, так как де-юре не носило дискриминационного характера и позволяло представителям любой национальности ожидать от органов государственной власти более гибкого обеспечения их этнокультурных интересов. К тому же новые меры усиливали влияние родителей и образовательных учреждений на содержание обучения, ограничивая региональные власти в их стремлении поддержать государственный статус татарского языка в регионе. Изменения в школьном расписании отвечали требованиям активной части русскоязычных родителей пересмотреть республиканскую образовательную политику в части обязательного и с паритетом учебных часов (в филологическом разделе учебных программ) изучения татарского языка в школах. Многие татары (прежде всего проживающие в городах русскоязычные татары) дали положительную оценку введению новой учебной дисциплины, так как она позволяла сохранить присутствие родного языка в учебных планах и отвечала востребованной установке на принцип добровольности. Хотя добровольность изучения родного языка принималась далеко не всеми татарами, она позволяла в некоторой степени разрешить накопившиеся противоречия и избежать сложностей (снизить учебную нагрузку школьников или переориентировать усилия на изучение русского языка и подготовку к ЕГЭ, избежать обязательного тестирования по татарскому языку в 9 классе, и в более широком плане завершить жаркие дебаты об обязательности / добровольности изучения языков в школе, а также объемах, методике и качестве преподавания с минимально возможными потерями). Более того, новый учебный предмет «Родной язык» сокращал учебную нагрузку представителей малочисленных «третьих» национальностей: если ранее в местах компактного проживания в сельской местности с наличием национальных школ дети изучали четыре языка: общенациональный русский язык, татарский как один из двух государственных в республике, свой родной и иностранный языки, то с осени 2017 г. от уроков татарского языка можно было отказаться. Новые федеральные решения в сфере образования де-юре не исключали возможности изучения «третьих» языков в городах с присущим им дисперсным расселением этнокультурных групп, но де-факто никаких видимых организационных мер по реализации многокультурности, подготовке учительского корпуса и учебной литературы в стране не наблюдалось⁶. Защитники новаций заявляли о новых возможностях изучения родного языка повсеместно за пределами титульных республик, в том числе и для татар, проживающих в других регионах России, но реальные практики в основном сохраняли статус-кво и не содействовали поощрению многокультурности.

⁶ Шаймиев обеспокоен отсутствием нормативных документов для сохранения национальных языков. 2020. 26 мая. URL: <https://www.interfax-russia.ru/volga/news/shaymiev-obespokoen-otsustvstviem-normativnyh-dokumentov-dlya-sohraneniya-nacionalnyh-yazykov> (дата обращения: 28.06.2020).

Фокус-групповые дискуссии о многоязычии и языках малочисленных национальностей в Татарстане

В период с декабря 2016 по июнь 2018 гг. состоялись восемь фокус-групповых обсуждений языковой ситуации, дву- и многоязычия в Татарстане (пять — в городе Казань и три — в селах республики с участием татар, русских и удмуртов разного возраста, молодого и старшего поколений от 7 до 11 участников в каждой)⁷. Продолжительность фокус-группы составила не менее двух часов. Предметом обсуждения стали вопросы, представлявшие значимыми участникам в связи с рассмотрением языковой ситуации в Татарстане и стране в целом, использования и сосуществования русского и татарского языков, а также тема многоязычия, связанная с языками малочисленных местных национальностей. Качественная стратегия анализа с применением метода фокус-групп позволила выявить смыслы и мотивы социальных действий, а также устойчивые репертуары понимания и оправдания языковых практик.

Фокус-группы показали, что для представителей каждой из этнических групп свой язык, каким бы ни был его официальный статус, является наиболее важным и ценным. Укорененный в системе первичных связей, он подпитывает значения, проецируемые более или менее активно в публичное пространство. Соседство русских и татар в республике побуждало участников обсуждений обращаться к темам двуязычия, использования и изучения татарского языка, места и значения русского языка. На этом фоне тема многоязычия и «третьих» языков была мало актуализирована, ее обсуждение в завершающей части дискуссии поощрялось модератором в исследовательских целях. Фокус-группы позволили узнать, какие мысли и настроения скрываются за количественными данными — позитивными, нейтральными, негативными оценками многоязычия.

Если слово «двуязычие» хорошо известно жителям Татарстана, то термин «многоязычие» не входит в общеупотребительный лексикон. Многоязычие чаще ассоциируется не с местными языками России, а со все более востребованными иностранными языками: английским, китайским, арабским. Вместе с тем, не являясь первостепенным вопросом, наличие в стране многих языков не подвергается сомнению: «Да, я за сохранение многоязычия, но не ручаюсь, что все будет сохранено, но надо к этому стремиться» (ФГ 5). Декларируется необходимость изучения других языков народов России («Дабы не потерять культуру и историю»; «Это очень трудно, хотя если была бы возможность, это было бы интересно и здорово» ФГ 1), но с учетом большой роли русского языка как общенационального и объединяющего, и поэтому обеспечивающего взаимопонимание. Тем более, что подавляющее большинство россиян, независимо от национальности, говорят по-русски. Если даже в СССР «он был везде», то в современных условиях значение русского языка не может быть меньше: «у нас все-таки Россия» (ФГ 3). У численно преобладающей русскоязычной части участников обсуждений языковая иерархия, сложившаяся в советскую эпоху, в целом не вызывает вопросов; татароязычные татары, напротив, высказывают свою обеспокоенность.

⁷ Фокус-группа с русской молодежью Казани — ФГ1, татарской молодежью Казани — ФГ2, старшими русскими Казани — ФГ3, старшими татарами Казани — ФГ4, удмуртами в Казани — ФГ5, в татарском селе — ФГ6, русском селе — ФГ7, удмуртском селе — ФГ8.

Поддержка «третьих» языков рассматривается скорее как задача страны в целом, а не отдельных регионов. В России проживает много национальностей — «у них такие же проблемы, как и у нас» [то есть у татар] (ФГ 2). При этом татары защищают прежде всего свой язык наряду с использованием русского: «Считаю, у нас нужно оставить на данный момент два основных государственных языка [русский и татарский]; языки малых народов — это уже каждый сам за себя решает: следует их учить — не следует. Они — как дополнительно, может быть, как факультатив дома. Или не знаю» (ФГ 4).

Среди представителей малочисленных национальностей значимость родного языка, независимо от численности населения, степени ассимиляции и места проживания, не подвергается сомнению: «Потому что это родной язык. Язык матери» (ФГ 8). Есть желание говорить на родном языке: «Если я живу в Татарстане. Я — удмурт. Мне, конечно, лучше общаться по-удмуртски», хотя характер владения языком очень разный: «каждый по-своему знает» (ФГ 5), и многие «обрусели» «из-за телевизора, из-за гаджетов» (ФГ 8). У удмуртов в Татарстане распространено многоязычие: «для нас как бы свойственно, что мы говорим на трех языках, на двух языках, там, на разных, на четырех языках. То есть это — как бы нормально для удмуртского вообще в целом населения» (ФГ 5). При этом, этнические интересы и языковые различия не исключают формирования национальной солидарности и приверженности родине: «Наш русский человек, наш удмурт, наш мариец, наш татарин до крови, до смерти на своей земле боролся бы за свою территорию. А у них [на Ближнем Востоке] началась война — они переехали в другую страну» (ФГ 5).

Отмечается поддержка других языков и культур и в масштабах страны, и в Татарстане: имеются этнокультурные общества, СМИ, театры, интернет-сайты, проводятся праздники и фестивали. Среди форматов этнокультурного образования в республике приводились примеры Многонациональной воскресной школы при Доме дружбы народов Татарстана, где организовано изучение ряда языков, и еврейской школы. Допускается создание классов, факультативов, кружков для освоения «третьих» языков на основе принципа добровольности и самоорганизации («Это по желанию. Захочу, я выучу его, не захочу — нет» (ФГ 4)). К достоинствам многоязычия, по мнению участников, относятся способность обеспечивать «согласие, мир, добрососедство», взаимное уважение и приятие (ФГ 3). Благодаря многоязычию люди «между собой общаются и пытаются друг друга понять», обмениваются традициями, культурой (ФГ 2); наконец, оно обеспечивает широту мышления.

Оппоненты же считают, что в стране с более чем двумя сотнями языков и диалектов, реализация многоязычия — сложная задача: «Столько национальностей! Всех их начнешь поддерживать, голова взорвется» (ФГ 2); «обеспечить хотя бы большинство школ специалистами по всем малым народностям невозможно» (ФГ 1). Даже в ситуации двух наиболее распространенных языков в Татарстане возникли дискуссии и сложности, поэтому на вопрос: «Нужно ли изучать „малые“ языки?», — отвечали: «Думаю, что нет. То, что с русским и с татарским не можем уж определиться, — думаю не надо. Уже каша будет» (ФГ 2), или «татарский бы выучить» (ФГ 4).

Отрицательными суждениями относительно обязательного изучения «малых» языков выражается вера в то, что овладение ими — вопрос индивидуальной заинтере-

сованности в обучении и личной готовности применять в социуме: «*Это уж от самого человека зависит, как хочет он*» (ФГ 1). Хотя некоторые языки изучаются в национальных школах на селе и в своих республиках, они мало или почти не используются в повседневной жизни, в отличие от татарского в Татарстане, который имеет более широкое хождение. Ассимиляция сильнее затронула финно-угорские народы Волго-Вятского региона: «*Даже удмурты говорят — они не удмурты уже, а русские*» (ФГ 8); «*Про мордву могу сказать мое субъективное мнение, что умирающий язык, к сожалению, в Татарстане. Это не обусловлено, опять-таки, тем, что Татарстан целенаправленно губит этот язык, а потому что народу самому этот язык, к сожалению, не нужен*» (ФГ 5). Предполагается, что потребности статистически малочисленных народов должны удовлетворяться усилиями титульных республик: «*Вот в Марий Эл он бы изучал свой родной язык — марийский, а сюда он приехал все-таки учиться и понимать, где он находится. Все-таки*» (ФГ 2); «*Если чувашский нужен, то пусть учит, ради Бога. Поедет в Чебоксары, выучит чувашский, придет сюда*» (ФГ 4).

Различение «свои» / «чужие» варьирует в разных социальных контекстах и не сводится к этническим характеристикам. Зачастую проживающие в республике русские и татары объединяются в категорию «свои», тогда как другие национальности — это не столько живущие в Татарстане чуваша, удмурты и т. п., а разноликие приезжие, например, торговцы из Закавказья, трудовые мигранты из соседней республики Поволжья или иностранцы из дальнего зарубежья. В таком контексте идея признания других языков вызывает отторжение: «*Они продают нам помидоры, они должны нам по-русски их продать, не по-своему*», или «*Пускай учат свой язык. Ну, если к нам приезжают, пускай учат наш язык, а свой язык навязывать нам, я думаю, — это неправильно*» (ФГ 2). Противники многоязычия отмечали, что оно может препятствовать взаимопониманию, быть источником конфликтов и столкновений на межнациональной почве: «*Если логически думать: если бы все были одной нации, не было бы у них никаких между собой конфликтов, тогда бы и войн, соответственно, не было*» (ФГ 1); «*Строительство Вавилонской башни знаешь почему прекратилось? Потому что люди разговаривали на многих языках и не понимали друг друга*» (ФГ 3).

Участники обсуждений осознают, что многоязычие требует дополнительных усилий и материального обеспечения: «*...Бюджет республики должен распределяться так, чтобы каждой национальности кусок пирога соответствующий достался. Чтоб никто в обиде не остался... Чтобы кто-нибудь не пришел в Госсовет и не сказал: „А моего внука там не учат по-чувашски“. Чтобы такого не было. Каждому организовать Гырон быдтон, Сабантуй организовать... и Семык организовать для марийцев. Все надо организовать и вот так в кучу собрать. И еще уследить, чтобы никаких волнений там не происходило... Это огромный труд!*» (ФГ 5). Политическим и организационным сложностям сопутствуют и сугубо экономические контраргументы: «*На каждые языки — это же деньги, затраты...*», что выглядит обременительным на фоне слабой экономики (ФГ 1) и снижения уровня жизни населения. Негативные оценки многоязычия имеют и другие источники — могут быть связаны с опасениями возможной дискриминации на рынке труда из-за незнания языка (ФГ 1) или с озабоченностью низкой языковой культурой: качество языков ухудшается, часто звучит неправильная речь (ФГ 2).

Наряду с полярными оценками, нередко звучали и более взвешенные, сложные по содержанию, многокомпонентные высказывания. Было отмечено, что многоязычие — это одновременно «и хорошо, и проблемы», оно и объединяет в случае «взаимопроникновения и интереса к другому», и разъединяет, если каждый разговаривает на своем языке и не знает языка соседа. В такой ситуации требуется чувство меры: «...политика многоязычия она сродни воде ... если лить туда ведрами — это будет убийственно. И если не давать совсем — это будет жажда» (ФГ 4). Рассудительно подмечалось: «для представителя этой культуры, этих национальностей — да, нужно, но вопрос: надо ли это другим, и как это будет вообще реализоваться?» (ФГ 2). Отмечалось, что многое зависит от запроса и желания людей, которые побуждают этнокультурные организации обращаться в органы государственной власти (ФГ 2). «Я думаю, что специально поддерживать их не надо, но и мешать им тоже, наверное, не надо» (ФГ 4) — суждение, отражающее распространенную точку зрения.

Дилемма сохранения существующего де-факто многоязычия и / или поощрения одного и общего для всех языка (таким в стране может быть только русский язык) порождает стремление иметь и то, и другое («одновременно все, как в жизни бывает»), однако такая возможность сразу скептически оспаривается: «Не бывает так!» (ФГ 3). Если будет превалировать русский язык, то другие будут затухать, а «надо развиваться всем культурам», хотя бы им не мешать.

Заключение

В силу многонационального характера российского общества оно по умолчанию считается многоязычным, хотя языковой сдвиг XX века привел к формированию обширных моноязычных публичных пространств, которые лишь укрепились в этом качестве в постсоветскую эпоху в условиях роста «цивилизационного национализма» [Идеология «особого пути», 2010]. Очевидно, что отношение к многокультурности и многоязычию в России заметно расходится с подходами «западного» мира в силу влияния советского модернизационного проекта, а также исторической имперской идеи и усиления русского этнического национализма в постсоветский период.

Многоязычие в форме соседства и взаимодействия двух языковых сообществ в Татарстане — повседневная, широко принимаемая, хотя и асимметричная практика. Стремление регионального руководства обеспечить сохранение татарского языка одновременно с поддержкой русско-татарского двуязычия следует рассматривать как продвижение аддитивного билингвизма в республике и многоязычия в стране, переход от доминантного двуязычия к более сбалансированному. При этом планируемые результаты изучения титульного языка республики учащимися не были максималистскими и не являются такими сейчас, т. е. не предполагают владения и использования на уровне своего родного языка.

Хотя в данной статье не ставилась цель объяснить, почему так разнятся языковые ситуации в регионах, витальность одних «малых» языков в отличие от других и интенсивность языковой ассимиляции, она обращает внимание на немаловажный социально-психологический фактор языкового включения/исключения в этнически гетерогенных локальных сообществах. Есть широкий круг разнопла-

новых обстоятельств, способствующих нивелированию малочисленных языковых сообществ. Не только недостаточная демографическая численность этнической группы как носителя языка, ослабление механизмов межпоколенной языковой трансмиссии, обеспечивающих использование языка молодыми в их повседневной жизни и его сохранение в этнически-однородных средах, неготовность учительского корпуса и учебных материалов, малопрестижность языка среди «своих», или отсутствие протекционистской языковой политики и благоприятных миграционных процессов, но и установки поликультурного местного сообщества в отношении «других» языков могут помогать или препятствовать сохранению и развитию многоязычия.

Анализ российского научного дискурса и общественного мнения жителей Республики Татарстан свидетельствует о том, что у многоязычия есть и сторонники, и противники. Массовый опрос населения Татарстана выявил как множественность позиций в отношении многоязычия и поддержки языков малочисленных национальностей, так и их неоднозначность. Установлены признаки поляризации мнений как между этническими группами русских и татар, так и внутри них. Татары чаще, чем русские готовы поддержать обязательное изучение родного языка чувашами, мордвой, марийцами и удмуртами, в т.ч. в общеобразовательных школах с поддержкой государства, а не только за счет усилий семьи. Вместе с тем наличие весьма представительной доли жителей Татарстана, не определившейся с мнением, указывает, как на сложность, так и слабую артикулированность темы в информационном поле страны и даже республики. Последнее связано с убежденностью многих, что основное внимание должно быть уделено статистически наиболее многочисленным общностям, а обеспечение малочисленных национальностей — это задача федеральных властей и соответствующих титульных республик. На позиции русских и татар влияют личная невключенность и малая информированность о «третьих» языках.

Восприятие местного многоязычия и «малых» языков в Татарстане, где русско-татарское двуязычие поощряется и является привычным, а доля «других» национальностей невелика, предположительно является иллюстрацией максимально возможной в современных условиях языковой инклюзии, задающей верхнюю планку притязаний в поволжском макрорегионе. При этом ощутимая (и в определенных контекстах преобладающая) поддержка многими родных языков сочетается с нечеткостью и разноречивостью социальных ориентиров жителей, не получающих достаточной репрезентации в публичном поле. В других национальных республиках Волго-Уралья, где государственных языков больше двух, или «третьи» языки многочисленны и могут составлять конкуренцию, распределение мнений среди населения может быть иным, что требует дополнительного изучения. Востребованная у граждан и поощряемая федеральными властями установка на «добровольность» изучения языков народов России (родных языков) все же не обеспечивает даже простого воспроизводства исторического многоголосья. Опыт Татарстана тем не менее показателен тем, что преобладающая часть жителей считает необходимым изучение не только общенационального, иностранного, но и родного языка, что не является лишь регионально-специфической тенденцией. Отстаивая будущность татарского языка в республике и за ее пределами,

региональные власти в Татарстане также демонстрирует эмпатию в отношении «третьих» местных языков и поддерживают аналогичные устремления соседей.

Многокультурность поддерживается в ее давно сложившемся качестве и связывается с историей и культурой многонациональной страны и своей этнической общности, даже если она не велика по численности. Если старшее поколение удмуртов в Татарстане осваивало татарский язык в неформальной среде локальных коммуникаций, то молодое поколение уже не сильно к этому мотивировано в преимущественно русскоязычной среде не только городов, но и сел, что подтверждает тенденцию перехода от локального многоязычия, ранее характерного для нерусских народов России, к доминантному многоязычию с ведущей ролью русского языка. Этническая и языковая политика на федеральном уровне последних лет закрепляет этот устойчивый тренд.

Список литературы (References)

Аитов В. Ф., Чжоу Н., Туржанова Г. Н. Обучение грамматике в условиях реального многоязычия и поликультурности // Психология образования в поликультурном пространстве. 2019. № 2. С. 78—89. URL: <https://www.elsu.ru/journal/issues/202/articles/2665/> (дата обращения: 21.02.2022).

Aitov V. F., Zhou Nan, Turzhanova G. N. (2019) Teaching Grammar in the Conditions of Real Multilingualism and Multiculturalism. *Psychology of Education in a Multicultural Space*. No. 2. P. 78—89. URL: <https://www.elsu.ru/journal/issues/202/articles/2665/> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Алпатов В. М. Языковая политика в России и в мире // Известия РАН. Сер. Литературы и языка. 2015. Т. 74. № 1. С. 3—10.

Alpatov V. M. (2015) Language Policy in Russia and Abroad. *Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language*. Vol. 74. No. 1. P. 3—10. (In Russ.)

Барышников Н. В., Вартанов А. В. Учитель многоязычия: компоненты профессиональной подготовки (к постановке вопроса) // Многоязычие в образовательном пространстве. 2018. № 10. С. 7—17.

Baryshnikov N. V., Vartanov A. V. (2018) Teacher of Multilingualism: components of professional education (Setting of a Problem). *Russian Journal of Multilingualism and Education*. No. 10. P. 7—17. (In Russ.)

Вашари И. Многоязычие и культурные взаимодействия в Золотой Орде // Золотоордынское обозрение. 2017. Т. 5. № 1. С. 56—73. <http://dx.doi.org/10.22378/2313-6197.2017-5-1.56-73>.

Vásáry I. (2017) Multilingualism and Cultural Interactions in the Golden Horde. *Golden Horde Review*. Vol. 5. No. 1. P. 56—73. <http://dx.doi.org/10.22378/2313-6197.2017-5-1.56-73>. (In Russ.)

Государственные языки Республики Татарстан: множественность измерений /под ред. Г. Ф. Габдрахмановой, Г. И. Макаровой. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ; Изд-во «Артифакт», 2014.

G. F. Gabdrakhmanova, G. I. Makarova (eds.) (2014) *State Languages of the Republic of Tatarstan: Multiple Dimensions*. Kazan: Institute of History named after Sh. Marjani of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan; “Artifact” Press. (In Russ.)

Львова Н. Л., Холтер Ю. Многоязычие в рукописях писателей // *Русская литература*. 2019. № 2. С. 214—216. <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2019-2-214-216>.
Lvova N. L., Holter Yu. (2019) Multilingualism in the Writers’ Manuscripts. *Russian Literature*. No. 2. P. 214—216. <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2019-2-214-216>. (In Russ.)

Добрушина Н. Р. Язык и этничность малого народа: быть или не быть // *Социологические исследования*. 2008. № 11. С. 77—83. URL: https://www.isras.ru/files/File/Socis/2008-11/Dobrushina_11.pdf (дата обращения: 21.02.2022).

Dobrushina N. R. (2008) Language and Ethnicity of an Aboriginal Group: To Be or Not to Be // *Sociological Research*. No. 11. P. 77—83. URL: https://www.isras.ru/files/File/Socis/2008-11/Dobrushina_11.pdf (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Добрушина Н. Р. Многоязычие в Дагестане конца XIX — начала XXI века: попытка количественной оценки // *Вопросы языкознания*. 2011. № 4. С. 61—80. URL: <https://vja.ruslang.ru/ru/archive/2011-4/61-80> (дата обращения: 21.02.2022).

Dobrushina N. R. (2011) Multilingualism in Dagestan From the End of the 19th to the Beginning of the 21st Century: An Attempt at a Quantitative Evaluation. *Voprosy Jazykoznanija (Topics in the Study of Language)*. No. 4. P. 61—80. URL: <https://vja.ruslang.ru/ru/archive/2011-4/61-80> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия / под ред. Э. А. Паина. М.: Три квадрата, 2010.

Pain E. A. (ed.) (2010) *Ideology of the “Special Way” in Russia and Germany: Origins, Content, Consequences*. Moscow: Tri kvadrata. (In Russ.)

Картушина Е. А. Языковое планирование статуса миноритарных языков в условиях многоязычия (на примере Финляндии) // *Политическая лингвистика*. 2018. № 2. С. 106—114. URL: <https://www.politlinguistika.ru/jour/article/view/40> (дата обращения: 21.02.2022).

Kartushina E. A. (2018) Minority Language Status Planning under the Conditions of Multilingualism (Based on Finland). *Political Linguistics*. No 2. P. 106—114. URL: <https://www.politlinguistika.ru/jour/article/view/40> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Коротова И. А., Поляков Д. Д. Концепция многоязычия как стратегия языковой политики и иноязычного образования в Европе // *Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Психология и педагогика*. 2015. № 1. С. 54—60. URL: <http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/8051> (дата обращения: 21.02.2022).

Korotova I. A., Polyakov D. D. (2015) Concept of Multilingualism as Strategy of Language Policy and Foreign-Language Education in Europe. *RUDN Journal of Psychology and Pedagogics*. No. 1. P. 54—60. URL: <http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/8051> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Макарова Г. И. Татарстан в видении элит и простых жителей республики // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. Т. 21. № 2. С. 75—105. <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.2.3>.

Makarova G. I. (2018) Tatarstan in the Elite Discourse and in the Vision of Its “Ordinary” Residents. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 21. No. 2. P. 75—105. <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.2.3>. (In Russ.)

Межидова Т. У. Проблема многоязычия и пестрота этнической карты Кавказа в изучении прошлого и истории отдельных народов // Вестник Калмыцкого университета. 2018. № 3. С. 30—39.

Megidova T. U. (2018) The Issue of Multilingualism and Diversity of Ethnic Map of the Caucasus in Studying the History of Peoples. *Bulletin of Kalmyk University*. No. 3. P. 30—39. (In Russ.)

Новая имперская история Северной Евразии. Часть 1 / под ред. И. Герасимова. Казань: Ab Imperio, 2017.

Gerasimov I. (ed.) (2017) *The New Imperial History of Northern Eurasia. Part 1*. Kazan: Ab Imperio. (In Russ.)

Петрова Г. В. Бразилия: от монолингвизма к многоязычию // Филологические науки в МГИМО. 2020. Т. 21. № 1. С. 114—120. <https://doi.org/10.24833/2410-2423-2020-1-21-114-120>

Petrova G. V. (2020) Brazil: From Monolingualism to Multilingualism. *Linguistics & Polyglot Studies*. Vol. 21. No. 1. P. 114—120. <https://doi.org/10.24833/2410-2423-2020-1-21-114-120> (In Russ.)

Постсоветская культурная трансформация: медиа и этничность в Татарстане 1990-х гг. / под ред. С. А. Ерофеева, Л. Р. Низамовой. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.

Yerofeyev S. A., Nizamova L. R. (eds.) (2001) *Post-Soviet Cultural Transformation: Media and Ethnicity in Tatarstan in the 1990s*. Kazan: Kazan Univ. Press. (In Russ.)

Соколовский С. В. Языковая политика как фактор национальной безопасности // Этнографическое обозрение. 2016. № 3. С. 46—56. URL: <https://eo.iea.ras.ru/archive/2010s/2016/no3/046.htm> (дата обращения: 21.02.2022).

Sokolovskiy S. V. (2016) Language Policy as a National Security Factor. *Etnograficheskoe obozrenie*. No. 3. P. 46—56. URL: <https://eo.iea.ras.ru/archive/2010s/2016/no3/046.htm> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Шабалина О. И. Управление проблемой многоязычия в рекламной практике Индии // Менеджмент в России и за рубежом. 2015. № 2. С. 100—108.

Shabalina O. I. (2015) Management of Multilingualism in Indian Advertising Market. *Management in Russia and Abroad*. No. 2. P. 100—108. (In Russ.)

Шахбанова М. М. Этноязыковые процессы в Дагестане // Социологические исследования. 2011. № 2. С. 71—77. URL: <https://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-2/Shahbanova.pdf> (дата обращения: 21.02.2022).

Shakhbanova M. M. (2011) Ethno-linguistic processes in Dagestan. *Sociological Studies*. No. 2. P. 71—77. URL: <https://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-2/Shahbanova.pdf> (accessed: 21.02.2022). (In Russ.)

Cenoz J. (2013) Defining Multilingualism. *Annual Review of Applied Linguistics*. Cambridge Univ. Press. Vol. 33. P. 3—18. <https://doi.org/10.1017/S026719051300007X>.

Cenoz J. (2013a) The Influence of Bilingualism on Third Language Acquisition: Focus on Multilingualism. *Language Teaching*. Vol. 46. No. 1. P. 71—86. <https://doi.org/10.1017/S0261444811000218>.

Dewaele J.-M., Li Wei. (2013) Is Multilingualism Linked to a Higher Tolerance of Ambiguity? *Bilingualism: Language and Cognition*. 2013. Vol. 16. No. 1. P. 231—240. <https://doi.org/10.1017/S1366728912000570>.

Goral M., Conner P.S. (2013) Language Disorders in Multilingual and Multicultural Populations. *Annual Review of Applied Linguistics*. Vol. 33. P. 128—161. <https://doi.org/10.1017/S026719051300010X>.

Gorenburg D. (2005) Tatar Language Policies in Comparative Perspective: Why Some Revivals Fail and Some Succeed? *Ab Imperio*. No. 1. P. 257—284. <https://doi.org/10.1353/imp.2005.0023>.

Grin F., Vaillancourt F. (1997) The Economics of Multilingualism: Overview and Analytical Framework. *Annual Review of Applied Linguistics*. Vol. 17. P. 43—65. <https://doi.org/10.1017/s0267190500003275>.

Unsworth Sh. (2013) Current Issues in Multilingual First Language Acquisition. *Annual Review of Applied Linguistics*. Vol. 33. P. 21—50. <https://doi.org/10.1017/S0267190513000044>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.1857](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1857)



В. В. Кобыща, М. В. Новокрещенов, К. Ю. Шепетина

ЖИЛИЩНЫЕ ТРАЕКТОРИИ. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Правильная ссылка на статью:

Кобыща В. В., Новокрещенов М. В., Шепетина К. Ю. Жилищные траектории. Обзор зарубежных и российских исследований // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 348—383. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1857>.

For citation:

Kobyshcha V. V., Novokreshchenov M. V., Shepetina K. Y. (2022) Housing Trajectories. Review of Foreign and Russian Studies. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 348–383. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1857>. (In Russ.)

ЖИЛИЩНЫЕ ТРАЕКТОРИИ. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КОБЫЩА Варвара Викторовна — научный сотрудник, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия; аспирантка, Университет Хельсинки, Хельсинки, Финляндия

E-MAIL: ko.varvara@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8792-2750>

НОВОКРЕЩЕНОВ Максим Владимирович — студент магистратуры, Университет Амстердама, Амстердам, Нидерланды

E-MAIL: m.newcross@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1825-0097>

ШЕПЕТИНА Ксения Юрьевна — студентка магистратуры, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: xenia.shepetina@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4968-6616>

Аннотация. Жилищные траектории — это последовательности изменений мест и условий проживания, а также жилищного статуса в течение жизни человека. Изучение жилищных траекторий — ключевое направление в поле исследований жилищной мобильности. Статья посвящена анализу основных концептуальных и методологических подходов к изучению жилищных траекторий в социальных науках, с фокусом на поле городских и жилищных исследований. В ней систематизированы современные англоязычные и русскоязычные источники, а также продемонстрирована структура международной академической дискуссии о жилищных траекториях. Эта дискуссия строится вокруг дихотомии «структура — актер»,

HOUSING TRAJECTORIES. REVIEW OF FOREIGN AND RUSSIAN STUDIES

Varvara V. KOBYSHCHHA^{1,2} — Research Fellow; PhD Student

E-MAIL: ko.varvara@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8792-2750>

*Maksim V. NOVOKRESHCHENOV*³ — Master Student

E-MAIL: m.newcross@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1825-0097>

*Ksenia Yu. SHEPETINA*¹ — Master Student

E-MAIL: xenia.shepetina@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4968-6616>

¹ HSE University, Moscow, Russia

² University of Helsinki, Helsinki, Finland

³ University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

Abstract. Housing trajectories are a sequence of changes in places, living conditions, and housing status for a person's lifetime. The study of housing trajectories is a key area in housing mobility research. The article analyzes the main conceptual and methodological approaches to studying housing trajectories in the social sciences, with a focus on urban and housing research. Systematizing contemporary English-language and Russian-language sources, the authors demonstrate the structure of the international academic discussion about housing trajectories. Although discussion is built around the “structure-actor” dichotomy, researchers are looking for ways to overcome it and develop an integrative approach. A key issue is the

однако исследователи находятся в поиске путей ее преодоления и выработки интегративного подхода. Одним из ключевых концептуальных вопросов является вопрос о степени и формах агентности людей, выстраивающих на практике свои жилищные траектории. В статье предлагается сравнение ответов, предлагаемых как структурно-, так и акторно-ориентированными подходами. В заключении очерчивается повестка для будущих исследований жилищных траекторий в России, которая, с одной стороны, будет встроена в международную академическую дискуссию по этой теме, а с другой — позволит расширить географию исследований и развить имеющиеся концептуальный аппарат.

Ключевые слова: жилищные траектории, жилищная мобильность, городские исследования, биография, жилищные исследования

degree and forms of agency of people who build their housing trajectories in practice. The article compares the answers offered by both structural and actor-oriented approaches. In conclusion, the authors outline the agenda for future research on housing trajectories in Russia which, on the one hand, is integrated into the international academic discussion on this topic and, on the other hand, allows expanding the geography of research and developing the existing conceptual apparatus.

Keywords: housing trajectories, housing mobility, urban studies, biography, housing studies

Введение

Исследования жилищной мобильности практически с самого начала вошли в «джентельменский набор» городской социологии (см., например, [Зорбо, 2004 (1929)]), однако большее внимание ей стали уделять в послевоенные годы (см. например, [Leslie, Richardson, 1961; Payne, Payne, 1977]). Уже в этот период исследователи стали понимать жилищную мобильность не только как отдельные акты смены жилья, но и как траекторию — последовательность изменений. Это произошло, когда акты жилищной мобильности попали в поле зрения исследователей жизненного цикла: их стали анализировать в связке с развитием профессиональной карьеры, семейных отношений и социально-экономического положения человека.

Траектория — это наиболее общее, зонтичное понятие, которое включает в себя несколько родственных терминов, отсылающих к разным моделям объяснения того, как такая последовательность развивается и формируется. К самым распространенным терминам относятся «карьера» (career), «история» (history) и «путь» (pathway). Траектории описываются как через смену мест, так и через изменение других принципиальных характеристик: формы жилищных отношений, качества, размера и стоимости жилья. Кроме того, важно, что траектория включает не только переезды, хотя основное внимание уделяется именно им, но также периоды имобильности, решения не менять жилье и действия, которые с этим связаны.

Таблица 1. Типология исследований жилищных траекторий

География исследований	Группы теоретических моделей, описывающих жилищные траектории	Факторы, которые исследователи рассматривают как определяющие при анализе того, как выстраиваются жилищные траектории
Зарубежные исследования	Структурно-ориентированные	<ul style="list-style-type: none"> — Жилищная система. — Система семейных отношений. — Структура социально-экономического неравенства. — Система коллективных представлений и доминирующих дискурсов.
	Акторно-ориентированные	<ul style="list-style-type: none"> — Жизненный курс. — Смыслы и эмоции, связанные с домом и жилищной мобильностью. — Комбинация структурных условий, в которых находится человек, с разнообразными смыслами и действиями, которые он производит в этих условиях.
Российские исследования	Структурно-ориентированные	<ul style="list-style-type: none"> — Структурные и институциональные трансформации в постсоветский период. — Структура социально-экономического неравенства.
	Акторно-ориентированные	<ul style="list-style-type: none"> — Жизненные циклы. — Смыслы и эмоции, связанные с переживанием дома.

Цель нашей статьи — проанализировать основные концептуальные и методологические подходы к изучению жилищных траекторий в социальных науках с фокусом на поле городских и жилищных исследований. В первой части мы рассматриваем современные англоязычные источники и демонстрируем структуру международной академической дискуссии о жилищных траекториях. В отличие от предыдущих обзоров по этой теме, которые описывают эволюцию теорий [Beer et al., 2011], мы даем срез концептуальных и методических инструментов, которыми пользуются исследователи жилищных траекторий сегодня (см. табл. 1). Мы располагаем их друг относительно друга (внутри координат «структура — актор») и демонстрируем, какие феномены, связанные с жилищными траекториями, интересуют большую часть ученых, несмотря на разницу в их концептуальных подходах. Во второй части мы обращаемся к релевантным работам российских исследователей. Поскольку в России пока было реализовано гораздо меньше проектов, посвященных непосредственно жилищным траекториям, мы включаем в рассмотрение тематически более широкий набор работ. Они описывают различные аспекты жилищной мобильности и по ним можно делать частичные выводы о траекториях, а также о социальном и институциональном контексте, в котором

они разворачиваются. Описание этих исследований структурировано по тем же координатам, чтобы показать, как они могут быть встроены в международную дискуссию о жилищных траекториях. В третьей части мы даем краткую характеристику методам и данным, которые используются для проведения исследований в этой области как в России, так и за рубежом. В заключении мы очерчиваем повестку для будущих исследований жилищных траекторий в России, которая, с одной стороны, будет встроена в международную академическую дискуссию по этой теме, а с другой — позволит расширить географию исследований и развить имеющийся концептуальный аппарат.

1. Зарубежные исследования

Зарубежные академические тексты с результатами эмпирических исследований жилищных траекторий имеют несколько типичных форматов. Во-первых, в них может описываться вся последовательность периодов жилищной мобильности и иммобильности целиком: ее направленность, частота смены жилья, факторы, влияющие на ее развитие (см., например, [Clark, Deurloo, Dieleman, 2003]). Во-вторых, в ней могут рассматриваться отдельные, как правило, особенно значимые с точки зрения социальной политики фазы, например, начало самостоятельной жизни у молодежи или жилищные решения в старшем возрасте [Beer et al., 2011]. Здесь в некоторых случаях исследователи изучают не только фактическую траекторию, но и жилищные устремления, представления о желаемой или «нормальной» жилищной траектории [McArthur, Stratford, 2021]. В-третьих, такие статьи могут быть сфокусированы на единичных переездах или периодах иммобильности — их причинах, направлениях и смыслах, которые они имеют в более широком биографическом контексте [Metcalfe, 2006; Rosen, 2017]. Даже если в тексте не раскрывается вся фактическая последовательность жилищных событий и состояний, а таких текстов большинство, авторы подразумевают, что тот момент или период, на котором они сосредотачиваются, встроены в более длительную биографическую последовательность и социально-исторический контекст. К примеру, причины и последствия переезда, а также выбор конкретного жилья могут интерпретироваться исходя из предыдущего опыта информантов, конфигурации институциональных и рыночных возможностей для осуществления мобильности, представлений о том, как должна выстраиваться их жизнь в будущем, и т. д.

Как и во многих других предметных полях, теоретические дебаты в поле исследований жилищных траекторий разворачиваются преимущественно вокруг дихотомии «структура — актор», а также вокруг поиска путей для преодоления этой дихотомии [Clapham, 2012b]. Исследования, сфокусированные на структуре, показывают, как развитие типичных или маргинальных жилищных траекторий зависит от крупных социально-экономических факторов, таких как институциональная система и направление жилищной политики государства. Исследования, сфокусированные на акторе, показывают, как человек действует или бездействует по отношению к жилью в тех или иных обстоятельствах.

Важно обратить внимание, что в исследованиях второго типа может быть сделан акцент на агентности индивида, но это совсем не обязательно. Например, работы, которые описывают «лестницу» жилищной карьеры [Morrow-Jones, Wenning, 2005:

1740—1741], предполагают, что поведение человека по отношению к жилью объясняется моделью, согласно которой человек принимает решения самостоятельно, обладая необходимой информацией о своих возможностях. Он старается постоянно максимизировать полезность, то есть на каждой следующей ступени улучшать свои жилищные условия (в первую очередь форму жилищных отношений, а также стоимость жилья). Другими словами, у человека при таком исследовательском подходе нет иной агентности кроме способности к экономической рациональности. В других работах (см., например, Coulter et al., 2011), также сфокусированных на акторе, жилищные решения человека понимаются как функция от его биографических событий, причем наиболее типичных для той или иной фазы «жизненного цикла»: создание собственной семьи, рождение ребенка, выход на пенсию и т. п.

Фокус на структуре или на акторе, таким образом, это в первую очередь методологический ход, который задает определенную перспективу и дизайн исследования. Как мы покажем далее, и структурно-, и акторно-ориентированные исследования могут включать несколько разных концептуальных подходов. Более того, агентность, выражающаяся в способности менять свою жилищную ситуацию и смысловой контекст, в котором выстраивается жилищная траектория, можно обнаружить как в структурно-, так и в акторно-ориентированных исследованиях.

1.1. Структурно-ориентированные исследования

Вопросы социальной структуры появились в социальных исследованиях жилищной мобильности не сразу, а как критика неоклассического экономического подхода, ассоциировавшегося с понятием «жилищная карьера». Ему были противопоставлены понятия «жилищная история» (*housing history*) и «жилищный путь» (*housing pathway*), которые позволяли продемонстрировать, что далеко не всегда человек имеет возможность действовать в отношении своего жилья как свободный рациональный агент, постоянно стремящийся максимизировать полезность [Beer et al., 2011]. Как правило, его жилищная траектория обусловлена его позицией на рынке труда и в социальной иерархии в целом, динамикой развития политических и социально-экономических отношений в конкретном регионе, семейной историей [Forrest, Izuhara, 2012; Forrest, Murie, 1987]. Более того, субъектом жилищной траектории здесь, как правило, является не отдельный человек или домохозяйство, а поколение. Например, часто сравниваются жилищные траектории «миллениалов», которые имеют дело с либеральным рынком жилья, прекарной занятостью, более гибкими семейными отношениями, и их родителей, чья жилищная траектория складывалась в более благоприятных и стабильных условиях. Однако надо заметить, что, хотя социальные исследователи и отошли во многом от экономической аксиоматики в изучении жилищной мобильности, понятие «жилищная карьера» по-прежнему распространено и может употребляться в более широком смысле.

Можно выделить несколько факторов, способствующих развитию структуралистских объяснительных моделей жилищной мобильности. Во-первых, оно было связано с расширением объекта исследований и включением в выборку людей с низким материальным достатком [Stephens, Leishman, 2017; Wang et al., 2019], мигрантов [Aigner, 2019; Maslova, King, 2020; Özüekren, van Kempen,

2002; Vogiazides, Chihaya, 2020], бездомных [Clapham, 2003; Parsell, Parsell, 2012], представителей ЛГБТ-сообществ [Felicianantonio, Dagkouly-Kyriakoglou, 2020] и других уязвимых — в рамках конкретной национальной системы распределения благ — категорий, чьи жилищные траектории никак не вписывались в модель, характеризующую процесс постепенного улучшения качества и ценности жилья по мере стабильного роста дохода в течение жизни [Clark, Deurloo, Dieleman, 2003]. Помимо «традиционных» уязвимых категорий в круг внимания исследователей постепенно входят и те, кто сталкивается со специфической дискриминацией, порожденной именно жилищными отношениями (например, арендаторы, владеющие домашними животными [Power, 2017]).

Во-вторых, все чаще стали проводиться международные сравнительные исследования жилищной мобильности (см. например, [Feijten, 2007]). Они основаны на количественных данных, полученных в результате массовых панельных обследований в масштабе страны, и предполагают анализ базовых показателей, которые описывают социально-демографический состав населения и экономическое поведение граждан (см., например, [Albertini, Kohli, 2013; Coulter, van Ham, Feijten, 2011]). Такого рода исследовательские проекты базируются на представлении о том, что в каждой из стран сложилась своя система распределения ресурсов, в том числе и жилищных, которая объясняет различия в том, как выглядят наборы типичных жилищных траекторий. Они нацелены на выявление трендов в формировании жилищных траекторий, характерных для каждой из стран (или групп стран с похожими системами), и на поиск корреляции между переменными, описывающими жилищные статусы, с другими социально-демографическими и экономическими характеристиками.

Третий фактор, способствовавший распространению структуралистских исследований жилищной мобильности, касается изменений в эмпирическом контексте, который наблюдают ученые. На нем мы остановимся немного подробнее. Популярность структурно-ориентированных моделей связана с глобальными трендами политэкономического развития и изменениями, произошедшими в жилищных сферах разных стран. В условиях оформившихся неолиберальных режимов и ослабевающего государства всеобщего благосостояния жилье перестало рассматриваться как безусловное общее благо, гарантированное государством, каким оно в той или иной мере признавалось в послевоенный период, и стало одной из форм экономического капитала — источником выгоды, долгосрочной инвестицией или накоплением [Wind, Hedman, 2017]. Жилье вместе с другими социальными благами, например, медицинскими услугами, в значительной мере перешло из области государственной ответственности в область свободных рыночных отношений [Dewilde, Ronald, 2017]. Это, в свою очередь, означало постепенное увеличение неравенства и социально-экономического разрыва между людьми, которые могут позволить себе жилье разной стоимости, формы пользования или владения (собственность, частная или социальная аренда, проживание в жилье родственников, партнера и т. д.). Жилищное неравенство, как правило, усиливается в связке с сокращением регулирования и защиты трудовых отношений, распространением прекарных форм занятости и стимулированием мобильности рабочей силы [Dol, Boumeester, 2018].

Динамика неравенства в контексте жилья наиболее наглядно представлена в исследованиях межпоколенческого трансфера недвижимости и жилищных траекторий молодых людей. Социальная проблема, лежащая в их основе, — это снижение шансов более молодого поколения на то, чтобы владеть собственным жильем, по сравнению с шансами, которые были у поколения их родителей [Green, 2017]. Эта тенденция особенно сильно выражена в странах с либеральной экономикой, где предпочтение традиционно отдается домовладению. Части молодых людей все-таки удается это сделать, как правило, благодаря наследованию недвижимости или перераспределению семейного капитала от старших к младшим, но это происходит на более поздних этапах жизни [Coulter, 2018]. Часть людей вообще не имеет шансов приобрести жилье. При этом зачастую они также не попадают под узкие категории нуждающихся, кому положено социальное жилье или жилищные субсидии в этих странах. В результате они остаются вечными квартиросъемщиками на сравнительно малорегулируемом и малопредсказуемом рынке частной аренды. Даже несмотря на облегчение системы жилищного кредитования, дети квартиросъемщиков, скорее всего, тоже останутся квартиросъемщиками и не смогут приобрести жилье самостоятельно [Körpe, 2018]. В то же время старшее поколение «беби-бумеров», успевших воспользоваться более стабильной ситуацией на рынке труда и в жилищной сфере (государство всеобщего благосостояния), теперь капитализируют имеющееся жилье и приобретают дополнительную недвижимость, призванную стать их финансовой «подушкой безопасности» в пожилом возрасте [Mandić, Mrzel, 2017]. Таким образом, растет как меж- [Hoolachan, McKee, 2018; Ronald, Lennartz, 2018], так и внутривоколенческое неравенство [Lennartz, Helbrecht, 2018]. Структурные факторы — социально-экономический статус семьи, пространственная сегрегация, политики по преодолению жилищного кризиса или их отсутствие — все сильнее влияют на то, как выстраиваются жилищные траектории и более широкий процесс социальной мобильности молодых поколений.

Структурные модели в исследованиях жилищной мобильности используют в качестве объяснения один из следующих элементов или их комбинацию: (1) жилищные системы; (2) систему межпоколенческих семейных отношений, (3) структуру социально-экономического неравенства в обществе; (4) систему доминирующих коллективных представлений, которые производятся в дискурсе, касающемся жилья и социальной мобильности. Далее мы подробнее рассмотрим, что включает в себя каждый из этих элементов.

1.1.1. Жилищная система

Исследования жилищной мобильности являются элементом более широкого поля исследований жилищных систем и их связи с организацией государства благосостояния [Lowe, 2011; Kemeny, Lowe, 1998]. Одна из последних версий модели жилищных систем была разработана С. Арбачи [Arbaci, 2019], она основана на сравнительном анализе количественных данных по крупным европейским и англосаксонским городам в середине 1990-х, целью которого был поиск связи между жилищными системами и пространственной сегрегацией в крупных городах. Эта модель включает четыре жилищные системы: социально-демократическую, корпоративную, либеральную и семейную.

Первые два типа предполагают, что государство в значительной мере под-держивает статус жилья как блага, нежели товара, обеспечивая людей жильем напрямую, предоставляя жилищные субсидии, регулируя жилищный рынок и обеспечивая защиту прав жильцов. Эти меры распространяются на всех или на достаточно широкий круг граждан. Для рынка аренды это означает, что здесь нет разрыва между частной и социальной формами аренды, так как обе части рынка подвергаются сильному государственному регулированию, а права арендаторов в обоих случаях хорошо защищены [Kemeny, 2001]. Поэтому в целом аренда в таких странах воспринимается как легитимная форма организации жилищных отношений и долгосрочное решение не только в молодом, но и в старшем возрасте. Либеральная система, напротив, предполагает, что государство максимально устраняется из жилищного рынка. Здесь преобладают частная собственность на жилье, использование жилья как финансового актива и крайне ограниченная поддержка государством жилищных прав граждан. Субсидии распространяются только на малоимущие слои и тех, кто напрямую зависит от государства. Это приводит к заметному разрыву между социальной и частной арендой. Частная аренда слабо поддается регулированию, и арендаторы оказываются в весьма уязвимой и нестабильной позиции (классическим примером такой модели является Великобритания с начала 1980-х годов, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия — с 1990-х). Домовладение продолжает рассматриваться как норма, даже когда вследствие все большей финансиализации жилищного сектора, для большинства людей резко сокращаются возможности его приобрести.

1.1.2. Система межпоколенческих семейных отношений

Первые три типа жилищных систем, описанные С. Арбачи, более-менее повторяют результаты предыдущих исследований. Четвертый тип позволяет расширить и развить сложившуюся теоретическую модель. Семейная жилищная система, распространенная в странах Южной Европы и Глобального Юга (см. пример Чили [Stillerman, 2017]), объединяет в себе характеристики корпоративной и либеральной систем, но при этом в ее основе лежат связи внутри расширенной семьи как основной механизм (пере)распределения недвижимости и иных ресурсов: через наследование, предоставление возможности проживания, финансирование аренды или покупки. Впрочем, системы семейных отношений и «межпоколенческий контракт», то есть принципы поддержки и распределения ресурсов между представителями разных поколений одной семьи — от старших к младшим и наоборот, которые считаются справедливыми, оказываются существенным фактором жилищной мобильности везде, не только в южных странах (см. примеры стран Восточной Европы [Druta, Ronald, 2018; Zavisca, 2012]). К примеру, в Южной Европе больше распространено совместное проживание родителей с повзрослевшими детьми и возвращение в родительский дом в кризисных жизненных ситуациях (развод, потеря работы и т. д. [Arundel, Lennartz, 2017]), но в странах Северной Европы родители гораздо чаще оказывают регулярную финансовую помощь взрослым детям, что, наряду с мерами государственной поддержки, облегчает их самостоятельное проживание [Albertini, Kohli, 2013; Isengard, König, Szydlik, 2018].

Впрочем, более пристальное внимание к семейным отношениям как фактору, оказывающему влияние на формирование жилищной траектории, и качественный анализ позволяют увидеть их процессуальную природу. Как правило, они подразумевают переговорный процесс, выработку компромиссов, переопределение отношений и идентичностей в результате того или иного межпоколенческого трансфера, связанного с жильем [Cook, 2021; Druta, Ronald, 2018; Heath, 2018; Levy, Murphy, Lee, 2008]. Расширенная семья выступает в качестве комплексного субъекта жилищной траектории, соединенного межпоколенческим контрактом, отношениями реципрокности, зависимости и т. д.

1.1.3. Структура социально-экономического неравенства

Существует базовый набор социально-демографических и социально-экономических показателей, которые исследователи проверяют на наличие корреляции с типом жилищной траектории или какими-то отдельными ее параметрами. К ним относятся в первую очередь те, что показывают уровень дохода и образования, а также сферу и форму занятости — как самого человека, так и его семьи. В целом они мало отличаются от показателей, используемых для анализа структуры неравенства в других областях потребления. Однако важным дополнением выступает внимание к жилищному (tenure) статусу: является ли человек домовладельцем, социальным или частным арендатором. То, насколько сильно каждый из этих показателей при прочих равных связан с жилищной траекторией, является вопросом для эмпирической проверки и может различаться в зависимости от страны, исторического периода, конкретных категорий людей или стадии жизненного курса. Как правило, значимость этих показателей рассматривается в масштабах всего населения той или иной территории, а точнее тех, кто обычно попадает в национальные количественные обследования. Однако вопросы социально-экономического неравенства в отношении жилищных траекторий могут рассматриваться и более сфокусированно — применительно к уязвимым и маргинализированным категориям людей, о чем мы упоминали ранее.

Также стоит обратить внимание на то, что помимо социально-экономического положения индивида или домохозяйства на развитие жилищных траекторий могут существенно влиять локальная система пространственного неравенства и динамика местного рынка недвижимости [Clark et al., 2003; Wind, Hedman, 2017]. Хотя исследования национального масштаба по-прежнему преобладают, появляется все больше работ, описывающих жилищные траектории в более мелком масштабе, что позволяет анализировать различия между регионами, городами и районами в рамках одной жилищной системы [Aigner, 2019; Aliu, 2019; Alkay, 2011; Cui, 2020; Forrest, Izuhara, 2012; Li, Mao, 2019; Shuttleworth, Cooke, Champion, 2019].

1.1.4. Система коллективных представлений и доминирующих дискурсов

Исследования дискурса о жилье начинаются с анализа документов жилищной политики [Hastings, 2000]. Государство производит не только меры регулирования и правила игры. С помощью текстов жилищных политик оно формирует представления о «правильном» гражданине, задает набор возможностей по построению индивидуальной траектории и расставляет моральные оценки тем или иным фор-

мам жилищного потребления. Наиболее фундаментальным сдвигом, который произошел в государственном дискурсе о жилье во многих странах, считается конструирование домовладения как эталонной и единственной по-настоящему приемлемой формы жилищных отношений [Gurney, 1999; Ronald, 2008], относительно которой все остальные формы считаются более или менее маргинальными [Brown, King, 2005]. Однако государство перестало быть единственным источником этого дискурса, он дал начало множеству низовых практик правительности (governmentality), а также был интериоризирован отдельными людьми как основа их жилищных устремлений [Preece et al., 2020].

Включение дискурса в анализ жилищных траекторий открывает ряд исследовательских возможностей. Во-первых, дискурс — более гибкий феномен, позволяющий изучать не только социально-экономические факторы, но и структуру культурных представлений, специфичную для определенных обществ и определенного исторического периода. Таким образом, он дает возможность объяснять не только сходства между странами, принадлежащими к одной жилищной системе, но и различия — исторические и межстрановые. Во-вторых, когда жилищную политику понимают как дискурс, становится заметно, что она не обязательно является монолитной и однонаправленной, а может быть, напротив, внутренне неоднородной, противоречивой и изменчивой. Она складывается как динамическая констелляция различных решений и ценностей [Meeus, Decker, 2015].

В-третьих, исследование дискурса позволяет продемонстрировать зазор, который возникает между «объективными» характеристиками жилищной системы на данный момент (состояние рынка недвижимости и рынка труда, степень социально-экономического неравенства, направленность жилищной политики государства), с одной стороны, и нормами в отношении жилья и социальной мобильности людей — с другой. Наиболее очевидный пример — поддержание идеологии домовладения в ситуации, когда оно оказывается доступно все меньшему числу людей [Fikse, Aalbers, 2020; Raco, 2012].

В-четвертых, разрыв между структурными обстоятельствами и дискурсивно сконструированной реальностью открывает пространство для агентности и эмоций, с которыми сопряжено проживание резидентной траектории и которые актуализируются в нарративе о ней [McKee et al., 2020]. Агентность концептуализируется как противодействие существующему режиму правительственности [McKee et al., 2017], либо как креативные и разнообразные практики, с помощью которых человек строит свою жилищную траекторию и биографию, исходя из актуальных дискурсов и структурных условий [Meeus, Decker, 2015]. В частности, исследователи показывают, что реакция на представления, циркулирующие в доминирующем дискурсе, может различаться. Человек способен рефлексивно и прагматично «работать» со структурными условиями, в которых он находится, а также с требованиями к его траектории, предъявляемыми обществом, и оценками ее соответствия норме.

Благодаря этому в исследованиях жилищных траекторий постепенно формируется дополнительное направление — исследования жилищных устремлений (aspirations). Устремления возникают на стыке доминирующего дискурса и индивидуального биографического нарратива, они позволяют соединить темпоральное

и статусное измерения траектории, а также обнаружить, каким образом человек на практике преодолевает разрывы между дискурсивными нормами и структурными условиями [Preese et al., 2020]. Однако понятие жилищных устремлений пока полностью не устоялось, оно часто используется наряду с другими терминами (например, «ожидания» или «предпочтения»), а гипотезы о связи между стремлениями и жилищными системами нуждаются в более тщательной эмпирической проверке [Preese et al., 2020]. Большинство из опубликованных эмпирических исследований описывают устремления молодых людей [Colic-Peisker, Johnson, 2012; McKee, 2012; Paris et al., 2011], хотя есть и те, что применяют это понятие к более старшим возрастным группам [Venson, Jackson, 2017; Raco, 2009].

1.2. Акторно-ориентированные исследования

Вторая группа исследований помещает в центр анализа самих акторов. Переезды рассматриваются в контексте более широкой биографической траектории. В зависимости от того, как концептуализируется биография — как последовательность относительно универсальных предзаданных жизненных стадий или как рефлексивный проект, — действующим приписывается большая или меньшая агентность, то есть способность действовать и конструировать смысловой контекст своих действий. Значительная часть этой группы исследований посвящена смыслам, которые придаются жилью и переездам, однако в целом акторно-ориентированные исследования жилищных траекторий неоднородны. Среди их авторов идут споры и формулируются принципиально разные идеи о жилье и переездах. В этом разделе мы рассмотрим три основных направления, сложившихся на сегодняшний день. Первое направление фокусируется на жизненном курсе, второе — на смыслах и эмоциях, связанных с домом и жилищной мобильностью, третье — на комбинации структурных условий, в которых находится человек, с разнообразными смыслами и действиями, которые он производит в этих условиях (интегративный подход).

1.2.1. Жизненный курс

Концепция жизненного курса предполагает, что индивидуальная биография человека состоит из серии событий, каждое из которых можно отнести к одной из жизненных карьер: карьере в домохозяйстве, жилищной карьере. События, которые происходят в рамках одной из этих карьер, могут иметь последствия, в том числе и долгосрочные, для других карьер. Из совокупности разных карьер и их влияния друг на друга формируется индивидуальный жизненный курс [van Ham, 2012].

Слово «индивидуальный» используется в двух смыслах. Во-первых, оно указывает на то, что речь идет о жизненном курсе индивида, а не домохозяйства. Именно поэтому его карьера в рамках домохозяйства (или домохозяйств) рассматривается как составная часть его жизненного курса. Во-вторых, «индивидуальный» означает «уникальный». Дело в том, что концепция жизненного курса в исследованиях жилищной мобильности пришла на смену более ранней концепции «жизненного цикла» (life cycle) [Pickvance, 1974]. Изначально предполагалось, что поведение индивида на рынке жилья определяется прежде всего стадией жизни, на которой

он находится, причем все люди проходят более-менее одинаковые жизненные стадии в одинаковой последовательности: жизнь в родительском доме, вступление в брак и переезд от родителей, рождение детей, отделение и переезд детей и т. д. Каждая стадия предполагает свои специфические потребности относительно жилья (тип, размер и т. п.), а переезд позволяет перейти к более полному удовлетворению этих потребностей.

Концепция жизненного курса, хотя и ставит также решения о переезде в зависимость от разных жизненных событий, которые могут качественно или количественно изменять потребность в жилье, не предполагает, что набор и последовательность этих событий предзаданы. Жизненные карьеры могут складываться абсолютно по-разному, и движение по ним на протяжении жизни далеко не всегда бывает восходящим [Beer et al., 2011; Winstanley, Thorns, Perkins, 2002]. Диверсификация жизненных стратегий в современном мире, например, распространение сознательного отказа от деторождения, рост числа разводов, отложенное взросление [Clapham, 2002], иллюстрирует, как по-разному могут складываться жизненные карьеры и как важно для исследователя не делать поспешных выводов о наличии общих и универсальных жизненных циклов.

Таким образом, эта группа исследований отвечает на вопросы, как различные жизненные события и решения могут влиять на желание переехать, возможность реализовать это желание и сам акт переезда [Coulter, van Ham, 2013; Coulter et al., 2011; Feijten, 2007]. Хотя набор жизненных событий в целом остается довольно типичным, авторы обращают внимание на вариации в характеристиках этих событий. Например, исследования показывают, что на выбор типа первого жилья после переезда из родительского дома влияет не только наличие или отсутствие партнера, но также статус отношений с ним [Deurloo, Clark, Dieleman, 1994; Mulder, Hooimeijer, 1999; Mulder, Manting, 1994]. Развод для одного или обоих супругов часто ведет к переходу от владения жильем к аренде, а в некоторых случаях — к возвращению в родительский дом [Feijten, 2005; Feijten, van Ham, 2007]. При достижении пожилого возраста увеличивается вероятность обладать собственным жильем и заметно снижается частота переездов, однако в странах с высоким уровнем жизни постепенно появляются и противоположные тенденции [Beer et al., 2011].

Такой подход к жилищной мобильности, безусловно, не только подчеркивает значимость индивидуальной биографии для жилищной карьеры, но и предполагает наличие у акторов определенной агентности: люди могут по-разному выстраивать свои жизненные траектории, соответственно, и их путь на рынке жилья будет разным. Но все-таки этот взгляд не подразумевает полной свободы действующего. Он нацелен на поиск устойчивых регулярностей в пересечении биографии и жилищной траектории и сохраняет предпосылку о том, что актер стремится достичь оптимального соотношения между характеристиками жилья и тем, что требуется для развития разных составляющих его жизненного курса. Иными словами, два разных индивида, которые имеют схожую конфигурацию жизненных карьер, обладают одинаковым по своим характеристикам жильем и действуют в одних и тех же структурных условиях, неизбежно будут принимать одинаковые решения в отношении жилья. Культурные смыслы и разнообраз-

ные способы интерпретации жизненных обстоятельств, как правило, остаются за скобками такого рода исследований, хотя постепенно сторонники этого подхода начинают декларировать их значимость [Clark, 2012].

1.2.2. Смыслы

Вторая группа акторно-ориентированных исследований менее многочисленна. В нее входят в основном качественные работы, написанные в духе культурсоциологии и исследований культуры потребления. Они посвящены тому, как через переезды и пользование жильем конструируются идентичность и социальные отношения. В фокусе ученых находится то, какими смыслами жилье обладает для разных людей, как в зависимости от этого развивается их жилищная (им)мобильность, как они переживают свой опыт нахождения в том или ином месте, в тех или иных жилищных условиях [Parsell, 2012].

Подобные исследования зачастую противопоставляют себя концепции жизненного курса как чересчур опирающейся на модель экономической рациональности и критикуют количественный подход в исследованиях жилищной мобильности [Winstanley et al., 2002]. Их не устраивает, в частности, то, что в подобных работах игнорируется процессуальный характер принятия решений о жилье, который неразрывно связан с гендерным неравенством и распределением власти внутри семьи. Исследователи настаивают, что отношения с жильем нужно анализировать в их сложности и разнообразии.

Здесь исследования жилищных траектории тесно смыкаются с исследованиями дома (home) как одновременно смыслового, эмоционального и материально феномена [Easthope, 2004; Hamzah, Adnan, 2016; Winstanley et al., 2002]. Однако жилье рассматривается не только как ключевое место в жизненном пространстве человека, но и как узел в системе отношений человека с государством и другими людьми. В связи с этим большое внимание уделяется также жилищному статусу и его изменениям в течение жизни человека [Bates et al., 2020; Köppe, 2017] — одной из базовых составляющих идентичности и онтологической безопасности [Hiscock et al., 2001; Knight, 2002; McKee et al., 2020; Smith, 2017; Winstanley et al., 2002]. Чтобы изучить фундаментальную роль жилья, ученые обращаются к анализу онтологических нарративов — историй, которые акторы создают и используют для осмысления своей жизненной ситуации и осуществления тех или иных действий [Gutting, 1996].

Подобные исследования обычно в качестве метода сбора данных используют нарративные биографические интервью, которые могут дополняться наблюдениями¹. Это позволяет анализировать жилищную траекторию с точки зрения действующего, который может руководствоваться разными логиками и видами рациональности. Авторы не отрицают существование внешних, структурных факторов, но стремятся продемонстрировать, что у акторов в любом случае остается возможность самостоятельно осуществлять навигацию в поле смыслов, решений и действий. Это касается не только отдельных решений, но и более фундаменталь-

¹ Хотя есть и исключения в виде количественных исследований культурных значений жилья (см., например, [Saunders, 1989]).

ных механизмов, с помощью которых актер управляет временем и пространством, в которых разворачивается его жизнь.

А. Меткалф [Metcalf, 2006], опираясь на античное понятие *kairos*, разбирается в том, что на практике значит *правильное время* для смены жилья. На примере четырех эмпирических кейсов он показывает, как люди распознают констелляцию необходимых условий, устанавливают временные границы действия и, в итоге осуществляя переезд, формируют дальнейшее направление своей жизненной траектории. В таких поворотных точках жилищной траектории создается или заново конституируется дом (home). Автор анализирует жилищную мобильность представителей среднего класса, у которых, несмотря на определенные финансовые ограничения, есть сравнительно большие возможности для того, чтобы выбирать, принимать решения и действовать согласно тому, какой они хотят видеть следующую стадию своей жизни. Э. Розе [Rosen, 2017] применяет смысло-ориентированный подход для изучения совсем иной категории людей — малообеспеченных резидентов социального жилья в Америке, которые остаются имобильными или маломобильными, даже когда жилищная субсидия позволяет им переехать в район с более высоким качеством жизни. Это исследование демонстрирует силу нарративов, с помощью которых горожане рефлексиируют свой опыт жизни в конкретном месте и которые служат основой для принятия ими дальнейших решений. Жилищная мобильность случается после того, как происходит событие, разрывающее этот локальный биографический нарратив, событие, которое невозможно нормализовать.

Хотя такого рода исследования предлагают гораздо более насыщенное описание жилищных траекторий людей, то, что исследователи зачастую намеренно уделяют меньше внимания системным закономерностям и структурным факторам, делает этот подход фрагментарным. Кроме того, он не позволяет масштабировать полученные выводы и оценивать, насколько распространены и типичны культурные механизмы, работу которых описают исследователи. Для решения этой проблемы был предложен подход, о котором пойдет речь далее.

1.2.3. Интегративный подход

Большая часть исследований этой третьей группы так или иначе опирается на понятие «жилищный путь» (housing pathway) и связанный с ним конструктивистский подход в жилищных исследованиях, который разрабатывается Д. Клэпемом [Clapham, 2002; Clapham, 2005; Clapham, 2012a], его последователями [Bates et al., 2020; McArthur, Stratford, 2020; Meeus, Decker, 2015; Stillerman, 2017] и авторами объяснительных моделей, призванных усовершенствовать его подход [Beer et al., 2011]. В рамках этого направления критике подвергаются подходы, фокусирующиеся на анализе государственной политики в сфере жилья, и неоклассический экономический подход к анализу рынка жилья [Clapham, 2002]. Первый не устраивает исследователей, так как никакие государственные решения не обладают прямым действием, они всегда опосредованы «отношением, восприятием и поведением других акторов» [Clapham, 2002: 57] и имеют непредсказуемые последствия, если не принимать это во внимание. Второй строится на крайне упрощенных предположениях о человеческом поведении, которое сводится к модели экономической рациональности.

Вместо этого представители такого подхода рассматривают структурные факторы, влияние разных жизненных событий и приписываемые жилью смыслы в совокупности, не отдавая предпочтение ничему из этого в отдельности. Неудивительно, что в результате часто получаются исследования со смешанным дизайном, где, например, количественные данные позволяют выделить наиболее распространенные жилищные пути, а качественные — представить те социальные категории, которые обычно не попадают в опросы, а также продемонстрировать смыслы, производимые в таких траекториях, и практики, с помощью которых траектории воплощаются в жизнь [Clapham et al., 2014]. Подобные исследования, конечно, не предполагают, что действующие на рынке жилья акторы обладают неограниченной агентностью — они все равно вынуждены считаться с обстоятельствами на рынке труда и в жилищной сфере, с текущей жилищной политикой и культурными нормами в отношении жилищной мобильности людей.

Кроме того, значение структуры для жилищного пути подчеркивается с помощью понятия «реификация», которое описывает «восприятия продуктов человеческой деятельности как чего-то совершенно от этого отличного, вроде природных явлений, следствий космических законов или проявлений божественной воли» [Бергер, Лукман, 1995: 146]. Такая логика хорошо работает в исследованиях жилья. Несмотря на то, что, например, социальные проблемы в этой области [Kemeny, Jacobs, Manzi, 1999] и государственная политика [Kemeny, Lowe, 1998] конструируются в процессе взаимодействия множества конкретных людей и их тоже можно считать проявлениями агентности, до горожанина они доходят в виде уже готовых структур, с которыми ему приходится так или иначе считаться. Поэтому принимать их во внимание при анализе жилищного пути — не значит полностью отказываться от точки зрения действующего. Как пишет об этом Д. Клэпем, «социальные конструктивисты должны будут признать, что социальные институты в определенных ситуациях могут реифицироваться, что делает более релевантным рассмотрение социальных фактов. Главное — это определить границы таких ситуаций во времени и пространстве» [Clapham, 2012a: 185].

Типичным примером эмпирического исследования в рамках этого подхода является анализ жилищных путей молодежи Великобритании [Clapham et al., 2014]. Оно удачно комбинирует качественные и количественные данные. Полуструктурированные интервью позволяют исследователям изучить жилищный опыт молодых людей, основные трудности, с которыми они сталкиваются, и их стремления. На основании этого авторы выделяют характерные для молодежи жилищные пути. Затем количественный кластерный анализ на лонгитюдных данных позволяет им оценить распространенность каждого из путей среди британской молодежи разных поколений. Качественные данные используются при этом для насыщенного описания получившихся траекторий и позволяют лучше понять опыт молодых людей, которым они присущи. Кроме того, на основании качественных данных исследователям удается сделать выводы о маргинализированных группах, не представленных в больших количественных исследованиях (бывших бездомных и нынешних получателях социального жилья), а также обнаружить траектории, которые оказываются за пределами возможностей кластерного анализа. Все выделенные жилищные пути молодых людей определяются как смыслами и стрем-

лениями, так и ограничениями, накладываемыми рынком и жилищной системой. Такой анализ позволяет не только оценить текущее положение, но и дать прогноз на будущее (на основании рыночных и политических прогнозов) и сформулировать рекомендации для социальной политики в этой сфере.

Как видно из этого раздела, к настоящему моменту анализ жилищных траекторий представляет собой обширную область в международных исследованиях жилья и мобильности. Исследователи продолжают вести дебаты по поводу базовых понятий и их релевантности для изучения различных регионов и исторических периодов. Однако это не мешает формулировать и обсуждать общие вопросы, имеющие как научную, так и прикладную значимость. К таким вопросам относятся последствия либерализации и дерегуляции жилищной сферы, возникновение «поколения арендаторов», трансформация и локальные особенности межпоколенческого контракта, финансиализация жилищного сектора, связь все более разнообразных сценариев жизненного курса и жилищных биографий горожан. Сформировалось несколько методологических подходов, которые различаются между собой по тому, что лежит в основе их объяснительных моделей — структура или актор. При этом, как мы продемонстрировали, и структура, и актор могут быть по-разному концептуализированы.

То, принимается ли в расчет агентность людей (то есть способность относительно самостоятельно и рефлексивно действовать) и в какой мере, зависит от конкретных способов концептуализации. В структурных исследованиях агентность важна при анализе того, как жилищные траектории выстраиваются внутри системы семейных отношений или под воздействием доминирующих дискурсов о жилье (одним из ключевых трансляторов дискурса зачастую также является семья). В первом случае семья, состоящая из людей нескольких поколений, может становиться коллективным агентом жилищной траектории или, наоборот, агентность индивида формируется при отделении себя от семьи и построении жилищной траектории относительно самостоятельно. Во втором случае агентность проявляется в том, как человек рефлексивизирует ожидания, которые общество предъявляет к его жилищной траектории, и трансформирует эти ожидания (совладевает с ними или противопоставляет им альтернативные сценарии), исходя из своих индивидуальных жизненных обстоятельств и позиции в социальной структуре. Акторно-ориентированные исследования могут быть основаны как на моделях, которые практически исключают агентность (например, модель жизненного цикла с предзаданными фазами), так и, напротив, концентрироваться на ней (например, исследования жилищной траектории как способа конструирования дома). В последнее десятилетие исследователи жилищных траекторий стремятся выработать интегративные подходы: авторы изучают разнообразные способы построения жилищной траектории, но учитывают возможности и ограничения агентности человека в зависимости от его социально-экономической позиции на той или иной стадии жизненного курса, а также институциональных и политических условий, специфичных для конкретного места и исторического периода.

Описав текущее состояние в поле международных исследований жилищных траекторий, мы перейдем к тому, какие проекты по схожим темам реализованы российскими учеными. Для того чтобы вписать российские исследования в между-

народный контекст, мы использовали сходные принципы категоризации подходов и факторов, которые лежат в основе объяснительных моделей.

2. Российские исследования

Тема жилищной мобильности российскими исследователями затрагивается не так часто. Если в зарубежной традиции могут быть четко выделены ключевые авторы, специализирующиеся исключительно на ней и задающие направление международной дискуссии, российское поле исследований в этом плане выглядит еще недостаточно проработанным. На настоящий момент есть лишь небольшое число авторов, которые в процессе своей профессиональной карьеры так или иначе работали в этом тематическом направлении.

Среди тех, кто относительно систематически занимался жилищной мобильностью в России, можно выделить М. Старикову и ее коллег [Старикова, 2015; Старикова, 2018; Старикова, 2019; Старикова, Бушкова-Шиклина, 2019], фокусировавшихся на вопросах жилищного неравенства, социальной стратификации на примере разных региональных городов России; Е. Полухину и ее коллег [Полухина, 2019а; Полухина, 2019b; Полухина, Балакирева, Горяйнова, 2017], которые исследовали жилищную мобильность с точки зрения поколений и класса; Е. Варшавера и А. Рочеву [Варшавер и др., 2019; Варшавер и др., 2020а; Рочева, 2015; Рочева, Варшавер, 2020], занимающихся жилищной мобильностью инородных мигрантов. Безусловно, на этом список исследователей не заканчивается, однако мы можем говорить уже скорее об их единичных проектах.

В российских исследованиях в этом тематическом поле можно встретить упоминание «переездов» [Полухина, Балакирева, Горяйнова, 2017], «жилищной мобильности» [Социальная мобильность в России..., 2017], «географических перемещений» [Стрельникова, 2014], «миграционных биографий» [Голенкова, Сушко, 2016], «расселения» — в случае переездов этнических мигрантов [Варшавер и др., 2019; Варшавер и др., 2020а]. Лишь в немногих работах используются такие понятия, как «жилищная карьера» или «карьерная траектория» [Рочева, 2015], «жизненная траектория» [Стрельникова, 2015], о близких к ним понятиях мы говорили в разделах с зарубежными исследованиями. Такой набор терминов продиктован преобладающим в поле российских исследований макроузлом на переезды, который не позволяет интерпретировать смыслы жилищной мобильности с точки зрения действующего. Даже некоторые качественные исследования риторически придерживаются количественной логики и стремятся делать крупные обобщения, несмотря на не вполне подходящие для этого данные. Кроме того, в большинстве российских исследований жилищная мобильность изучается скорее не как цепочка взаимосвязанных событий, которые анализируются в широком контексте жизненного опыта, а как единовременные и оторванные друг от друга события. Тем не менее существующий массив исследований можно разделить на три основных направления.

2.1. Структурные трансформации в постсоветский период

Как и многие другие социально-экономические явления, жилищную мобильность в России принято анализировать в контексте происходящих структурных трансформаций. Она представляется результатом возникновения и развития

новых институтов на рынке жилья. Российские исследователи прослеживают динамику участия населения в приватизации в начале постсоветского периода и то, какие факторы влияют на ее темп [Бессонова, Крапчан, 1994; Бессонова, 2011]. Анализируют, как происходит освоение механизма ипотеки² и как она влияет на возможности социальной мобильности [Климов, 2009] и какие возможности и риски с ней связаны [Тыканова, Хохлова, 2017]. Изучают, что значит быть квартиросъемщиком на российском жилищном рынке [Шомина, 2010]. Ряд исследований из этой категории имеет сравнительный межпоколенческий характер [Бурдяк, 2015; Стрельникова, 2014]. Некоторые из них сочетают и сравнительный и институциональный компоненты. К примеру, А. Долгова и Е. Митрофанова показали, что внутри разных поколений, начиная с советского периода до настоящего времени, в связи с изменением институциональных условий возраст переезда из родительского дома постепенно увеличивается, а причины переезда становятся более дифференцированными [Долгова, Митрофанова, 2015].

2.2. Мобильность в системе социальной стратификации и неравенства

Жилищная мобильность в российских исследованиях также довольно часто рассматривается как часть социальной мобильности. Такие исследования, как правило, выполнены с опорой на теорию П. Бурдые [Полухина, 2019а; Полухина, 2019b; Полухина, 2017; Социальная мобильность в России..., 2017; Социальная мобильность в усложняющемся обществе..., 2019], при этом жилье рассматривается в них как часть экономического капитала и объективированное выражение социального статуса человека. Оно используется для «реализации социального и в конечном счете трудового потенциала личности, способного обеспечить выход на более высокую ступень материального благосостояния» [Айзинова, 2007: 115], служит основой «нефинансового богатства» [Черкашина, 2018: 78], важной составляющей социально-экономической стратификации [Корнев, 2005; Старикова, Бушкова-Шиклина, 2019] и объективированным выражением социальной мобильности [Социальная мобильность в России..., 2017: 225].

Жилищная мобильность иногда встраивается в логику движения внутри системы стратификации, где «восходящая» или «нисходящая» мобильность приводят к «успеху» или «стагнации» [Полухина, 2017; Стрельникова, 2014; Социальная мобильность в усложняющемся обществе..., 2019]. Это соотносится с подходом к жилищной мобильности как к карьере. Особый интерес в этой связи вызывает работа М. Стариковой [Старикова, 2019], где помимо объективных характеристик мобильности анализируются ожидания, оценки и способы нормализации жилищной ситуации, что позволяет увидеть смысловое измерение жилищной стратификации. С помощью этого она объясняет, почему жилищная мобильность происходит внутри одного «жилищного класса», а не в логике восходящей карьеры. В российском поле исследований встречаются примеры работ, в которых можно наблюдать некоторый баланс между структурным и акторным подходами. К таким исследованиям относятся работы Е. Варшавера, А. Рочевой и их коллег о резидент-

² Книга «Housing the New Russia» [Zavisca, 2012] — не менее важная работа для изучения становления рынка жилья в постсоветской России, она не была включена в настоящий раздел, так как мы рассматриваем здесь работы только российских авторов.

ной мобильности этнических мигрантов в России. Несмотря на то, что резидентная мобильность иногда рассматривается ими в рамках общих миграционных траекторий и паттернов расселения, в ее анализ включаются и факторы, относящиеся к уровню самих действующих. Например, анализируется связь между моделью проживания и степенью привязанности мигранта к жилью или связь между выбором жилья и логикой повседневной мобильности мигрантов [Варшавер и др., 2019; Варшавер и др., 2020а; Варшавер и др., 2020b; Рочева, 2015].

Однако чаще всего преобладающий в российских исследованиях структурно-ориентированный подход оставляет за скобками прагматику и смысловое наполнение решений в жилищной сфере. Резидентная мобильность становится чередой переездов, а иммобильность рассматривается только как вынужденная мера. Так и остаются без ответа вопросы о том, кто и что участвует в формировании идеи о переезде, ее обдумывании и осуществлении, как происходит поиск нового жилья, как переживаются переезды или жизнь на одном месте. Человек представляется безучастным и лишенным агентности. Тем не менее такого рода исследования намекают общие тенденции и создают контекст для более глубокой проработки темы.

Стоит упомянуть еще несколько других важных текстов, которые не затрагивают напрямую тему жилищной мобильности, но могут быть полезны для будущих работ по этой теме. К таким работам можно отнести исследование неравенства на рынке жилья и состояния жилого фонда в регионах центральной России [Старикова, 2020], социально-пространственной сегрегации Москвы [Трущенко, 1994] и анализ изменений жилищных отношений в России с отдельным фокусом на группы квартиросъемщиков [Каравалева, Черкашина, 2015].

2.3. Жизненный цикл, смыслы и эмоции

Акторно-ориентированные исследования жилищной мобильности в России пока менее распространены. Существующие работы, как правило, рассматривают жилищную мобильность индивидов через призму унифицированных этапов жизненного цикла: получения образования, создания семьи или выхода на пенсию [Голенкова, Сушко, 2016; Полухина, 2019а]. Первый переезд ассоциируется с началом самостоятельной жизни и получением образования, а следующий — со вступлением в брак и выходом на рынок труда [Голенкова, Сушко, 2016]. Проведенные гендерные сравнения связывают смену места жительства у мужчин-рабочих со службой в армии, периодами нестабильности в сфере занятости, образованием семьи и появлением детей. У женщин рабочего класса сепарация от родителей происходит в связи с замужеством, а вся дальнейшая мобильность развивается уже в составе новой семьи или, в случае развода, приводит к возвращению в родительский дом [Полухина, 2019а]. Стоит отметить, что иногда в подобных работах жизненный цикл рассматривается более гибко, что роднит эти интуиции с упоминавшейся выше концепцией жизненного курса. При этом на этапе работы с данными авторы все равно могут возвращаться к более детерминистскому пониманию роли биографии и жизненных событий для жилищной мобильности.

Примером немного более смысло-ориентированного подхода выступает работа М. Стариковой, где автор анализирует смыслы жилья среди людей старшего воз-

раста и демонстрирует, как дом для них перестает быть показателем социального статуса [Старикова, 2015]. Эта работа важна также и как попытка понять систему распределения жилья в рамках структуры семейных отношений и межпоколенческого контракта в России. Кроме того, среди российских исследований есть по крайней мере одна работа, где жилищная мобильность становится поводом для реконструкции повседневных практик производства дома и переосмысление самого понятия дома [Бредникова, Ткач, 2010]. Такой фокус, при котором анализируются не только объективные характеристики, но и, например, формирование у человека «чувства дома», для российского поля исследований выглядит достаточно нетривиально, особенно на фоне подавляющего большинства структурно-ориентированных работ.

Итак, пользуясь классификацией, составленной на основе зарубежных исследований, в этом разделе мы выделили две основные группы российских статей в этой области: структурно- и акторно-ориентированные. Первая представлена работами о формировании и трансформации институтов, регулирующих рынок жилья в России, и исследованиями жилищной мобильности в контексте неравенства и социальной мобильности. Эти исследования, за редкими исключениями, не уделяют особого внимания смысловому содержанию переездов и лишают действующего на рынке жилья какой бы то ни было агентности, делая его полностью зависимым от структурных изменений и не пытаясь выстроить интегративный подход, который учитывал бы разные стороны жилищной мобильности.

В рамках второй, менее обширной группы исследований, которые уделяют большее внимание самим акторам, такие попытки встречаются тоже не слишком часто. Авторы скорее связывают мобильность с унифицированными стадиями жизненного цикла, либо, наоборот, детально рассматривают отдельные кейсы и особые группы, уделяя меньше внимания структурным факторам мобильности.

Такое состояние российского поля исследований мобильности делает особенно важным формирование методологии, которая позволяла бы рассматривать исследуемый феномен во всей полноте и сложности, не редуцируя его ни к одному из полюсов дихотомии «структура — актор». И если в зарубежной литературе мы уже увидели серьезные шаги в этом направлении, то в российском поле они только начинаются. В разделе ниже мы коротко рассмотрим, какой методический инструментарий исследований жилищной мобильности уже был разработан российскими и зарубежными исследователями.

3. Методика зарубежных и российских исследований

Наиболее распространенными остаются количественные исследования резидентной мобильности и траекторий. Это связано с тем, что в англоговорящих и европейских странах на постоянной или регулярной основе собирается более детальная, в сравнении с Россией, социально-экономическая статистика и проводятся масштабные количественные опросы, ценные не только своей массовостью и охватом населения, но и лонгитюдным характером. Данные, на которых основаны исследования жилищной мобильности, могут быть как первичными, так и вторичными, могут собираться государственными органами [Alkay, 2011], институтами [Abramsson, 2012] либо частными организациями [Sharp, Warner, 2018], либо напрямую самими исследователями.

Несмотря на безусловные преимущества такого рода данных и их репрезентативность, у количественных исследований есть существенные недостатки. Наиболее развернуто последствия того, что жилищная мобильность исследовалась в основном количественно, были проанализированы в статье Э. Уинстенли [Winstanley, 2002]. В количественных исследованиях зачастую теряется комплексность субъекта (домохозяйства или отдельного человека), совершающего резидентную мобильность, игнорируется тот факт, что действия разных членов домохозяйства могут обуславливать друг друга. Кроме того, как уже было упомянуто выше, критике подвергается инструменталистское отношение количественных исследований к жилью, которое сводит его к месту проживания и оставляет за скобками его восприятие и переживание в качестве *дома* (home) — места, которому приписываются особые смыслы и которое играет важную роль в процессе построения идентичности.

В качественных исследованиях жилищной мобильности зачастую используются полуструктурированные и биографические интервью. Применяется также и этнографический метод, к примеру, Э. Уинстенли [Winstanley, 2002] и коллеги не только провели серию глубинных интервью, но и попросили информантов провести им экскурсию по дому и рассказать о важных вещах, которые у них хранятся. Такие прогулки исследователи записывали на видео. Интегративный подход требует стратегии смешанных методов [Clapham et al., 2014], причем в некоторых случаях даже дизайн анкеты предполагает использование как можно большего числа открытых вопросов [Mazanti, 2007].

К сожалению, в распоряжении российских социологов пока есть гораздо меньше лонгитюдных данных, а городская статистика гораздо менее подробна и доступна. Этот факт затрудняет исследование жилищной мобильности в динамике. Тем не менее некоторые базы данных все-таки есть. Исследователи по отдельности или в комбинации пользуются данными Росстата (статистикой о жилищном строительстве, приватизации, обеспеченности жильем [Бурдяк, 2015; Голенкова, Сушко, 2016; Черкашина, 2018]), общероссийского обследования «Человек, семья, общество» (для выявления обеспеченности и удовлетворенности жильем), РМЭЗ НИУ ВШЭ (для определения численности домохозяйств с разным жилищным статусом [Караваева, Черкашина, 2015]). Обращаются также к обследованию «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (для определения возраста сепарации от родителей в разных поколениях, факторов, влияющих на это и сопутствующие события [Долгова, Митрофанова, 2015]), а также к биографическим интервью, собранным в рамках проекта «Век социальной мобильности в России» [Полухина и др., 2017; Стрельникова, 2014, 2015]. Но есть и примеры проведения собственных количественных опросов [Бессонова, Крапчан, 1994; Рочева и Варшавер, 2020], а также комбинирования количественных и качественных данных [Полухина и др., 2017].

Несмотря на наличие качественных исследований, их авторам не всегда удается отойти от логики количественных выводов. Это выражается как в количественной риторике описания данных, так и в акценте на структурных факторах и институциональном контексте мобильности, в результате чего поле смыслов и изменчивость жилищных устремлений на протяжении жизни выпадают из поля

внимания исследователей. В таких работах можно найти чрезмерные обобщения и деконтекстуализацию данных. Однако нельзя не признать, что в российском поле исследований жилищной мобильности также происходит движение в сторону интерпретативных и биографических подходов. Например, некоторые ученые в своих работах подчеркивают важность использования биографических методов, поскольку такой подход позволяет наблюдать за трансформациями выбора жилья, вписывать переезды в городскую мобильность человека, обращать внимание на повседневные события в его жизни [Стрельникова, 2014], а также учитывать индивидуальные и семейные события, которые могут быть взаимосвязаны с переездами [Голенкова, Сушко, 2016].

Заключение

Что нужно для дальнейшего развития исследований жилищных траекторий в России? Как можно заключить из предыдущего раздела, для этого необходимо нарабатывать базу количественных лонгитюдных, а также качественных биографических данных по разным городам и поколениям их жителей. Однако это представляется нам необходимым, но отнюдь не достаточным условием для реализации такой задачи. Серьезная проработка темы предполагает также сдвиг в доминирующем подходе к городским исследованиям, который существует сегодня в российских социальных науках. Для исследования жилищных траекторий требуется переключить внимание с городских пространств и локализованных городских сообществ на движение людей сквозь эти пространства. Движение не повседневное, о котором мы привыкли думать, представляя себе динамичный современный город, а биографическое (хотя вопрос о связи между повседневной и жилищной мобильностями тоже крайне интересен). Нужно учиться видеть городскую темпоральность, которая задается не властями и архитекторами, а пересечением миллионов биографий тех, кто всю жизнь или, напротив, совсем недолго живет в этих городах. Жилищные траектории — это нити, которые сшивают городскую среду, городскую политику и повседневную жизнь горожан.

С одной стороны, кажется очевидным, что российские исследования жилищной мобильности должны быть лучше интегрированы в международную научную дискуссию. Они крайне выиграют, если для анализа местных данных будет использоваться концептуальный и методологический аппарат, который за последние несколько десятилетий довольно заметно эволюционировал и обогатился. Помимо методов анализа и теоретических ресурсов для интерпретации данных он предлагает набор уже сформулированных базовых эмпирических вопросов, ответы на которые были получены применительно к другим странам, но практически не задавались в России. Кроме того, это позволило бы сравнить местную ситуацию с данными по другим странам и на основе этого более взвешенно оценить проблемы и перспективы развития жилищных отношений.

С другой стороны, не стоит думать о подобной интеграции как об одностороннем процессе и о «догоняющем развитии» в очередной области науки. Нам представляется, что кейс российских жилищных траекторий в целом может оказаться особенно ценным для международного поля городских исследований, поскольку он дает свежий материал для более глубокого понимания наиболее острых вопро-

сов, которые на данный момент интересуют как исследователей, так и практиков в сфере жилищной и социальной политик. В частности, российская ситуация крайне показательна для анализа глобальных процессов стремительной финансовализации жилья, предельного сокращения социальной аренды и развития неформальной экономики в сфере жилищных отношений. Здесь, как и в странах Глобального Юга и Южной Европы, жилье является частью распределенного капитала в рамках сети расширенных семейных отношений, что потенциально помещает Россию в ряд стран с фамилистской жилищной системой — пока наименее исследованной и потому представляющей особый интерес. Наконец, в силу постсоветских трансформаций российские жилищные траектории демонстрируют ярко выраженную поколенческую динамику. Таким образом, исследование жилищных траекторий на материале российских городов позволит продвинуть актуальную теоретическую дискуссию и предложит новый взгляд на глобальные вопросы, связанные с жильем.

Список литературы (References)

Айзинова И. «Жилищный вопрос» в трех измерениях // Проблемы прогнозирования. 2007. № 2. С. 90—115.

Aizinova I. (2007) “Housing Question” in Three Dimensions. *Studies on Russian Economic Development*. No. 2. P. 90—115. (In Russ.)

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Меду, 1995.

Berger P., Lukman T. (1995) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Moscow: Medium. (In Russ.)

Бессонова О. Результаты трансформации советской жилищной модели // Экономическая социология. 2011. Т. 12. № 5. С. 14—28.

Bessonova O. Outcomes of Transformation of the Soviet Housing Model. *Journal of Economic Sociology*. Vol. 12. No. 5. P. 14—28. (In Russ.)

Бессонова О., Крапчан С. Участие населения в приватизации жилья // Социологические исследования. 1994. Т. 8—9. С. 27—40.

Bessonova O., Krapchan S. (1994) Participation of the Population in Housing Privatization. *Sociological Studies*. Vol. 8—9. P. 27—40. (In Russ.)

Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // Laboratorium. 2010. № 3. С. 72—95.

Brednikova O., Tkach O. (2010) What Home Means to the Nomad. *Laboratorium*. Vol. 2. No. 3. P. 188—194. (In Russ.)

Бурдяк А. Обеспеченность жильем в постсоветской России: неравенство и проблема поколений // Журнал исследований социальной политики. 2015. Т. 13. № 2. С. 273—288.

Burdyak A. (2015) Housing in Post-Soviet Russia: Inequality and the Problem of Generation. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 13. No. 2. P. 273—288. (In Russ.)

Варшавер Е., Рочева А., Иванова Н., Андреева А. Расселение мигрантов в глобальных городах и его детерминанты: Париж, Сингапур, Сидней и Москва в сравнении.

Часть I // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 6. С. 479—504. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.6.25>.
Varshaver E., Rocheva A., Ivanova N., Andreeva A. (2019) Migrants' Settlement Patterns in Global Cities and Their Determinants: Paris, Singapore, Sydney and Moscow. Part I. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 479—504. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.6.25>. (In Russ.)

Варшавер Е., Рочева А., Иванова Н., Андреева А. Расселение мигрантов в глобальных городах и его детерминанты: Париж, Сингапур, Сидней и Москва в сравнении. Часть II // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020а. № 2. С. 457—485. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.2.1640>.
Varshaver E., Rocheva A., Ivanova N., Andreeva A. (2020a) Migrants' Settlement Patterns in Global Cities and Their Determinants: Paris, Singapore, Sydney and Moscow. Part II. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 457—485. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.2.1640>. (In Russ.)

Варшавер Е., Рочева А., Иванова Н., Ермакова М. Места резидентной концентрации мигрантов в российских городах: есть ли паттерн? // Социологическое обозрение. 2020b. Т. 19. № 2. С. 225—253. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2020-2-225-253>.

Varshaver E., Rocheva A., Ivanova N., Ermakova M. (2020b) Residential Concentrations of Migrants in Russian Cities: Is There a Pattern? *Russian Sociological Review*. Vol. 19. No. 2. P. 225—253. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2020-2-225-253>. (In Russ.)

Голенкова З., Сушко П. Социальная мобильность в контексте миграционных биографий россиян // Социологические исследования. 2016. № 12. С. 95—104.
Golenkova Z. T., Sushko P. E. (2016) Social Mobility in the Context of Migration Biographies of Russians. *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. 2016. No. 12. P. 95—104. (In Russ.)

Долгова А., Митрофанова Е. Отделение от родительской семьи в России: межпоколенческий аспект // Экономическая социология. 2015. Т. 16. № 5. С. 46—76.
Dolgova A., Mitrofanova E. (2015) Leaving the Parental Home in Russia: Intergenerational Aspects. *Journal of Economic Sociology*. Vol. 16. No. 5. P. 46—76. (In Russ.)

Зорбо Х. У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология. 2004. № 3—4. С. 115—154.

Zorbaugh H. W. (2004) The Golden Coast and The Slum (Selected Chapters). *Social and Humanitarian Sciences. National and Foreign Literature*. Vol. 11 Sociology. No. 3—4. P. 115—154.

Караваяева Е., Черкашина Т. Жилищные отношения, политика и условия // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2015. № 6. С. 118—135. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.6.07>.

Karavaeva E., Cherkashina T. (2015) Housing Relations, Policies and Conditions. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 118—135. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.6.07>. (In Russ.)

Климов И. Ипотечные заемщики: повседневные практики восходящей мобильности // Социологический журнал. 2009. № 4. С. 104—136.

Klimov, I. A. (2009). Mortgage Borrowers: Everyday Practices of Rising Mobility. *Sotsiologicheskii Zhurnal [Sociological Journal]*. No. 4. P. 104—136. (In Russ.)

Полухина Е. Жилищная мобильность рабочих в постсоветской России // Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня рождения В. А. Ядова). Международная научная конференция (Москва, 28—30 ноября 2019 г.). Сборник материалов / под ред. М. Горшков. М.: ФНИСЦ РАН, 2019а. С. 662—669. https://doi.org/10.19181/yadov_conf.2019.

Polukhina E. (2019a) Housing Mobility of Workers in Postsoviet Russia. In: *The Future of the Sociological Knowledge and Challenges of Social Transformations. International Scientific Conference*. P. 662—669. https://doi.org/10.19181/yadov_conf.2019. (In Russ.)

Полухина Е. Паттерны жилищной мобильности белых и синих воротничков // Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспекты / под ред. Н. Коленникова, Е. Полухина, Е. Рождественская. М.: ФНИСЦ РАН, 2019b. С. 442—456.

Polukhina E. (2019b) Patterns of Housing Mobility of White and Blue Collars. In: Kolennikova N., Polukhina E., Rozhdestvenskaya E. (eds.) *Social Mobility in Complex Society: Objective and Social Aspects*. Moscow: FNISC RAN. P. 442—456. (In Russ.)

Полухина Е., Балакирева М., Горяйнова А. Переезды внутри Москвы: как тип домохозяйства и стиль жизни предопределяет выбор места жительства // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2017. Т. 9. № 13. С. 82—95.

Polukhina E. V., Balakireva M. S., Goriainova A. R. (2017) Intraurban Movings in Moscow: How the Type of Household and Lifestyle Determine a Place of Residence. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 9. No. 13. P. 82—95. (In Russ.)

Полухина Е. Жилищная мобильность: направления социологического анализа // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15. № 4. С. 589—602. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2017-15-4-589-602>.

Polukhina E. V. (2017). Housing Mobility: Approaches for Sociological Analysis. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 15. No. 4. P. 589—602. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2017-15-4-589-602>. (In Russ.)

Рочева А. Исследование позиций «карьеры квартиросъемщика» и моделей проживания в Москве мигрантов из Киргизии и Узбекистана // Социологический журнал. 2015. Т. 21. № 2. С. 31—50. <https://doi.org/10.19181/socjour.2015.21.2.1319>.

Rocheva A. L. (2015) Research of “Tenant Career” Positions and Housing Models of Migrants from Kyrgyzstan and Uzbekistan in Moscow. *Sotsiologicheskii Zhurnal [Sociological Journal]*. Vol. 21. No. 2. P. 31—50. <https://doi.org/10.19181/socjour.2015.21.2.1319>. (In Russ.)

Рочева А., Варшавер Е. Миграционные намерения молодежи с миграционным бэкграундом и без: российский случай // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 295—334. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1632>.

Rocheva A. L., Varshaver E. A. (2020) Migration Intentions of Youth with and without Migrant Backgrounds: a Russian Case. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 295—334. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1632>. (In Russ.)

Социальная мобильность в России: поколенческий аспект / под ред. В. В. Семенова, М. Ф. Черныш, А. Ваньке. М.: ФНИСЦ РАН, 2017.

Semyonova V., Chernysh M., Vanke A. 2017 Social Mobility in Russian: Generational Aspect. Moscow: FNISC RAN. (In Russ.)

Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспекты / под ред. В. В. Семенович, М. Ф. Черныша, П. Е. Сушко. М.: ФНИСЦ РАН, 2019.

Semyonova V., Chernysh M., Sushko P. (2019) Social Mobility in Complex Society: Objective and Subjective Aspects. Moscow: FNISC RAN. (In Russ.)

Старикова М. Жилищная идентификация горожан как отражение жилищного неравенства (на примере трех городов Кировской области) // Социология и Социальные технологии. 2019. Т. 18. № 2. С. 119—133. <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2019.2.11>.

Starikova M. (2019) Housing Identification of Citizens as a Reflection of Housing Inequality (Based on Three Cities of Kirov Region). *Sociology and Social Technologies*. Vol. 18. No. 2. P. 119—133. <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2019.2.11>. (In Russ.)

Старикова М. Жилищное неравенство в городах как форма социального расслоения: критерии выделения жилищных классов и страт // Урбанистика. 2018. № 3. С. 71—98. <https://doi.org/10.7256/2310-8673.2018.3.27955>.

Starikova M. (2018) Housing Inequality in Cities as a Form of Social Stratification: Criteria for Distinction of Housing Classes and Strata. *Urban Studies*. № 3. P. 71—98. <https://doi.org/10.7256/2310-8673.2018.3.27955>. (In Russ.)

Старикова М. Жилищный вопрос в межпоколенном контракте // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2015. № 6. С. 105—117. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.6.06>.

Starikova M. (2015) Housing Issue in Intergenerational Contract. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 105—117. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.6.06>. (In Russ.)

Старикова М. Рынок жилья как отражение жилищной стратификации городов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2020. № 5. С. 403—429. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.924>.

Starikova M. (2020) Housing Market as a Reflection of Urban Housing Stratification. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 403—429. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.924>. (In Russ.)

Старикова М., Бушкова-Шиклина Э. Жилищное неравенство населения как отражение социальной стратификации (на примере трех городов Кировской области) // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2019. № 4. С. 594—609. <https://doi.org/10.17072/2078-7898/2019-4-594-609>.

Starikova M., Bushkova-Shiklina E. (2019) Housing Inequality of the Population as a Reflection of Social Stratification (A Case Study of Three Cities in the Kirov Region). *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya*. № 4. P. 594—609. <https://doi.org/10.17072/2078-7898/2019-4-594-609>. (In Russ.)

Стрельникова А. Перемещения в пространственных координатах: больше, чем географическая мобильность // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2014. Т. 6. № 8. С. 30—35.

Strelnikova A. (2014) The Displacement in Spatial Coordinates, Geographical Mobility. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 6. No. 8. P. 30—35. (In Russ.)

Стрельникова А. Пространственные проекции социальной мобильности: поездки как доминантные события биографического повествования // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2015. Т. 7. № 10. С. 39—46.

Strelnikova A. (2015) Social Mobility and Its Spatial Projections: Moving as Significant Event in The Biographical Narration. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 7. No. 10. P. 39—46. (In Russ.)

Трущенко О. Престижный адрес: социально-пространственная сегрегация в Москве // Социологический журнал. 1994. № 4. С. 120—126.

Trushenko O. (1994) Prestigious Address: Socio-Spatial Segregation in Moscow. *Sotsiologicheskii Zhurnal [Sociological Journal]*. No. 4. P. 120—126. (In Russ.)

Тыканова Е. В., Хохлова А. М. Ипотечное кредитование в Санкт-Петербурге в условиях нестабильного рынка труда // Материалы IX социологических чтений памяти Валерия Борисовича Голофаства «Социальные и пространственные измерения современного мегаполиса». СПб.: Норма, 2017. С. 207—213.

Tykanova E. V., Khohlova A. M. (2017) Mortgage Lending in St. Petersburg in an Unstable Labour Market. In: *Proceedings of the IX Sociological Readings in Memory of Valery Borisovich Golofast 'Social and Spatial Dimensions of the Modern Megacity'*. Saint Petersburg: Norma. (In Russ.)

Черкашина Т. Жилищная дифференциация в постсоветской России: институциональный и экономический контекст динамики жилищных групп // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2018. № 3. С. 60—81. <https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2018-3-60-81>.

Cherkashina T. (2018) Housing Differentiation in Postsoviet Russia: Institutional and Economical Context of Housing Groups Dynamics. *All-Russian Economic Journal ECO*. No. 3. P. 60—81. <https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2018-3-60-81>. (In Russ.)

Шомина Е. Квартиросъемщики — наше «жилищное меньшинство»: Российский и зарубежный опыт развития арендного жилья. М.: Издательство Государственного университета Высшей школы экономики, 2010.

Shomina E. (2011) Tenants Are Our “Housing Minority”: Russian and Foreign Experience of Rental Housing Development. Moscow: State University Higher School of Economics Publishing Press. (In Russ.)

Abramsson M., Andersson E. K. (2012) Residential Mobility Patterns of Elderly-Leaving the House for an Apartment. *Housing Studies*. Vol. 27. No. 5. P. 582—604. <https://doi.org/10.1080/02673037.2012.697553>.

Aigner A. (2019) Housing Entry Pathways of Refugees in Vienna, a City of Social Housing. *Housing Studies*. Vol. 34. No. 5. P. 779—803. <https://doi.org/10.1080/02673037.2018.1485882>.

Albertini M., Kohli M. (2013) The Generational Contract in the Family: An Analysis of Transfer Regimes in Europe. *European Sociological Review*. Vol. 29. No. 4. P. 828—840. <https://doi.org/10.1093/esr/jcs061>.

Aliu I. R. (2019) Unpacking the Dynamics of Intra-Urban Residential Mobility in Nigerian Cities: Analysis of Low-Income Families in Ojo Lagos. *Cities*. Vol. 85. P. 63—71. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.12.005>.

Alkay E. (2011) The Residential Mobility Pattern in the Istanbul Metropolitan Area. *Housing Studies*. Vol. 26. No. 4. P. 521—539. <https://doi.org/10.1080/02673037.2011.559752>.

Arbaci S. (2019) Paradoxes of Segregation: Housing Systems, Welfare Regimes and Ethnic Residential Change in Southern European Cities. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Arundel R., Lennartz C. (2017) Returning to the Parental Home: Boomerang Moves of Younger Adults and the Welfare Regime Context. *Journal of European Social Policy*. Vol. 27. No. 3. P. 276—294. <https://doi.org/10.1177/0958928716684315>.

Bates L. Kearns R., Coleman T., Wiles J. (2020) 'You Can't Put Your Roots down': Housing Pathways, Rental Tenure and Precarity in Older Age. *Housing Studies*. Vol. 35. No. 8. P. 1442—1467. <https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1673323>.

Beer A., Faulkner D., Paris C., Clower T. (2011) Housing Transitions through the Life Course: Aspirations, Needs and Policy. Bristol: Bristol University Press.

Benson M., Jackson E. (2017) Making the Middle Classes on Shifting Ground? Residential Status, Performativity and Middle-Class Subjectivities in Contemporary London. *British Journal of Sociology*. Vol. 68. No. 2. P. 215—233. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12256>.

Brown T., King P. (2005) The Power to Choose: Effective Choice and Housing Policy. *European Journal of Housing Policy*. Vol. 5. No. 1. P. 59—97. <https://doi.org/10.1080/14616710500055729>.

Clapham D. (2002) Housing Pathways: A Post Modern Analytical Framework. *Housing, Theory and Society*. Vol. 19. No. 2. P. 57—68. <https://doi.org/10.1080/140360902760385565>.

Clapham D. (2003) Pathways Approaches to Homelessness Research. *Journal of Community and Applied Social Psychology*. Vol. 13. No. 2. P. 119—127. <https://doi.org/10.1002/casp.717>.

- Clapham D. (2005) *The Meaning of Housing: A Pathways Approach*. Portland: Bristol University Press.
- Clapham D. (2012a) Social Constructionism and Beyond in Housing Research. In: Clapham D. F., Clark W. A. V., Gibb K. *The SAGE Handbook of Housing Studies*. London: SAGE. P. 174—187.
- Clapham D. (2012b) Structure and Agency. In: Smith S. J. (ed.) *International Encyclopedia of Housing and Home*. Elsevier. P. 34—38.
- Clapham D., Mackie P., Orford S., Thomas I., Buckley K. (2014) The Housing Pathways of Young People in the UK. *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 46. No. 8. P. 2016—2031. <https://doi.org/10.1068/a46273>.
- Clark W. (2012) Residential Mobility and the Housing Market. In Clapham D. F., Clark W. A. V., Gibb K. *The SAGE Handbook of Housing Studies*. London: SAGE. P. 66—83.
- Clark W. A. V., Deurloo M. C., Dieleman F. M. (2003) Housing Careers in the United States, 1968—93: Modelling the Sequencing of Housing States. *Urban Studies*. Vol. 40. No. 1. P. 143—160. <https://doi.org/10.1080/00420980220080211>.
- Colic-Peisker V., Johnson G. (2012) Liquid Life, Solid Homes: Young People, Class and Homeownership in Australia. *Sociology*. Vol. 46. No. 4. P. 728—743. <https://doi.org/10.1177/0038038511428754>.
- Cook J. (2021) Keeping it in the Family: Understanding the Negotiation of Intergenerational Transfers for Entry into Homeownership. *Housing Studies*. Vol. 36. No. 8. P. 1193—1211. <https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1754347>.
- Coulter R. (2018) Parental Background and Housing Outcomes in Young Adulthood. *Housing Studies*. Vol. 33. No. 2. P. 201—223. <https://doi.org/10.1080/02673037.2016.1208160>.
- Coulter R., van Ham M. (2013) Following People Through Time: An Analysis of Individual Residential Mobility Biographies. *Housing Studies*. Vol. 28. No. 7. P. 1037—1055. <https://doi.org/10.1080/02673037.2013.783903>.
- Coulter R., van Ham M., Feijten P. (2011) A Longitudinal Analysis of Moving Desires, Expectations and Actual Moving Behaviour. *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 43. No. 11. P. 2742—2760. <https://doi.org/10.1068/a44105>.
- Cui C. (2020) Housing Career Disparities in Urban China: A Comparison Between Skilled Migrants and Locals in Nanjing. *Urban Studies*. Vol. 57. No. 3. P. 546—562. <https://doi.org/10.1177/0042098018800443>.
- Deurloo M. C., Clark W. A. V., Dieleman F. M. (1994) The Move to Housing Ownership in Temporal and Regional Contexts. *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 26. No. 11. P. 1659—1670. <https://doi.org/10.1068/a261659>.
- Dewilde C., Ronald R. (2017) *Housing Wealth and Welfare*. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Pub.

- Dol K., Boumeester H. (2018) Home Ownership under Changing Labour and Housing Market Conditions: Tenure Preferences and Outcomes among Freelancers and Flex Workers. *International Journal of Housing Policy*. Vol. 18. No. 3. P. 355—382. <https://doi.org/10.1080/19491247.2017.1331594>.
- Druta O., Ronald R. (2018) Intergenerational Support for Autonomous Living in a Post-Socialist Housing Market: Homes, Meanings and Practices. *Housing Studies*. Vol. 33. No. 2. P. 299—316. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1280141>.
- Easthope H. (2004) A Place Called Home. *Housing, Theory and Society*. Vol. 21. No. 3. P. 128—138. <https://doi.org/10.1080/14036090410021360>.
- Feijten P. (2005) Union Dissolution, Unemployment and Moving Out of Homeownership. *European Sociological Review*. Vol. 21. No. 1. P. 59—71. <https://doi.org/10.1093/esr/jci004>.
- Feijten P. (2007) Life Events And The Housing Career: A Retrospective Analysis of Timed Effects. Delft: Eburon.
- Feijten P., van Ham M. (2007) Residential Mobility and Migration of the Separated. *Demographic Research*. Vol. 17. No. 21. P. 623—654. <https://doi.org/10.4054/demres.2007.17.21>.
- Felicianantonio C. D., Dagkouly-Kyriakoglou M. (2020) The Housing Pathways of Lesbian and Gay Youth and Intergenerational Family Relations: a Southern European Perspective. *Housing Studies*. <https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1807471>.
- Fikse E., Aalbers M. B. (2020) The Really Big Contradiction: Homeownership Discourses in Times of Financialization. *Housing Studies*. Vol. 36. No. 10. P. 1600—1617. <https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1784395>.
- Forrest R., Izuhara M. (2012) The Shaping of Housing Histories in Shanghai. *Housing Studies*. Vol. 27. No. 1. P. 27—44. <https://doi.org/10.1080/02673037.2012.629292>.
- Forrest R., Murie A. (1987) The Affluent Home Owner: Labour Market Position and the Shaping of Housing Histories. *Sociological Review*. Vol. 35. No. 2. P. 370—403. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1987.tb00014.x>.
- Green A. (2017) Wealth and Welfare: Breaking the Generational Contract. In: Green A. *The Crisis for Young People: Generational Inequalities in Education, Work, Housing and Welfare*. Cham: Palgrave Macmillan. P. 79—86.
- Gurney C. M. (1999) Pride and Prejudice: Discourses of Normalisation in Public and Private Accounts of Home Ownership. *Housing Studies*. Vol. 14. No. 2. P. 163—183. <https://doi.org/10.1080/02673039982902>.
- Gutting D. (1996) Narrative Identity and Residential History. *Area*. Vol. 28. No. 4. P. 482—490. URL: <http://www.jstor.org/stable/20003733> (accessed: 03.03.2022).
- Hamzah H., Adnan N. (2016) The Meaning of Home and Its Implications on Alternative Tenures: A Malaysian Perspective. *Housing, Theory and Society*. Vol. 33. No. 3. P. 305—323. <https://doi.org/10.1080/14036096.2016.1143025>.

Hastings A. (2000) Discourse Analysis: What Does it Offer Housing Studies? *Housing, Theory and Society*. Vol. 17. No. 3. P. 131—139. <https://doi.org/10.1080/14036090051084441>.

Heath S. (2018) Siblings, Fairness and Parental Support for Housing in the UK. *Housing Studies*. Vol. 33. No. 2. P. 284—298. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1291914>.

Hiscock R., Kearns A., MacIntyre S., Ellaway A. (2001) Ontological Security and Psycho-Social Benefits from the Home: Qualitative Evidence on Issues of Tenure. *Housing, Theory and Society*. Vol. 18. No. 1—2. P. 50—66. <https://doi.org/10.1080/14036090120617>.

Hoolachan J., McKee K. (2018) Inter-Generational Housing Inequalities: ‘Baby Boomers’ Versus the ‘Millennials’. *Urban Studies*. Vol. 56. No. 1. P. 210—225. <https://doi.org/10.1177/0042098018775363>.

Isengard B., König R., Szydlík M. (2018) Money or Space? Intergenerational Transfers in a Comparative Perspective. *Housing Studies*. Vol. 33. No. 2. P. 178—200. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1365823>.

Kemeny J. (2001) Comparative Housing and Welfare: Theorising the Relationship. *Journal of Housing and the Built Environment*. Vol. 16. No. 1. P. 53—70. <https://doi.org/10.1023/A:1011526416064>.

Kemeny J., Jacobs K., Manzi T. (1999) The Struggle to Define Homelessness: a Constructivist Approach. *Homelessness: Public Policies and Private Troubles*. London: Cassell. P. 390—399.

Kemeny J., Lowe S. (1998) Schools of Comparative Housing Research: From Convergence to Divergence. *Housing Studies*. Vol. 13. No. 2. P. 161—176. <https://doi.org/10.1080/02673039883380>.

Kemp P.A., Crook T. (2011) *Transforming Private Landlords: Housing, Markets and Public Policy*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Knight D. (2002) *The Biographical Narratives and Meanings of Home of Private Tenants*. Unpublished PhD Thesis. University of Wales.

Köppe S. (2017) Britain’s New Housing Precariat: Housing Wealth Pathways out of Homeownership. *International Journal of Housing Policy*. Vol. 17. No. 2. P. 177—200. <https://doi.org/10.1080/14616718.2016.1185286>.

Köppe S. (2018) Passing it on: Inheritance, Coresidence and the Influence of Parental Support on Homeownership and Housing Pathways. *Housing Studies*. Vol. 33. No. 2. P. 224—246. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1408778>.

Lennartz C., Helbrecht I. (2018) The Housing Careers of Younger Adults and Intergenerational Support in Germany’s ‘Society of Renters’. *Housing Studies*. Vol. 33. No. 2. P. 317—336. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1338674>.

Leslie G. R., Richardson A. H. (1961) Life-Cycle, Career Pattern, and the Decision to Move. *American Sociological Review*. Vol. 26. No. 6. P. 894—902. <https://doi.org/10.2307/2090574>.

- Levy D., Murphy L., Lee C. K. C. (2008) Influences and Emotions: Exploring Family Decision-making Processes when Buying a House. *Housing Studies*. Vol. 23. No. 2. P. 271—289. <https://doi.org/10.1080/02673030801893164>.
- Li S., Mao S. (2019) The Spatial Pattern of Residential Mobility in Guangzhou, China. *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 43. No. 5. P. 963—982. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12625>.
- Lowe S. (2011) *The Housing Debate*. Portland: Bristol University Press.
- Mandič S., Mrzel M. (2017) Home Ownership in Post-socialist Countries: The Negative Impact of the Transition Period on Old-Age Welfare. In: Dewilde C., Cheltenham R. R. (eds.) *Housing Wealth and Welfare*. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Mazanti B. (2007) Choosing Residence, Community and Neighbours: Theorizing Families' Motives for Moving. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*. Vol. 89. No. 1. P. 53—68. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00239>.
- Maslova S., King R. (2020) Residential Trajectories of High-Skilled Transnational Migrants in a Global City: Exploring the Housing Choices of Russian and Italian Professionals in London. *Cities*. Vol. 96. 102421. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102421>.
- McArthur M., Stratford E. (2021) Housing Aspirations, Pathways, and Provision: Contradictions and Compromises in Pursuit of Voluntary Simplicity. *Housing Studies*. Vol. 36. No. 5. P. 714—736. <https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1720614>.
- McKee K. (2012) Young People, Homeownership and Future Welfare. *Housing Studies*. Vol. 27. No. 6. P. 853—862. <https://doi.org/10.1080/02673037.2012.714463>.
- McKee K., Moore T., Soaita A., Crawford J. (2017) 'Generation Rent' and The Fallacy of Choice. *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 41. No. 2. P. 318—333. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12445>.
- McKee K., Soaita A. M., Hoolachan J. (2020) 'Generation Rent' and the Emotions of Private Renting: Self-Worth, Status and Insecurity Amongst Low-Income Renters. *Housing Studies*. Vol. 35. No. 8. P. 1468—1487. <https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1676400>.
- Meeus B., Decker P. D. (2015) Staying Put! A Housing Pathway Analysis of Residential Stability in Belgium. *Housing Studies*. Vol. 30. No. 7. P. 1116—1134. <https://doi.org/10.1080/02673037.2015.1008424>.
- Metcalfe A. (2006) 'It Was the Right Time To Do It': Moving House, the Life-Course and Kairos. *Mobilities*. Vol. 1. No. 2. P. 243—260. <https://doi.org/10.1080/17450100600726621>.
- Morrow-Jones H. A., Wenning M. V. (2005) The Housing Ladder, the Housing Life-cycle and the Housing Life-course: Upward and Downward Movement among Repeat Home-buyers in a US Metropolitan Housing Market. *Urban Studies*. Vol. 42. No. 10. P. 1739—1754. <https://doi.org/10.1080/00420980500231647>.

Mulder C. H., Hooimeijer P. (1999) Residential Relocations in the Life Course. In: van Wissen L. J., Dordrecht G. (eds.) *Population Issues: An Interdisciplinary Focus The Plenum Series on Demographic Methods and Population Analysis*. Springer Netherlands. P. 159—186.

Mulder C., Manting D. (1994) Strategies of Nest-Leavers: 'Settling Down' Versus Flexibility. *European Sociological Review*. Vol. 2. No. 10. P. 155—172. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036327>.

Özüekren A. S., van Kempen R. (2002) Housing Careers of Minority Ethnic Groups: Experiences, Explanations and Prospects. *Housing Studies*. Vol. 17. No. 3. P. 365—379. <https://doi.org/10.1080/02673030220134908>.

Paris C., Clower T., Beer A., Faulkner D. (2011) Housing transitions and housing policy: international context and policy transfer. In Beer A., Faulkner D., Paris C., Clower T. *Housing Transitions through the Life Course*. Portland: Bristol University Press, P. 39—60. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781847424280.001.0001>.

Parsell C. (2012) Home is Where the House Is: The Meaning of Home for People Sleeping Rough. *Housing Studies*. Vol. 27. No. 2. P. 159—173. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.06.006>.

Parsell C., Parsell M. (2012) Homelessness as a Choice. *Housing, Theory and Society*. Vol. 29. No. 4. P. 420—434. <https://doi.org/10.1080/14036096.2012.667834>.

Payne J., Payne G. (1977) Housing Pathways and Stratification: A Study of Life Chances in the Housing Market. *Journal of Social Policy*. Vol. 6. No. 2. P. 129—156. <https://doi.org/10.1017/S0047279400005158>.

Pickvance C. G. (1974) Life Cycle, Housing Tenure and Residential Mobility: a Path Analytic Approach. *Urban Studies*. 1974. Vol. 11. No. 2. P. 171—188. URL: <https://www.jstor.org/stable/43080779> (accessed: 03.03.2022).

Power E. R. (2017) Renting with Pets: A Pathway to Housing Insecurity? *Housing Studies*. Vol. 32. No. 3. P. 336—360. <https://doi.org/10.1080/02673037.2016.1210095>.

Preece J., Crawford J., McKee K., Flint J., Robinson D. (2020) Understanding Changing Housing Aspirations: A Review of the Evidence. *Housing Studies*. Vol. 35. No. 1. P. 87—106. <https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1584665>.

Raco M. (2009) From Expectations to Aspirations: State Modernisation, Urban Policy, and the Existential Politics of Welfare in the UK. *Political Geography*. Vol. 28. No. 7. P. 436—444. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2009.10.009>.

Raco M. (2012) Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction, In Tasan-Kok T., G. Baeten. *Contradictions of Neoliberal Planning: Cities, Policies, and Politics*. GeoJournal Library. Dordrecht: Springer Netherlands. P. 43—59. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8924-3_3.

Ronald R. (2008) *The Ideology of Home Ownership: Homeowner Societies and the Role of Housing*. Basingstoke; New York, NY: Palgrave Macmillan.

- Ronald R., Lennartz C. (2018) Housing Careers, Intergenerational Support and Family Relations. *Housing Studies*. Vol. 33. No. 2. P. 147—159. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1416070>.
- Rosen E. (2017) Horizontal Immobility: How Narratives of Neighborhood Violence Shape Residential Decisions. *American Sociological Review*. Vol. 82. No. 270—296. <https://doi.org/10.1177/0003122417695841>.
- Sharp G., Warner C. (2018) Neighborhood Structure, Community Social Organization, and Residential Mobility. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*. Vol. 4. <https://doi.org/10.1177/2378023118797861>.
- Saunders P. (1989) The Meaning of 'Home' in Contemporary English Culture. *Housing Studies*. Vol. 4. No. 3. P. 177—192. <https://doi.org/10.1332/030557303765371663>.
- Shuttleworth I., Cooke T., Champion T. (2019) Why Did Fewer People Change Address in England and Wales in the 2000s than in the 1970s? Evidence from an Analysis of the ONS Longitudinal Study: Why Did Fewer People Change Address in the 2000s than in the 1970s? *Population, Space and Place*. Vol. 25. No. 2. 2167. <https://doi.org/10.1002/psp.2167>.
- Smith A. (2017) Exploring the Interrelationship between the Meanings of Homeownership and Identity Management in a Liquid Society: A Case Study Approach. Unpublished PhD Thesis. URL: <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.733266> (accessed: 07.01.2021).
- Stephens M., Leishman C. (2017) Housing and Poverty: A Longitudinal Analysis. *Housing Studies*. Vol. 32. No. 8. P. 1039—1061. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1291913>.
- Stillerman J. (2017) Housing Pathways, Elective Belonging, and Family Ties in Middle Class Chileans' Housing Choices. *Poetics*. Vol. 61. P. 67—78. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2017.01.005>.
- van Ham M. (2012) Housing Behaviour. In: Clapham D. F., Clark W. A. V., Gibb K. (eds.) *The SAGE Handbook of Housing Studies*. London: SAGE. P. 47—65.
- Vogiazides L., Chihaya G. K. (2020) Migrants' Long-Term Residential Trajectories in Sweden: Persistent Neighbourhood Deprivation or Spatial Assimilation? *Housing Studies*. Vol. 35. No. 5. P. 875—902. <https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1636937>.
- Wang R., Walter R., Arafat A., Song S. (2019) Understanding the Role of Life Events on Residential Mobility for Low-Income, Subsidised Households. *Urban Studies*. Vol. 56. No. 8. P. 1628—1646. <https://doi.org/10.1177/0042098018771795>.
- Wind B., Hedman L. (2017) The Uneven Distribution of Capital Gains in Times of Socio-Spatial Inequality: Evidence from Swedish Housing Pathways Between 1995 and 2010. *Urban Studies*. Vol. 55. No. 12. P. 2721—2742. <https://doi.org/10.1177/0042098017730520>.

Winstanley A., Thorns D. C., Perkins H. C. (2002) Moving House, Creating Home: Exploring Residential Mobility. *Housing Studies*. Vol. 17. No. 6. P. 813—832. <https://doi.org/10.1080/02673030216000>.

Zavisca J. R. (2012) *Housing the New Russia*. Ithaca; London: Cornell University Press.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.2178](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2178)



А. Л. Андреев, Е. Г. Гешева

СОЦИОЛОГ И ОБЩЕСТВО.

**РЕЦ. НА КН.: БРАТЕРСКИЙ А. В., КУЛЕШОВА А. В.
«ОТКРЫТЫЙ (В)ОПРОС: ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ». М.: ВЦИОМ, 2021. Т. 2. 462 с.**

Правильная ссылка на статью:

Андреев А. Л., Гешева Е. Г. Социолог и общество. Рец. на кн.: Братерский А. В., Кулешова А. В. «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной России». М.: ВЦИОМ, 2021. Т. 2. 462 с. // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 384—394. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2178>.

For citation:

Andreev A. L., Gesheva E. G. (2022) Sociologist and Society. Review of the Book "Open Question: Public Opinion in Modern Russia". Vol. 2 by A. V. Bratersky and A. V. Kuleshova (eds.). *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 384—394. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2178>. (In Russ.)

СОЦИОЛОГ И ОБЩЕСТВО. РЕЦ. НА КН.: БРАТЕРСКИЙ А.В., КУЛЕШОВА А.В. «ОТКРЫТЫЙ (ВО)ПРОС: ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ». М.: ВЦИОМ, 2021. Т. 2. 462 С.

АНДРЕЕВ Андрей Леонидович — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия; профессор, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия; профессор, ВГИК им. С. А. Герасимова, Москва, Россия
E-MAIL: sympathy_06@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1692-573X>

ГЕШЕВА Елена Георгиевна — кандидат философских наук, доцент кафедры философии, политологии и социологии, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия
E-MAIL: elenagesheva@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3388-9072>

Аннотация. Анализируются основные положения книги, которая привлечет внимание читателей возможностью составить целостное представление о динамике развития исследований общественного мнения в России, новых методологических подходах, вкладе аналитиков ВЦИОМ в эффективность принятия политических решений. Авторы выделяют главное достоинство монографии — детальный анализ истории ВЦИОМ как эффективной организации через призму исторических задач, стоящих перед российским обществом. В рецензии на широком материале социологических архивов рассматриваются основные направ-

SOCIOLOGIST AND SOCIETY. REVIEW OF THE BOOK "OPEN QUESTION: PUBLIC OPINION IN MODERN RUSSIA", VOL. 2 BY A.V. BRATERSKY AND A.V. KULESHOVA (EDS.)

Andrei L. ANDREEV^{1,2,3} — Dr. Sci. (Philos.), Professor, Chief Researcher; Professor; Professor
E-MAIL: sympathy_06@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1692-573X>

Elena G. GESHEVA² — Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor at the Department of Philosophy, Political Science, and Sociology
E-MAIL: elenagesheva@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3388-9072>

¹ Institute of Sociology FCTAS RAS, Moscow, Russia

² National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia

³ All-Russian State Institute of Cinematography named after S.A. Gerasimov (VGIK), Moscow, Russia

Abstract. The review analyzes the main provisions of the book by A.V. Bratersky and A.V. Kuleshova "Open Question: Public Opinion in Modern Russia", volume 2. The book provides an opportunity to form a holistic view of the the public opinion research development in Russia, as well as of the new methodological approaches, and the contribution of VTSIOM analysts to the effectiveness of political decision-making. The authors highlight the main advantage of the monograph — a detailed analysis of the history of VTSIOM as an effective organization through the prism of historical challenges facing the Russian society. The review draws attention to the main activities of VTSIOM —

ления деятельности ВЦИОМ — замеры общественного мнения, аналитические исследования, политическое консультирование, издательская деятельность, образовательные и научные проекты.

measurements of public opinion, analytical researches, political consulting, publishing, educational and scientific projects.

Ключевые слова: общественное мнение, социологические исследования, политическое консультирование, опросы, методология, социальная диагностика, социальное прогнозирование

Keywords: public opinion, sociological research, political consulting, polls, methodology, social diagnostics, social forecasting

Книга А. В. Братерского и А. В. Кулешовой «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной России» в двух томах стала ярким событием, не теряющим в большом потоке социологической литературы. Ее особенностью является сопряжение истории развития страны с 1960-х годов и по наше время с историей исследовательской социологической индустрии. Книга написана на стыке различных научных направлений: это равным образом и историческое исследование, и научный социологический анализ, и талантливая публицистика. Такое сопряжение делает книгу доступной, интересной и даже захватывающей как для специалиста, так и для массового читателя.

Первый том охватывает время распада СССР, «лихих девяностых», чеченских событий и всех тех памятных дат, которые навсегда войдут в историческую память нашей страны. Параллельно показано, как обретала новый статус социологическая наука, становилась на ноги и делала первые шаги прикладная социология, призванная осмыслить и проанализировать новые реалии.

В рецензии мы поделимся впечатлениями по поводу второго тома этого фундаментального труда: здесь все самое новое, самое злободневное — еще не вполне устоявшееся в памяти, но интересное и фотографической точностью передачи, и взвешенным анализом. Это история развития социологической индустрии изучения общественного мнения на фоне перипетий современного российского общества — кризисов, поисков, очарований и разочарований — всего того, что составляет суть последних лет жизни страны.

2003 год определяется авторами как переломный в размежевании и определении предмета, задач и миссии ВЦИОМ. Именно тогда начиналась «третья жизнь ВЦИОМ» — жизнь исследовательского центра, обеспечивающего власть данными и аналитикой о мнениях, предпочтениях и ожиданиях россиян. Сами авторы называют этот период «перезагрузкой». Перезагрузка была весьма болезненной. В частности, она знаменовала «развод» с Юрием Левадой. Именно в результате этого «развода» сформировался имидж команды Валерия Федорова как «прокремлевской» организации, а команды Юрия Левады — как «оппозиционной». Как определяет Валерий Федоров, ВЦИОМ — это интеллектуальная часть государственной машины, призванная обеспечить властям обратную связь с обществом и тем самым повысить качество принимаемых решений. Как отмечает Федоров,

то, что «не удалось создать самому Грушину в перестроечные времена», стало возможным сейчас [Братерский, Кулешова, 2021: 8].

К началу 2000-х на профессиональном поле социологических исследований сложилась невиданная для советского пространства конкурентная среда. Это и «большая тройка» — ВЦИОМ, ФОМ, «Левада-Центр»¹, и частные коммерческие социологические исследовательские центры. Такое разнообразие игроков требовало определения своей ниши, своей миссии, круга задач. Фокусом приложения сил для вциомовцев должны были стать «исследования в интересах органов государственной власти». Сама формулировка «в интересах государственной власти» в те годы звучала как обвинение в предвзятости и возможных искажениях результатов. Вциомовцам важно было уйти от господствовавшего мнения, что прикладные социологические исследования — это способ легитимизации власти. Задача не из легких, требующая обоюдного движения навстречу. Со стороны социологов — исследовать, помогать и быть практически полезными для власти, а со стороны власти — финансировать и прислушиваться к рекомендациям, учитывать то, что не всегда приятно, «терпеть свободу» социологических исследований.

Потребность власти в исследовании общественного мнения понятна: оно обеспечивает обратную связь, необходимую для того, чтобы просчитывать риски, эффективнее выстраивать управление, а иногда и влиять на общественное мнение — сглаживать острые углы, корректировать решения. Как с глубоким убеждением отметил В. Федоров, эффективность решений, которые принимает власть, зависит от «учета позиций, страхов и ожиданий граждан». Свой главный функционал эксперты ВЦИОМ определили как задачу быть зеркалом общественного мнения и на этой основе давать практические рекомендации власти [там же: 274].

Здесь возникает множество вопросов, среди которых один из самых острых — о самом существовании общественного мнения. Взять хотя бы вызвавший в свое время большой резонанс доклад Пьера Бурдьё «Общественное мнение не существует» [Бурдьё, 2005]. Разумеется, такая острая формулировка полемически заостряет тему и указывает не столько на отсутствие общественного мнения как социального факта, сколько на его недостаточную зрелость.

Практика изучения общественного мнения в ее современном понимании сложилась давно, еще во времена Дж. Гэллапа. В СССР изучение общественного мнения связано прежде всего с именем Бориса Грушина, в первом томе рецензируемой книги истоки четко сформулированы в названии одной из частей: «Все мы вышли из грушинской шинели...» Но споры по поводу общественного мнения продолжаются, обнаруживая разные позиции, как и представления о возможности и необходимости его изучения. Опросы общественного мнения фиксируют скорее общественные настроения, оценки, надежды и страхи, которые и являются реальными объектами опросных методик [Братерский, Кулешова, 2021: 212]. В недавно вышедшей интересной монографии Григория Юдина «Общественное мнение, или Власть цифр» и вовсе развенчиваются мифы, связанные с надеждением опросов теми чертами, которыми они не обладают. Автор отмечает, что

¹ Российское юридическое лицо, признанное выполняющим функции иностранного агента.

общественное мнение — это просто цифры соотношения людей, давших разные ответы на некий опрос [Юдин, 2021: 4].

В какой степени в таком случае стоит опираться на общественное мнение — аморфное, рыхлое, неструктурированное, — при принятии решений? Выбор граждан часто эмоциональный, и даже иррациональный, а вовсе не прагматический. Достаточно часто общественные настроения россиян определяются как пассивный конформизм, определенный стратегией выживания. Объясняя это, руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН Владимир Петухов писал, что мы живем в промежуточной ценностной среде. В этом не до конца устоявшемся обществе «плавает» и система ценностей, тяготеющая к традиционности, она готова меняться, но сами направления этих изменений уловить трудно [Выборы..., 2018: 128].

Отметим, что авторы монографии «Открытый (в)опрос...» не обсуждают прямо тему «качества общественного мнения», его зрелости или незрелости. Оно принимается таким, каково есть, без сетований на незрелость. Так же поступает и ВЦИОМ со своим объектом исследования. К чести организации можно отметить, что уже достаточно давно, а главное успешно, апробируются новые качественные методики измерения общественного мнения. В сравнительно недавно вышедшей монографии «Выборы на фоне Крыма» есть много интересных мыслей и практических предложений, как можно измерить эмоциональные компоненты общественных настроений. Например, это применение графического ассоциативного теста отношения (ГАТО), «термометра ощущений» и другие. Как утверждает Олег Чернозуб, практика применения подобных методов 2015—2017 гг. позволила заметно улучшить точность прогнозов. Оценка исхода голосования, учитывающая аффективную и когнитивную компоненты, дала более точный прогноз, чем оценка по какой-то одной компоненте [там же: 250—254].

Возвращаясь к вопросу о том, насколько общественное мнение помогает при принятии решений, отметим, что и здесь мнения разнятся. Выражаясь веберовскими определениями, в условиях плебисцитарной демократии (сторонники такого подхода именно так именуют наши демократические основания) проблема учета и опоры на общественное мнение — не первоочередная задача, а скорее игра с населением, неготовым к ответственному выбору. Думается, что это не так. Смотреться в зеркало полезно, хотя и не всегда приятно. Познавая себя, общество изменяется, да и власть тоже.

Авторы рецензируемой книги убедительно показывают, что ВЦИОМ работает не только в направлении замера общественного мнения, необходимого для власти, но и в обратном. Возрастает требовательность российского общества к власти, формируется запрос на открытость и прозрачность ее действий для общества [Братерский, Кулешова, 2021: 189]. Отвечая на этот общественный запрос, в 2016 г. ВЦИОМ составил Рейтинг открытости федеральных органов исполнительной власти, который позволил дать оценку уровню информированности общества о деятельности каждого министерства, агентства или службы. Измерялись качество освещения работы ведомства в СМИ, доступность ведомственной информации, ее понятность и доверие к ней. Таким образом, мы видим,

что движение может быть двусторонним: государство лучше узнает общество, а общество — деятельность государственных органов.

Однако вопрос, насколько власть прислушивается к мнению социологов, учитывает его при принятии решений, всегда остается открытым. Свобода выбора «учитывать / не учитывать» — за заказчиком. Авторы монографии не исследуют степень «услышанности», такой цели нет — они скорее рассказывают, как формируется качественный сигнал, и приводят убедительные примеры, когда на основе социологических замеров принимались действительно значимые решения. Так, Михаил Мамонов, аналитик ВЦИОМ, считает, что запуск четырех национальных проектов — крупномасштабных реформ систем здравоохранения, образования, жилья и сельского хозяйства — подпитывался данными социологических исследований, демонстрировавших ожидания общества. Донесенное до властей недовольство россиян условиями жизни дало старт для формирования приоритетных национальных проектов [там же: 73].

Большое внимание в книге уделяется формированию команды ВЦИОМ — успешной и высокопрофессиональной. Как отмечает Валерий Федоров, третья команда ВЦИОМ происходила не из академических институтов и советских НИИ. В нее вошли молодые люди, свободные от страхов и стереотипов советского прошлого, но уже вполне вкусившие атмосферу жесткой конкуренции еще (и все еще) не облагоустроенного рынка [там же: 8]. Авторы показывают, с каким энтузиазмом, помноженным на профессионализм, формировалась новая команда ВЦИОМ, как создавался облик узнаваемого и у нас, и за рубежом социологического бренда.

Имена вциомовцев времен «перезагрузки» на слуху, они известны не только в профессиональной среде социологического сообщества. Массовый зритель часто видит на экране неизменно серьезного, сдержанного в эмоциях и точного в оценках Валерия Федорова, да и в аналитических программах представители ВЦИОМ — узнаваемые гости. В книге есть целая галерея портретных зарисовок, биографий тех, кто сделал ВЦИОМ таким, каков он сейчас. Эта часть монографии вызывает живейший интерес. ВЦИОМ в лицах: здесь не только и не столько перечисление академических заслуг или биографических данных — это портреты ярких индивидуальностей, с их поисками своего места, задачами, симпатиями и антипатиями, непростыми перипетиями «социологической судьбы». Эдакий семейный портрет в интерьере исторических декораций. Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, в послесловии к монографии отметил, что эти микроистории дают представление о ценностях, мотивах и смысловых основаниях создателей исследовательской индустрии в начале 2000-х годов. Новое поколение, продолжающее их дело, может узнать, чем жили и как работали создатели компании. В кратких биографических и автобиографических зарисовках, не придерживаясь «табели о рангах», показан человеческий капитал компании — самое ценное, что у нее есть и чем она действительно может гордиться.

Особенность книги заключается в том, что история ВЦИОМ показана на фоне новейшей истории нашей страны. Хронологически выстраивается цепь событий последних двадцати лет: выборы, значимые политические события, памятные вехи. На этом фоне — крепнущий ВЦИОМ. Портрет ВЦИОМ на фоне развития страны авторы воплотили в формуле «страна менялась, развивалась, а вместе с ней рос

и развивался ВЦИОМ» [там же: 80]. Но страна менялась трудно, через кризисы, просчеты, не всегда удачные реформы. Эту трудную траекторию повторял и ВЦИОМ. Историю надо было осмыслить, осмыслить объективно, причем по свежим следам. Давать определения прошедшему в рамках объективного истолкования — сложно. В зависимости от смены смыслов, от изменения контекста меняются и переставляются акценты. Это не злонамеренное переписывание, подчиненное чьим-то интересам, а переписывание как следствие активно-реконструктивного характера памяти — и индивидуальной, и коллективной. Историческая память, даже такая короткая, может выступать то как «сглаживатель», то как «заостритель», избирательно выхватывая моменты и наделяя их тем значением, которое современники им не присваивали. Что касается рецензируемой монографии «Открытый (в)опрос...», то историческая канва в изложении авторов выглядит, как нам представляется, достаточно «причесано и приглажено». Можно сказать, конечно, иначе — оптимистично. И сама история организации, и вехи последних лет не несут ощущения неразрешенных противоречий, трагических проблем. Речь чаще всего идет в логике постановки задач, решаемых, как создается ощущение, почти всегда успешно. Наверное, все было не так гладко. Развиваться — значит уметь признавать собственные ошибки и учиться на них.

Впрочем, это отмечают и сами авторы, и герои книги, вспоминая профессиональные неудачи. Ведь кроме побед были и поражения. Одно из них связано с выборами мэров двух крупных городов — Москвы и Екатеринбурга — в 2013 г. Обнаружилось неожиданное: «волонтерские» опросы оказались самыми близкими с результатами голосования. Это стало неприятным сюрпризом для профессиональных социологов [там же: 147]. Были скорректированы методы электорального прогнозирования, неудача стала стимулом к экспериментам в этой области.

Само по себе зондирование общественного мнения еще ничего не говорит о смысловых основаниях, зреющих тенденциях. Это отлично понимают во ВЦИОМ. Авторы книги показывают, что ВЦИОМ за годы «перезагрузки» прирастил функцию замеров общественного мнения коллективной аналитической деятельностью. Они подчеркивают, что описать общественные настроения мало, нужно объяснить механизмы их зарождения, выявить причины, истоки. Нужны не просто срезы мнения, а исследования, отвечающие на вопросы, почему люди думают так, а не иначе, почему это для них так важно. Так появились знаменитые Аналитические доклады ВЦИОМ — публичный продукт, позволяющий понять, каковы последствия и перспективы того или иного события [там же: 355].

Аналитические доклады открывают целое поле для исследовательских интерпретаций и поисков, они полемически заострены, показывают анатомию проблем, всегда актуальны [там же: 358]. Практика подготовки таких докладов привела к выпуску ежемесячного ньюслеттера по определенной теме — здоровье, образование и т. п. Ньюслеттер для экспертов назвали «СоциоДиггер»², он призван стать для экспертов проводником по лабиринту данных. Как отмечают авторы, выпуск включает и данные опросов, и аналитический материал по той или иной теме. С такими обзорами легко и удобно работать, это просто находка для ученых, исследующих общество.

² См. <https://sociodigger.ru>.

Еще одна линия монографии — рассказ о том, как устроена сама компания, принципы ее организации. Часть V названа ярко — «Созвездие ВЦИОМ». В ней рассказывается, чем живет Центр сейчас, как появляются новые проекты, идеи, как они реализуются, как развивается технологическая база компании. В самом названии раздела можно было бы уловить известную долю самолюбования, если бы не понимание, что это гордость за собственное детище, трудное, любимое, выпестованное и растущее. Внутренние проблемы организации, подводные течения, реорганизационные сдвиги, иногда болезненные, новации, ломающие привычное, — все это не часто выносятся «на люди». Авторы это сделали. На конкретных примерах они показали, что управленческая максима, взятая из учебников о прямой зависимости между эффективностью организации и развитием научных принципов ее управления, работает.

Обновленный ВЦИОМ выработал собственную стратегию развития, учитывающую быстро меняющиеся внешние и внутренние условия. В 2017 г. он организовал и провел первый форсайт «Российская исследовательская индустрия — 2030». Общий стратегический план действий по организационному развитию укладывался в логику «технологическое обновление — эффективная организационная политика — цифровизация».

Действительно, высокая точность прогнозов ВЦИОМ была бы невозможна без технологической революции. Как отмечают авторы, ВЦИОМ еще начиная с 2014—2015 гг. взял курс на технологизацию методов исследования и интенсивно работает в этом направлении. Постепенно общая линия воплотилась в конкретных шагах: система математического моделирования, управление конфликтной активностью, формирование национальной экспертной панели, цифровизация всех аспектов деятельности компании. Но главным принципом реорганизации компании стало отделение текущих задач от задач стратегического развития. Так был создан «ударный кулак», команда, работающая над стратегическим развитием компании — ее человеческого капитала, налаживанием современных коммуникаций, взаимодействием с госорганами и бизнес-клиентами.

В организации продумана и функционирует система обеспечения профессионального роста. Это, в том числе, практика грейдов, регулярной оценки компетенции сотрудников. Конечно, такие оценки — эффективная внешняя мотивация. Но, познакомившись с блестящей командой индивидуальностей, невольно задаешься вопросом: а нуждаются ли эти люди в таких, как ни крути, формализованных и стандартизирующих подходах? Впрочем, это понимает и руководство ВЦИОМ, да и авторы убедительно показывают, что даже конвертируемые в монетарную форму достижения организации зависят прежде всего от таких нефинансовых аспектов, как творчество, индивидуальность, внутренняя мотивация.

Были выделены главные виды капитала, наиболее ценные для развития компании. Конечно, главный капитал ВЦИОМ — это люди, их знания, их экспертный потенциал. Но кроме него это репутация, капитал знаний, экспертный потенциал [там же: 303].

Направлений работы и достижений в компании множество: свой журнал, проведение конференций, заседаний Научного совета, летние и зимние школы, издательская деятельность. Очень интересна, например, инициатива ВЦИОМ по работе

с молодежной аудиторией. Представители компании регулярно участвуют в таких крупных молодежных мероприятиях, как «Дельфийские игры», «Территория смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек». И это неполный перечень точек приложения сил, где вциомовцы общаются с творческой молодежью, готовят проекты, читают лекции. ВЦИОМ развернул эффективную систему обучения и тренингов. Эти усилия привели к созданию собственного Корпоративного университета в январе 2019 г. Растить своих молодых перспективных работников — задача нужная и важная, это обеспечивает будущее исследовательской индустрии. Впечатляет деятельность Департамента издательских программ, возглавляемого Анной Кулешовой, включающей в себя выпуск не только научного журнала, но и целых книжных серий [там же: 220].

Читатель будет удивлен, узнав, что сегодня во ВЦИОМ работает всего около 130 человек. При семи сотнях исследовательских проектов в год это совсем небольшая численность. Как это удастся? Авторы считают, что за счет организационных и технологических достижений. Ну, и в первую очередь — за счет высокого профессионализма и энтузиазма, поистине героического, не измеряемого никакими формализованными оценками.

ВЦИОМ проделал впечатляющую работу в направлении открытости данных социологических исследований. Они стали доступны не только для заказчиков, но и для специалистов исследовательских центров, для широкой неспециализированной аудитории. Инициативный проект ВЦИОМ «Открытые данные» вписан, по словам Натальи Седовой, в «общую логику действий, направленных на развитие политики открытости в самом широком смысле — открытости данных, открытости исследований, открытости компании» [там же: 352—353]. Пользователи широких массивов информации получили уникальную возможность увидеть портрет общества в самых различных срезах.

Прогностическую направленность деятельности организации можно видеть на примере уникального проекта «Индекс готовности к будущему». Как определил Валерий Федоров, «проект призван анализировать не текущее состояние, а будущее, и в этом его уникальность и инновационность» [там же: 216]. Эксперты ВЦИОМ выделили десять сфер, ключевых для определения будущего всего мира: технологии, экономика, культура, образование и т. д. Были разработаны ключевые показатели, позволяющие судить, насколько та или иная страна готова к вызовам будущего. «Индекс готовности к будущему» охватил 19 стран и Евросоюз, что составило более 80 % населения и 80 % ВВП всего мира.

Работа над этим проектом показывает, что ВЦИОМ, не оставляя роль социального диагноста, выполняет сложную экспертную задачу прогностического характера. Речь идет о вероятностных тенденциях, возможных сценариях, учитывающих «веер альтернатив» в ситуации неопределенности и при растущих темпах изменений, которым подвержен современный мир, — задача, скажем, сколь трудная и интересная, столь и неблагодарная. Уже события самых последних лет, например пандемия коронавируса, показали, что мир никогда не будет прежним. Но каким он будет? Как далеко мы можем заглянуть? Какие показатели будут наиболее значимыми для определения готовности к будущему? Какие сферы — самые ключевые для ответа на эти вопросы? Да, показатели технологических сдвигов

и достижения цифровизации — важны. К тому же измеримы количественно, что для социологических исследований, согласимся, удобно. Но похоже, что будущее могут переопределить не только и, возможно, даже не столько технологические новшества, сколько более тонкие и трудно структурируемые настройки. Например, то, что входит в понятие «социальное здоровье»: доверие, преодоление отчужденности, эгоистического индивидуализма, безличного существования, атомизации. Сложно судить, что в наибольшей степени повлияет на изменение облика будущего и на готовность к этим изменениям.

Книга прочитана. Рассматривая социологическую службу как «интеллектуальную часть государственной машины», неизбежно приходим к вопросу о мере ее самостоятельности, творческой свободы. Однозначного ответа на него нет. Да и не может быть. Могут ли вциомовцы сами определять направление и ход исследований или неизбежно исходят из приоритетов заказчика (да еще какого!)? Как ни крути, а такие слова, как госзаказ, да еще маркетингизация, коммерциализация, менеджеризм, оставляют не так много пространства для маневра. Запросы стейкхолдеров нельзя не учитывать — ведь они «заказывают музыку», или, выразимся так, социологическую услугу. Да, все верно. Проблема есть, и не замечать ее нельзя. Вот и Игорь Задорин не обходит ее стороной, когда пишет, что главное противоречие в работе ВЦИОМ — это противоречие между функциями коллективного исследователя-аналитика и коллективного политконсультанта [там же: 426]. Это противоречие заложено в самой основе организации как государственной компании по изучению общественного мнения. Но если разрешение этого противоречия едва ли возможно в полной мере, то возможны профессионализм и высокое качество исследовательских программ. Будут ли они востребованы и учтены властью, бизнес-структурами? Похоже, что ВЦИОМ живет по формуле «делай, что должно» и, надо признать, делает это в высшей степени профессионально.

Написать такую книгу могли лишь неравнодушные люди, участники процесса, знающие его изнутри, увлеченные им — со-деятели, не сторонние наблюдатели. Это определяет и сам тон монографии — в чем-то комплиментарный, а иногда выдержанный в тонах критической рефлексии, по-хорошему публицистичный, — живой голос людей, гордящихся своим детищем. Легкое литературное перо авторов заставляет читателя не только следить за внешней канвой событий, но и сопереживать перипетиям становления обновленного ВЦИОМ. Согласимся, не часто встречающееся в социологической литературе качество.

Список литературы (References)

Братерский А. В., Кулешова А. В. Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной истории России. М.: ВЦИОМ, 2021. Т. 2.

Bratersky A. V., Kuleshova A. V. (2022) Open Question: Public Opinion in Modern Russia. In 2 volumes. Vol. 2. Moscow: VCIOM. (In Russ.)

Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики. М.: ИЭС; СПб.: Алетейя, 2005.

Bourdier P. (2005) *Social Space Fields and Practices*. Moscow: IES; Saint Petersburg: Aletheia. (In Russ.)

Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016—2018 гг. и перспективы политического транзита / под. ред. В. Федорова. М.: ВЦИОМ, 2018.

Fedorov V. (ed.) (2018) *Elections against the Backdrop of Crimea: the 2016—2018 Electoral Cycle and Prospects for Political Transit*. Moscow: VCIOM. (In Russ.)

Юдин Г. Б. *Общественное мнение, или власть цифр*. СПб.: Издательство Европейского университета в г. Санкт-Петербурге, 2020.

Yudin G. B. (2020) *Public Opinion, The Power of Numbers*. Saint Petersburg: EUSP Press. (In Russ.)

DOI: [10.14515/monitoring.2022.1.2175](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2175)



С. А. Ромашко

**ГЛЯДЯ В ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА: ОПЫТ АВТОРЕЦЕНЗИИ.
РЕЦ. НА КН.: ЛОК Э., СТРОНГ Т. КАК УСТРОЕНА МАТРИЦА?
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА / ПЕР. С АНГЛ. Д. В. ОНЕГОВ, А. В. ЗИНДЕР,
К. М. ЗИНДЕР, А. МИРЗОЯНЦ; РЕД. ПЕРЕВОДА С. А. РОМАШКО.
М.: ВЦИОМ, 2021**

Правильная ссылка на статью:

Ромашко С. А. Глядя в зеркало заднего вида: опыт авторецензии. Рец. на кн.: Лок Э., Стронг Т. Как устроена матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика / пер. с англ. Д. В. Онегов, А. В. Зиндер, К. М. Зиндер, А. Мирзоянц; ред. перевода С. А. Ромашко. М.: ВЦИОМ, 2021 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 395—404. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2175>.

For citation:

Romashko S. A. (2022) Looking in the Rearview Mirror: An Autoreview Experience. Review of the Book "Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice" by Andy Lock and Tom Strong. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 395–404. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.2175>. (In Russ.)

ГЛЯДЯ В ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА: ОПЫТ АВТОРЕЦЕНЗИИ. РЕЦ. НА КН.: ЛОК Э., СТРОНГ Т. КАК УСТРОЕНА МАТРИЦА? СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / ПЕР. С АНГЛ. Д. В. ОНЕГОВ, А. В. ЗИНДЕР, К. М. ЗИНДЕР, А. МИРЗОЯНЦ; РЕД. ПЕРЕВОДА С. А. РОМАШКО. М.: ВЦИОМ, 2021.

РОМАШКО Сергей Александрович — кандидат филологических наук, член Гильдии «Мастера художественного перевода», Независимый исследователь, Москва, Россия
E-MAIL: romashko@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Аннотация. Книга Э. Лока и Т. Стронга «Как устроена матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика» может быть прочитана и осмыслена по-разному: либо как книга о конструкционистских идеях в социологии и социальной психологии, либо — и это по-своему не менее важный взгляд — как свидетельство процессов, происходящих в современной науке, в данном случае науке о человеке и общественном устройстве, в наше время — время возрастания роли коммуникации и информационных процессов. Представленная рецензия подготовлена С. А. Ромашко, научным редактором перевода книги на русский язык.

Ключевые слова: наука и общество, коммуникация, информационная среда, теория и практика, социальный конструкционизм

LOOKING IN THE REARVIEW MIRROR: AN AUTOREVIEW EXPERIENCE. REVIEW OF THE BOOK "SOCIAL CONSTRUCTIONISM: SOURCES AND STIRRINGS IN THEORY AND PRACTICE" BY ANDY LOCK AND TOM STRONG

Sergei A. ROMASHKO¹ — Cand. Sci. (Philol.), member of the guild «Masters of Literary Translation»
E-MAIL: romashko@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

¹ Independent Researcher, Moscow, Russia

Abstract. The book by Andy Lock and Tom Strong “Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice” published in Russian under the title *How Does the Matrix Work? Social Construction of Reality: Theory and Practice*” can be read and understood in different ways: either as a book about constructionist ideas in sociology and social psychology, or (and this is no less important in its own way) as evidence of the processes taking place in modern science. In this case, we are talking about the development of the science regarding human interactions and social structure in our era of the increasing role of communication and information processes. The review was prepared by Sergei Romashko, scientific editor of the Russian translation of the book.

Keywords: science and society , communications, theory and practice, social constructionism

Пока человек работает над текстом (в любой роли: как автор, переводчик, редактор), он погружен в него; именно на тексте в первую очередь сосредоточены его усилия, хотя ему, конечно, приходится то и дело выходить за его пределы — в контексты разного рода. Но вот работа завершена, текст начинает жить своей жизнью, и тот, кто участвовал в его создании, может взглянуть на материал со стороны. А это уже иной взгляд. Когда речь заходит о какой-либо книге, чаще всего спрашивают: о чем эта книга? Вопрос понятный и вполне закономерный. Предисловия, аннотации и другие сообщения в основном и существуют для того, чтобы дать ответ на этот вопрос. Но книга может поведать больше, чем значится в ее аннотации. Всякий текст говорит нечто и о том, кто его создавал, и о ситуации, в которой он возник, и о тех, для кого текст изначально предполагался. А если взглянуть так, то получится, что книга Энди Лока и Тома Стронга немало может сообщить нам о том, что происходит в современной науке.

Наука людей

Если речь заходит о науке, то под ней обычно понимаются знания (в том числе с некоторыми уточнениями: комплекс знаний, система знаний, специальные знания и т. п.). Разумеется, если знаний не обнаруживается, то и говорить о науке невозможно¹. Однако принципиален в таком случае вопрос: откуда берутся знания? Они ведь не возникают сами собой. Поэтому первичны в науке люди, которые эти знания производят, а значит наука — это прежде всего человеческая деятельность, вернее — один из видов продуктивной деятельности человека, той ее части, результатом которой является информация². Без людей, осуществляющих такую деятельность, наука не существует; именно они формируют те представления о реальности, которые образуют фундамент нашего наиболее объективного отношения с миром и позволяют развивать эти отношения через технику разного рода³. Собственно, об этом в том числе и написана книга «Как устроена матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика». В конечном счете она утверждает, что все связанное с происходящим «у человека в голове» порождено этим самым человеком. Зеркально и сама книга может рассматриваться с такой точки зрения.

Ученый в «большом мире»

Мы живем в реальности, в которой многое стало большим: политика, экономика («большой бизнес»), медицина («большая фарма»), технические структуры («большая цифра»), досуг («большой спорт»). Это и не удивительно в мире, где миллиарды людей в разных местах планеты связаны многообразными связями, о которых

¹ Изучение структуры научных знаний и их динамики-задача, безусловно, чрезвычайно важная; в этой области науковедение накопило большой положительный опыт, достаточно напомнить уже классические работы Т.С. Куна, И. Лакатоса, П.П. Гайденко [Кун, 1977; Лакатос, 2008; Гайденко, 1987].

² Информация здесь понимается в своем первичном виде как достаточно абстрактная сущность; обоснование такого подхода дал в свое время К. Шеннон, заложивший основы теории информации [Shannon, 1948].

³ Техника также может быть информационной (хотя при появлении этого слова в сознании обычно тут же возникают ассоциации с какими-либо механическими или электрическими устройствами); это тем более важно учитывать при чтении книги Лока и Стронга: в ней то и дело обсуждаются детали той техники, которую используют в своей работе практикующие психологи, психотерапевты и другие представители «помогающих профессий».

они чаще всего не задумываются, а если и задумываются, то далеко не всегда могут распутать. Не миновала эта участь и науку, и поэтому в двадцатом веке появилась «большая наука» (big science), заслужившая это звание не столько потому, что объединяет большое количество профессионалов, сколько потому, что располагает огромными массивами знаний, а следовательно, немалыми возможностями. В первую очередь «большая наука» ассоциируется конечно же с науками естественными, опирающимися на мощную экспериментальную базу: физикой, химией, биологией (сразу же в памяти всплывают: физика экспериментальных частиц, термоядерный синтез, генетика). В этих дисциплинах исследовательские коллективы нередко объединяют сотни и тысячи человек. Социальные и тем более гуманитарные дисциплины выглядят в этом отношении гораздо скромнее, однако и они оперируют сегодня такими объемами знания, справиться с которыми в одиночку чаще всего не представляется возможным.

На помощь «большой науке» приходит коммуникация. Задача ученого — не только сформировать знание («добыть» его), но и сохранить, а также распространить среди коллег (оставим в стороне проблему секретности, поскольку это особый предмет). Научная коммуникация существовала всегда, более того, она всегда имела два измерения: с одной стороны, это была коммуникация между современниками, ведущими работы параллельно (можно сказать — горизонтальная), а с другой — коммуникация с научным прошлым (то, что именуется «научным наследием», можно сказать — коммуникация по вертикали). Книга Лока и Стронга — это очевидная попытка войти в коммуникацию на пересечении этих осей. В общем, это часть научной традиции: предполагается, что исследователю стоит «посоветоваться» с предшественниками, прежде чем он встанет в ряд с современниками. Но большой мир, в котором обитают ученые сегодня, задает и новые параметры коммуникации.

Книга вышла в издательстве Кембриджского университета, солидном учреждении с долгой историей. При взгляде на логотип сразу может возникнуть мысль, что и авторы имеют отношение к Кембриджу. Так и было бы скорее всего лет сто — сто пятьдесят назад. А сегодня иначе: ни тот, ни другой в Кембридже не учились и не работали. А если перевернуть страницу и посмотреть на оборот титульного листа, то можно обнаружить, что среди своих «опорных пунктов» издательство числит не только Кембридж, но и города, которые еще относительно недавно представить себе в роли международных научных и издательских центров было бы трудно: Мельбурн, Сингапур, Кейптаун, Дели, Сан-Паулу. У его оксфордского собрата список еще обширнее, да и многие другие солидные научные издательства раскинули свои сети по всему миру. Тенденция к универсальности, в том числе географической, была присуща науке с давних пор, но в последние десятилетия интернационализация науки получила системный характер.

Диалог и сотрудничество в наше время все меньше связаны с формальными, стабильными параметрами. Чтобы вести совместную работу, ученым не обязательно числиться в одном учреждении. Возникают временные научные коллективы, а часто группа исследователей и вовсе существует виртуально. Словно специально иллюстрируя эту тенденцию, Лок и Стронг познакомились в интернете и уже в этом виртуальном пространстве, обнаружив сходство своих позиций, пришли к мысли

о написании книги об интеллектуальных корнях конструктивизма и его ценности для прикладных социальных наук.

Задачу перед собой авторы поставили такую, что справиться с ней в одиночку было бы нелегко, а главное — это растянулось бы на чрезвычайно долгое время, тогда как решать ее, так они себе это представляли, следует безотлагательно. Даже в ходе совместной работы им пришлось ограничить исходный материал, на что уже указано в предисловии к русскому изданию, да и рецензенты перевода наверняка выскажут сожаление, что в книгу не вошла глава о том или ином ученом (особенно «пострадали» социологи и психологи немецкоязычного и франкоязычного мира). Сожаления понятны: целый ряд фигур, важных для становления конструктивистского мышления, либо только упоминается в книге, либо отсутствует совсем (скажем, Х. фон Фёрстер или У. Матурана). Но это была бы уже другая задача.

В последние десятилетия крупные международные издательства освоили публикацию энциклопедических изданий по самого разного рода предметам. По-английски они обычно именуется либо *handbook*, либо *compendium*. Есть компендии по Шекспиру и Чехову, древней математике и современной космологии, виртуальной реальности, языкам Африки, буддизму... Эта тенденция — если оставить в стороне понятные коммерческие интересы издательств — отвечает определенным потребностям нашего времени. Информационный поток таков, что даже человек, занимающийся какой-либо проблемой вполне профессионально, не всегда уверен, что по-настоящему в курсе происходящего в соседних областях, а знания, в них полученные, могут быть полезны. Сюда надо добавить пишущих работы студентов и аспирантов, да и просто людей, интересующихся тем или иным вопросом для расширения своего кругозора. Создаются эти суммарные работы коллективами чаще всего интернациональными, причем без прямых контактов, тем более что современные средства связи позволяют даже рабочие совещания и дискуссии проводить без перемещения в пространстве.

Лок и Стронг прекрасно знают о публикациях такого рода. Более того, Лок в свое время совместно с американским антропологом Ч. Питерсом издал компендий по эволюции человека как существа, создающего и использующего знаки, в написании которого участвовала немалая и профессионально разнообразная команда специалистов [Lock, Peters, 1999]. Однако в данном случае они не ставили перед собой задачу максимального охвата данных или демонстрации эрудиции. Речь шла скорее о своего рода пропаганде, достаточно концентрированном (насколько это возможно в такой ситуации) продвижении идей, которые многим могут показаться неочевидными, даже странными и оторванными от жизни. Отсюда и избранный формат.

Nihil novum, или о пользе возвращения

В мире больших чисел и массивов данных без коммуникации не обойтись. В то же время стремление собрать максимум сведений обращается в условиях после информационного взрыва против себя. Поисковые системы интернета были задуманы как средство быстрого получения необходимых сведений. Но если ввести в строку поиска сколько-нибудь значимое понятие или достаточно известное имя, результатом будет предложение нескольких миллионов документов, большин-

ство из которых скорее всего бесполезны. «Зашумленность» информационного поля чрезвычайно высока, и хотя работа над инструментами, позволяющими с этой бедой справиться, идет постоянно, говорить о существенном улучшении ситуации трудно.

Однако ученый должен не только собирать сведения, систематизировать и хранить их (таковы были его задачи в условиях традиционной науки), но и производить новые: это требование науки начиная с того времени, когда был запущен процесс модернизации. Чтобы подтверждать свой статус, он должен сообщать о своих результатах через один из имеющихся каналов связи. Так ученые становятся участниками процесса уплотнения информационной среды, что в свою очередь, поскольку среда эта не нейтральна, требует от них определенной адаптации: приходится пересматривать утвердившиеся прежде подходы к различным коммуникативным действиям.

Показательно в этом отношении изменение методики анализа текста, произошедшее на переходе от двадцатого века к двадцать первому. В прошлом веке разные течения гуманитарной мысли (формализм, структурализм, герменевтика) развивали методику погружения в текст, предполагающую учет максимального количества деталей его построения. Характерна в этом отношении возникшая в первой половине века в литературоведении США идея *close reading* (обычно переводится как «пристальное чтение», буквально — «чтение с близкого расстояния», можно сказать «чтение под микроскопом»; см. [Searle, 2005]). Предметом анализа в рамках этого направления, как правило, становились либо небольшие тексты, либо фрагменты текстов. В противовес «пристальному чтению» на рубеже веков формируется методика, получившая наименование *distant reading* («чтение на расстоянии», можно сказать «телескопическое чтение»). В этом случае текст рассматривается не столько изнутри, сколько в его различных контекстах и отношениях с составляющими коммуникативных процессов, он охватывается общим, обзорным взглядом (отсюда популярность понятий контекстуальности и интертекстуальности). Это закономерно открывает возможность компьютеризации текстурального анализа в рамках изучения информационных потоков и массивов (см. [Underwood, 2017]). «Микроскопический» и «телескопический» взгляды не стоит считать абсолютной альтернативой, поскольку они дополняют друг друга; важно при этом, что сегодня для оценки отдельного текста без «телескопа» не обойтись, поскольку ни один из них не существует сам по себе (сразу напрашивается имя Бахтина, которому в книге уделено немало внимания).

Нахождение в интенсивном потоке информации вызывает потребность не только — а в некоторых случаях и не столько — в усвоении сообщаемого, но прежде всего в способах и инструментах ориентации, позволяющих вычленить релевантную и перспективную часть информационного потока. При этом возникает определенный парадокс: современная научная ситуация требует новизны, тогда как инструменты ориентации сами по себе новизной не отличаются, так как представляют собой вторичную коммуникацию (или метакоммуникацию). Это разного рода аннотации, рецензии, критические реплики, обзоры, антологии. Речь идет о том, чтобы структурировать информационную среду, создать своего рода карту и средства движения по этому пространству. Книгу Лока и Стронга легко

обвинить в малой оригинальности: она во многом содержит изложение, передает уже опубликованное ранее. В конце концов, кто не слышал о Хайдеггере или Бахтине? Не новость. Разве что такие фигуры, как Джамбаттиста Вико или Якоб фон Иксюль могут оказаться для читателей открытием. Но помимо общей ориентирующей задачи книгу отличает еще одна особенность.

Структурирование информационного потока предполагает не только предметные характеристики (о чем?), но и характеристики прагматические (для кого? для чего?). Книга обращена не к философам, не к теоретикам социальных наук, она обращена прежде всего к практикам социальной, социально-психологической работы, к тем, кто постоянно «имеет дело с людьми», а также к тем, кто эту деятельность предполагает освоить. К тем, кто обладает или стремится обладать определенными прикладными знаниями и методами. Методика — вещь безусловно необходимая, она дает возможность выдерживать последовательность действий. Но это своего рода коридор: не дает заблудиться, но и не дает возможности узнать, что происходит за стеной, по соседству. К тому же коридор когда-то заканчивается — или, если он кольцевой, обрекает на блуждание по кругу. Ответом на сложность социальной реальности становится развитие междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований, позволяющих выйти за пределы коридора и привлечь возможности других методов.

Лок и Стронг совсем не случайно задались этой целью: они хорошо знакомы с прикладными работами, с практикующими психологами, психотерапевтами, социальными работниками. Именно поэтому они ощутили необходимость обратить внимание практиков на вещи не очевидные, но позволяющие более основательно подходить к решению практических задач, искать и находить новые возможности исследования и решения личностных, социальных проблем.

Диалог поколений

Авторы книги о конструктивистских поисках — люди уже немолодые, обладающие разнообразным опытом. Оба относятся к тому поколению, для формирования которого важной была атмосфера шестидесятых годов прошлого века. Время открытий и достижений, время сомнений и надежд, переосмысления истории и веры в будущее, борьбы за мир и студенческих революций. Это сказалось на выборе персон, представленных в книге основными. Витгенштейн, Бахтин, Гуссерль, Выготский, Хабермас — непреременные герои не только научных, но и общественных дискуссий 1960-х — начала 1970-х годов. Так же как и дебаты о кибернетике, как зарождение экологического движения (открытие исследователей вроде Иксюля как не только биологов, но и как персон, важных для понимания места человека на планете).

Есть у героев книги еще одна интересная особенность, также отсылающая нас к тем годам. Большинство из них никак не могут быть по обстоятельствам своей жизни отнесены к «типичной профессуре». Множественность интересов, нестандартные повороты в жизни и профессиональных занятиях, интерес к предметам и идеям, которые на тот момент вообще не считались заслуживающими внимания. Бахтин, судя по всему, формально даже не заканчивал какой-либо университет (хотя потом все же получил, благодаря счастливому стечению обстоятельств, степень кандидата филологических наук). Витгенштейн не прошел традиционного

пути к званию профессионального философа, к тому же время от времени переживал кризисы и прекращал занятия философией. Очень уместны поэтому в книге краткие биографические введения к тем авторам, чьи концепции в ней рассматриваются. Это не только дань традиции, но и хорошее дополнение к пониманию своеобразия их личности, жизненной и научной позиции.

Таким образом, Лок и Стронг своей книгой выполняют одну важную функцию — функцию диалога поколений, одной из важнейших задач культуры. О «вертикальной» коммуникации (коммуникации во времени) уже говорилось: одна из особенностей культуры позволяет нам общаться с прошлым и оставлять послания будущему. В связи с этим говорят о преемственности, хотя важно учитывать: преемственность и традиция — не просто повторение прошлого. В истории вообще ничего «повторить» нельзя, каждое мгновение жизни уникально. Возможно и важно помнить о том, что было в прошлом. Представляя своих диссидентствующих героев, авторы напоминают новым поколениям: сомнение — это важнейший источник познания. Критичность, трезвый самоанализ — это залог развития. Так что давайте вместе с авторами книги и с теми замечательными людьми, о которых книга нам напоминает, проверим, так ли уж прав был, например, Декарт, в своем *Cogito ergo sum*, и что это может дать не только философам, но и людям других профессий.

О трудностях перевода

Проблемы в процессе перевода достаточно сложных текстов неизбежны, в этом ничего удивительного нет, хотя бы потому, что по своей структуре языки не одинаковы. Важнее и интереснее то, что на различия языковых структур накладываются историко-культурные расстояния, различия в смыслах и способах развертывания речи. В истории России случались периоды самоизоляции, после которых приходилось наверстывать пропущенное в общении с соседями. Понятно, что в условиях цейтнота решения, как и в шахматах, порой принимаются не лучшие. Хорошо, когда за дело берутся люди талантливые и знающие. В противном случае случаются ляпы вроде «вещь в себе», избавиться от которых потом бывает трудно, а иногда оказывается уже невозможным. Последний такой период самоизоляции — советское время, когда целые пласты западной культуры отсекались от российской публики. С конца 1980-х годов, после снятия ограничений, начался активный перевод научной литературы в области гуманитарного и социального знания. Проходил он в спешке, фрагментарно и несогласованно, так что и переводы не всегда были удачны, и разноречивой возникал не только в случае передачи одного и того же термина в работах разных авторов — даже в разных текстах одного и того же автора один и тот же термин мог переводиться по-разному. Консолидация и исправление ошибок задним числом — задача трудная и даже невыполнимая в короткое время.

При подготовке русского издания книги Лока и Стронга ситуация осложнялась тем обстоятельством, что в ней фигурирует множество ученых со своеобразной терминологией и манерой выражения. При этом авторы пользуются, естественно, английскими текстами как в случае англоязычных ученых, так и в случае ученых, писавших на иных языках. При подготовке русского текста приходилось всю эту разноголосицу соотносить с тем, как упомянутые тексты переведены на русский (а многие уже переведены). К этому добавляется и то, что в книге используют-

ся английские переводы русских ученых — Бахтина, Волошинова, Выготского. Не возьмусь утверждать, что всегда удавалось найти самое удачное решение, но настоящий ответ даст только время.

В качестве примера одного из культурно обусловленных камней преткновения можно привести английское существительное *self* (ср. нем. аналог *Selbst*). По-русски есть «сам», но это не существительное. Существует рожденное когда-то искусственно и вымученное слово «самость», ничего не говорящее ни русскому уму, ни русскому сердцу. Между тем это слово и понятие — важный элемент современной западной культуры, основа самосознания личности, понимания своего места в мире, своих прав, своих отношений с другими и с обществом в целом. И слово это в книге встречается достаточно часто: в ней ведь идет о личностных проблемах современного человека. Приходилось передавать его по-разному, с учетом контекста и смысловых связей. Однако целостность оказывается в таком случае нарушенной. Такие вот нестыковки языков — важный симптом, на который следует обращать внимание социологам, историкам культуры (лингвистам и переводчикам — это уже само собой разумеется).

Прощание с «безумным профессором»

Возрастающая роль научного знания не могла не найти различных отражений в науке и искусстве. Одним из таких отражений стал «безумный профессор», вечно взъерошенный, с горящими глазами за стеклами очков, за столом, заваленном толстенными книгами, или в лаборатории, захламленной множеством химических сосудов или диковинных аппаратов со спутанными проводами. Фигура эта представляла то курьезной, то зловещей. Но в последнее время она стала уходить с книжных страниц и с различных экранов. Наука при всем своеобразии своего устройства и неожиданности многих открытий все больше становится привычной частью человеческой жизни, а ученый — одним из соседей, таким же в сущности работником и гражданином, как и другие. Можно пожалеть об этой своеобразной «утрате ореола», но таков ход истории.

Лок и Стронг сами могут служить примером такой трансформации. Оба не только теоретики и историки науки, но и практики: они то уходили на время из академической сферы, то вели практическую работу параллельно с академической. И книгу они писали, опираясь как на теоретические знания, так и на практический опыт. Писали для того, чтобы помочь и практикам, и теоретикам: практикам — осознать пользу теории, теоретикам — увидеть практические запросы и перспективы. Одним словом, книга может считаться высказыванием в поддержку известного принципа, согласно которому нет ничего практичнее хорошей теории. Хочется надеяться, что так ее и примет читатели.

Список литературы (References)

Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.). Формирование научных программ нового времени. М.: Наука, 1987.

Gaidenko P. P. (1987) *The Evolution of the Concept of Science (XVII—XVIII centuries). Formation of Scientific Programs of the New Time.* Moscow: Nauka. (In Russ.)

Кун Т. Структура научных революций. 2-е изд. М.: Прогресс, 1977.

Kun T. (1977) *The Structure of Scientific Revolutions*. 2nd ed. Moscow: Progress. (In Russ.)

Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. М.: Академический проект, 2008.

Lakatos I. (2008) *Selected Works on the Philosophy and Methodology of Science*. Moscow: Academic project. (In Russ.)

Searle L. (2005) New Criticism. In: Groden M., Kreiswirth M., Szeman I. (eds.) *The John Hopkins Guide to Literary Theory*. 2nd ed. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. P. 528—534.

Shannon C. E. (1948) A Mathematical Theory of Communication. *The Bell System Technical Journal*. Vol. 27. No. 3. P. 379—423. <https://www.doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>.

Lock A., Peters C. R. (eds.) (1999) *The Handbook of Human Symbolic Evolution*. Oxford; Malden, MA: Blackwell.

Underwood T. (2017) A Genealogy of Distant Reading. *Digital Humanities Quarterly*. Vol. 11. No. 2. URL: <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/2/000317/000317.html> (accessed: 22.02.2022).



